Приложение к газете «День литературы»

Главный редактор:
Валентина ЕРОФЕЕВА

Редакционный совет:
Николай ИВАНОВ,
Сергей КУНЯЕВ,
Александр ЛЕОНИДОВ,
Вячеслав ЛЮТЫЙ,
Михаил К. ПОПОВ,
Захар ПРИЛЕПИН,
Андрей ТИМОФЕЕВ

Адрес редакции:
119146, г. Москва,
Комсомольский проспект, 13

Телефон:
8-916-015-80-69

Email:
denlitera@yandex.ru

Сайт:
denliteraturi.ru

АНО Газета писателей «День литературы».
Свидетельство о госрегистрации от 12.04.2019 г.
№ 1197700005513

Журнал русских писателей

Антология рассказа
(2019-2021)

—II—

Роман о первой любви

№ 1(13), 2021

СОДЕРЖАНИЕ

РАССКАЗЫ

Игорь БАХТИН. Анчоусы....3
Николай БЕСЕДИН. Вася....10
Екатерина БЛЫНСКАЯ. Завещание Святого Амвросия....18
Валерий БОХОВ. Бережёного Бог бережёт....23
Александр ВИН. Парижанка....31
Инна ВОЛОШИНА. Нас не догонят....40
Дмитрий ВОРОНИН. Венецианская трагедия....52
Алексей ДЕРИГЛАЗОВ. Одинокость....57
Дмитрий ЖУКОВ. Метя, Пича и Бланда....63
Игорь ИЗБОРЦЕВ. Смех и слёзы моего детства....72
Евгений КАЛАЧЁВ. Велосипед....78
Анатолий КИРИЛИН. До Сиднея одиннадцать тысяч километров....87
Павел КРЕНЁВ. Дедушко Павлин....96
Владимир КРУПИН. Фонтан в центре города....104
Дмитрий ЛАГУТИН. Галстук....113
Александр ЛЕОНИДОВ. Загадка Сфинкса....126
Юрий МАНАКОВ. Хитрован Тунгус....136
Виктор МЕЛЬНИКОВ. Телефон времени....148
Вячеслав МИХАЙЛОВ. «Афганец»....157
Александр НЕСТРУГИН. Что помнит сын?.. 168
Анатолий ПОДОЛЬСКИЙ. Не тобой положено, не тебе и брать....174
Михаил ПОПОВ. Сигнал – красная ракета....184
Владимир ПРОНСКИЙ. Кто на кого учился....189
Вадим РУДАКОВ. Солнце в конверте....197
Андрей РУМЯНЦЕВ. Отвергнутый....203
Михаил СМИРНОВ. Люди-птицы....210
Виктор ФРОЛОВ. Ветеран....218

РОМАН

Екатерина БЛЫНСКАЯ. Время ласточек....225

ИГОРЬ БАХТИН

АНЧОУСЫ

Говорят, хотеть не вредно. Но вот Дмитрий Иванович Синцов, тридцатидевятилетний преподаватель истории городской средней школы №123 от долгого хотения потерял аппетит, похудел, потерял сон, стал ужасно рассеянным и даже иногда ощущал сильную тахикардию, чего с ним никогда прежде не случалось.

Вожделенным объектом хотения Дмитрия Ивановича была загорелая, всегда с лёгким румянцем на щеках двадцатидвухлетняя преподавательница физкультуры, пришедшая в школу в этом году, сразу же после окончания института. Звали её Дарья Павловна.

Надо заметить, «хотеть» её было за что. Точеная фигурка гимнастки, лёгкая летящая походка, большие серые ласковые глаза, пухлый чувственный рот – и коса! Настоящая русая коса, доходящая почти до пояса! Волосы у Дарьи Павловны были прекрасные, слегка вьющиеся, и их не касались ещё, по всему, современные вредоносные достижения химии: всяческие красители, гели и бальзамы. Девушка была родом из далёкого сибирского посёлка, жила на птичьих правах в общежитии, в комнате с двумя подругами, которые ещё учились в институте.

Недурён собой был и Дмитрий Иванович. Высокий кареглазый шатен, спортивно сложенный, с волевым лицом, слегка подслащённым ямочкой на подбородке. Волосы у него были жесткие, стригся он всегда коротко: под «ёжик». Безжалостная седина только-только начала гостевать на его висках. Инициатор и душа учительских посиделок, он пел, играл на гитаре, любил поэзию и прекрасно читал стихи; было у него интересное и вкусное хобби – кулинария.

Влюбился он в Дарью Павловну сразу, как её увидел, но любовь эта, увы, оставалась до сих пор безответной. Неизвестно почему не происходило сближения: то ли Дарью Павловну смущал возраст Дмитрия Ивановича, (хотя, что это за возраст для мужчины – 39 лет?), то ли боязнь пересудов в маленьком пенсионном коллективе школы, то ли её природная скромность, а может быть, просто не случилось ещё счастливого случая пробежать искорке притяжения. Всему в этом мире нужно время.

Страдания Дмитрия Ивановича длились уже третий месяц. Весь коллектив школы и не только учителя, но и старшеклассники с интересом следили за развитием событий и ждали несомненной счастливой развязки, как всем казалось, зарождающегося прекрасного романа. Дмитрий Иванович стал ухаживать за девушкой сразу после её прихода в школу, но встретил улыбчивое и твёрдое сопротивление. Когда же он попытался стать смелее и откровеннее, её улыбчивость перешла в холодное отчуждение. Поняв, что этот путь не подходит, Дмитрий Иванович приготовился к длительной осаде неприступной, но желанной крепости.

Коллектив школы, как водится, был женским. Мужчин было трое: завхоз Васильич, Исаак Львович Левитан – преподаватель рисования, который уже был на пенсии, но продолжал работать, ну и сам Дмитрий Иванович. Однажды вечером, когда Дмитрий Иванович с Исааком Львовичем оказались в учительской одни, тот, глядя куда-то вдаль, ни к кому не обращаясь, сказал:

– Я со своей женой прожил в мире и любви тридцать лет. Всё у нас вроде хорошо было. Но до сих пор не могу я забыть одну прекрасную девушку, Викторией её звали. Было нам тогда по двадцать лет. Замечательный, полный мечтаний и сил возраст. Я смотрел на неё как на божество. Все оттягивал решительные действия, объяснение в любви. Но откуда-то, из глубин океана, наверное, появился моряк подводник – большой, красивый, решительный, и уволок моё божество, мою Вику в своё подводное царство. Знаете, Дмитрий Иванович, я так аллегорично вам скажу – стихами, с вашего позволения. Их один американец написал. Всё стихотворение я не буду вам читать, оно длинное. Поэт этот писал, что есть два греха: грех совершения – это то, что делать не нужно, и грех упущения – он заключается в несовершении того, что вы делать должны и даже обязаны, но не сделали. И этот второй вид греха, по сравнению с первым, считал поэт, худший из грехов. Основная его мысль так звучит: «В мире много утех для души и тела, но нас не может осчастливить то, что нами не сделано». Я бы с этим согласился.

Он повернулся к Дмитрию Ивановичу и сказал деловито:

– Кстати, дорогой коллега, поступили агентурные сообщения о том, что нашу несравненную Дарью Павловну стал настойчиво встречать у школы какой-то тип из «новых». Подкатывает к школе на джипе. Дарья Павловна к нему в машину не садится, но он упорно её провожает до остановки автобуса. Женщины, знаете, такой безответственный ветреный и переменчивый элемент. Передайте, пожалуйста, мне журнал 5-Б класса.

Эта новость доконала Дмитрия Ивановича. Он не спал ночь, продумывая варианты покорения Дарьи Павловны, и один из них он решил попробовать завтра же. Он решил претворить в жизнь банальный

принцип: путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Не мудрствуя лукаво, обобщил, что сердце женщины может оттаять под воздействием прекрасного ужина, а специалистом в кулинарии он был отменным.

Днём, в перерыве между сменами, он зашёл в спортзал, где коротала время Дарья Павловна. Она сидела на скамье и сноровисто вязала шапочку. Он присел рядом и, заметно волнуясь, заговорил:

– Подпишите акт о моей капитуляции, милая Дашенька. Я сейчас говорю себе то, что говорил японский император во время капитуляции Японии во Второй мировой войне: терпите нетерпимые факты. Я понимаю, стар для вас, не симпатичен, не в вашем вкусе, сердцу ведь не прикажешь. Если я вам докучал, простите меня, бога ради. Больше этого, обещаю, никогда не будет. Приговор, я думаю, окончательный и обжалованию не подлежит.

Последние слова он украсил трагическими обертонами.

– Да что вы такое говорите, Дмитрий Иванович, – краснея, воскликнула Дарья Павловна. – Я к вам хорошо отношусь. И не докучали вы мне вовсе... мы коллеги, у нас тёплые товарищеские отношения...

Произнося эти слова, она испытывала сильнейшую досаду, думая о том, что лишается такого симпатичного обожателя. К досаде примешалась и обида, она почувствовала себя даже несколько оскорблённой: надо же, она такая красивая, молодая (спортсменка, комсомолка!), перестаёт вдруг быть объектом обожания тоже красивого, зрелого мужчины, который ещё вчера был, по-всему, от неё без ума. И даже возмущение в ней вспыхнуло, говорившее: все мужчины одинаковы – любят уступчивых девушек, и этот устал, видите ли! Спасовал. Такой же, как все. Утомился ухаживать, бедненький.

И хотя за всё время работы в школе Дарья Павловна соблюдала дистанцию, она сейчас почувствовала себя жестоко обманутой, брошенной женщиной! О, женщины! Все вы, от Евы начиная, любопытны, самолюбивы и легкомысленны. Легко поддаётесь на хитрые уловки змея искусителя, который расставляет свои сети, именно на эти ваши качества надеясь. Хотя уже всем давно известно, что яблоки на древе познания плод запретный и, наверное, поэтому хочется его попробовать, этот плод, тем более он обычно висит на доступных нижних ветвях мудрого дерева.

Она опустила голову вниз, перестала вязать, проснувшаяся интуиция стала ей усиленно подмаргивать и нашёптывать: «Дашка, Дашка, а не упускаешь ли ты свой шанс, ведь такого случая больше в жизни может и не быть?».

– Да, конечно, – ответил Дмитрий Иванович, глядя в глаза Дарье Павловне. – Мы коллеги, друзья и, надеюсь, останемся ими. Но это ещё не всё... я решил уйти в другую школу. Меня давно туда звали. А здесь я больше не могу находиться – это для меня мука. Вот, что я вам хотел сказать, Дашенька.

У Дарьи Павловны задрожали руки, она выронила клубок ниток.

Дмитрий Иванович привирал, привирал намеренно, чтобы увидеть реакцию девушки, при этом он смотрел на неё взглядом полным невыразимой печали. Произведённым эффектом он остался доволен: вид у Дарьи Павловна был явно расстроенный, она даже отложила спицы

на скамью, и нервно вытерла платком вспотевший лобик. Дмитрий Иванович с грустным лицом продолжил:

– Ну, а теперь у меня к вам, сударыня, просьба. Просьба осуждённого страдать вдали от вас, невинная, впрочем, и последняя, думаю.

– Слушаю вас, Дмитрий Иванович, – ответила быстро Дарья Павловна, где-то внутри у неё уже зрело решение согласиться на любую его просьбу.

– Дайте слово, что исполните.

– Но как я могу дать слово, не зная, о чём вы будете просить? – покраснела она.

– Ничего противоестественного, уверяю вас.

– Но, Дмитрий Иванович...

– Умоляю вас, исполните последнюю просьбу осуждённого, обречённого на мучительные воспоминания о тяжёлой душевной драме, – сказал Дмитрий Иванович, и испугался: «А не перегибаю ли я палку, больно театрально выходит?».

– Ну, я не знаю...

– Даёте слово?

– Ну, хорошо, хорошо.

– Что хорошо, Дашенька?

– Даю слово.

– ...Исполнить мою просьбу?

– Да, да, даю слово.

– Вот и чудесно. – Дмитрий Иванович удовлетворённо потёр руки. Глаза его сияли. – Сегодня вечером в семь я жду вас у себя дома. Где я живу, вы знаете, приходили меня проведывать с учителями, когда я болел.

– Но... я даже не знаю! – воскликнула Дарья Павловна, опустила голову и стала так быстро вязать, будто участвует в конкурсе на скоростную вязку.

– Во-первых, вы дали слово, во-вторых, это всего лишь прощальный ужин с коллегой. В-третьих, г-мм, мы с вами цивилизованные люди и я даю вам слово джентльмена, что это будет, собственно, прощальный кулинарный подарок коллеге. Вам же уже донесли, думаю, о моих кулинарных талантах те, кому удалось побывать на моих гастрономических вечерах? Давайте меню обсудим, у меня есть намётки, но может быть, я услышу ваши пожелания. Вообще-то я сторонник вегетарианской кухни, но в этот раз я решил приготовить нечто экстравагантное и с горячим кавказским акцентом. Специально для вас я приготовлю купаты по-кахетински, к ним подам сливовый ткемали. Надеюсь, вам понравится и долма по-эчмиадзински, а на десерт будет шакар-бура по-шекински. Разумеется, будут овощи, зелень, фрукты, кинзочка, эстрагончик, рейганчик, корнишончики крошечные собственного посола, брокколи в мексиканском соусе, земляные яблочки, посыпанные укропчиком и молодым лучком, маслицем оливковым политые. Завершится ужин кофе и «петушиным хвостом», состав которого я сам придумал. В нём восемнадцать секретных компонентов. Извините, а какие у вас будут пожелания? Что вы любите, Даша?

Дарья Павловна сглотнула голодную слюну. Она так обалдела от всех этих экзотических названий, что от волнения нечаянно уколола палец.

Магазинные пельмени, макароны и картошка были главным продуктом в её рационе, питалась она плохо: на зарплату учителя не нашикуешь.

– Я даже не знаю... это как-то неожиданно всё, – сказала она дрожащим голосом.

– Да, совсем забыл вам сказать, – добавил Дмитрий Иванович, будто не слышал слов девушки. – Будет ещё кое-что вкусненькое. Меня этим один знакомый бутлегер снабжает. Ах да, мне из Франции привезли анчоусы, в наших магазинах таких не бывает – они там стоят очень дорого. Тают во рту, – глаза Дмитрия Ивановича лукаво вспыхнули.

Он внимательно смотрел на Дарью Павловну. Так, наверное, змей искуситель смотрел на Еву в райском саду. Он продолжал играть свою игру в красивые названия, ходил, что называется, по лезвию ножа. Его придумка с ужином и с загадочными интригующими названиями блюд, кажется, проходила.

– Вы любите анчоусы? – спросил он.

Дарья Павловна покраснела, она не знала, что такое анчоусы. Когда слышала это красивое слово, то думала, что это какие-то чудесные тропические плоды, но как-то не удосужилась до сих пор заглянуть в словарь. Она пожала плечами и ответила уклончиво:

– Ну, не так, чтобы очень.

– И правильно, такая мелочь, чего там, – сказал Дмитрий Иванович, продолжая пристально смотреть на девушку, усмешка блуждала по его лицу. – Вещь довольно обыкновенная.

Ещё тень сомнения оставалась у Дарьи Павловне, но эти анчоусы окончательно добили её. «Когда ещё такое попробуешь?!» – подумала она и твёрдо ответила:

– Хорошо, я приду.

В десять минут седьмого Дарья Павловна, специально не обедавшая в этот день, позвонила в дверь квартиры Дмитрия Ивановича. Он радушно пригласил её войти, помог снять пальто, проводил в ванную комнату, а сам ушёл в гостиную. Вымыв руки и придирчиво оглядев себя в зеркале, Дарья Павловна прошла в гостиную. Дмитрий Иванович усадил её за стол, в центре которого стояла ваза с великолепными жёлтыми розами и серебряный подсвечник с тремя свечами. Пока Дмитрий Иванович суетился, бегал на кухню то за салфетками, то за хлебом, Дарья Павловна огляделась. В комнате было чисто, пол был устлан мягким ковром, всю стену занимал стеллаж с книгами, ну, а стол был просто великолепен! Столовое серебро, старинная фарфоровая посуда, тончайший хрусталь, льняные салфетки...

Оглядывая стол, Дарья Павловна ощутила в животе голодные колики: аппетитной горкой высилась на блюде долма – маленькие голубцы, завёрнутые в виноградные листья, от одного запаха которых собиралась слюна во рту; от купатов исходил другой запах: острый и пряный, к купатам прилагался сливовый соус в фарфоровой чаше. В хрустальной объёмной менажнице, в её секторах лежали горкой маслины зелёные и чёрные, икра чёрная и красная, дольки лимона и сливочное масло. На плоском блюде веером лежала зелень: петрушка укроп, базилик, тархун. На другом блюде дымилась молодая картошечка, присыпан-

ная зеленью и луком. Были еще помидоры, огурчики, одинаковые, как близнецы, редиска с розовыми бочками...

Дмитрий Иванович вернулся из кухни, открыл шампанское, налил его Дарье Павловне в высокий тонкий фужер, себе в рюмку налил настойки из графина – и по комнате поплыл густой апельсиновый дух. Встав, он поднял свою рюмку.

– Я хочу выпить за то, что мне довелось испытать редкое чувство мучительной радости любить прекрасную женщину. Видеть её и любоваться ею. И пусть не сбылось – но это чувство всегда будет со мной, и я счастлив безмерно от того, что вы сидите сейчас напротив меня, дорогая Дарья Павловна, будьте и вы счастливы! – с горечью в голосе закончил он.

Дмитрий Иванович выпил до дна. Дарья Павловна хотела выпить чуть-чуть, но шампанское было такое холодное и вкусное, что она выпила весь фужер. Потом они ели, и Дмитрий Иванович ухаживал за гостьей, всё время подкладывая ей вкусности, рассказывал, как он готовит все эти яства, веселил Дарью Павловну анекдотами и смешными историями.

Дарья Павловна, не заметив, выпила три фужера шампанского, охмелела, ей стало хорошо и уютно, она хохотала заразительно от острот Дмитрия Ивановича и, глядя в его ласковые глаза, думала: «Боже мой, как же это приятно, когда тебя любят, ухаживают, боготворят, угадывают все твои желания. Как спокойно на сердце, когда с тобой рядом заботливый сильный и преданный мужчина».

Когда, наконец, Дарья Павловна взмолилась:

– Всё! Больше, наверное, ничего съесть не смогу, вы меня закормили, Дмитрий Иванович!

Он, улыбаясь, сказал ласково:

– У нас ещё десерт будет. Я сейчас быстренько уберу со стола, и будем десертничать.

– Я вам помогу, – попыталась встать Дарья Павловна, но Дмитрий Иванович придержал её за плечо:

– Вы гостья. Гостья дорогая, и вам положено отдыхать.

Он усадил Дарью Павловну в кресло, включил музыку, а сам стал сноровисто прибираться. Снёс посуду на кухню, сложил стол-парту, за которым они сидели, перенёс свечи на журнальный столик. Затем принёс медную турочку с ароматным кофе и шакар-буру по-шекински: малюсенькие сладкие, с глянцевой медовой корочкой пирожочки, выпеченные в духовке, начинённые измельченными грецкими орехами, мёдом и кардамоном. Кофе был крепким и ароматным, шакар-бура таяла во рту. Ледяной коктейль в высоком стакане пах шоколадом, коньяком, лимоном и ещё какими-то будоражащими запахами.

Дарья Павловна увидела гитару и попросила Дмитрия Ивановича спеть. Дмитрий Иванович спел несколько песен на стихи Есенина, пару песен Высоцкого, потом разошёлся и спел несколько песен из битлов. Отложив гитару, он стал читать стихи. Дарья Павловна слушала, затаив дыхание. Когда он закончил, она восторженно воскликнула:

– Какой же вы, оказывается талантливый, интересный и разносторонний человек! Ну, а ваши кулинарные способности – тут у меня вообще слов нет!

– Вам понравилось? – тихо спросил Дмитрий Иванович.

– Ещё бы. Все так здорово, – ответила Дарья Павловна, и, наморщив лобик, спросила лукаво улыбаясь: – Только, где же ваши хвалёные анчоусы? Ведь обещали же.

Дмитрий Иванович хитро прищурил глаза, в них тоже сверкнула лукавая искорка, и Дарья Павловна неожиданно подумала, что она совершила какой-то промах, и удивлённо подняла свои чудесные собольии бровки.

– Ах, простите, ради Бога! Знаете, я подумал, это будет выглядеть оксюмороном, а наш стол стал бы похож на судовой камбуз. Хамса – она и во Франции хамса. На нашем столе она бы выглядела, как пальма в берёзовом лесу. У меня есть такая привычка обставлять всё красивыми иностранными словечками. «Петушиный хвост» – это коктейль, кстати, это так и переводится с английского, картошка у меня с французским акцентом, то бишь, земляные яблоки, рейган – это базилик, эстрагон – он же тархун.

Дарья Павловна несколько мгновений смотрела изумлённо на Дмитрия Ивановича, потом вспыхнув, закрыла лицо руками и расхохоталась. Она смеялась долго, и сквозь смех прерывисто говорила:

– Какая же всё-таки я дура и неуч! Как же мало я знаю. Боже, боже мой... анчоусы... а я-то... возьмите надо мной шефство, дорогой коллега. Вы столько всего знаете.

Дмитрий Иванович сказал серьёзно:

– Никакая вы не дура. Вы прелестная молодая девушка, мозги которой ещё не забиты всякой ненужной белибердой. Жизнь ваша только начинается, и вы столько ещё узнаете.

Он взял её руки в свои и нежно поцеловал кончики её пальцев. И не остановился – стал покрывать её руки поцелуями, и она не противилась. Потом они танцевали при свечах, и Дмитрий Иванович целовал её шею, глаза, горячие губы и она льнула к нему молодым, напряжённо вздрагивающим телом, полным желания, крепко обхватив его за шею.

Она осталась у него. Утром они пришли в школу, держась за руки. Так они вошли в учительскую. В наступившей тишине весь учительский коллектив заворожено смотрел на сияющих Дарью Павловну и Дмитрия Ивановича. Нарушил тишину Исаак Львович: он встал и захлопал в ладоши. К этим аплодисментам подключилась завуч школы, тоже вставшая из-за стола, а затем зааплодировали стоя и все учителя.

Вечером этого дня Дарья Павловна, собрав свои нехитрые пожитки, переехала к Дмитрию Ивановичу. Через месяц они обвенчались, но это уже другая историям, которую я вам, возможно, когда-нибудь, расскажу.

НИКОЛАЙ БЕСЕДИН

ВАСЯ

Её звали Вася. Она пришла к нам на «Лот» вместе с этим полуименем-полупрозвищем, знакомая понаслышке едва ли не всей команде. Старший механик, старичок-латыш, говорил нам с некоторой ехидцей:

– Теперь мне кочегаров хватит, считай, вдвое больше стало.

Нас до этого было трое. Но никто не удивился. Знали, что Вася может отстоять и две, и три ходовых вахты у такого котла, как наш. А это многого стоило, особенно потому, что никакой шторм не мог свалить её с ног.

Она пришла во время ужина.

Команда сидела вдоль борта, придерживая стоящие на планшире миски, и перебрасывалась обычными в это время шутками.

Вася держала в руках старый чемодан. Когда она поднялась по трапу на борт, все, словно по команде, замолчали. Она шла, не торопясь, глядя прямо перед собой, и мне показалось, что в ее глазах не было ни малейшего намёка на те чувства, которые испытывает человек, приходя на новое место работы. Старший кочегар, дядя Коля, знавший её по другому судну, как обычно заикаясь, крикнул ей:

– Здорово, Вася!

Она ответила тихо и устало, не поворачиваясь на голос:

– Здравствуйте.

И тогда все как будто очнулись, и послышалось со всех сторон:

– Привет!

– Здорово!

– Наше вам!

– Салют, Вася!

Так началось особое для меня время жизни на «Лоте», оставившее о себе долгую, крутую, как боль, память.

Васю поселили в каюту вместе с официанткой Люсей и коком тётей Пашей. После этого каюта сразу обрела несвойственные ей запахи табака и крепкого чая и потеряла часть своего мягкого уюта, который отличал её от всех других жилых помещений. Были отодвинуты на столе безделушки и розовые открытки с надписями вроде «жду ответа, как соловей лета», а их место заняли пачки табака, почерневшая алюминиевая ложка и громадный, почти на литр, толстый бокал, с которым Вася расставалась, только уходя на берег. Кок и официантка не возражали против таких изменений, зная крутой характер Васи. А что он таков, скоро убедилась вся команда.

«Лот» стоял в Лиепае, своей основной базе.

Был сентябрь. Погода перемежалась то полным безветрием, то резкими, по-осеннему холодными штормами. После нескольких выходов на траверс Балтийска с замерами «Лот» ждал очередного за-дания. Команда работала восемь положенных часов, а вечером почти в полном составе собиралась на юте или в кубрике, забивая «козла», играя в шахматы или просто коротая время за всякой всячиной. До получки оставалось ещё дня три. А потому мало кто рисковал пускаться с пустыми карманами в полный соблазнов город.

Были и любители посидеть в женской каюте в компании с не возражающей против всяческих шуток симпатичной Люсей. И особенно часто бывал там кочегар Дима, ладно скроенный заносчивый парень, о котором поговаривали, что на берегу он водится с тёмной компанией, да я и сам видел у него однажды финку, которую он полировал на стояночной вахте.

Нужно сказать, что команда «Лота», состоящая из 28 человек, была на редкость пестрой, собранной из совершенно разных по возрасту и по призванию людей. Было удивительно, что 28 человек могут составить такое разнообразие. Среди них были, по моему тогдашнему мнению, трое очень интересных людей, жизнь которых представлялась мне таинственной и полной скрытого смысла. С при-ходом Васи их стало четверо.

С одним из них, матросом Тихоном, я жил в одной каюте, которую он занимал на правах боцмана, временно исполняя его обязанности. Вечерами он рассказывал о себе, рассказывал как бы нехотя, мимоходом бросая слова:

– Чемодан с деньгами я сдал швейцару, а сам – в залу, прикинуть, что за публика и есть ли смысл...

Рассказывал, как в 45-м кутил в Вильнюсе, как бросался деньгами. Всякий раз он не забывал говорить, что ненавидит женщин и что нет ни одной в мире твари, которая была бы ниже женщины. Везде, где только ни представлялась возможность, он проявлял это пренебрежение, по крайней мере, другого я не видел.

Тихон никогда не считал деньги, когда получал зарплату или сдачу в буфете, и никогда их не складывал, а комкал и небрежно заталкивал в карман.

Если нужно было достать рубль, он выгребал весь комок и брезгливо цедил:

– Отдели, мадмуазель, нужную банкноту.

Лет ему в то время было, наверное, около сорока пяти. Высокого роста, сильный, ежедневно занимающийся зарядкой (один на всю команду), легко поднимающий одной рукой три буечных якоря, он казался мне настоящим мужчиной...

Вторым был латыш Гартвиг, тоже крепкого телосложения, но впечатление он производил какое-то двойственное. Его мягкость, бледноватое лицо и этакая интеллигентность в разговоре: – «Вам не трудно подать мою робу?» – его замкнутость не вязались с той совершенно остервенелой работой матроса во время шторма, каким он бывал в таких случаях.

Гартвиг фантастически владел шахматами. Я ему проигрывал без ферзя, без ладьи и ферзя, на заказанной клетке, на заказанном ходу, хотя он бывал частенько пьян, а у меня все-таки был второй разряд по шахматам. О его прошлом никто не знал, как не знали, где он любит проводить время.

Третьим был Дима. Его жаргон мне казался высшим достижением человеческой речи. И Люся, кажется, предпочитала больше других его. Если её смех был слышен даже на баке, значит, можно было быть уверенным, что Дима в женской кающе...

В тот вечер именно так все и было. Мы с Гартвигом сидели за шахматами, но я совершенно не мог сосредоточиться из-за беспрерывного смеха Люси, и потому проигрывал. Вася, только что сдав вахту и помывшись, сидела со своим бокалом и пила чай.

Неожиданно смех Люси прекратился, а ещё через несколько мгновений на палубу вылетел Дима буквально по воздуху и грохнулся о трап. Потом он вскочил, и в это время вышла Вася, и спокойно, коротким ударом по-мужски стукнула Диму в лицо. Он взмахнул руками, но был кем-то подхвачен, а потом отнесен в кубрик. Дима рвался снова выскочить на палубу, но его уговорили не дергаться, и он, в конце концов, смирился. Один из матросов, бывший вместе с Димой в женской кающе, потом рассказывал:

– Пришла Вася и сначала вроде ничего, молчит. Посидела немного, а потом говорит: давай, мол, мужики, валяйте отсюда, я спать буду. Ну, а Димка возьми да и ляпни ей: а кто, мол, тебе мешает, товарищ кочегар, а по-латыни – леди-чернопузик? Вася – ещё раз то же самое. А Димка тогда и сказал, мол, пускай раздевается и ложится, он мужчин не стесняется... Потом все произошло как-то сразу. Вася взяла Димку одной рукой за грудь, а другой ударила в лицо, потом встряхнула и потащила к выходу. Димка опомнился и давай махать руками. Тогда Вася ударила его коленом в живот, ещё раз по лицу и вышвырнула на палубу... Я сам перепугался. Ну и била. Я думал убьет. Она рукой бьёт, как ногой, откуда только в бабе такая силища?! Люська забилась в угол и дрожит, а Вася, когда вернулась, только руки вытерла...

Случай этот ещё долго обсуждался во всех подробностях. Не удивился только дядя Коля:

– А-а-а вы, ч-что, не-не-не знали? Вася бьёт, ка-ка-как мужик. Чуть чего, сразу по-по-по мо-о-о-рде. Ещё увидите...

Разбирать это происшествие не стали, хотя Димка и настаивал. Потом, правда, он сказал:

– Ладно, профсоюз. Не трогай, она и так обижена. Мы с ней, демофродиткой, сами посчитаемся.

Постепенно мы узнали все привычки Васи. И, глядя на неё во время ходовой вахты, на её в короткой робе сухожильные ноги, на мускулистые руки с синеватым отливом, на грязный белый чехол от бескозырки, из-под которого, как вода заброшенного пруда, тускло поблескивало неправильной формы лицо с длинным мясистым носом, на её глаза, глубоко спрятанные за веками, я иногда забывал, что Вася – женщина. Она кидала уголь, брала ломик и легко бросала его в топку, подламывая шлаковую подушку, резак и шуровка летали у неё, едва касаясь рук. Потом она подходила к ведру и пила рассол – два, три глотка – и снова кидала уголь. Пламя играло у неё на руках, на шее, и гасло, едва касаясь лица, как звёзды гаснут в воде. И всё-таки иногда она опускалась на перевёрнутую бадью, мягко, по-женски, падали между коленями руки, опускалась голова, и тогда видны были волосы, она их поправляла, потом поднимала голову и вытирала со щёк пот. И снова шла к топкам.

Вахту она несла легко, не то что дядя Коля, который хотя и тоже не опускал пар, но делал это тяжело, почти из последних сил, так что после вахты едва выбирался наверх и ложился тут же на верхнюю решётку.

После получки Вася пропадала дня на три.

Обычно она заходила в первый же буфет и брала стакан водки и кружку пива. Потом шла в город, там её видели то у кинотеатра, то в парке, то просто на улицах. Вася была весёлой, задевала мужчин, шутила. Но вскоре она мрачнела, заходила в закусочную и пила там водку, плакала, пока её, почти бессознательную, не выталкивали на улицу.

После трех дней она приходила на «Лот». Плохо приходилось тому, кто попадался ей в это время под руку. В каюте она падала на койку и спала часов 12. Потом, приведя себя в порядок, шла к ста-ршему механику и спрашивала:

– Сколько я должна вахт?

Капитан пробовал с ней говорить о том, чтобы она взяла себя в руки, что так вести не подобает, пытались говорить и другие. Но никто не верил, да так оно и было на самом деле, что Васю можно перевоспитать.

Но зато, когда на ходовой вахте садился пар, а это было, как правило, у меня, или кто-то был болен, или укачивался, Вася стояла и две, и три вахты подряд. Может быть поэтому ее не увольняли, как делали на других судах.

Постепенно к ней привыкли, к ее привычкам, и даже любили, нет, пожалуй, жалели ее. Когда «Лот» шел спокойным рейсом, она сидела в свободное время на юте с неизменным бокалом в руке и медленно пила чай вприкуску. Глаза её были почти неподвижны и ровным счётом ничего не выражали. Всё для неё как будто умирало, и мне становилось жутко от ощущения глубокого одиночества этого человека.

На «Лоте» всё шло своим чередом. По-прежнему поднимал якоря Тихон и рассказывал мне о своих «золотых деньках»; надраивался перед уходом на берег Дима и возвращался помятый, не глядя ни на кого,

по-прежнему дни стоянок сменялись выходами на замеры, на ремонт буёв, вех, на их установку и заправку.

Никто не помнит, когда это началось, потому что никто не придал ему значения, но почему-то все сразу заметили, что это уже случилось.

Однажды в очередную получку Вася никуда не ушла. Не ушла она и в следующую, хотя, казалось, ей ничего не мешало.

Вечером как-то Тихон сказал мне, что с Васей что-то неладное.

– Баба она, потому и трудно понять. Но что-то есть, а то бы пила.

Я и сам заметил, что Вася как будто переменилась. А скоро поползли разные слухи. Дядя Коля божился, что такое, насколько он помнит, с Васей впервые, и заключил авторитетно:

– У-убей меня, не-не знаю. Наверное, у-уволит-ся скоро.

Старший механик говорил при всех, что Вася, наконец, взяла себя в руки, что сказывается воздействие коллектива. Люся предполагала, что она собирается в отпуск, а потому копит деньги. И только Димка не высказывал ничего определённого, а только как-то нехорошо посмеивался: мол, подождите, скоро всё узнаете...

Между тем наступила осень, и работы «Лоту» прибавилось. То и дело выходили из строя буи, требовалась постановка новых, участились замеры. Море почти беспрерывно штормило, и вахты были тяжелыми до изнурения.

Люди как-то перестал замечаться, а была одна команда, которая дышала одними лёгкими, работала одними руками, и у которой билось одно сердце. Старое гидрографическое судно, казавшееся пороховой бочкой, если буй попадал под киль, которое с трудом против ветра в 6 баллов давало два узла, выполняло тройную работу добротного тральщика-стотонника.

Тогда я понял, что означали слова старшего механика, когда он говорил, что Вася стоит трёх кочегаров. Она стояла вахту и вместо меня, если не хватало пяти атмосфер давления пара, которые я дер-жал в котле из последних сил, из восьми положенных, и вместо Димки, когда тот приносил из управления больничный, не говоря уже о своих кровных вахтах.

В те редкие дни или, вернее, часы стоянок, которые выпадали «Лоту», Вася по-прежнему никуда не уходила.

В декабре «Лот» стал на средний ремонт в Клайпеде. Этот порт с тихими улицами, неспешной жизнью магазинов, кинотеатров, совсем не похожий на суетливую жизнь больших портов, нравился нам, и мы были вдвойне рады и ему, и окончанию бесконечных выходов в море.

Подходили мы к нему вечером. Я стоял на корме и всматривался в знакомые береговые огни. Было легко и весело. Подошла Вася.

– Ты был здесь раньше?

– Да, Вася, был, хороший город, очень мне нравиться, – начал я скороговоркой. – Особенно – вокзал.

– Да, неплохой город, – тихо ответила Вася. – А вокзал я что-то не помню. Это за казармами?..

Я так обрадовался этому неожиданному разговору, необычному для Васи, что начал рассказывать ей о Клайпеде всё, что знал и не знал. Она долго слушала, то улыбаясь, то переспрашивая. Потом сказала:

– Я здесь много раз была, – и добавила, помолчав: – Давно только.

Свободная от вахты команда собиралась на берег, надраивалась, чистилась, гладилась. Я спросил Васю, не пойдёт ли и она. Она ответила быстро, даже слишком быстро:

– Нет, не пойду.

И собиралась уйти в каюту, но потом спросила:

– А ты идёшь?

– Да, Вася, сейчас пойду собираться.

– Знаешь, что? – тихо сказала она, подходя. – Купи мне селёдки, мочёных яблок и какой-нибудь икры, всё равно какой. И ещё белого материала два метра... нет, купи пять. И прямо мне занеси. Заверни только, чтоб никто не видел. Ладно, Никита?

Она впервые назвала меня по имени.

Если бы я в то время был хоть немного внимательней, то увидел бы, как загорелось что-то в её серых глазах, и как это осветило её лицо, и каким оно стало в это время не похожим на то, которое я привык видеть.

Она торопливо дала мне деньги, словно боясь, что я могу отказаться, и быстро ушла.

Когда я вернулся, она встретила меня около каюты, закрыла за мной дверь и потом спросила:

– Купил?

Я купил ей всё, кроме мочёных яблок. Вася как-то неловко сказала «спасибо», а потом замолчала.

Я хотел было рассказать, как изменился город за то время, пока я в нем не был, но она, казалось, не слушала. Когда я уже стал выходить, она вдруг вдогонку крикнула:

– Ну, а как город-то?..

Этот вечер кончился неприятным скандалом и, если бы не Вася...

Я уже дремал, когда смутно услышал крики. Кто-то громко и остервенело сыпал матом. Потом я понял, что это Тихон.

– Что, тварь блатная... Думаешь, морду отъел на больничных, так теперь клешни поднимать можешь?..

Я соскочил с койки, вылетел в кубрик и остановился... Вокруг стола медленно шёл Тихон в одной тельняшке с боцманским ножом в руке – взлохмаченный, огромный, как глыба, он надвигался на Димку, который медленно пятился от него, держа финку в откинутой назад руке. Димка истошно иногда выкрикивал:

– Не подходи, сволочь мародёрская, убью, попишу, падаль!..

Все, кто был в кубрике, прижались к койкам или залезли на них, а некоторые смотрели с палубы через открытый входной люк. Я испуганно закричал:

– Тихон, не надо! Бросьте ножи!

Потом бросился к выходу и столкнулся на палубе с Гартвигом.

– Они же порежут друг друга, – начал я доказывать ему, – убить могут, нужно остановить их, отнять ножи!

На Гартвига это не подействовало. Он спокойно, как на уроке, сказал, что разве он похож на милиционера, на капитана или, на худой конец, на старшего механика? Тогда я бросился к Васе. Она что-то шила и сразу же пошла со мной. Перед кубриком я пропустил её вперёд.

Тихон почти хрипел:

– Ну что, тварь, крови хочешь? На, получай!

Из-за Васи я увидел, как Тихон ударил себя ножом в руку выше локтя, и рукав тельняшки вмиг стал красным до самого плеча. Кто-то закричал:

– Сволочи! Звери!

Ближе был Димка. Вася подошла к нему и схватила за руку:

– Бросай нож.

Все замолчали. Стало тихо, как в больничной палате.

Димка как-то согнулся, и вдруг закричал:

– А он? Пусть он тоже бросит!

Вася громко повторила:

– Бросай нож. Кому говорят, сопляк!

Димка положил финку на стол и отодвинулся за Васю.

Потом она подошла к Тихону, молча взяла из его рук боцманский нож и сказала:

– Иди к Люське, перевяжет.

Заглянул третий помощник:

– Что тут у вас? Не поделили что-нибудь?

Ему не ответили. Никто не смотрел друг на друга, все молча расходились, как будто по неотложным делам. Кубрик быстро опустел. Остались только я и дядя Коля. Сильно заикаясь, он говорил как бы себе:

– Ч-чё-ёрт его знает, чего Ти-ти-хон взъелся. Васе на-а-плевать на Ди-имку. Не-не таких би-би-ла.

Только через несколько дней, когда всё улеглось, я узнал от Тихона, что же тогда произошло.

Просьба Васи принести ей кое-что из города не осталась незамеченной. В кубрике зашёл разговор о том, почему Вася не ходит на берег. И кто-то, вспомнив фразу Димки посчитаться с ней, предположил, что Вася из-за этого сидит на «Лоте». Тихон поддержал это мнение. Потом стал всё больше и больше расходиться: Димку он всегда недолюбливал за его прилипчивость к бабьим юбкам. По его твёрдому убеждению, женщина только оскверняет мужчину, поэтому ей нужно отдавать минимум внимания. А раз будешь гоняться за юбками, сам станешь бабой, даже хуже бабы.

Ещё меньше он прощал драку с женщинами. Димка же, по мнению Тихона, нарушил оба этих запрета.

Именно в разгар этого разговора, когда Тихон перешёл уже исключительно на сильно выразительную речь, пришёл Димка. Тихон взял его за грудь, посадил на банку и спросил в упор:

– Бабу бить собираешься? И как всякая ... из-за угла?

Димка не сразу понял серьёзность положения, поэтому повёл себя нагло. Это ещё больше распалило Тихона.

Началась ссора. Димка вырвался и, отскочив в сторону, вытащил финку. Тогда Тихон схватил лежащий на столе боцманский нож...

После этого случая на некоторое время все затихло. Капитан вызывал поодиночке Тихона и Димку к себе. Оба молчали, о чем он с ними говорил.

Вася вела себя так, как будто ничего не произошло.

А в марте все уже знали, что Димка был ни при чём. Вася была беременна. Это стало известно после того, как однажды она упала, когда на

стояночной вахте нагнулась за ломиком перед чисткой топки. Вызвали скорую помощь...

Сопровождающим двум матросам сказали, что навещать Василису Егоровну пусть приходят в роддом.

На «Лоте» это известие, вопреки моему ожиданию, вызвало весёлую деловитость. Никто не зубоскалил, не отпускал сальных шуток. Готовились торжественно и с шиком отметить появление ново-го члена команды. Был даже выбран оргкомитет во главе со старшим помощником капитана. Шкаф Васи, её кровать были буквально завалены принадлежностями из отдела «Для самых маленьких».

Вася же чувствовала себя неважно. Роды не наступали, а боли не проходили.

На четвертый день, как всегда, я пришёл перед самым концом приёма передач, но дежурная сестра не встретила меня обычным ворчанием, что мы и так завалили палату, и что когда это нашествие только кончится. Она молча взяла принесенные мною мочёные яблоки, ушла и почти сразу вернулась.

– Мёртвого родила, – сказала она медленно, как будто выжала из себя. – Маленький такой, кро... крохотный, маль... мальч... – и беззвучно заплакала, припав к стене всем телом.

Я машинально вышел во двор и остановился недалеко от окна палаты, где лежала Вася. Я стоял и смотрел на вечерний город, на бухту, где он повторялся в весенней щедрости моря, и ничего не ви-дел. Я слышал голос Васи, её слова:

– ...И ещё белого материала два метра... нет, купи пять.

И вдруг отчётливо услышал недалеко мужской голос:

– Василисочка, василёк мой, скажи, чтобы меня пустили к вам, Василисушка...

Я медленно пошёл к выходу.

Через полторы недели Вася уходила от нас. Она наотрез отказалась, чтобы ее провожали. Она взошла на трап со своим старым чемоданом, прошла немного, потом обернулась и так стояла минуты две-три.

Когда она почти уже скрылась, «Лот» дал три длинных гудка, как при прощании с уходящим в трудное плавание кораблём...

ЕКАТЕРИНА БЛЫНСКАЯ

ЗАВЕЩАНИЕ СВЯТОГО АМВРОСИЯ

Кругом монастыря цвела сирень. Никто не заботился обрезать её кусты и она росла буйно и грузно потом, с годами, ввысь и уже в старости жидко, на тонких ногах кривых стволов припадая к земле.

Под многолетними кустами, редкими, как волосы стариков, можно было сидеть в полроста и слушать высокое жужжание пчёл в цветущей кипени.

Тут же в молодой поросли играли дети, строя шалаши и халабуды из хорошо гнущихся ветвей.

– Сиреневое, как море у подножия Фиолента. Так его и называют, наверное, потому что море там всегда такое, фиолетовое, сиреневое. У Гоголя был такой цвет... аделаидовый, – сказал старик, проходя через сирень к дорожке, выметенной от крупы высохших и пустотелых опавших цветов.

– И у Достоевского такой есть. Только он о нём молчит, – кивнул головой его молодой спутник.

Они встретились случайно, на развилке шоссе, где путь на Оптину пересекался с дорогой на Шамордино. Теперь уже у старика не было сомнений, что эта встреча давно была предрешена и только по стечению обстоятельств произошла здесь сегодня. На территории монастыря тишина и солнечный свет как будто нарочно договорились о приятном дне и теперь перетекали друг в друга не перебиваемые ни звуками птиц, ни ленивыми откликами колоколов, ни дальним прибарматыванием работающего на огороде трудника, который ласково твердил непрестанную молитву.

– Дальше не пойду. Посмотрел и хватит, – сказал старик, резко остановившись у трапезной. – Я тебе рассказывал, что когда приезжал

сюда на конференцию, ел самую лучшую и простую еду в своей жизни. В моей гостиничной келье на тарелке лежал огурец, помидор и кусок чёрного хлеба. Они были божественны.

– Так простота всегда божественна.

– Как мне к тебе обращаться? – спросил старик, глядя на курчавое облако, будто зацепившееся за крест Успенского собора.

– Зови меня, как своего сына.

– Его зовут Егор.

– Так и меня зови, если хочешь.

Старик вздохнул. Он давно уже не видел Егора, но чем дальше шло время, тем чаще вспоминал его.

– Когда сын был маленький, я как-то нёс его, спящего и шестилетнего, домой с пляжа. Тогда мне казалось тяжестью, невыносимой тяжестью моя ноша. А сейчас я так не думаю. Это было счастье, а не тяжесть.

– Счастье не может быть лёгким. Это тогда не счастье.

– Я хочу спуститься к кладбищу, – сказал старик.

– Пока мы будем идти, расскажи мне о себе. Мне кажется, ты как раз счастливый человек, или нет? – спросил Егор, поправив волосы и рясу, вымазанную по подолу пылью.

– Да, если разобраться... То да. Можно... я расскажу? – и глаза старика стали узкими от улыбки, а морщины ещё больше разошлись к вискам.

Да, казалось, он помолодел от этого воздуха, от свежего дыхания весны, что напоила соками всё вокруг и будто бы его тоже.

– Я последние месяцы очень тяжело болел, но выбрался. Думал уже не встану, но мне пришли вести из института, что студенты меня ждут. В больнице ко мне постоянно приходили студенты. Мы говорили о Достоевском. Я, правда, долго был наедине с Карамазовыми, пару месяцев точно. Потом уже мне принесли другие книги. Поэтому я и решил ещё раз вернуться сюда. Я много лет мечтал об этом. На станции метро Достоевская есть красивая картина, выложенная мрамором. Там старец Зосима, сам белый и одетый в белое, сидит, сложив руки на коленях. Я положил свою руку на его руки. Они были холодными. Моя рука этот холод приняла и согрела, и старец Зосима велел мне приходить.

– А ты разве не знаешь, что старец Зосима «списан» с преподобного Амвросия Оптинского?

– Я забыл... да...

– Святой Амвросий Оптинский много болел. Он и в старчество подался из-за своей болезненности. Не хотел быть в обузу другим. Но рассказывали, что несмотря на болезнь, он так и лучился добротой и любовью. Скажи, много ты знаешь больных, но добрых людей?

– Не знаю.

– Может быть, Бог так глубоко в человеке, что человек забывает о нём? Амвросий Оптинский, это он говорил, что человек плох, потому что забывает, что над ним Бог.

У дороги на Шамордино сельские дети пекли рыбу на костре, продев в жабры палочки.

– Это что за рыба? – спросил старик, подойдя. – Карасики?

– Из пожарного пруда, – ответил конопатый и прищуренный старший мальчик лет двенадцати.

– А не думали вы, как рыбе больно? – спросил Егор.

Дети все отвернулись от Егора и старика, будто бы стесняясь. Старший мальчик дёрнул плечами.

– Рыба же для еды. Чего ей больно, тем более, она уже мёртвая.

– Что – же... теперь, если вы не подумали о ней, когда она была живая, подумайте о ней, когда она уже мёртвая.

Старик снова улыбнулся и вытер вспотевший лоб. Солнце разгорелось в зените, а над дорогой не росло деревьев. Егор вытянул из рясы за кончик клетчатый носовой платок и подал старику. Тот старательно сложив платок, уголком вытер лоб и они пошли дальше.

Дорога выправлялась, меньше петляла и, наконец, подвела их ровно к кладбищу, где за низеньким штакетником нарядные кресты пестрели букетиками и на обихоженных могилках лежали крашеные яйца

– Вот, кладбище... – сказал старик. – У меня матушка умерла год назад. Нет, она мною не гордилась, я ей много бед принёс. Я же пил. А почему я пил? Среда меня мучила. Бездомье, одиночество. У меня никогда не было своего угла. Никогда не было. Это если сказать... не страшно, а поживи как с моё, без своего угла, где ты можешь хоть мхом порасти, хоть камнем взяться. Матушку сестра сожгла, хоть я её умолял закопать. И схоронила в другом городе Мне туда не добраться. Никак, чтобы положить яичко на могилку, погладить травку... Самое страшное, что может быть, это хотеть и не мочь.

– Вот и я говорю, живые мало заботятся о живых. На всё у них есть отговорки для упокоения совести, – сказал Егор.

Старик криво улыбнулся. Лицо его совсем посветлело и помолодело, сбросив пару десятков лет.

– Разве я своим житьём кого обижаю?

– Зачем мы здесь тогда, если не спасать других? – спросил Егор, облокотившись на деревянный штакетник. – Хотел бы ты сейчас так отдохнуть, как они?

Старик покачал головой

– Э, нет. Они уже не живут, а я люблю жизнь. Кто любит жизнь, тот живёт.

– Как ты жил, разве дальше так можно?

– А я уже и решил начать всё заново. Брошу пить, стану лечиться. Допишу книгу свою. У меня ещё должна быть книга. Знаешь, что такое для писателя своя книга? А я ещё не дождался её.

– А что сестра? Помиритесь?

Старик опустил голову. Тень от висячих ветвей берёзы, что так любят сажать по кладбищам, добавила ему в лицо печали.

– Вот если бы это было так просто Она у меня талантливая, хорошая. Но я столько бед ей принёс. И всем им. Она даже в больницу ни разу ко мне не пришла. И я понимаю почему. Я их обижал, я пьяный ужасно ругаюсь!

Егор вздохнул.

– Зачем тогда жить, если так рассуждать? Тогда можно всё оправдать. А где милосердие и всепрощение? Ты не убивал, не калечил, ты нёс свет учения. Правда? Скажи, а какое счастье ты принёс тем, кто за тобою ухаживал и лечил тебя?

– Никакого.

– Ты такой ценный человек? Почему другие тебя так любили? За что?

– За что? – испуганно спросил старик. – Я никогда не пытался вызвать к себе жалость! И не просил. Ничего не просил. Ничего! По своей глупости я связался с одной женщиной... Да, я был виноват, моя эта привычка много брать на себя! Её сын меня поколачивал, но это поделом! Я же пьяный, лезу драться! А потом... я пытался убежать от неё через окно. Да! На лекции! Ведь она меня запирала! Но в институте мне однажды стало плохо и охрана, которой я все нервы истрепал, вызвала «скорую»... Я всем мешал! И из общежития меня выгнали, потому что я чуть не устроил пожар. И я два месяца спал в трамвае, что ездит всю ночь по бульварному кольцу. Ты же бывал в Москве? Ты понимаешь? А днём я снова шёл на лекции и ещё немного спал на втором этаже корпуса заочки, тихо вжавшись в кресло, чтобы меня не выгнали охранники. Значит, я всем мешал. Такой вот я человек.

– И денег ни у кого не просил? На водку?

Старик провёл рукой по вспотевшему лбу.

– Просил.

– И они тебя всё равно любили.

– Да.

– Вот видишь, значит, ты добрый человек.

– Выходит, что так.

– А ученики есть у твоей сестры?

– Нет. Только дочка... и муж. Новый муж. Она на днях выходит замуж, во второй раз.

– Человек плох, когда забывает, что над ним Бог. Посмотри туда, там могила без венка, заросшая, со сломанным крестом. Это могила твоей сестры, – сказал Егор

– Она ещё долго проживёт! – улыбнулся старик. – И ей такого не желаю

– А вот... ты умрёшь... похоронят они тебя?

– Где угодно пусть хоронят, – крикнул старик и перекрестился. – Пусть только не жгут. Хоть здесь, на краю кладбища, хоть за оградой... Но в землю. Я ведь христианин.

Они постояли ещё в тени, передыхая и переждав зной.

Старик пошёл вперёд. Солнце нагрело асфальт дороги и от него чадило жаром.

– Может, тут есть другая дорога? – спросил старик Егора.

– Там недалеко есть тропинка, но для этого нужно зайти в лес, а это прибавит нам километра три с половиной...

– Как же тяжело идти по жаре... – вздохнул старик. – Я посижу на траве.

Он сел на край дороги, закрыв голову руками.

– Тебе жарко? – спросил Егор.

– Как в пекле, – простонал старик.

– Сейчас пройдёт. Так всегда бывает. Это жгут твоё тело, твоё ненужное тело.

Егор попинал носком ботинка камушки на дороге, что-то шепча, несколько раз перекрестился на восток и незаметно перекрестил старика. Он подошёл к нему, сжавшемуся на обочине, спрятавшему голову в коленях, дрожащему и скованному. Солнце теперь светило откуда-то

спереди, вставая над дорогой, круто уходящей вниз, словно бы в обрыв. Егор положил на голову старика руку и сказал что-то странным голосом, не разжимая губ. Он уже был не в чёрной рясе, подвязанной молитвенным пояском, а в светлых одеждах, источающих нежное тепло и ненавязчивое сияние.

Старик поднял голову и посмотрел на свои руки. Сейчас он стал, как тот мальчик, которого они встретили у дороги. Веснушчатым и прищуренным, как все южные загорелые мальчики.

Он пошёл за своим спутником, что реял впереди на высоте полуметра над асфальтом. Асфальт обрывался вниз и мальчик остановился. Под босыми ногами его были камни. Внизу трепетало море, спокойное, усталое, сиреневое. Ни одного барашка, полный штиль! В такой удобной бухте можно было сколько угодно прыгать со скального утёса и выбираться по гальке пологого пляжа. Словно это море снилось ему всю жизнь, и всю жизнь он хотел вот так раскинуть руки и прыгнуть.

– Прыгай! Прыгай! – услышал он весёлые голоса: их было много, они смешивались, искрились, и звали с собой.

ВАЛЕРИЙ БОХОВ

БЕРЕЖЁНОГО БОГ БЕРЕЖЁТ

«Бережённого бог бережёт» – мудрая пословица. И её дополняет и усиливает не менее рассудительное изречение «На бога надейся, а сам не плошай». Зная эти высказывания, предпримем что-то реальное для физического оберега предмета нашего внимания.

Сформировать караульную, охранную команду поручили мне. Команду секьюрити или службу безопасности, иначе говоря...

Вы можете спросить, почему мне? Отвечаю. Я назначен руководителем службы охраны Объекта. Я его так и буду называть – Объект. Полностью называть его не имею права. Кто знает о ком речь, тот знает. Остальные пусть строят догадки.

Я всю жизнь занимался охраной. На разных постах. Рядовым и не только. Я служил; а отслужив, получил приглашение от объекта. Кто-то, видимо, посоветовал ему.

Объектом было поставлено условие – набирать в его окружение людей из представителей самых воинственных народов Земли. И самых разных.

Языком общения для членов набираемой команды выбран русский или английский. Отбирать людей мне помогали специалисты из различных структур. Я же подбирал отрядников только из числа жителей России. Всю весну проездил. Финишную беседу с каждым кандидатом проводил тоже я. Добился этого права.

Финансирование нашего охранного подразделения взяли на себя силовики – армейские источники и фонды спецслужб. Если спросите, почему, отвечу – заинтересованность в Объекте.

Кроме нашего отряда из окружения Объекта можно выделить ещё одно подразделение, состоящее из обслуги – поваров, парикмахеров,

садовников, компьютерщиков, водителей авто, механиков, электриков, слесарей, лодочников, кастелянш... Их труд Объект оплачивал из своих собственных средств.

Вообще жил он с размахом. Выстроил себе усадьбу. По аналогии со старинными подмосковными, знаете – Кусково, Абрамцево...

Имелась и ещё одна группа работников – секретари и помощники Объекта. Эти ребята были приставлены, а, следовательно, и оплачивались, различными издательствами. Они и задания получали от своих редакций. Проверяли и перепроверяли сведения. Караулили информацию, полученную от Объекта. Самому ему они были почти не нужны. Да это и понятно. Потребность в них уменьшалась в условиях развития телекоммуникаций. Объект частенько прямо говорил своим подручным:

– Не нужны вы мне. Я по электронной почте связь имею куда надёжнее.

Перечислять моих людей и описывать их достоинства не буду – много времени может занять. Скажу лишь, что всего нас в отряде двадцать один человек. Назову лишь нескольких: гурх из Непала Притви Шах; Вильям от новозеландского племени маори; синх из Индии Халса; туарег Фирдаус – представитель таинственного «синего народа» пустыни Сахара; из Австралии бушмен Кейп; бербер Абдулла...

Думаю, что во многом у нашего воинства показной, даже показушный, бутафорский характер. Ведь использовать свои навыки, умение и знания наши бойцы в полной мере не могут. Незачем... А вот покрасоваться перед посетителями – всегда пожалуйста...

Приняв в своё подчинение отряд я, что называется, «взял под козырёк». Тем не менее, старательно неся службу, я пытался докопаться до причин такого подхода к набору разных людей, людей разных рас, обычаев, воспитания... В мыслях своих, учитывая желание Объекта встречаться с посетителями усадьбы как можно реже, я пришёл к выводу, что пёстрый состав охраны сможет как-то рассеять внимание гостя и отвлечь от самого Объекта, собьёт настрой визитёра на разговор с Объектом...

Как вы понимаете, собранные ребята относились к разным вероисповеданиям, имели разные привычки... У нас строгое правило – над другими религиями, языками, культурой не смеяться и не показывать пренебрежение к ним. При нарушениях – увольнение.

Прошло немного времени и мы приняли общий девиз «Хочешь общаться с товарищем – учи второй язык!». Для желающих, а таковыми оказались почти все, были организованы языковые курсы.

Помимо традиционных для каждого средств защиты и нападения мы имели в нашем арсенале и современное вооружение – автоматы, снайперские ружья и даже пулемёт. Всё это оружие хранилось в караульном помещении. Каждый знал, как, используя считывающее устройство, войти в хранилище. На дежурства разрешалось выходить с экзотикой типа сюрикены, духовые трубки, бердыш, лук, копьё, ножи джамбия и кукри, нунчаки... Но мы сами себе внушали, что как бы то ни было, мы вряд ли когда-нибудь применим имеющееся вооружение, как и свои приёмы и навыки. Вряд ли...

Неделя у ребят ушла на знакомства, на запоминание имён бойцов отряда.

Повседневная жизнь охранников монотонна и однообразна: отведённое количество часов «на посту»; регламент во всём – на сон, еду, тренировки,

личное время. Свободные дни, отгулы – разрешались крайне редко. При нарушении правил, при самовольных отлучках – безжалостное увольнение. Но до этого не доходило. Народ подобрался дисциплинированный.

Распорядок дежурств был такой.

Два человека в течение четырёхчасовой смены неотлучно дежурили в аппаратной, у экранов внешнего и внутреннего слежения. Внешний периметр аппаратуры охватывал ограду усадьбы; внутренние камеры слежения перекрывали всю охраняемую территорию.

Два человека постоянно дежурили «на калитке».

Четверо всё время находились на скрытых постах. Смена для них длилась шесть часов. И хотя уже выпал снег, продолжительность смен пока не сокращалась. Ведь настоящие холода ещё не наступили.

При выходе Объекта на участок, а прогулки на свежем воздухе он очень любил, из дома высыпало ещё восемь человек караульной команды. Они занимали места вокруг озера. Часто Объект охраны брал на пристани гребную лодку и катался на ней. Причём Объект не любил, чтобы его сопровождали на других лодках, скутерах, водных мотоциклах...

– Тут же природа, тишина, запахи... а вы вносите шум, треск, крики, ароматы паров бензина, – замечал он.

Поэтому на воде никого из моих ребят не было. Они рассыпались по берегу, готовые в любой момент броситься в воду для спасения шефа.

Как-то в холодную осеннюю погоду кто-то из охранников, кажется чеченец Мага, заявил:

– Не дай бог в такой холод оказаться в воде...

На что чукча Славка Несговоров заметил:

– А попробовал бы ты в Чукотском море среди льдин понырять за моржами. Вот там слово «холод» было бы более уместно.

Чуть ли не единственное, что разнообразило нашу жизнь и вносило в неё радостные ноты, – это соревнования. Если борьба без оружия, то всегда побеждал я. Всё же чемпионство по нескольким видам единоборств даёт о себе знать. С оружием, как правило, побеждал чукча. Общим оружием для соревнований единогласно выбрали лук. Славка Несговоров кроме лука применял ещё аркан, путанку... Стрелы, метательные орудия, пущенные в него, чукча легко отражал или ловил. Даже бумеранг, швырнутый аборигеном Австралии бушменом Кейпом, мог перехватывать только он. Стрелял же из лука так, что из двух стрел, пущенных одна за другой, последняя попадала в предыдущую и расщепляла её. Путанка – плётка-многохвостка, к концам хвостов которой были привязаны грузики. Если бросить её в убегающего врага, путанка стреноживает его и тот падает...

Пора уже рассказать об Объекте. Приоткрыть занавес...

Объект нашей охраны – предсказатель. Предсказатель, оракул, экстрасенс, гадальщик, ясновидящий, колдун – как вам угодно. Но видит он не все значимые события, не войны, не сдвиги тектонических плит, не подвижки континентов, не природные явления, не катастрофы, не эпидемии... А видит он лишь одно – смерть человека. Казалось бы незначительное для мира событие – факт смерти индивидуума. Тем более все люди смертны. Особенность чувств и ощущений нашего Объекта в том, что он предсказывает смерть кого-то за несколько дней

до наступления её! Для человека и его ближайшего окружения, и не только ближайшего, смерть, конечно же, является событием, поворотом, зигзагом судьбы. Ведь каждый человек – это отдельная планета, отдельная вселенная со своим миром знаний и эмоций. И смерть его – взрыв, крах всего... Порой для отдельного человека смерть – это тот же тектонический сдвиг. Да и сдвигом в сознании какой-то части человечества может быть это событие, называемое «смерть». Ведь чем больше популярность человека, смерть которого предсказана, тем большее потрясение испытывает человечество, вернее, его часть.

У Объекта не было друзей, не было подруг. Потребность же общаться с кем-то иногда появлялась. Видимо, ко мне он был расположен. И часто беседовал со мной.

Появление своих предсказаний, своих предвидений Объект объяснял так.

– Я вижу картинку – человека, окружённого цветами. Гора цветов окружает его. Проходит несколько дней и весь мир слышит, что в результате тяжёлой и продолжительной... Или узнаёт, что умер внезапно... Или после короткой огневой схватки... Или в результате бандитского нападения... Отчего человек умер или погиб, я не знаю, никак не чувствую. Своей смертью он умирает или не своей? Я знаю только, что он умрёт. Вот в этом я уверен. Это свойство – предвидеть смерть – появилось у меня после травмы головы, когда я побывал в автокатастрофе.

Ещё раньше я узнал, что в этой автокатастрофе погибли его жена и семилетний сын.

Конечно, в своих предсказаниях Объект сообщает лишь о кончине публичных лиц. О людях, по крайней мере, мелькающих на телеэкране и в СМИ. Это политики, крупные чиновники, спортсмены, поэты, художники, деятели кино, мастера сцены – актёры, известные музыканты, певцы...

О финале судьбы рядовых граждан Объект не знает. Не знает, так как никогда не видел и не слышал о тех, кто тоже иногда, как ни странно, покидает этот мир.

Как Объект получил известность? Иногда он вспоминал о том, как начал восхождение на вершину известности как прогнозист.

До автокатастрофы он работал журналистом. Был, по его же мнению, журналистом средней руки. Таким, что звёзд с неба не хватал, но был заметен. После происшествия на шоссе он заметил, что когда был излечен от головных болей, перед его взором стали появляться красочные картинки, похожие на яркие, сочные фотографии известных людей. Фото известных людей в окружении многочисленных цветов. Память на лица у него была отменной. То есть он узнавал этих людей. И вот он заметил, а заметить это было несложно, что виденное им лицо через считанные дни объявляется умершим... Поначалу он не доверял себе, сомневался, много раз проверял, перепроверял. Нервничал, когда сообщений о смерти не было, а он видел море цветов и человека... Со временем убедился в правоте и достоверности своих видений. Это придало ему уверенность. И он стал приносить в редакции, где его знали, лист бумаги с фамилией и именем. И утверждал при этом, что человек по фамилии, скажем, Джек Руби, не жилец: он скоро умрёт...

– Как скоро? – спрашивали его.

– Через считанные дни, – был ответ.

Поначалу над ним смеялись, подтрунивали. Его унижали. Ему не верили. Да и кто поверит в информацию о здоровом внешне человеке с утверждением о почти мгновенной его смерти?

Не сразу завоевал Объект в заинтересованных кругах авторитет и признание, не сразу.

Когда смеяться в редакциях перестали, а стали ему верить, безоговорочно верить, развернулась ожесточённая борьба за право публиковать его прогнозы. Издательства наперегонки пытались перебить друг друга высокими гонорарами. Ведь сенсационные новости влияют на тираж изданий.

Затем в дело вмешались органы, в то время КГБ.

Был определён такой порядок работы Объекта и прессы. Объект приносит свои опусы, как их называли в спецслужбах, в редакции, в издательства. Но те не могут запускать полученный материал в оборот. Нет. Запрещено! Из редакций или издательств передают не бумагу, а уже документ – и они знают, куда его передавать. А уж там принимают решение о времени придачи сведений гласности. Только тогда трубит пресса, трубит телевидение, трубит радио. Только тогда поют корреспонденты, дикторы, эксперты... Но ещё до опубликования известия, этого потребовал Объект, издательства и редакции перечисляют Объекту гонорар.

В самом начале своей карьеры, рассказывал Объект, он появлялся в знакомых редакциях с информацией о клане Кеннеди. Помните? Джон Фитцджеральд Кеннеди – президент США до 1963 года. Именно с Джона Фитцджеральда начался список «клиентов» Объекта, появившихся в средствах массовой информации. После этого случая редакции и издательства охотно помещали в открытом доступе данные Объекта, получив «отмашку» разрешающего органа.

Напомню, что значительно позже в прессу ушли сведения уже о брате Джона – Роберте, министре юстиции США до 1968 года. Ещё позже – о сыне Джона, погибшем в авиакатастрофе, о смерти внучки Роберта и уже её сына... Помимо этой трагической цепочки Объект представил ещё в 1967 году редакциям информацию о Ли Харви Освальде.

А помните о смерти Улофа Пальме – премьер-министра Швеции в 1986 год? Объекту долго не могли поверить. Уж больно нелепым казалось сообщение об этом. А ведь сообщал он это за три дня до факта наступления события, до убийства Пальме.

Иногда знание спецорганов и элиты о предстоящей смерти зарубежных политических деятелей за несколько дней позволяло воспользоваться этим и использовать эти сведения в своих интересах. Об этом Объекту сообщали, бывало, да и сам он смог порою заметить какие-то изменения в межгосударственных отношениях.

Можно вспомнить об информации Объекта о смертях плеяды членов Политбюро: маршале Гречко (1976 год), Кунаеве (1978 год), Машерове (1980 год), Суслове и Леониде Ильиче Брежневе (оба – в 1982 году), Юрии Андропове и Дмитрии Устинове (оба – в 1984 году), Константине Черненко (1985 год) и Андрее Громыко (1989 год)...

В то время ему снизили оплату труда со словами:

– Да в них, в кого ни ткни, не ошибёшься.

На что Объекту пришлось поднять голос:

– Вот вы сами и угадывайте теперь, кто будет следующим. Согласны?

Последнее его громкое сообщение, вы помните, было о смерти сенатора США Джона Маккейна в 2018 году.

О конце жизни эстрадных звёзд он сообщал регулярно. Как и о скорой смерти больших спортсменов.

Интересно, но многим читателям, слушателям и зрителям казалось, Объект знает не только дату твоего расставания с жизнью, но и определяет её. Он виделся людям садовником, ухаживающим за генеалогическими деревьями жизни многих, если не всех, людей. А как иначе? Ведь Объект утверждает, что лицо умрёт. И оно умирает.

Боясь за свою жизнь, жизнь близких, пытаясь продлить эти жизни, многие старались добиться встречи с Объектом, добиться расположения его.

Вот поэтому возле Объекта нашей охраны, вокруг усадьбы, всё время кучкуются толпы людей. Все они хотят встречи. Все хотят отодвинуть дату своей смерти. Хотят подружиться с Объектом. А нам приходится их сдерживать.

Если есть бог на земле, считали многие в народе, то это, конечно, он – Объект.

И люди хотели увидеть его хоть на секундочку.

Мне же по роду своей деятельности приходилось общаться с ним ежедневно. Иногда и не видишь его, но слышишь.

Так, часто голос был слышен сквозь открытые окна его кабинета. Например, он ругал цифровиков:

– Вам сложно наладить интернет? Наладьте! Невозможно тащиться с такой скоростью! Я на хромой собаке скорее дотащусь до редакции, чем с вашей электронной почтой. – Последнее время он редко выезжал в редакции. Зачем? Ведь теперь есть интернет.

На конных прогулках Объект всегда сопровождал Аршан, калмык.

Я же постоянно бывал свитой Объекта на пеших прогулках.

Его любимая поговорка, он часто приговаривал её: «Вскрытие показало, что больной умер от вскрытия». Говорит и сам же смеётся своей шутке.

На прогулках от него можно услышать неожиданные вопросы.

– В названии какого города слышно звяканье меди?

Мне остаётся лишь пожатие плечами. Много городов я знаю, но ответа у меня нет.

– Вот проговори несколько раз Джезказган...

– А какие российские города были, и это совсем недавно, столицами соседних государств? – Почему-то многие вопросы Объекта имели географический уклон. Он как-то сказал, что если бы не учился в своё время на журфаке, то пошёл бы на геофак.

Я стал перебирать столицы азиатских республик, столицы государств – бывших наших республик на западных границах, и не смог ответить и на этот вопрос.

Он, посмеиваясь, пояснил:

– На заре советской власти Смоленск был столицей Беларуси, а Оренбург – столицей Казахстана.

Как-то Объект завёл речь о великом русском путешественнике Пржевальском Николае Михайловиче.

– Пржевальский предпринял несколько походов в Тибет. Собрал богатейшие коллекции флоры, фауны. Коллекции минералов и камней...

Составил карты местностей, которые раньше были белыми пятнами для нашей науки... Дал описания глубин и скорости течения рек. Дал описания характера дорог, их пропускной способности и основы полотна их... На первую свою экспедицию ему удалось получить финансирование от Императорского Российского географического общества и от Военной академии при Генштабе. Но собранных средств оказалось недостаточно. Знаете, – Объект обращался ко мне, – как он достал недостающие денежные средства?

– Нет, не знаю и не догадываюсь.

– Успешная игра в карты помогла ему в этом. В его экспедициях принимало участие самое большее три десятка казаков и военных. И вот этими силами он храбро оборонялся, а то и обращал в бегство сотни вооружённых хунхузов и прочих бандитов.

Долгое время жизнь наша в усадьбе текла спокойно и размеренно. Даже безмятежно. Вахта, языковые курсы, освоение видов различной техники передвижения: сухопутной, водной, воздушной. Жизнь проходила ровно, без стрессов, без тревог и волнений до того времени, когда наша усадьба и все мы, проживающие здесь, не подверглись нападению разъярённой толпы. Нападение было вызвано тем, что где-то просочилось, протекло... и стала достоянием гласности новость:

– Через считанные дни умрёт наш общий кумир...

Кумиром, идолом толпы был собирающий полные стадионы певец. Да, от него без ума было население страны и многих других государств. И не только молодёжь ломилась в залы и на стадионы. Зрелые люди тоже были заражены фанатизмом.

Грубо было сообщено о кончине. Так грубо, что это задело людей, расстроило, затронуло тонкие душевные струны и разожгло толпу. Ибо это уже были не люди, а неуправляемая, озлобленная и разгневанная толпа.

Почему-то решили, что так неумно и грубо отозвался о смерти певца Объект.

Нападение на нас было неожиданным и страшным. Разъярённая толпа – это ужас, это – стихийное бедствие. Напали на усадьбу настолько внезапно, что караульное помещение оказалось в их руках. И массу огнестрельного оружия мы не смогли уничтожить или изъять. Но никто из нас не дрогнул. Все приготовились если не к короткой схватке, то к боестолкновению. Но последовал приказ Объекта:

– Не убивать! Строго настрого! Не бить никого из нападающих! Старайтесь не трогать никого из толпы! Ни одного человека! Надо продержаться до прихода ОМОНа! Я им звонил! Вызвал! Скоро будут!

Приказ Объекта был, безусловно, разумным – ведь нельзя, чтобы пролилась людская кровь. Вот поэтому приказ босса я продублировал:

– Бойцы! Нам можно только обороняться! Не атаковать толпу!

Никто из моих ребят не отступил, не умчался на квадроцикле, не улетел на воздушном велосипеде или на дельтаплане вертикального взлёта... Индивидуальный самолёт стоял заправленный... Подземный ныряющий мотоцикл стоял без движения....

Каждый из нас, обороняющихся, участь свою готов был принять стойко...

Из толпы стали раздаваться выстрелы.

В ответ из наших рядов поначалу не было даже устрашающих криков и гримас маори Вильяма и гурха по имени Шах. Все наши стояли молча. Стояли молча, встав в один в ряд. Масай Коною, так тот даже не смотрел в сторону толпы. Коною стоял в типичной позе для саванных жителей – обняв ногой своё высоченное копьё. Щит, оббитый шкурой льва, он отбросил в сторону.

Но вот у цыгана Пеши, похоже, сдали нервы, и он не стал ждать развязки, бросился к конюшне, но не добежал несколько метров – скосили пулей. Почти тут же Аршан повторил его путь к любимым лошадям. И его конец был такой же.

Ингуш Идрис буйствовал, рядом с ним сражался сирийский курд Али, а потом всё стихло.

Мага, чеченец, долго и успешно оборонялся, джигитуя кинжалом, не подпуская к себе никого из нападавших. Спина к спине с ним сражался наш пластун из терских казаков Кузя Соловей, фланкируя шашкой. Никто не мог достать их, но вот два выстрела и оба они свалились замертво.

Японец Аки из старинного самурайского рода сначала только оборонялся своим мечом, потом не выдержал и зарубил кого-то, нарушив приказ. И тут же зарезал себя, выполнив не сэппуку и не харакири, о которых он рассказывал нам, а полоснув себя мечом по горлу.

Бразилец Давид бросился к пруду и понёсся к нему с такой скоростью, что никто не смог ни догнать, ни сбить его с ног. А таких охотников хватало. С дубинками, с палками. С ружьями...Выстрелы были слышны. И довольно часто. Вот он добежал. Нырнул в водную стихию. Он – ловец аллигаторов, кайманов, гавиалов и анаконд... Нырнул и... больше я его не видел.

Тут вскоре я потерял сознание.

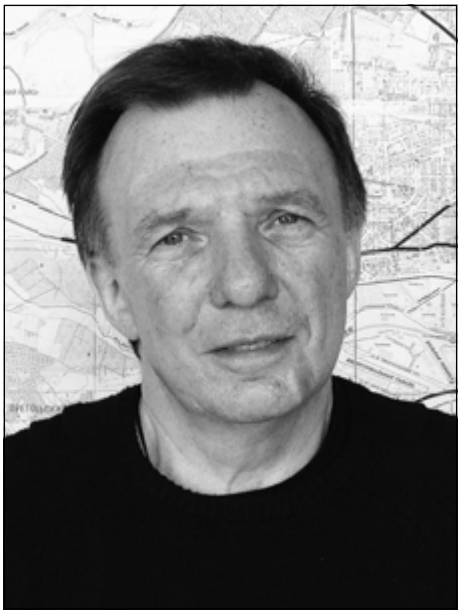
До этого схватил Объекта в охапку и засунул его в щель паркового грота. Сам же полностью скрыться в ней не смог. Бок и рука были видны. Вот этой рукой я и отмахивался от нападавших. И вот эту руку мне потом и отняли, из-за того, что плечо было изрублено топором...

Других ребят я не видел. Позже уже узнал, что каждый из них умер от большого числа ран.

Да, чукча Славка остался живой. Без единой царапины. Он зарылся в кучу срезанных старых веток в глубине сада. Позже он сказал мне, что накануне, в лунную ночь, услышал бубен шамана, который ввёл его в транс. Он стал испытывать неописуемый страх и под утро нашёл единственный способ спрятаться от охватившего его ужаса – в этой куче веток. Находясь там, он даже не знал о произошедшем нападении на усадьбу: он спал крепким сном, в который его вогнали настойчивые ритмы бубна. Я уверен, что Славка не струсил и не врёт. Эти чувства ему не свойственны, как и всем чукчам.

Объект же остался в живых, но свой дар, свои способности предсказателя он утратил. Врачи пояснили, что это от стресса.

Бог оттолкнул, отринул его. А ведь совсем недавно им же был нежно поцелован.



АЛЕКСАНДР ВИН

ПАРИЖАНКА

По крутым склонам старых острых крыш на город медленно опускалась большая снежная туча. Набережная реки, и до того малолюдная, понемногу окончательно пустела, туристы теряли свежий утренний интерес к событиям прошлых веков и торопливо уходили с улиц, избегая возможно неприятного ненастья.

Мокрая серая брусчатка блестела следами последних дождей, в тесных пространствах между древними камнями тёмно зеленел шершавый мох.

Он неторопливо достал из кармана пальто рабочий нож, открыл тяжёлое лезвие.

– Ну что, сестрёнка, пожалуй, нужно соглашаться...

Не наклоняя широкого зонтика, Одда с любопытством слушала хриплый голос и смотрела на сильные движения хмурого, давно не бревшегося человека.

– Только если ты уверен, что сможешь это сделать.

Он опустился перед ней на колено, смятую кепку бросил рядом на простор мелкой лужи.

– Встань пока ногой сюда.

Лезвием аккуратно, в несколько движений, он вычистил землю из брусчатого промежутка, потом, нажимая и покачивая как рычагом прочным ножом, со скрипом раздвинул рёбра двух гранитных камней.

– Держи, сестрёнка.

Отряхиваясь, мужчина смеялся глазами.

Без просьбы, на время освобождая её руки, взял зонт, подставил для опоры плечо.

По-прежнему спокойно Одда провела носовым платком по высокому каблуку своей так удачно освобождённой из каменной ловушки дорогой туфли, надела её, улыбнулась.

– Спасибо.

Нож, обтёртый лезвием о рукав старого пальто, защёлкнулся.

– Это же ведь не для себя, правда? Такие каблуки неудобны... Значит – это ложь.

И, не ожидая ответа, ссутулившись мокрой широкой спиной, мужчина медленно зашагал дальше по набережной.

Даже и после середины этот день был удивительно светел.

Неожиданно изобильный, по-осеннему короткий снегопад отодвинул ближе к вечеру уже привычные ранние сумерки.

На главной городской улице волглый снег завалил высокие ступеньки маленьких модных магазинчиков, и у дверей почти каждого из них юные продавщицы вынужденно убирали совками и щётками с пешеходных тропинок безобразные снежные комья. Сила обстоятельств и дисциплина выгодных рабочих мест выгнали их, таких красивых и стройных, в тоненьких одеждах, с тщательными причёсками, в курточках, в дорогих шубках, ковыряться в кучах неприятных сугробов, низко наклоняя головы, скрывая от прохожих свои приготовленные не для такого кукольные личики и стыд трудной работы.

Он шёл по улицам, невнимательно раздвигая ненадёжный снег тяжёлыми башмаками, и всё ещё продолжал улыбаться.

В конце прошлой недели пришлось привычно заняться заменой входного замка в своей квартире. Сосед, медленно прожёвывая что-то из позднего завтрака, спросил:

– Чего ж ты так? Ключи часто теряешь?

– Нет, я часто их отдаю...

Не решаясь на окончательный поступок, он после развода два или три месяца жёг на берегу свои рукописи и архивы, каждую субботу выбираясь из дома за город, на их заветное место, и час или немного дольше поддерживал когда-то важными бумагами огонь небольшого костра...

Он замечал, как быстро становится бедным.

Поначалу, чтобы не подводить людей, которые никак не желали понимать его поступков и мотивов, но, тем не менее, по старой памяти давали ему иногда заработать, нужно было при встречах «выглядеть»...

Примерно через год в активе его гардероба остался последний прежний костюм и хорошие, но давно уже неисправные наручные часы. Перед каждой встречей с заказчиками проектов он ставил бесполезные стрелки примерно на то время, в которое ему предполагалось с людьми разговаривать и, беззаботно улыбаясь, точно в назначенные минуты ненароком демонстрировал господам свои дорогие часы.

Возвращаясь, он шёл долго.

На скромной окраинной улице незаметные люди собирали большими лопатами мусор и снег в кузов большой машины, медленно, с ред-

кими остановками катившейся вдоль обочины. В освещённой кабине пожилой водитель увлечённо читал книгу.

«Какую?».

Привязанная к чугунной решётке ботанического сада скучала в вечернем холоде серая лошадь. Пьяный и давно уже насквозь мокрый от снежного дождя молодой офицер хлопал её по морде и уверял, что он сегодня в полном порядке. Красивая военная фуражка валялась рядом, на мёртвой жёлтой траве.

«Всё ли в порядке?».

Обдав брызгами, тяжело прогрохотал по вечерней улице на выезд из города грузовик, наполненный длинными досками, гибко свисавшими через открытый задний борт. На конце сосновых досок дисциплинированно существовала прикреплённая тряпка – красные женские трусики, распяленные на жалобно тонкой и незначительной проволочной вешалке.

«Опасность?».

В чистом снегу под памятником философу с мировым именем гнусно и беспорядочно блестели пустые пивные бутылки.

«Уроды...».

Как часто и случалось в этих краях, утро следующего дня с рассвета уверенно наполнилось неожиданным солнцем.

Ровный асфальт дальних и новых городских набережных, по-свежему серый в низких стремительных лучах, блестел перламутром.

Он шёл, в ожидании привычных действий радостно размахивая длинными руками, приветливо здороваясь с незнакомыми вежливыми людьми, с тщанием порученной работы рассматривая другой берег реки, мощные причальные кольца и тумбы, узкий жёлтый кирпич облицовки откосов.

Под тюльпановым деревом возле музея он остановился, удобней устроив в ладони растрёпанный блокнот, сделал подробные рабочие записи.

Задумался о другом.

«Сильная и беспомощная...».

С лёгкостью позабыв на минуту о предстоящих дневных заботах, он вдруг вспомнил стройную женщину, растерянно застывшую на его привычном пути, на пустынной старинной набережной, вчера, за несколько мгновений до снегопада.

Блестящая красная туфля, хищное острие тонкого каблука, случайно и прочно застрявшего между камнями брусчатки, её улыбка...

«Упрямая... И чего было ждать? Молча...».

Река сияла наступившим холодом и всё ещё сильным, горячим на безветрии осенним солнцем.

Уже встречались на пешеходных тропинках первые, рано проснувшиеся туристы, обычные пожилые пары и отдельные медленные старики. На бетонных берегах одинаково удобно устраивались со своими незначительными снастями местные рыболовы, забавные персонажи с давно спрятанным ожиданием в глазах.

Один из них заметил его, взмахнул рукой, пригласил выпить кофе из большого термоса, завёл длинный разговор про политику и о налогах.

Звонко засмеялся где-то далеко ребёнок, смех разнёсся над пустой и ровной пока ещё рекой.

Приезжие люди фотографировали друг друга, небо над острыми шпилями собора и всё то, что им казалось в этом приморском городе красивым, а для него было всего лишь работой.

– Эй!

В спортивной куртке, в джинсах, маленькая, с дорогим фотоаппаратом.

– Не узнал?

В кроссовках – совсем другая.

– Привет, спаситель! Меня звать Одда.

Уютная, весёлые глаза.

– Чего молчишь?

Он вздохнул, помял блокнот большими ладонями, переступил башмаками по краю лужи, разделявшей их.

– Удивительно встретить женщину, которая умела бы так правильно слушать...

– Про что это ты?

– Про твою обувь.

– А-а... Да, согласна.

Он сделал шаг в одну сторону, следующий – в другую, но Одда каждый раз упрямо оказывалась на его пути.

– Почему-то мне кажется, что ты много знаешь про эту реку. Правда?

– Больше всех.

– Расскажешь, время найдётся?

Одда смеялась над неожиданно хмурым человеком и была уверена, что имеет на это полное право.

Он шёл рядом с ней и думал о счастье.

Сама не зная ещё почему, Одда хотела спросить его о многом.

– А почему ты сейчас не на службе? Не желаешь в такую погоду заниматься ничем обязательным, просто гуляешь?

– Половину своей работы я уже сделал. Потом появилась ты и принялась мне мешать.

– Для бухгалтера у тебя слишком стоптанная обувь. Да и по возрасту...

– Смотритель городских набережных. Каждый день обхожу оба берега, составляю отчёт для мэрии. Если нужно – помогаю рабочим. За дополнительную плату. А про мои башмаки... Когда не хочется объяснять их историю, говорю, что в далёком Париже каждый носит то, что у него есть.

– Здорово! Значит, я тоже парижанка?!

– Наверно.

Он долго молчал и много думал в последние месяцы.

Возникла потребность говорить с кем-то обо всём важном, спокойно произносить честные слова, непременно чувствуя при этом уважение к своим глубоким сомнениям.

Почему она?

Похоже, что приезжая. Да и смотрит прямо в глаза.

Зачем он сейчас рядом с ней?

Если возникнет хоть одна фальшивая нота – он попрощается и уйдёт.

Но ведь выглянуло же на мгновения горячее осеннее солнце, и нужно стараться хотя бы коротко согреться в его лучах!

– Про одежду и обувь я знаю достаточно...

Одда отступила на шаг и, присев с фотоаппаратом, сделала кадр. Ещё один.

– ...Хотя могла бы изучить их и получше.

– Торговля?

– Нет, другое.

– Есть какие-то откровения?

– Вроде того...

– Например?

Улыбнувшись упрямцу, Одда кивнула на его ноги.

– Обычно туфли на шпильках говорят о желании достичь какой-то цели. Грубые башмаки, как у тебя, – это попытка добиться цели любой ценой.

– Почти правильно. Но не про меня.

– И не про меня.

Позабыв про назначение фотоаппарата, Одда, шагая, небрежно покачала им на ремне, потом и вообще повесила на плечо.

– Была манекенщицей...

– Моделью?

– Это разное.

– Не справилась? Выгнали?

Заметив улыбку, Одда показала ему язык.

– Было интересно, но слишком много лжи. Мне стало скучно. Моя бабушка сказала, что это произошло именно в то время, когда ушли с помоста манекенщицы, закончилась мода и началась одежда.

– Замужем? Откуда деньги на жизнь?

– Я выросла в богатой семье. У родителей никогда не было необходимости думать о деньгах. Они живут вон там, за рекой...

Одда махнула рукой в сторону чёрно-оранжевого кленового парка.

– А я вернулась к ним на прошлой неделе. И уже не замужем.

Он не задумывался над тем, как звучат его ответы. Она удивлялась простой силе и уверенности неожиданно услышанных и непридуманных слов. Как будто чистая вода...

С таким же наслаждением, как и слушала, говорила сама.

– Чем займусь? Не знаю. Одна моя знакомая, бывшая балерина, работает в конторе по аренде башенных кранов...

Он чувствовал, что это забавно, но – правда. Спешил сам.

– Однажды был в жизни случай – я проснулся утром в чужой кровати в деревянных башмаках.

Мгновение промедлив, Одда расхохоталась.

– Признавайся, это были излишества?!

– Да, мы проектировали в то время скандинавам причальные сооружения в одном их морском городке, славно сошлись там с местными ребятами характерами. Весь вечер танцевали что-то национальное, много пили. Вот...

– Послушай, а почему ты сейчас так?..

Одда нахмурила брови.

– ...Ты ведь образован, правильно? Почему сознательно небрит? Почему в рванье?

«Вот оно!».

Вдруг захотелось ответить, набрав полную грудь прозрачного воздуха.

– ...Посчитал, что жизнь закончилась. Зачем люди придумывают такую подробную ложь?! Я ведь делал всё возможное, чтобы наше счастье продолжалось, но со мной поступили настолько грязно, что захотелось немедленно содрать собственную кожу...

Тронув за рукав, Одда тихим движением попросила его остановиться у парапета.

– Поначалу много занимался архитектурой прибрежных зон, реставрацией и проектированием набережных, мои мысли были интересны и поэтому стоили дорого, а потом, после всего... Слишком многое напоминало, не мог ничего и никого видеть, делать такие же, как и тогда, движения... Почти для всех стал чужим.

Оставил для себя простую работу, простые обязанности.

Денег хватает.

Квартиру сдаю, сейчас – голландским студентам, тоже будущим архитекторам, прежние коллеги им меня рекомендовали.

Сам живу на реке, на плавучем дебаркадере портовой администрации, там знакомый капитан... Вот так.

С пристальным вниманием Одда отметила, как побелели костяшки его сильных пальцев, прочно держащие чугунный край парапета, но никак не могла видеть своё внезапно побледневшее лицо.

– И никого рядом?

– Если обезьяна протягивает тебе банан, то вариантов всего три. Ты некрасив, она умна, ты голоден. Кое-кто усмехался, предлагая мне мелкую помощь. Приходилось грубить.

– Хотелось выглядеть скромным?

– Многим скромность кажется чересчур вульгарным украшением.

– А компромисс? Пробовал?

– Компромисс, компромиссис, компромистер... Ради чего?

– Ладно, извини.

Потом Одда, строго глядя ему в глаза, угостила его на причале кофе.

– И не спорь – это гонорар за экскурсию.

Что было непривычным для обоих – они много смеялись.

– Ты говорила, что вовремя бросила свои модельные дела. Почему? Причины?

– Почувствовала, что затягивает. Не захотела продолжать.

– Морякам тоже знакомо такое...

Смеялись и не смущались быть откровенными.

– Счастлив тот, кто, услыхав вопрос «Когда вы последний раз занимались сексом?», смотрит на часы, а не на календарь.

– А куда смотришь ты?

Спрашивая, Одда тревожилась, оставаясь лукавой.

– На ту, которая задаёт мне такой вопрос.

Их день был долгим.

Когда уходящее солнце сделало реку красной, он заметил, что Одда устала.

– Всё, всё. Тебе необходим отдых. Я привык к таким прогулкам, а ты...

– Пока нет.
– Тогда прощай.
– До завтра? Соглашайся, смотритель! Сходим в кино. Во сколько?

Давно забытый запах утюга казался странным.

Линии тщательно отглаженного костюма поражали правильной геометрией, а с вечера ещё начищенная обувь – лёгкостью, сухим и твёрдым кожаным скрипом.

Первый раз за многие дни он так внимательно брился.

Где-то в одной из больших походных сумок нашёлся почти пустой флакон когда-то волнующего одеколона.

Рубашку и галстук он купил, запросто попросив капитана дебаркадера о кратком финансовом одолжении.

Фасон его почти позабытого белого плаща был вне времени.

Когда, полностью приготовившись, он выпрямился и встал перед высоким зеркалом в кают-компании – вздрогнул.

И это он был таким? Тогда, давно?..

К реке вышел заранее.

Ничего вокруг за прошедшие ночные часы не изменилось: тот же самый бетон новой набережной, брусчатка древней мостовой, неясное намерение восходящего солнца; редкие, привычные по своим утренним поступкам люди.

Другим был он сам.

Каждый шаг – как полёт, стремительный и точный. Тугие манжеты звали делать только значительные по своим последствиям жесты.

Горько и гулко прозвенела где-то в далёком парке осенняя птица.

Он коротко и нетерпеливо шагал из одного конца набережной в другой; желая сохранять приготовленное впечатление, зашёл под открытый навес музейного крыльца только когда упали первые и, как ему хотелось, случайные, капли дождя.

Через минуту ливень уже ревел потоками из водосточных труб, грохотал совсем близким рассветным громом.

От воды, наверх, к лестницам, быстро собрав свои удочки и рюкзаки, пробежали два рыбака.

Знакомые, но вряд ли они обратили внимание на высокого, в плаще и в строгом костюме молодого мужчину, что-то ожидающего у дверей музея.

Да и он просто отметил взглядом их бегство, с тревогой наблюдая за другими событиями, происходящими на дальнем повороте набережной.

Он знал этого старика на скрипучей коляске.

Каждое утро, если бывала погода, рыбака-инвалида привозил к реке сын. Ровно в полдень он забирал отца, помогая тому сделать несколько трудных шагов от парапета к коляске.

Старик всегда всем улыбался, приветствуя проходивших мимо людей удачным количеством пойманных рыбок в прозрачном пластиковом пакете.

Сейчас старик молча кричал...

Холодный дождь хлестал по тонкой спине, быстро прибив к пронзительно маленькой голове редкие седые волосы.

Рыболов сначала скрючился в своей коляске, не ожидая никакой своевременной помощи, рассчитывая только на скорое окончание дождя; потом поприжимал крохотные озябшие кулачки ко рту, что-то надумал, резко привстал, перевалился и выпал с сиденья на асфальт.

На коленях, по лужам, старик сделал несколько движений-шагов, толкая перед собой дёргающуюся маленькими колёсами коляску и часто, с заботой поправляя связку удилищ, неаккуратно пристроенных поперёк подлокотников.

Миновав пространство ровных луж, у первых же высоких ступенек, ведущих от набережной на городской мост, старик попробовал было поднять коляску на препятствие, но упал. Коляска опрокинулась.

Кому другому могло показаться, что насквозь промокший старик кричит что-то злому небу, но он-то видел, что это были слабые слёзы бессилия...

– Давай, давай, приятель! Вставай! Ничего страшного, справимся! Ты пока держись за перила, отдохни, а я сейчас заброшу твой транспорт на мост, потом вернусь за тобой!

Дождь сохранял прежнюю силу, пронзая струями немногую оставшуюся осеннюю зелень прибрежных деревьев и с угрозой шелестя по шершавой реке.

Подбадривая, он уверенно улыбнулся, накрыл старика враз намокшим белым плащом и взвалил скрипучую коляску себе на плечо.

– Удочки...

– Извини.

Пришлось спешно нагнуться с ношей, собрать рассыпавшиеся по лужам невесомые разноцветные удилища.

Он чувствовал, как грязь с поднятых высоко колёс стекает на его уже совсем не твёрдый воротник рубашки, попадает в рукава; как насквозь, после первого же невнимания к глубокой луже, промокли ботинки.

Оставил на мосту коляску, бросился вниз, к человеку.

– Ты это... ты иди, я теперь сам, справлюсь... парень, ты иди...

– Держи-ись, старик! Обними-ка меня за шею! Вот так, не смущайся!

Пожившее тело удивило лёгкостью.

В три прыжка он поднялся со стариком на мостик, опустил инвалида в коляску.

– Вот твои удочки, плащ оставь себе, накройся. Поехали!

– Нет, не надо!.. Погоди. Спасибо...

Издалека по пузырящимся лужам к ним мчался сын старика.

– Спасибо... Ты добрый.

И то ли дождь струился с мокрых волос на морщинистое лицо, то ли действительно это были слёзы.

«Ну, вот и всё, сюжет не для кинематографа...».

Он был уверен, что навсегда приучил себя не огорчаться, но ошибался.

«Грязный, мокрый, а она...».

Пассажирам проезжавшего в эти мгновения по мосту трамвая повезло – они увидали то, о чём нужно рассказывать замечательным и умным детям.

Два человека под дождём шли навстречу друг другу, сияя глазами.

Он – высокий, смуглый, в мокром и грязном костюме. Строгий галстук, белая рубашка.

Она – стройная, в тёмном платье. Красные туфли на невозможных каблуках. Спутанные ливнем волосы, только что бывшая шикарной причёска.

– Ты почему закрыла свой зонт?!

Одда в ответ засмеялась, дрожа тонким телом.

– Я всё видела. Я видела тебя... Хочу так, как и ты.

Не решаясь ещё обнять, он взял в свои руки узкую женскую ладонь.

– Глупая.

– Вчера я со страхом ждала мгновения, когда ты начнёшь лгать. Готовилась сразу же уйти... Ты был честен. Имея возможность и соблазн не раз удачно и незаметно обмануть меня, ты сознательно так не поступал. Но это невозможно! Таких людей я не встречала. Так что...

Опустив голову, Одда подала ему и вторую ладонь.

Дыхание и дождь разрывали её торопливые слова.

– Ты всю жизнь хотел говорить правду, а я очень долго ждала, чтобы мне не лгали. Есть смысл продолжать добиваться желаемого вместе...

Он хохотал молча.

– Ты что?

Всё же решился, обнял и нежно поцеловал.

– Согласен. Только если ты уверена, что хочешь это сделать.

ИННА ВОЛОШИНА

НАС НЕ ДОГОНЯТ

В провинциальном Ейске было лето. Из открытого окна пятиэтажки чей-то пьяный голос подпевал Челентано, по накалу исполнения забивая самого маэстро. Возле дома шмыгали бездомные коты, перекликаясь на своем протяжном языке. Долгий грустный гудок электрички предупреждал припозднившихся пассажиров.

Наталья стояла рядом с Семен Семеновичем у своего подъезда и невольно слушала соседские пьяные крики. В тот вечер Семен Семенович сделал ей предложение. Для тридцати девяти лет она выглядела очень даже неплохо – крепкая, сбитая, но как-то грубовато скроенная, словно кроили ее неловкой ученической рукой. Правда, внешняя простоватость компенсировалась почти детским задорным обаянием, звонкостью, за которую родные прозвали ее «колокольчиком». На вечеринках она первая без стеснения выходила в центр круга и так лихо отколачивала пол литыми, сильными ногами, так жарко дышало в танце ее сбитое тело, что видно было, сколько в ней еще сокрыто полнокровной, нерастраченной жизненной силы.

Личная жизнь ее долго не складывалась. Влюбчивая, в молодости она постоянно кем-то увлекалась, но дольше и сильнее других любила женатого соседа. Целый год ходила с большими глазами и надеждами, вся нараспашку этой любви. Он догадывался, какой ураган вызвал в этой неопытной душе, и как-то в выходные, когда жена с детьми уехала к матери, встретив Наталью на лестничной площадке, шутливо приобнял ее, замурлыкал что-то нежное, занижая голос и включая в него особые обертоны, и повлек за собой в свою тесную комнатушку, в свое ребячество и легковесность. Но не такой любви она хотела – ни

короткой, ни одним махом. И встречи хотела не в чужой спальне, а торжественной, красивой. Всей волей нашла в себе силы отстраниться и потом часто с тайной гордостью вспоминала эту свою первую и единственную победу на поле так и не сбывшейся любви.

Ближе к сорока она почти простилась с надеждами испытать земное женское счастье. Все назойливые вопросы о замужестве научилась заучено пресекать: достойных нет, появятся, сообщу.

Как и многие немолодые барышни, которым не суждено по жизни крушить мужские сердца, любовные неудачи она объясняла своей разборчивостью и, в конце концов, так поверила в этот самообман, что ей проще было родиться заново, чем встретиться с неприкрашенной действительностью. Иллюзии для многих – волшебная сила, единственное, что дает устойчивость, пока судьба не потребует вернуться в неотвратимую реальность и не выставит счет за долгую и самовольную отлучку.

Бывало, когда уж очень заноет в сердце от одиночества, она шла в лес неподалеку от дома и километрами стремительно шагала в никуда, изгоняя из души нахлынувшую тоску. Потом включалась в реальность – в конце концов, у нее свой заработок, досуг интересный – в местном доме культуры в хоре поет, на даче целый цветник развела и на ее душистые сказочные розы ходит смотреть весь поселок. Работала она в поликлинике терапевтом, пациенты ее побаивались, но уважали. С коллегами, правда, отношения складывались непросто. По всем спорным вопросам она всегда спешила высказаться с такой горячностью, что своим боевитым напором доводила коллег до одурения. С некоторых пор, на беду сослуживцев, она сильно увлеклась народной медициной, лечебными травами, всякими знахарскими советами, то и дело хваталась за новое открытие и приносила на работу дюжину рецептов, то смесь из кефира и льняного семени, то коктейль из куркумы, чеснока и перца для очистки организма, и с такой страстью убеждала всех в пользе всех этих зелий, будто рекламировала рецепты из книги о вкусной и здоровой пищи.

В целом, жизнь со своими удачами и неудачами текла в привычном русле, пока знакомая Натальи не выдала дочь замуж через брачное агентство. Узнав об этом, Наталья внутри поморщилась. Такой способ знакомства задевал чувство ее собственного достоинства: тогда приходилось признать невезучесть своей бабьей доли и встать в рыночные ряды просроченных невест, отчаянно зазывая любовь через брачные объявления. Но адрес агентства все-таки взяла и по вечерам, убеждая себя, что делает это ради развлечения, начала писать письма потенциальным женихам по всей широкой родной стране. К каждому письму прикладывала фотографию; сделанная в местном фотоателье, на фото она сидела в модном по тем временам платье из шелка с заниженной талией на пуговицах, сшитом на заказ у портнихи, и дерзко смотрела на зрителя, подобно Олимпии на знаменитой картине Мане. Она как бы заранее защищалась, бросая вызов будущим поклонникам: видите – читалось в ее глазах, – несмотря на возраст и годы томительного ожидания я совсем не готова списывать себя со счетов и согласна только на что-то значительное и необыкновенное. По природной добросовестности анкету, выданную ей в брачном агентстве, она запол-

няла два часа, подолгу раздумывая над каждым вопросом. К анкете заодно прибавила отдельный панегирик, азартно сочиненный самой себе, куда не забыла вписать главные победы последних лет, включая недавно сочиненную поэму о Родине. Ее влекли масштабные темы. В планах был Петр Первый, и эту поэтическую мечту она тоже посчитала нужным упомянуть для полноты картины.

С нетерпением ожидая ответа, каждый день заглядывала в почтовый ящик. Перед тем как уснуть мысленно ночью проигрывала сценарии романтической встречи и замирала в сладком, томительном предчувствии перемен. Первое письмо пришло лишь через три месяца. Она не стала открывать его сразу – хотелось остаться одной, чтобы не дергала мать, и читать, перечитывать, смакуя каждую деталь. Дождавшись вечера, затаившись после работы в ванной комнате, с волнением, наконец, вскрыла конверт.

«Мои желания самые искренние, – писал адресант, – и, несмотря на преклонный возраст, я очень хотел бы построить с Вами семью.

С надеждой, Семен Семенович».

С фотографии, приложенной к письму, смотрел мужчина лет шестидесяти с простым невзрачным лицом и с колючими глазами, что- то глубоко в них спрятанное говорило, что хлебнул он в жизни немало. Предъявляя гарантии честности, в письмо вложил копию паспорта со штампом о разводе.

Жил Семен Семенович в Москве и звал в гости.

Про него нельзя даже сказать «с хорошим будущим», «перспективный» – разочарованно размышляла Наталья, рассматривая фотографию. За шестьдесят, какие там перспективы – пенсия, туфли домашние и компот из чернослива натощак.

Но это был единственный ответ, и отвергнуть Семен Семеновича, даже не встретившись, было попросту страшно.

Поколебавшись с неделю, в конце концов решилась ехать. Договорились, что остановится у родственницы на пару дней. В подарок купила в соседском универмаге статуэтку «Круг любви» – мужчина и женщина причудливо сливались телами, образуя в проеме рук и ног форму сердечка – наверное, так бесхитростно и наглядно она понимала библейское «и стали одной плотью». Еще в добрых женских традициях прихватила домашнее варенье и банку огурцов с помидорами – признанные шедевры домашнего кулинарного искусства.

Мать Натальи очень уж опасалась, чтоб новость о ее поездке не разгласилась раньше времени и что зависть может расстроить еще не сложившееся дело. Все подробности триумфа она готовилась раскрыть всему свету только после свадьбы, на которую сильно надеялась.

В первый раз они встретились рядом с домом Семен Семеновича у метро Арбатская. Он ходил взад-вперед, жарясь на полуденном солнце, не сводя глаз с часовой стрелки. Худосочный, невысокий; как врач, она сразу обратила внимание на изъеденные ногти, зацепилась взглядом за простудную лихорадку на губе. Он ни в чем не соответствовал ее ожиданиям, ни с дальнего, ни с ближнего расстояния.

Пошли к ближайшей от метро кофейне. Всякий раз, когда он брал ее под руку, пропускал вперед, поддерживая за локоть, она инстинктивно

отстранялась, подкожно чувствуя, что не хочет сокращать дистанцию. Тело никогда не врет.

Сели за столиком в углу, заказали сливочное мороженое с орехами. Не было ни сердечного перебоя, ни долгих взглядов в упор, ни насыщенных пауз, заставляющих смущенно опускать глаза, – ничего из тех неизбывных примет, которые безошибочно выдают, что между двумя неотвратимо пробуждается настоящее чувство. Семен Семенович скупо рассказал, что работает инженером на заводе, выпускающем электронную технику, известил о двух неудачных браках, приправляя рассказ шутками, чтобы не казаться жалким. Выходило не смешно. С высоты былых привилегий, стараясь произвести впечатление, упомянул, что живет в самом центре, на Никитском бульваре, в двух шагах от Кремля. Квартира досталась ему в наследство от родителей, отец в советское время в министерстве торговли занимал какой-то пост.

Из поездки хотелось выжить максимум информации, и на третьем свидании Наталья напросилась к Семен Семеновичу в гости. Известно, что все эти пустяки и мелочи, которые обставляют человеческий быт, способны рассказать про хозяина то, что и сам он про себя не всегда знает.

В последний день ее московского визита Семен Семенович привел ее к элитному дому на Никитском, построенному еще в тридцатых годах; на стене висели мемориальные таблички с именами прославленных жильцов: среди них актеры, архитекторы и даже партийные лидеры. Наталья оживилась, представив, что сможет делить историю и географию с людьми столь высокого полета.

Поднявшись на нужный этаж в лифте с тусклым освещением, они вошли в просторную квартиру, типичную по размерам для номенклатурных работников советской поры. Чувствовалось, что со времени смерти родителей ничего здесь не менялось. Обветшало-серые обои, когда-то добротная, но теперь устаревшая мебель; слишком яркий свет беспощадно высвечивал все незатейливые подробности быта. Вещи в этом пространстве, казалось, были собраны случайно, наугад, будто осколки разбившейся вазы, разлетевшиеся по разным углам, да и сам Семен Семенович в былом величии громоздкого семейного интерьера смотрелся как-то неубедительно, почти случайно. Всю жизнь он занимался только рутинной работой, из колеи не выходил, ничем особенным не прославился и так и остался невоплощенной тенью своего сановного отца. Каждая деталь в нем, до последней пуговицы, отражала лейтмотив всей его жизни: чем обыкновеннее, тем лучше, безопаснее. Он очевидно готовился – заранее купил угощения к чаю, но по-мальчишески не дотерпев до прихода гостьи, отрезал от торта кусок и таким, по-домашнему неприбранным, торт теперь смущенно предстоял на столе. Роза, одна, краснела в вазе на кухне, в этом холостяцком быту она отвечала за праздничное настроение.

Провожая ее в тот день до дома, Семен Семенович скупо подвел итоги: можно встречаться два года, можно два дня – результат и там, и там сравним с рулеткой. Для себя он уже все решил: она – врач, что в семье всегда плюс, немолодая, но крепкая, хозяйство осилит, что до характера, то тут только жизнь покажет, в этом он вполне уже убедился на опыте своих двух неудачных браков.

В общем, долго обхаживать ее никто нее собирался. Уже через месяц Семен Семенович приехал в Ейск знакомиться с матерью и делать Наталье официальное предложение.

После его ухода ночью, забравшись под ватное одеяло, она думала, что отказавшись, так и отцветет, зачахнет по-бабьи бесплодно, да и из своего затерянного захолустья хотелось куда-нибудь выбраться. Затаиться бы, укрыться с головой, как в детстве: «чик-трак, я в домике», и чтобы никто не нашел, – думалось ей в темноте.

Наутро она сообщила матери, что даст согласие на брак. Уже в Москве, по дороге в загс, неожиданно разрыдалась в машине, и мать вдруг резко прикрикнула на неё: ну что ж ты воешь-то так, тебя ж не на убой везут?

Желая побыстрее сделать первый самостоятельный шаг в московской жизни, она устроилась врачом в районную поликлинику, там обзавелась подругой Люсей и репутацией врача с чудинкой, помешанного на народной медицине.

Поначалу их повседневная семейная жизнь походила на трагикомедию в духе итальянских киношных разборок, правда, со временем в ней все трудней и трудней удавалось находить смешные стороны. Он храпел по ночам, она не так заваривала чай, он разделял семейные доходы, она часами разговаривала с матерью по междугороднему. Обычные домашние неурядицы по накалу страстей возводились на уровень почти что экзистенциональной драмы. Она горячилась, с упрямо сжатыми губами и с мощностью локомотива оспаривала его мнения и решения, в такие моменты даже лицо ее делалось другим, будто кто-то вмиг переписывал ее облик чрезмерно крикливыми и жирными красками. Спор нельзя было считать завершенным, пока они друг друга не изведут. Изредка выдавались мирные дни, муж приходил с работы, равнодушно поглощал ужин, приготовленный ей заранее, немногословно отвечал на вопросы про прошедший день, выкуривая прямо на кухне неизменную вечернюю сигарету, этих разговоров ему хватало с избытком.

Две одинокие души со своими ранами и иллюзиями беспомощно пытались притереться друг к другу, обходясь без смягчающей анестезии – без тумана влюбленности и без горячки свежих чувств.

Ночами Семен Семенович был немногоцветен. Что-то механистичное сквозило в его касаниях. В постели она стоически получала удовольствие, краем глаза подглядывая на слепивший фонарь за окном. Неразбуженная чувственно, она и не знала, чего от всего этого ожидать. Близость стабильно случалась раз в неделю и Наталья чувствовала себя чем-то вроде таблетки, которую по расписанию добросовестный пациент принимает для снятия напряжения. Секс без любви, как обычно, быстро превращался в ловушку удовольствия, ненасытного и бесплодного, после которого отчужденность и печаль чувствовались еще сильнее. Когда их эротическая программа, с никогда не меняющимся сценарием, заканчивалась, Семен Семенович сыто засыпал, а Наталья шла на кухню получать свою долю утешения – с некоторых пор она

полюбила смотреть вечерние новости по телевизору, удивляясь в какой ужасный бардак превращается эта сумасшедшая планета.

Идея брака оказалась привлекательнее самого брака.

В то судьбоносное лето, на седьмой год их совместной жизни, она затеяла в квартире грандиозный ремонт. Москва, омывшись майскими ливнями, посвежевшая и нарядная, отогревалась после долгой прохладной весны, и в Наталье, как никогда, проснулось пламенное желание перемен. Пришла пора ударить чем-то свежим и бодрым, дополнить их быт и жизнь звонкими нотами.

Может быть, она надеялась, что масштабные обновления и переделки помогут ей избавиться от ощущения, что не только поблекшие обои, запятнанный потолок и треснувшая плитка, но и сама ее жизнь с Семен Семеновичем давно дала грандиозную трещину.

Знай она тогда, какие последствия будет иметь этот ремонт для ее жизни...

Договорившись о работе со знакомым бригадиром, она начала с закупок: краски, белила, обои и тысячи необходимых строительных вещей. По вечерам после работы собственноручно возилась до позднего вечера, разгребая шкафы, буфеты, ящики. Она давно мечтала смести все эти манерные фарфоровые статуэтки, которые достались мужу в наследство от родителей и годами бесполезно пылились в буфете; выбросить, наконец, устаревшие банки из-под печенья, которые зачем-то стояли на кухонных полках по меньшей мере десять лет; избавиться от видеокассет с упражнениями, которые никто никогда не делал, от бесполезных письменных приборов, которые за все время своего существования не произвели на свет ни одной буквы, – от всего этого пронафталиненного ненужного старья, которым муж забивал весь дом, хватаясь за него так, будто продление его жизни зависело от продления существования этого старой рухляди. Он черпал утешение в долговечности окружающих его вещей, они являлись опознавательными знаками, которые подтверждали, что окружающая действительность знакома и стабильна, на большее он давно не рассчитывал.

Действовать, считала Наталья, всегда лучше, чем раздумывать, и решительно рассовывала хлам по мешкам под аккомпанемент криков и проклятий Семен Семеновича. Он находил, отбирал, прятал, пытаясь сохранить власть над привычным миром.

Квартира, как и все квартиры во время ремонта, вскоре стала походить на перевалочный пункт, на пороге приходилось перешагивать через наваленные стройматериалы, мешки с цементом, по дому тут и там стояли стремянки, валялись рулоны с обоями.

Работа кипела, затянувшись на все лето. Наталья буквально жила этим ремонтом. Проверяла, насколько рабочие выровняли плитку в коридоре; с энтузиазмом, достойном более масштабных амбиций, отскребала грязь после побелки; по всем пунктам контролировала бригадира, требуя от него ежедневных протоколов о проделанной работе. Вдохновение и азарт, с которым она взялась за дело, как-то незаметно вытеснили Семен Семеновича на задний план; со временем бригадир привык решать все главные вопросы только с ней

Всю совместную жизнь она состязалась с мужем, исступленно доказывая свою правоту. Многолетний дефицит любви вывел в этой семье

плоский алгоритм отношений: они не жили, а сводили изнурительные счеты, кто и в чем лучше, первостепенней. И, наконец, ремонт – ее безоговорочная победа: один-ноль в ее пользу!

Она никогда не была из тех, кто умеет вить уютное гнездышко, но теперь надеялась получить полную компенсацию, жаждала публичной хвалы от многочисленной родни мужа, втайне критиковавшей ее за бесхозяйственность и транжирство.

В сентябре квартира сияла и сверкала новизной. В просторной белой гостиной Наталья накрыла парадный стол, надела платье с синими волнами под цвет глаз и собрала гостей – праздновать. Восхищение давалось родственникам с трудом. Оно всегда дается с трудом, когда слишком сильно выпячивается желание его получить. Но Наталья не сдавалась – играла на гитаре романсы из «Иронии судьбы», читала собственные стихи про любовь, умалчивая о посвящениях, направо и налево раздавала рецепты травников, обещающих вылечить всех и от всего разом. И когда, наконец, подруга Люся произнесла тост за хозяйку, на которой держится дом, от Натальи не утаилось, как кривая усмешка появилась на лице мужа, да так и застыла до самого конца вечера.

Казалось бы, зажить теперь в этой обновленной, сияющей квартире по-новому.

Но не успело пройти головокружение от успеха, как в доме стали происходить совершенно странные вещи.

Начиналось все достаточно безобидно: то тут, то там Наталья стала замечать небольшие изменения: на глаза вдруг попадалась царапина на свежепокрашенной стене, в другой раз мимолетный взгляд замечал небольшое пятно на обоях. Разговаривая по телефону на кухне, Наталья замечала крошечный сколотый угол дверцы нового шкафа. Как странно! Быть не может, чтобы она не видела этого раньше, когда бригадир сдавал законченную работу. Мнительная от природы, она вспоминала, как всякий раз темнел Семен Семенович при упоминании о ее строительных победах. Уязвленная гордость питает паранойю. Что творится в его голове?

Как-то, не выдержав, она подступила к мужу за объяснениями, все более распаляясь в мысли, что он причастен ко всей этой подпольной деятельности.

– Тебя на лечение отправить или как? – сквозь зубы, как обычно, процедил Семен Семенович.

Оскорбленная, она лишь удвоила бдительность, и ее недоумение росло все сильнее.

С каким-то фатальным упорством день ото дня она теперь выискивала все новые и новые свидетельства мужниного вероломства: царапины, засечки на недавно отциклеванном паркете. При утреннем свете, раздвигая после сна темные плотные занавески, вдруг замечала странные порезы на обоях. Даже в спешке перед работой не могла сдержаться, чтобы не проинспектировать каждый квадратный сантиметр плитки в ванной, будто кто-то втянул ее в изощренную шпионскую игру, и она, словно детектив из агентства, шла по следу. На короткое время наступало затишье. Но как-то, перебирая вещи в шкафу, ошеломленная, она обнаружила свое выходное платье, испещренное мелкими пятнами

на подоле, похожими на крошечные капли алой крови. Мистические истории она обычно обходила стороной, но на сей раз поразительная догадка осенила ее взбудораженный мозг: а что если Семен Семенович не только втайне намеренно портит шкафы, столы и стены, но и наводит какую-то муть на нее саму. Она ведь не раз замечала у него сомнительные статейки целителей-экстрасенсов, по обыкновению, людей без внятных религиозных убеждений, в головах которых застыл непереваренный сумбур из уличных суеверий, феерических по глупости примет и банальных сентенций восточных мудрецов. В моменты растерянности она больше доверяла страху. Они и до этого спали в разных спальнях, но с той поры она стала плотно приставлять тяжелое кресло к двери с внутренней стороны комнаты – чего не случится в недобрый час?

Она уходила на работу на весь день и среди дня часто ловила себя на том, что пытается мучительно вспомнить, были ли царапины на дверной ручке.

Нарезая вечером салат к ужину, дробно, нервно постукивая ножом, чувствовала, что не в силах отвести взгляда от темных трещинок над столом.

Теперь она смотрела на мужа глазами судьи, и в припадках бессмысленной злобы бесконечно допрашивала, подозревала и обвиняла. У Семен Семеновича появился особый тон в арсенале – истерический шепот, и он шипел в ответ, что больше не может ее видеть и не собирается обсуждать плоды ее больной фантазии.

По заведенному сценарию они разносили друг друга в пух и прах.

От одного упоминания о ремонте воздух в доме делался насыщенным от напряжения.

Как-то вечером она услышала, как, затаившись на кухне, муж устало и обреченно жаловался старшему брату по телефону: «Господи, с кем я живу! С кем я живу!».

Внутри нее что-то дрогнуло на миг. Но на следующий день ей мерещились новые козни. Забыться бы, уснуть, но ночами она спала теперь самую малость, а утром изнемогший мозг возвращался к своим химерам.

От постоянного напряжения стала отниматься левая рука. Какая-то недобрая сила закручивали ее до одури в неотвязном хороводе темных мыслей и вязких подозрений. Она чувствовала себя беспомощной заложницей в этом дьявольском водевиле, и чем больше боролась, тем больше запутывалась, словно рыба, попавшая на крючок.

Дом, превратившийся в поле сражения, пропитался ненавистью. Свежие цветы в гостиной теперь казались душными; подаренный Люсей плюшевый медведь с добродушной мордашкой – никчемным, болотные обои в спальне смотрелись слишком сумрачно. Квартира стала клеткой, в которую не хотелось возвращаться. Ничего не осталось от былого подъема и энтузиазма, с которым когда-то бралась за дело. Не осталось даже надежд. А на работе в поликлинике ждали больные, нужно было проводить осмотр, заполнять истории болезни, выписывать рецепты, больные нуждались во внимании, с которым начались проблемы. У нее поднималось давление, а руки опускались.

Первый раз в жизни она решилась пойти к психологу, хотелось выслушать кого-то, кого считала умнее себя. Похудевшая, с короткими поседевшими волосами и с запавшими испуганными глазами, она са-

дилась в кресло в безликом кабинете, заранее запасаясь пачкой бумажных салфеток, на случай непредвиденных слез, и вновь начинала нервно пересказывать преследовавшие ее наваждения. Как большой обиженный ребенок, она надеялась, что психологи, наконец, придумают этим изнурительным и безысходным отношениям добрый и хороший конец. Истекало время приема, ее вежливо останавливали, и счастливая развязка в очередной раз откладывалась еще на неделю.

За семь лет совместной жизни незаметно она вросла в эти покалеченные отношения, теперь же становилось ясно, что их чахлое семейное деревце не имело будущего. Идея о разводе не выходила из головы. Ей всегда нравилось приезжать в свой провинциальный Ейск в статусе успешного врача, столичной дамы, у которой «из окна – площадь Красная видна». Нравилось ощущать свою состоятельность. Никому не позволялось заглядывать за фасад, который она предъявляла миру. Теперь выходило, что все эти годы она шла к фальшивому маяку.

У них с Люсей вошло в привычку гулять вечерами в парке, где полюдней, и подолгу разговаривать на сон грядущий. Для Натальи эти прогулки стали настоящей отдушиной.

Однажды после сводки очередных горячих новостей она выдала Люсе программу своего спасения:

– А знаешь, – возбужденно сообщила она, – я буду стараться избегать его, не видеть, не слышать, вот прямо сейчас пойду в гости к соседке, а потом в кино на поздний сеанс. – И вдруг с забытым юным задором неожиданно добавила: – Помнишь, как в той песне известной: «Нас не догонят»!

Она посадила Люсю в троллейбус, и та долго с тоскою смотрела на ее убегающую сиротскую фигуру. В голове на гитарный лад все звучал и звучал этот назойливый припев: «Нас не догонят»! Нас не догонят!».

Люся видела, как Наталья быстро удалялась по парковой дорожке.

Бледно-золотистый пейзаж осени то безжизненно гаснул без солнечного света, то загорался редкими закатными всполохами, силуэты серо-фиолетовых домов темнели в тени прозрачного, прохладного вечера. Раньше сентябрь приводил Наталью в лирическое тихое волнение. Эта осень была прекрасна, но не для нее. Казалось, льющаяся темная река несет ее все дальше и быстрее и она уже совсем не находит дна под ногами.

Есть мысли, которые приходят ниоткуда, вернее непонятно откуда, будто кто-то буквально вкладывает их в голову. Так было в тот день, когда нервы ее были взвинчены до предела и, боясь сойти с ума, оставшись в пустой квартире, она ходила взад-вперед по комнате и заклинала, как под гипнозом: Господи, ну помоги же мне, помоги! В тот момент в голове вдруг отчетливо отпечаталось: молись.

Легко было считать это «молись» галлюцинацией, мороком, следствием ее психического истощения, но ей больше хотелось поверить хоть чему-то, чем не верить совсем ничему.

Молись. Но кому? Как? И кто он, этот Бог, на чье милосердие она должна была положиться?

Она поделилась этой престранной историей со знакомой из поликлиники из верующих, и та принесла ей письма отца Иоанна Крестьян-

кина и его «Опыт построения исповеди». Наталья была не из тех, кто всю жизнь мучается вопросам бытия Божьего, и теперь погружалась в новую для нее душевную анатомию с тем же усердием, с которым когда-то в мединституте сосредоточено и старательно разбирала анатомию человеческого тела. Несмотря на прилежание, все это казалось ненужным и далеким умствованием.

Свой первый поход в церковь она восприняла почти как вымученную сделку, в надежде, что каким-то образом ей воздастся хотя бы за попытку. Поначалу в храме все было чуждо: никому не нужное, утомительное бормотание дьякона, чад свечей, безучастные лица молящихся.

На исповедь идти долго боялась, наконец, изучив книжные наставления и исписав целый листок перечнем грехов, все-таки решилась.

Священник, распознав в ней новичка, встретил с предобрейшей улыбкой. Обнадеженная, она вручила ему исписанный листок и возбужденная, с лихорадочным блеском в глазах стала рассказывать об обстановке в семье, о скорбной статистике неслучайных царапин и поломок, и о психических вывертах своего немолодого мужа.

Священник вдруг твердо остановил дальнейшие откровения:

– Тебя саму-то как крутит? Других оставь. Их без тебя на чистую воду выведут. О себе, о себе говори!

К такой лобовой атаке она была не готова. Надеялась, что после всех пережитых страданий хоть в церкви к ней отнесутся сочувственно. Но все же по дороге домой, вспоминая это убежденное «других на чистую воду выведут» из уст священнослужителя, не могла не утешиться неминуемым воздаянием, уготовленным Семен Семеновичу лично.

В храм она все-таки продолжала ходить – больше помощи ждать было не от кого. Может, она и принимала желаемое за действительное, но после службы ей становилось легче.

В апреле пришла первая в ее жизни Пасха. Тихим свежим утром она пошла в храм купить в церковной лавке красную косынку и свечи, освятила кулич и яйца, а в ночь засобиралась на пасхальную службу. Народу в храме было – не протолкнуться, пытаясь пристроиться хоть где-нибудь, она почти пожалела, что пришла. Ту Пасху она запомнила навсегда. Помнила, как в полночь запели ликующую песнь колокола, храм вспыхнул в золотом трепетании свечей, и над сотнями голов прихожан единых ликующим выдохом разнеслось: Христос Воскресе! – и в тот миг, будто ангельское веселье вошло в ее душу, освобождая от бетонной тяжести последних месяцев.

Всю неделю с ней была эта радость. Было легко любить даже Семена Семеновича, будто кто-то коснулся самой нежной ноты ее души и теперь она звучала свободно, широко и вольно. Из-за боязни, что радость ослабеет, она старалась меньше говорить, только улыбалась таинственно, и глаза сияли. Вернувшись в привычную реальность, почувствовала, словно потеряла волшебную силу. В воскресенье, встревоженная, почти полетела в храм. Отец Александр, священник, который обычно ее исповедовал, с улыбкой взял ее руку:

– Вернется, вернется, только давай место благодати Божьей.

Из корня души слабый тонкий стебелек неуверенно потянулся к небу. Отец Александр каждое воскресенье видел, как сосредоточено она мо-

лилась, стоя прямо по центру, перед алтарем. Какие силы черпались ей в полумраке храма, что рождалось в этой душе?

Каждый раз, когда расшатывалось хрупкое равновесие внутри и возвращались былые химеры, у нее появлялось больное, тоскливое чувство, что усилия ее напрасны и что те пасхальные озарения, за которые она держалась из последних сил, чтобы не скатиться назад, в пустоту безверия, были лишь призрачным переживанием – будто частичка от заряженной радостью толпы, вспыхнув каким-то чудом в ее душе, рассеялась где-то в огромном мироздании.

– Одним махом на небо взлететь хочешь? Смешно думать, что ты станешь очищенной и смиренной за год. И за два, и за три не станешь, – утешал на исповеди отец Александр. – Но, Бог на волосок мерит.

Спустя много лет, вспоминая те времена, она понимала – какая-то сила раз за разом поднимала, собирала и выстраивала ее заново.

Ее решение ходить в храм стало для Семена Семеновича полнейшей неожиданностью, и какое-то время ему приходилось привыкать к ее часовым полуночным молитвам, длинным постам и обилию православных книг, которые она глотала одну за другой, словно ее личная безопасность зависела от количества прочитанных страниц. А еще ко всем этим: «все под Богом ходим», «одному Богу известно», «как Бог даст», которыми Наталья как заправская неофитка то и дело теперь разбавляла свою речь.

Как всегда с усердием отличницы она старалась во всем следовать наставлениям отца Александра. Будто наверстывая упущенное, готовила особо любимые мужем блюда, заваривала свои снадобья – лечить его хронический бронхит, а иногда в полутемноте кухни она и Семен Семенович даже вели мирные беседы.

Что-то она уже понимала из той самой духовной жизни, которую старательно постигала через церковные службы и книги, сверяя с собственным опытом. И все удивлялась, что западня, в которую угодила, чуть не потеряв при этом рассудок, была устроена всего лишь из пустяковой бытовой трухи, на первый взгляд совсем и не опасной, ничем не напоминающей те смертоносные ловушки, о которых читала в книгах.

Как-то в день перед причастием, притихшая, с неожиданной для нее застенчиво-юной улыбкой неумело она подошла к мужу просить прощения.

«Пусть ходит, лишь бы затихла», – думал про себя Семен Семенович.

Припадки воспаленной ярости, которые ежедневно рвали и трепали душу, теперь существовали в ней с проблесками смирения и тихости, и хотя бы поэтому он относился к ее церковной жизни – сочувственно. Хотя до полного штиля в их поломанном мире было еще далеко.

Со временем воспоминания о той поре утратили боль и горечь, они теперь существовали как бы отдельно от нее. Как-то, сидя с Люсей в кафе и разговорившись, они вспоминали все, что навалилось на нее в тот год. Не удержавшись, Люся задала давно мучавший ее вопрос:

– А что, все-таки, было тогда в квартире?

Наталья помолчала, словно вслушиваясь в себя:

– Кто теперь знает, спустя столько лет, что в этом мороке было правдой, а что нет. Но свершившееся чудо – это то, что я не потеряла рассудок.

Перед уходом Люся заметила, как Наталья аккуратно заворачивает в салфетку и кладет в сумку одно из пирожных – гостинец для Семена Семеновича.

Чтобы понять, как в мире все устроено, наверное, нужно потерять и мир и самого себя в этом мире, и если получится обрести все заново, приходят долгожданные прозрения.

С того памятного года прошло пять лет. Как-то, возвращаясь с работы позже обычного, уже почти дойдя до дома, Наталья остановилась, засмотревшись на огненный шар солнца и долгий пожар заката, провожая взглядом серебряный полет голубей. В тот момент к подъезду подъехала машина, из открытого окна на всю улицу гремела памятная песня «Тату», пронзительные девичьи голоса кричали кому-то в мироздание: «Нас не догонят!.. Нас не догонят!..».

Радиоволна будто из самой вселенной вернула ее в прошлое: прогулка с Люсей, программа ее спасения и тот каменный неподвижный год, от которого не осталось ничего, кроме сгустка ненависти и страха.

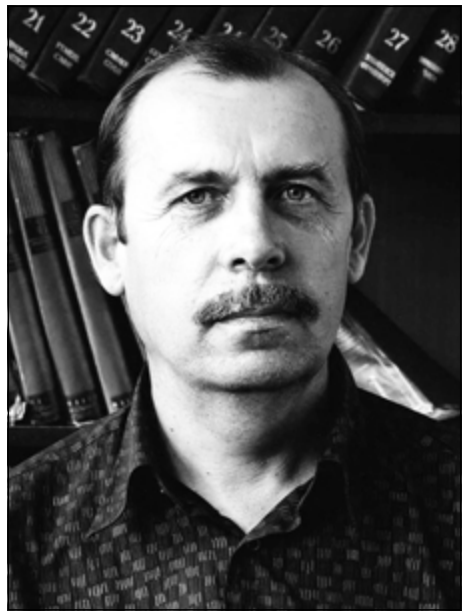
Она медленно пошла домой. Семен Семенович, со следами свежих пятен на штанах, кашеварил что-то на кухне. Увидев ее, махнул рукой в знак приветствия:

– Ужин готов, садись давай... – привычно буркнул себе под нос.

Неожиданно, будто с какого-то расстояния, она увидела его сутулую худую фигуру, застиранную футболку, суетливые старческие руки, и острая жалость хлынула в сердце – как одинок он был все эти годы в этом невыносимо печальном браке. И сколько способов она находила, чтобы вновь и вновь причинять ему боль.

Ужинали с вином. В голове у нее назойливо крутился только что слышанный припев. Задумавшись о чем-то, глядя на мужа, она вдруг рассмеялась былым звонким девичьим смехом:

– Слышишь, Семен! А ведь нас не догнали!..



ДМИТРИЙ ВОРОНИН

ВЕНЕЦИАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ

Венеция почти опустела. Ни один прохожий не пересекал площади Пьяцца Сан-Марко, ни одного туриста нельзя было увидеть у Дворца дожей, никто не перебегал по мосту Вздохов, да и на других многочисленных мостах города лишь изредка появлялись сгорбленные тусклые фигурки одиноких прохожих.

Туристы вообще исчезли из Венеции. Вот уже несколько лет подряд городские мостовые не ощущали над собой бесконечной поступи праздных зевак, каналы не наполнялись всплесками весел гондол и звуками песен гондольеров. Никто не глазел удивленно на знаменитые дворцы и не высказывал своего восхищения. Пустовали соборы и церкви, узкие улочки и каналы, закрылись магазины. Многотысячные стаи голубей тоже давно покинули город, их просто некому стало кормить. Город тихо умирал. И причиной его медленной смерти была не чума, не атакующее море, не падение астероида и даже не вселенская катастрофа. Причиной стал огромный трехсотэтажный монстр в виде нефтяной вышки – новый дворец, построенный нефтяным магнатом мультимиллиардером Паоло Понти прямо в лагуне в двухстах метрах от площади Пьяццетта. Сам дворец состоял из многотысячных стальных конструкций и стекол черного цвета. Но кроме этого гиганта по всей Венеции ежемесячно, как грибы, возникали всё новые и новые здания-близнецы, копирующие нефтевышки. Эти конструкции вырастали на месте исторических кварталов старого города, проданных под слом.

Блажь Понти, эксцентричного богача, и продажность местных чиновников изуродовали облик Венеции до неузнаваемости и изгнали из

нее всех туристов. За туристами потянулись и горожане, потерявшие своих щедрых клиентов и работу.

Черный железостеклянный монстр нависал над городом и давил его. Он насиловал хрупкую изящную Венецию, наваливаясь на нее своей огромной безобразной тушей.

– Какой прекрасный вид, не правда ли, Джованни? – обратился к своему секретарю молодящийся старик Паоло Понти, указывая на город маленьким пухлым кулачком с загнутым книзу большим пальцем.

– О да, монсеньер, – подобострастно склонил лысеющую голову тоже немолодой двухметровый гигант.

– Глупцы, – брезгливо поморщился богач, рассматривая в тонированное окно на двести девяносто девятом этаже Венецию, – тупицы, ничего не понимают в искусстве. Архитектура должна быть точечной. Точечной и великой! Великой и мощной! Мощной и огромной! Огромной и вечной, как мой палаццо! На все времена! Не так ли, Джованни?

Коротышка повернул кулачок пальцем кверху.

– О да, монсеньер, – еще ниже склонил свою голову секретарь и осторожно добавил: – Разрешите, монсеньер?

– Говори, – надменно кивнул всесильный магнат.

– Монсеньер, вы сейчас как великий цезарь.

– Почему? – удивленно вскинул свои крашеные черные брови Понти, поворачиваясь к секретарю.

– Монсеньер, вы как великий римлянин стоите над тысячелетним городом, то склоняя свой палец вниз, то поднимая его вверх.

– Ха-ха... – рассмеялся фальцетом коротышка. – Молодец, Джованни, тонкое сравнение. Я и повергнутый у моих ног город. И только мне решать, казнить или миловать. Джованни, я по достоинству оценю твое сравнение, а теперь иди.

Джованни повернулся к выходу.

– Постой, – остановил его Понти. – Мэр здесь?

– Да, монсеньер, уже час как ждет.

– Я приму его через двадцать минут. Иди.

– Слушаюсь, монсеньер, – почтительно склонил голову секретарь и вышел из кабинета.

– Цезарь, я цезарь, – выпятил вперед нижнюю челюсть богатей. – Я казню, и я милую!

Коротышка подошел к огромному, во всю стену, зеркалу, поправил алую бумажную розу, приколотую на желтом фраке, выставил вперед правый зеленый сапожок с серебряной шпорой, вскинул вверх свою маленькую круглую головку, покрытую каштановым париком, вытянул к своему отображению сразу две руки, сжав при этом кулачки и оставив на виду только большие пальцы, и стал крутить ими вверх-вниз, приговаривая при этом: «Казню-милую, казню-милую, казню-милую». Это представление продолжалось минут пять, после чего богач вернулся к окну и стал тыкать пальцами то в город, то в небо: «Казню-милую, казню-милую, казню-милую».

Через десять минут коротышка вновь оказался у зеркала и, самодовольно улыбаясь, обратился к своему отображению:

– Ну так что, о великий цезарь, казним мы этот город или помилуем?

Через секунду отображение лукаво подмигнуло Паоло в ответ.

В назначенное время дверь в кабинет отворилась, и секретарь громко произнес:

– Мэр Венеции Луиджи Вентури, монсеньер.

– Пусть войдет, – ответил коротышка, не отрывая взгляда от массивного дубового стола десятиметровой длины.

В просторный кабинет, больше похожий на тронный зал, выпятив вперед огромный живот, вошел очень толстый человек и, тяжело дыша, направился к Понти.

– Луиджи, вы прямо как римский консул, – ехидно усмехнулся нефтяной магнат, не вставая из-за стола.

– Вы мне льстите, господин Понти, – довольно улыбнулся в ответ Вентури, протягивая навстречу свою потную ладонь.

– Ничуть, ничуть, дорогой Луиджи, – коротко пожал его руку Понти и тут же вытер свою носовым платком. – Вы многое делаете для процветания Венеции, а для этого нужны, по меньшей мере, консульские способности.

– Ну что ж, я польщен вашей похвалой, господин Понти, – еще больше расплылся лицом Вентури. – Но мои способности ничто по сравнению с вашими. И если я консул, то кто же тогда вы?

– Я цезарь! – с посуровевшим взглядом поднялся из-за стола коротышка.

– Ну что ж, ну что ж, – согласно закивал головой толстяк, – это очень, очень хорошая мысль...

– Вы, как я полагаю, по делу, дорогой Луиджи, – прервал его Понти.

– Да, да, конечно, – перестал улыбаться Вентури.

– Тогда прошу, – указал коротышка на кресло в противоположном конце стола.

Вентури тяжело вздохнул и, ссутулившись, последовал к предложенному месту. Кресло Луиджи хоть и возвышалось своей спинкой на два метра от пола, из-за низкого сидения совершенно скрыло за столом рыхлое тело мэра, оставив на виду только большую голову. Коротышка тоже сел, и его небольшая округлая грудь полностью выглядывала из-за стола благодаря высокому сидению, что придавало маленькому человечку значительность.

– Ну, выкладывайте, дорогой Луиджи, что привело вас ко мне и постарайтесь покороче, у меня очень мало времени.

– Господин Понти, – волнуясь, обратился к коротышке Вентури – Венеция умирает, нужны решительные меры.

– А вы не преувеличиваете, дорогой? Я каждый день смотрю из своего окна на город, он обворожителен. Каждый месяц в городе появляются всё новые и новые дворцы, дворцы, которые устремляются в вечность. Да вы взгляните сами, – Понти поднялся из-за стола и направился к окну.

За ним со вздохом облегчения последовал Вентури, очень неудобно чувствовавший себя в низком кресле.

– По-моему, вы паникер, дорогой Луиджи, – вытянул руку в направлении города Понти. – Посмотрите на это великолепие, посмотрите на эти чудесные произведения искусства, на эту новую эклектику. Сочетание черного стекла и старых венецианских соборов, что может быть божественнее. Все это блестит и играет в лучах золотого итальянского солнца.

– Да, но...

– Что «но», Луиджи? Вы хотите испортить мне настроение? – нахмурил брови нефтяной магнат.

– Нет, нет, господин Понти, – испуганно замахал руками Вентури и в отчаянии продолжил, – но город почти опустел.

– Что значит – почти опустел? – резко повернулся к мэру коротышка. – Разрушаются мосты или прибывает вода?

– Нет, нет, дело не в этом, господин Понти, – загородился ладонью толстяк.

– А в чем же тогда?

– Люди покидают город. Уже несколько лет к нам не приезжают туристы, и жители массово бегут из Венеции, а без них она умрет, – скороговоркой выпалил Вентури.

– Венеция жила тысячу лет и еще тысячи проживет, и нечего тут паниковать, – жестко осадил собеседника Понти. – А люди, тьфу, люди что мусор, выкидываешь его, а он вновь накапливается.

– Но ведь без них не пополняется казна, а при пустой казне город не сохранишь, – попытался возразить Вентури.

– А что тебе мешает удержать людей?

– Новые дворцы, господин Понти, они крадут солнце, – тихо произнес Вентури и закрыл глаза от страха. – А еще говорят, что каждый день город оплевывается сверху и что...

– Заткнись, заткнись, Луиджи, заткнись и слушай, – с ненавистью в голосе прервал мэра коротышка: – Ты, Луиджи, жирная тупая свинья, и ты, Луиджи, видно, забыл, сколько поимел со строительства моего дворца и его братьев. Ты, наверное, совсем протух мозгами, если обвиняешь меня, своего благодетеля. У тебя, видимо крыша сдвинулась, если ты не помнишь, из чьих рук питаешься сам и вся твоя чиновничья свора.

– Простите, господин Понти, простите, ради бога, я не подумал, – заплакал смертельно перепуганный Вентури.

– Заткнись, заткнись, заткнись!– коротышка зажал покрасневшие от злости ушки ладонями и зашипел: – Ты продажная шлюха, ты ничего не смыслишь в прекрасном, тебе бы только жрать. Мой дворец убивает город. Чушь! Глупец! Разве убила Париж Эйфелева башня, а Москву – великолепный памятник царю Петру, разве умер Лондон от колеса обозрения? Дурак! Мой дом станет символом, символом новой Венеции, новым Сан-Марко. А люди, люди, что муравьи, придут новые и полюбят эти шедевры новой архитектуры так же, как полюбили египетские пирамиды. А еще я построю современные маркеты вместо прогнивших от старости домишек. Какой прок от этого исторического хлама! Я построю много маркетов! Сотни маркетов! И эти жалкие людишки прибегут, прискачут, приползут обратно.

– Простите, господин Понти, простите великодушно, – попытался поцеловать руку магната Вентури, почувствовав, что гроза проходит стороной. – Я глупец, я тупой бегемот. Я не мог даже и подумать, что венецианцы – просто мусор, и мы заменим их новым мусором, который будет молиться на вас и ваш великолепный дворец, будет целовать стекла новых дворцов и восторгаться современными маркетами.

– Ну ты и дурак, Луиджи, – от души рассмеялся коротышка и снисходительно похлопал толстяка по щеке. – И кто тебя только в мэры выбрал?

– Мусор, господин Понти, мусор, – заискивающе улыбнулся Вентури.

– Свободен, – повернулся к нему спиной Паоло Понти, давая понять, что аудиенция завершена.

Сразу после ухода мэра раздался требовательный стук в дверь.

– Входи, Юлия.

Дверь резко распахнулась, и в кабинет вошла дородная женщина лет пятидесяти. Она твердой походкой проследовала в сторону мужа.

– Паоло, дорогой, что этому борову от тебя надо? Ты так кричал, так кричал, я уже хотела вмешаться!

– А, как всегда, приходил клянчить деньги. Ныл, что упали доходы. Будто в город никто не едет из-за нашего дворца, а жители бегут, как крысы, потому что их оплевывают сверху, – недовольно отмахнулся коротышка.

– Не переживай, Паоло, – прижала голову мужа к своей пышной груди Юлия. – Они просто все тебе завидуют. Пойдем лучше наверх и полюбуемся на наш город.

Поднявшись на крышу, супруги подошли к краю смотровой площадки.

– Разве он не прекрасен, Паоло, – восторженно повела над городом рукой Юлия, – разве он не совершенен, наш город?

– Да, Юлия, он стал прекрасен и совершенен благодаря нашему дворцу, он стал великолепен благодаря другим дворцам-близнецам, но он еще не наш, – с грустью посмотрел на супругу коротышка. – Еще есть внизу людишки, которые думают, что это их город.

– Ничего, родной, скоро он окончательно станет нашим, – погладила мужа по голове Юлия и, набрав во рту побольше слюны, смачно плюнула вниз в направлении церкви Санта-Мария.

Паоло с любовью посмотрел на жену и тоже плюнул в сторону церкви Сан-Джорджо...

– Опять весь пол вокруг своими соплями исхаркал, – зло ударила по лицу Пашки Понтихина мокрой тряпкой толстая уборщица Лизавета. – И кажный день, кажный день все исхаркано да исхаркано. Мочи уже нет убираться за им! Хоть бы рот, чего ли, заклеили пластырем.

– Не положено, – равнодушно ответил Иван, дежурный санитар буйного отделения питерской психбольницы.

– Так чего он все харкается да харкается? – Лизавета пнула ногой накрепко привязанного ремнями к больничной койке сумасшедшего.

– А шут его знает, чего, – зевнул санитар. – Возомнил себя всесильным богатеем, живущим где-то на небесах, вот и плюется сверху на мелких и никчемных людишек.

– Это на нас, что ли? – удивленно посмотрела на Пашку уборщица.

– Ага, – потер покрасневшие от бессонной ночи глаза Иван.

– Ну, тогда получи, олигарх сопливый, – с силой еще трижды огрела Понтихина по лицу половой тряпкой Лизавета.

В ответ Пашка прицельно плюнул в толстую уборщицу и счастливо заулыбался.

– Мой город, мой! Точечно попал! Прямо в центр!

АЛЕКСЕЙ ДЕРИГЛАЗОВ

ОДИНОКОСТЬ

Хочу рассказать о себе, о нас. Коротко не получится; сказать коротко – часто означает не сказать ничего.

Не знаю, как начать... Давно надо было с тобой поговорить, тысячи раз мысленно пробовал, и всё выходило гладко, ровно. Прокручивал в голове беседы с тобой, представлял, как ты отвечаешь. А потом мы встречались и молчали. Молчали о главном. Уже ведь всё «сказано», всё «обсудили». У тебя возникал такой бессловесный разговор между нами? Или я из пустого самокопания уверился, будто могу предполагать наперёд, кто что скажет, как поступит? Хотя, что сам сделаю через пять минут, не знаю.

Издёргался, запутался, заблудился...

Хотел написать о настоящем, но, чувствую, кроме боли, ничего выложить на бумагу не получится. Потому сначала о другом, что отболело. Боль оставлю на потом...

Несколько раз видел один и тот же сон. Снилось, будто прихожу на какое-то заброшенное, глухое место. Серый забор, утопленный в земле деревянный домик. Дело под вечер, сумерки, но можно различить любую мелочь: каждую ветку на неухоженных деревьях в саду, метелки полыни, усохшие стебли прошлогоднего репейника, косо висящую калитку. В общем, место жутковатое, и одновременно чем-то милое.

Я никогда не заходил в дом, но всегда появлялось ощущение, что бывал тут неоднократно, но об этом напрочь позабыл. Страх и тревога охватывали меня; возникала мысль, от которой холодом сводило нутро: ведь здесь произошло нечто страшное, и виновник такой заброшенности, запустения – я сам.

Возникали подробности моего злодейства, яркие и доказательные. И тут просыпался. Но какие они, подробности, по пробуждении не помнил, оставалось лишь чувство вины за содеянное. А потом лежал, и долгое время не мог разобраться, действительно, это сон, или преступление на самом деле было, только я заставил себя забыть о нём, и приходит оно лишь в кошмаре.

Ты видела когда-нибудь подобные сны? Похожие на этот сожалением о прошлом, а, значит, и тревогой о будущем? Думаю, видела. Человек, способный любить, такое обязательно испытывал. И наяву – тоже.

Это, конечно, всего лишь сон. Правда в нём одна – приходится учиться забывать. Не помнить, что со мной произошло, не замечать того, что раздражает, и... учиться не любить. Не привязываться к человеку настолько, чтобы с ним тяжело было расставаться, не поверять ему того, чем бы он мог воспользоваться против меня. Желать ближнему хорошего и ждать от него плохого. Если сделает добро, будет, против ожидания, славно, сотворит зло – не расстроишься. Хочется поделиться, «выпустить пар» – говорить не о том, что действительно, беспокоит, а о другом, созвучном с болью, – и легче станет, и лишнего не расскажешь.

Ты думаешь, всё слишком сложно и надуманно?

Может быть. Я не скрытный человек, скорее, наоборот. Просто мне есть что скрывать и от кого. Потому и осторожничаю чрезмерно, не доверяя ни собеседнику, ни бумаге. А значит, вру поведением, словом, жизнью. Конечно, как и все. Почти отвык говорить то, что приходит в голову.

Но в нашем овеществлённом мире откровенности никому и не нужны. И скрывать надо не мысли, а дела. Хотя, что такое дело, или действие? Мысль силы не имеет, силу обретает слово. Высказал, что на душе – уже сотворил, если не с другими, то с самим собой наверняка.

И прятать чувства: злость, ненависть, привязанность, любовь. Можно выдавать только нечто среднее, выхолощенное: возмущение, недолюбливание, умиление, увлечённость.

Мы уже разучились говорить о главном, настоящем, или никогда не умели? Или не было этого главного, настоящего? Позабыли юношеские порывы и видим их только во сне? Быть может, в последнем и заключается злодейство? Или в том, что за мною остаются только боль и разрушение. И правда то, что однажды услышал: «К тебе люди привязываются, а ты... С глаз долой – из сердца вон».

Часто выслушиваю грязноватые излияния от приятелей или даже малознакомых людей, а сам ничем не делюсь. Нельзя же всё носить в себе! И точно, нельзя. Наверное, нужен хоть один человек, которому можно многое рассказать. Опять – «многое»! Опять – не всё...

Мне как-то сказал товарищ, одинокий человек, физически одинокий – без родных, – что я даже не представляю себе настоящего одиночества. Но страшнее, наверное, не то, что он имел в виду, страшнее одиночество среди людей – не в толпе, а в окружении так называемых близких. Впрочем, товарищ прав, но только в одном: слово «одиночество» ко мне неприменимо. Более подходит «одинокость».

Помню одинокость юности. Гнетущее чувство наползало вечерами, темень за окном манила, казалась спасением, я стремился вырваться из стен наружу, раствориться в полусумасшедшем бегстве по улицам города.

Чувство тягостное и сладостное одновременно заслоняло страх, ненависть, жалость. Оно усиливалось ежеминутно – видел ли влюбленную пару, веселящихся людей, молодую мать с коляской или даже собутыльников в подворотне.

А сладостным было потому, что питалось ожиданием: всё прекратится вскоре. Рядом будет дорогой, близкий человек, который понимает. И гнало по улицам, скорее, именно ощущение, что человек этот, быть может, за поворотом или в доме с горящими окнами прямо передо мной.

Тебя не было в этих мечтах. Я не представлял близости с тобой, не хотел, чтобы ты была рядом, должна быть рядом, не думал, что у нас будет семья. И вовсе не потому, что ещё не знал тебя. Просто в этих мечтах вообще никого определенного не было.

Иногда «находил» себе девушку, чаще такую, с которой знаком был поверхностно, и поселял её в придуманную мною будущую жизнь.

Сотни раз писал её имя на тетрадном листе, вполголоса повторяя его, пока оно не зазвучит, не зазвенит в голове, и, наконец, не превратится в чудную мелодию. Засыпая, произносил её имя, и всё моё существо трепетало в истоме.

Представлял, что она всегда будет со мной; почему-то возникала одна и та же сцена: я захожу в комнату, а она стоит ко мне спиной и смотрит в окно. Меня захватывала радость, что такое будет долго, может быть, всю жизнь. И всё... Ни о какой близости не думал, желание возникало к женщинам заведомо приземлённым, не одухотворённым. Хотя чем духовна моя «избранница», даже не представлял. И чем выше улетал в мечтах, тем дальше был от неё. Идеал, он и должен быть идеалом. Его и трогать нельзя – вдруг что-нибудь повредишь. Или при ближнем рассмотрении окажется вовсе не идеалом... Вдобавок, метался между самоунижением – «я её недостоин» и самолюбованием – что я, такой прекрасный, мог бы осчастливить её.

А то вдруг накатит, что всё глупо, пошло и страшно. Глупо, если смотреть со стороны, пошло, если изнутри, и страшно, потому что это творится со мной самим. Успокаивал себя только тем, что другим вреда не делаю. И конечно тем, что об этом никто не знает...

Это – одинокость-ожидание.

Одинокость-отчаяние появилось сравнительно недавно.

Оно приходит днём, особенно по праздникам и выходным, когда каждый в своей комнате сидит перед своим телевизором. Гляжу в одну точку или тупо переворачиваю листы книги, не запоминая ничего из прочитанного. На столе передо мной – телефон, и смотрю на него как на спасательный круг, жду, может, кто-нибудь позвонит – просто так, узнать, как дела. Потом радуюсь даже тому, что позвонили и о чём-нибудь попросили, загрузили своими проблемами, а часто, так ничего не дождавшись, набираю номер справочной оператора, послушать запись женского голоса, обращенного ко мне.

Выйти на улицу нет желания, как ни странно, из опасения встретить знакомых. Но не боюсь, что меня увидят в таком состоянии, просто те, кто мне необходим, знают мой номер и могли бы позвонить. А остальные не нужны. Думаю в такие минуты, лучше уехать туда, где меня никто не знает, затеряться в чужом городе. Если удастся, конечно.

Но даже такая мечта неосуществима. Слишком много нужно отдать времени и сил для этой мечты. Столько отдать, что ничего уже не захочу. А будет ли легче, не уверен....

Ещё ожидает одинокость-равнодушие. Какое оно, в подробностях ещё не знаю, но временами оно подступает, протягивает свои крысиные лапки. И в нём, уж точно, ни сладостных ощущений, ни грёз.

Упущенное прошлое, пустое настоящее и страшное будущее. Но, как ни странно, тебе везде есть место.

Даже в далёком прошлом.

Сижу и вспоминаю тебя. О твоём существовании узнал до нашего знакомства – одноклассница сказала, что видела школьного товарища с девушкой. С тобой. Потом – несколько случайных встреч, пару раз слышал тебя по телефону, когда звонил однокашнику, однажды заходил к вам домой...

На приветствие ты отвечала кивком головы, на улыбку – едва заметным движением губ, почти всегда молчала. Я чувствовал, тебя что-то гнетёт. И мы обращались друг к другу на «вы».

С моей стороны такое обращение к женщине скрывает многое – от глубоко запрятанной робости до лёгкой неприязни. А женщину, девушку немного смущает, и – наберусь смелости – ко мне располагает.

Но перейти на «ты» после этого сложно. Невозможно стать ближе, «выкая» на каждом шагу.

А когда вскоре встретились на улице, появилось «ты». Мне тогда почудилось, мы только ждали этой минуты, чтобы просто увидеться и поговорить, но кто-то нам мешал это сделать, и что прошлое «вы» пошло и неуместно.

Обычное, избитое «я тогда почувствовал, будто знаю тебя много лет», говорить не стану. Да оно и не соответствовало действительности. Казалось, ты была когда-то, страшно давно, в моей жизни, и я только начинаю о тебе вспоминать. Как о ком-то дорогом, из глубокого детства, о ком надолго позабыл.

Наплыло, унесло, закружило....

Я не мог мечтать, как раньше, что ты можешь быть со мной всегда, что у нас будет семья. У нас уже были семьи, дети, престарелые родители. И мы думали о них. И думали о нас. Почему-то не было чувства безнадёжности. Может, потому не было, что знали заранее, что можем изменить, а что – нет, что можно делать, а что – ни в коем случае. Только сожаление – ведь ничего по большому счёту не сделать, не изменить.

Мы встречались, и долгое время просто гуляли и разговаривали. Я боялся близости, думал, многое исчезнет, погаснет самое главное. Но близость ничего не испортила....

Поймал себя на мысли, что уже давно говорю «мы». Какое небольшое отличие в словах: «вы», «ты», «мы», всего одна буква, но значение такое разное. Эти слова, как ступени близости. И последнее, «мы», полная противоположность одинокости. Так и не знаю, стали мы единым целым хоть на минуту или нет? Мне не с чем сравнивать, ничего подобного у меня никогда не было. А как считаешь ты? Может, я права не имею говорить о нас, о наших чувствах? Тебе решать, и тем более, сейчас, когда всё вроде бы ровно, улеглось...

Однажды возвращался домой, шёл в полузабытьи, думал о тебе, и вдруг само всплыло: «А ведь она меня действительно любит! Да что же это я?! Ведь это счастье!».

Это счастье можно чувствовать, можно радоваться ему только тогда, когда любишь сам, а не позволяешь себя любить. Тут же ответил: «Да!».

Всегда избегал слова «люблю», слишком часто звучит оно там, где места ему нет и быть не может. И ты это понимала... «Ты, наверное, сможешь подобрать другое слово. Я других не знаю. Но ведь так быть не должно, почему меня тянет именно к этому человеку?! Как в трубу какую-то затягивает... Вот прямо туда...».

Оказывается, ты сказала точнее. А меня тогда просто трясло. И слова другого до сих пор так и не подобрал. Думал о тебе каждую минуту, мало что замечал вокруг, и иногда, наверное, походил на блаженного. Когда кто-нибудь произносил твоё имя, всё в душе переворачивалось. Как-то девочку мать позвала, а я... Хорошо хоть рядом никого не было...

Плыл по течению, отпустив всё на волю случая. Ведь именно случай помог нам хотя бы встретиться. Пусть поздно, пусть ненадолго. На то он и случай. Была бы судьба – свела бы нас намного раньше. И исправлять тогда ничего не надо бы было, и думать, что всё непоправимо...

Прислушивался к себе, боясь спугнуть чувство, которое разрасталось, пока не заполнило душу. Оставался один нетронутый уголок: «А та, другая, в чём виновата? Что сделала мне плохого, за что вообще ей всё это?».

Когда так думал, повисал над бездной, и тут же уверял себя, что это не измена, изменяют не тем, с кем живут, а тем, кого любят.

Знакомо тебе ощущение «сквозняка» в душе? Мне знакомо. Его и пытался только что передать.

Но, верно, и другим что-то досталось от поглотившего меня чувства? Досталось, конечно, – кусочки счастья, но, больше, боли...

Когда впервые тебя увидел, ты была как затравленный зверёк. Позже понял – ты сама себя затравила. Как и я – себя. Объяснить могу одним, мы оба запутались в себе, многое испробовали – всё не то! – а потом закрыли глаза и ткнули пальцем если не в первого, то во второго встречного. Будь что будет! Надоели одинокость, ожидание того самого близкого, родного, кто понимает. Так и появились два союза, нелепее которых в жизни не встречал.

Но проходит год, другой, ничего хорошего нет, и не предвидится, ничего не меняется, и кажется, везде и у всех так, иного и быть не может. Тоска. Еще хуже от мысли, что такое только у меня, и другой жизни я просто не достоин... Самоуничижение. Но дороги назад всё одно нет.

Ближние позволили тебе затравить себя. И более того, этим пользовались. Часто представлял тебя среди людей, с которыми ты жила, и понимал, насколько ты одинока. Как он сидит вечерами у компьютера, и перед тобой полжизни – его спина, как он звонит поздно домой и врёт, что у него – «дела».

Каждый раз, когда мысленно видел подобное, меня переполняла нежность к тебе.

Что же нужно сделать с женщиной, чтобы превратить её в затравленного зверька?! И почему он это сделал или не препятствовал этому? Потому что никогда не любил? Или любил по-своему, однобоко. Бо-

ялся, если ты избавишься от гнетущего тебя чувства, потеряешь крохи привязанности к нему....

Если человеку недостаёт тепла и нежности, он часто становится эгоистом. Пытается получить тепло самостоятельно и за счёт других, всю жизнь довольствуется неполноценным счастьем. Растёт от этого злость, требовательность к людям, которые нежность должны были дать, да недодали...

Но почему должны? Они, вероятно, сделали всё, что в их силах. Коль не любят, отдают должное...

А мы? В чём провинились, что однажды, давно, судьбой было уготовано, что мы – не рядом, а поблизости?

Опять перешёл на «мы». Когда впервые произнес «мы», помню, почувствовал: одинокость отступает. Впервые за много лет. Поэтому и тешу себя надеждой, что был, хоть и небольшой, отрезок нашей жизни.

Но что я мог дать тебе, кроме любви? Когда она бы закончилась, что бы осталось? Неизвестно. А бросившись в неё с головой, можно всё разрушить и всем навредить.

Рассуждаю так, будто у меня что-то сохранилось... Все давно разрушено. И перестал думать о будущем счастье – ведь ни одна моя мечта не сбылась. «Другой город, где меня никто не знает» – разве это мечта?.. Так, отдушина...

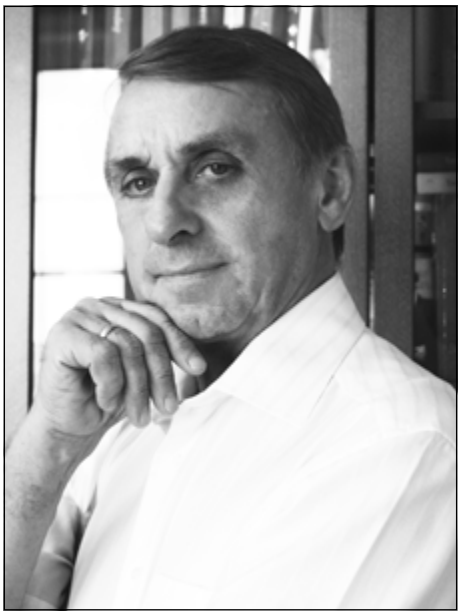
Боль притупилась, но не исчезла. Наверное, все же хотелось больше не счастья, а страданий. Потому осталась только боль. Острота ушла, лишь камень лежит на душе. Он не тянет ко дну, но заставляет задуматься о прошлом, пожалеть о настоящем, заглянуть в будущее. Теперь я – памятник несостоявшемуся «мы».

А мы бы состоялись, если бы встретились свободными людьми? Кто знает...

Может, кое-что тлеет в наших отношениях только потому, что пламя горело недолго? Разгорись оно как следует – прошло бы несколько лет, и мы стали бы чужими людьми?

Как ты поступаешь, не берусь судить, но я тлеющие угольки чувства берегу, не дышу на них сильно – чего доброго, разгорятся и испепелятся. Они – немногое, что есть в моей одинокости. И даже этого довольно. Но хочется хоть иногда тебя видеть.

В будущем, в одинокости-равнодушии, возможно, и этого не будет. Но память о тебе останется. В этом уверен.



ДМИТРИЙ ЖУКОВ

МЕТЯ, ПИЧА И БЛАНДА

Знойный летний день. Солнце со своей высоты расстреливает все живое ослепительной огненной пушкой. Под палящий обстрел попадают и краснеют на глазах помидоры. Глупые курицы жмутся в тени, лениво, по привычке разрывая желтыми лапами землю. Крыши домов пытаются отражать солнечный натиск, но у них это плохо получается и, кажется, они начинают тихо плавиться.

– Пойдем, искупнемся? – вяло говорит Пича.

Его лицо под непрерывным солнечным обстрелом напоминает мне виденных в кино индейцев из стана краснокожих: та же кирпичного цвета кожа, блестящие глаза. Только облупившийся нос и выгоревшие белесые волосы выдают принадлежность к лагерю бледнолицых.

– Пойдем, – также сонно отвечаю я. Ловлю себя на мысли, что и моя физиономия не лучше Пичиной. У меня также на солнце быстро темнеет лицо, выгорают волосы. Еще бы: день-деньской болтаться на улице, хочешь не хочешь, а сгоришь.

Одно время мы приладились было делать себе из газеты пилотки – и на военный манер, и с козырьком. Да, голову это защищало от солнца. Но возникли неудобства: то на бегу пилотка слетит, то зацепишься где-нибудь за сучок дерева. Нет, голова у нашего брата должна быть свободной.

Мы бы давно уже рванули на речку, но надо доделать дело.

– Бланда, ты скоро там? – поднимаю голову вверх.

Наш третий пацан забрался на самую макушку высоченной груши и набивает себе пазуху. Он самый меньший среди нас. Все же даже под его легким телом ветки угрожающе раскачиваются. Но Бланду это не

пугает. Обхватив одной рукой ствол, он другой тянется к самой верхушке. Именно там, на солнце, зреют самые сочные и сладкие плоды.

Старая раскидистая груша растет прямо на меже огорода Бланды и соседского дома. Приходи, рви, бери. Но для нормального пацана это скучно. Не приходится, как в чужих садах, высматривать, ловить момент, когда можно сделать набег. Правда, большая часть груши склонилась к соседям и по неписаным законам урожай должен достаться им. Но мы-то знаем, что там живет добрый дядя Коля, который всегда нам разрешает рвать груши на его территории.

У дяди Коли глаза почему-то всегда усталые и грустные. Он работает шофером на автобусе, много возит людей. Кажется, он сильно устает на своей работе, оттого у него и глаза такие. И ступает он тяжело и тоже как-то грустно. Даже сейчас, когда солнце светит жарко и весело, у дяди Коли печальный вид. Может быть, он знает что-то нерадостное, то, чего мы не знаем?

– Ты что, оглох? – снова кричу я Бланде. – Нарвал груш? Айда купаться!

– Сейчас, еще немного, – слышится голос сверху.

– Ну их, эти груши, – заскулил Пича, рисуя палкой круги на земле. – Зажаришься тут, пока дождешься...

– Ничего, подождешь. Это тебе не шпанку у Киселихи тырить, – подковыриваю его.

Пича позорно смолкает. Знает грех за собой, вот и не выступает.

Он сильно меня разочаровал во время налета на раннюю вишню-шпанку у противной и визгливой тетки Киселихи. Мы хорошо там поживились, но кто-то крикнул «шухер», и мы бросились наутек. Забежали отдышаться, заодно и спрятаться от преследователей в старый школьный сортир. Не успели оглядеться, Пича задрожал:

– Застукают нас! Давай высыпем шпанку!

– Ты что? – поразился я. – Жалко...

– Ну, вы как хотите... – не стал долго убеждать нас Пича.

Не успели мы и глазом моргнуть, как Пича задрал рубаху, и красная сочная шпанка посыпалась в дырку.

Его мандраж передался Бланде. Тот тоже судорожно дернул рубаху и еще одна партия вишен свалилась в туалетное нутро. Что мне оставалось?

Пришлось проделать то же самое.

Мы идем как побитые собаки. Рисковали, рвали ягоды – а даже не попробовали.

Стукнула калитка. Так и есть: пришел дядя Коля. Приложив козырьком руку ко лбу, он, посматривая на Павлика, озабоченно качает головой:

– Ох, зачем же ты так высоко забрался? Не дай бог, ветка обломится.

– Ничего, дядь Коль, не обломится.

– Ну, смотри, поосторожней ...

Тяжело ступая, он уходит в дом. Наверное, на обед пришел.

У меня самого засосало под ложечкой. Груши грушами, а что-нибудь перехватить не мешало бы. А то уйдем на речку, там еще больше есть захочется. А когда домой попадем?

Спускается с дерева Бланда. Мы делим груши и разбегаемся по домам.

Через пятнадцать минут встречаемся – такой уговор.

В нашем детстве имена не носили. Это было просто неприлично. А ну, как при всем сборище кто-нибудь пригладит твои волосы растопыренной пятерней и произнесет подчеркнуто правильным голосом: «Ми-и-и-тя...», это ж насмешка получается, за которой непременно кроется какая-нибудь провокация. Проще, понятнее, когда тебя называют, как каждого в округе, тем прозвищем, которое к тебе прилепилось однажды и ты должен нести его всю оставшуюся жизнь. Так что и сейчас, когда ты уже немолод, а, точнее, даже стал дедом, как скажет кто из бывших корешей то, «настоящее», имя – сразу встрепенешься как старый боевой конь, поведешь ноздрями и непременно учуешь запах далекого разноцветного детства.

У каждого из нас, как у киношных разведчиков, было по два, а то и по три дополнительных имени. Школа была снисходительнее, тут производные шли от фамилий. В нашем классе Сашку Суковатого звали Сучек, Игоря Басова – Басик, Сашку Савенко – Сава, Игоря Гукова – Гучек. Все просто и понятно.

Улица же клеймила без сантиментов. Меня звали Метей. Хоть и слабоватый, все же некоторый отголосок от моего истинного имени – Митя тут был. А вот Витьку – он на год младше меня – почему-то прозвали Пичей. Другой сотоварищ – Павлик – отстоял от меня на четыре года, и звали его непонятным именем Бланда. Прямо как Балда или Баланда какая-то.

Кроме «официальных» уличных имен, были еще и неофициальные. Они шли в ход, когда надо было пнуть обидчика за спиной, или в порыве ехидства и злости бросить эдакое неприятное прямо в лицо. Обидчик сразу вспыхивал и даже мог пустить в ход кулаки.

Мое подпольное имя было Слон. Старшие ребята, заранее предвкушая дерганье, порой нараспев декламировали:

Перед нами Метя Слон,
он огромен и силен,
у него, как у китайца,
отросли большие я...а.

Я отнюдь не был огромен и силен, наоборот, худ и несколько слабоват. А уж по интимной части ничего такого особенного не отрастало, и мне было обидно за нелепое сравнение. Но что поделаешь, не объявишь же войну всей улице.

Утешало то, что у других добавочные прозвища были куда хлеще. Например, одного пацана ехидно дразнили Крысей. А у Пичи подпольная кличка была Шкрек. Это связано с мерзкой и противной жабой. Пича переехал к нам в Суджу из Донбасса и как-то рассказал, что жаб у них зовут шкреками. Так и прилепилось к нему – Шкрек. Нет, мой Слон звучит куда лучше и даже благороднее.

Бланде по малолетству никакую другую кличку сразу не дали, а потом все забыли, так он и остался просто Бландой. А взрослые, как самого маленького среди нас, звали его ласково Павликом.

Родители наши были простые работяги. Как и все в округе, занимались одним и тем же: матери – работали от зари до зари, отцы – еще и пили. Грамотность – какая там грамотность... Как-то, я учился в третьем классе, в нашей семье принялись писать письмо родственникам. После приветов и поклонов на полстраницы подошли наконец к главной новости. А новость была такая: отец заменил возле дороги

деревянный, сгнивший наполовину и покосившийся электрический столб. Столб поставили новый, и у всех стало радостно на душе. Этой радостью хотелось поделиться с родственниками, но тут возникло затруднение: как правильно писать: «столб «на шасе», или «на саше» (с ударением на последнем слоге)? Обычно в доме говорили «на саше». Но ведь слово ляжет на бумагу, письмо прочитают в далекой Горловке, и моим не хотелось ударить в грязь лицом.

Отец, мать и бабушка сгрудились возле стола над тетрадным листом.

– Надо так и писать: «на «саше», – бесхитростно предложил отец.

– Да нет, правильнее «на шасе», – поправила бабушка.

Мать дипломатично молчала, не принимая ни ту ни другую сторону. Потом нашла выход:

– Митька, как думаешь, надо писать?

Это слово мы в школе еще не проходили, и я растерялся. Мне казалось, что ближе к литературному все-таки «на шасе». Ну а вдруг ошибусь, и на меня ляжет позор за безграмотность? А еще учусь на четверки и пятерки.

Я любил читать, в первом классе даже на переменках не отрывался от книг. А в сочинениях всегда старался ввернуть что-нибудь особенное. Както вставил выражение «зеленое море тайги» (того самого, что «под крылом самолета о чем-то поет»), и меня потом так хвалили, так хвалили... Я радовался, нисколько не понимая, что это был самый настоящий плагиат.

Старая и вытянутая учительница русского языка и литературы со строгим умным лицом по прозвищу Селедка, поставив за очередное сочинение через дробь пять-пять, нередко приписывала ниже: «Молодец, Митя!». Были мне потом за это от ребят подколки.

Но вот подсказать своим домочадцам я не решился.

И в письме написали: «на саше».

Наверное, уже тогда я понял, что нерешительность чаще приводит к ошибкам, чем уверенность в своих силах.

Я забегаю в прохладу дома: чтобы быстренько перекусить? Ага, вот помидоры на столе, хлеб, еще есть сырые яйца. Заметив мою суету, бабушка предлагает:

– Борщ будешь? Давай подогрею...

– Не-е-е-т, некогда, – мотаю головой с набитым ртом.

Ну, вот и перехватил. Теперь – самое главное.

Я отрезаю широкую скибку хлеба, иду в сенцы. В темноте нашариваю крышку большой кастрюли с водой, гремлю ею. Опускаю осторожно хлеб так, чтобы он слегка смочился водой. Задвигаю на место крышку. Потом сахаром густо посыпаю влажноватый хлеб, он впитывается и становится темным. Все, можно идти. Интересно, а с чем мои пацаны выйдут?

Пича и Бланда уже ждут меня. У каждого в руке ломоть хлеба. Я подхожу со своим. Не успел разглядеть, чем у них намазано, как Бланда и Пича наперебой выкрикивают:

– Сорок восемь, половинку просим!

Эх, ротозей, не успел произнести «Сорок один – ем один», корю себя.

Делать нечего, надо делиться.

Первому даю куснуть Бланде. У него рот хотя и маленький, но прожорливый, так и норовит цапнуть побольше. Но я начеку. В самый по-

следний момент, когда он готов уже сделать захватническое движение, чтобы оттяпать у меня кусман, я отвожу руку назад.

Ага, не получилось, торжествую.

Потом приходит Пичин черед. Ну, тут бояться нечего, этот не наглеет.

Пора бы и мне отведать их выносные куски. У Бланды на этот раз хлеб густо намазан вареньем из крыжовника. Пича покрыл хлеб свиным смальцем, а сверху посыпал солью. Я поочередно пробую. Вкуснота! И почему это у других всегда лучше?

– Ну, вперед? – предлагаю своим пацанам.

– Да, идем скупнемся, а то зажарились совсем, – поддерживает меня Пича.

Мы двигаем на речку.

Возвращаемся через город с торчащими во все стороны после купания нерасчёсанными волосами. На штанах сзади темные пятна от мокрых трусов. Ничего, высохнет.

– Давай бутылки глянем? – предлагает Бланда.

Мы сворачиваем в парк, пробираемся к укромным местам, где любят собираться выпивохи. После себя они оставляют пустые бутылки, нам это пожива. Но сколько ни рыскаем, на этот раз ничего не находим. Мы уж и в урны заглядывали, и под скамейки – пусто. Уж на что наш Бланда глазастый – и под густые ветки подныривал, и цветы раздвигал – ничего не нашел.

Невысокий, голенастый, вертлявый, он еще и рисковый. Однажды приладился в «Лакомке» пирожные из-за прилавка таскать. Попросит нас загородить его, а сам худенькой ручкой сбоку хвать – и пирожное уже у него. А один раз на пляже у взрослого парня прямо на его глазах шикарные кожаные штиблеты спер. Тот загорал, подставив солнцу лицо в темных очках. А Бланда как проходил мимо него, так, не сбавляя шага, сунул ноги в штиблеты, и дальше прошагал. Правда, через пять минут он эти штиблеты в кусты забросил – не его размер оказался.

Все же однажды он залетел. Мы тогда втроем, получив деньги за сколоченные ящики (недели две работали), поехали в большой соседний город Сумы, чтобы приодеться, купить, кому что захочется. Потихоньку деньги у Пичи и Бланды разошлись, у меня же еще оставалось. Зашли мы в обувной магазин, и тут я увидел кроссовки – прочные, легкие, простроченные суровыми нитками, маняще пахнущие новой кожей. Я о таких только мечтал. Тем более, в то время начал заниматься спортом. Купил, не раздумывая. Моим ребятам тоже хотелось, но денег-то нет. Тогда Бланда взял да и спрятал кроссовки за пазуху...

Его застукали. Вызвали милицию, нас повели в отделение, допрашивали. Видимо, то, что мы деньги заработали честным трудом, подействовало на милиционеров. Сделали нам внушение, да и отпустили с миром. Добрые дяденьки попались...

– Смотри, что я нашел! – кричит Пича.

В руке у него блестит красивый фантик от шоколадной конфеты. Я разворачиваю его: «Чио-чио-сан». Мы с Пичей переглядываемся с улыбкой.

Когда были помладше, у нас была настоящая охота за этими фантиками. Мы потрошили урны, выуживали их из луж, из канав, потом

высушивали, разглаживали. Даже следили за влюбленными парочками – как последует угощение дамочке, точно будет пожива.

Однажды нам несказанно повезло: в парке, в беседке, мы наткнулись на целый ворох только что развернутых, еще пахнущих шоколадом хрустящих целлофановых роскошных фантиков с красивым названием «Чио-чио-сан». Мы таких конфет сроду не пробовали.

Помню, как с матерью зашли однажды в маленький тесный продмаг под народным названием «Сенная», я уставился на раскрытые ящики с конфетами, от которых шел сказочный аромат, и стал канючить: мам, купи да купи. И как был безмерно рад, когда мать купила мне за пять копеек одну – шоколадную конфету! До сих пор помню, с каким медленным наслаждением, дорожа каждым кусочком, всю дорогу до самого дома я ее ел...

– Мое! – закричал тогда Пича, растопыривая руки и не пуская нас вперед.

– Нет, я первый увидел, – завопил я.

А оттертый от красивых фантиков маленький Бланда, понимая, что ему ничего не достанется, тут же пустил слезу. На нас это не подействовало. Каждый старался подобрать фантиков как можно больше. Потом, успокоившись, мы долго рассматривали свалившуюся на нас добычу, подсчитывали, кому сколько перепало.

И как это можно такие прекрасные фантики бросить на землю?

Деньги на летних каникулах мы своим трудом зарабатывали. Возле города в карьерах добывали торф. Трактор с длинным широким хоботом растягивал густую коричневую массу по лугу, на ходу рубя ее на отдельные коричневые кирпичики. Торф постепенно подсыхал, кирпичики надо было переворачивать, что мы и делали. А потом грузили их в кузова подъезжающих тракторов и грузовиков. Машины натужно гудели, пахло отработанными газами и соляркой. Разгоряченные, мы кидали кирпичики торфа за высокие борта, на наши потные тела сыпалась торфяная крошка.

Ну, а сбор бутылок – это так, развлечение. Но некоторые доходы все же приносило. Конкуренции тогда в этом деле не было никакой – бичи не водились, а пенсионерам пенсии хватало, они не утруждали себя копеечным делом. Простая бутылка стоила двенадцать копеек, из-под шампанского или другой «шипучки» – «фугаска» тянула уже на семнадцать. Для нас это были деньги!

Все шло в общий котел.

В конце трудового рабочего дня мы устраивали кутеж в излюбленной забегаловке. В это время тут было не протолкнуться. Мужики подавали через головы бокалы с пивом, пена плескалась нам за шиворот. Тут же резали селедку, пили водку, глотали дешевые салаты, чадили «Беломором». Нам нравилась эта ничем не приукрашенная, бурлящая жизнью и понятная нам среда. Мы разгребали на столе какой-нибудь уголок и спускали честным трудом заработанные «барыши». Чаще всего заказывали макароны с густой желтой подливой и особо вкусные, с золотистой хрустящей корочкой котлеты. Вот это были котлеты! И почему дома не могут приготовить, как в столовой, трудно, что ли, недоумевали мы.

Мы выходим из парка, идем по городу. После купания всегда есть хочется, а у нас карманах пусто. Ни одной завалящей бутылки не нашли, невезуха какая-то. И тут...

На углу улицы возле небольшого деревянного киоска мужики соображали на троих. Продавщица подала одному из них «шипучку», отсчитала сдачу. Хлопнула пробка, брызги в стороны, и того мужика, что открывал бутылку, прямо-таки залило пеной. Он, зажмурившись, наощупь полез в карман, выдернул носовой платок. Мы стояли рядом, терпеливо ждали, пока мужики одолеют бутылку и отбросят ее в сторону. Тогда семнадцать копеек будет у нас в кармане!

В то время мы уже начинали потихоньку пить. Не то, чтобы нам это нравилось, просто неудобно было отставать от старших товарищей. Главным распорядителем в этом деле был Пича. Все у него красиво получалось. И то, как он заговорщески подмигивал нам: сообразим, что ли, на троих – и то, как разливал по первой, и глаза его щурились в довольной улыбке, становились маслянистыми и приторными. Красивым казалось и то, как он тянул вино, а потом умиротворенно, по-мужицки, крякал. И мы не могли вслед за ним также не потянуть и не крякнуть. А потом обволакивало изнутри, становилось приятно и радостно. Оттого, что рядом с тобой сидят друзья, которых ты знаешь как облупленных уже много лет, в каких только переделках ни бывал, и ни на кого не променяешь.

– Смотри, – вдруг толкнул меня локтем в бок Пича так, что мне даже стало больно. Я хотел разозлиться на него и двинуть в ответ, но глянул вперед и оторопел. На наших глазах из кармана мужика на землю высыпалась целая пачка денег и стала разваливаться на десятки, пятерки, трояки. Очевидно, это была вся месячная зарплата.

Не успели мы придумать, как выудить из-под ног мужиков эту денежную массу, как Бланда протерся между ними, наступил ногой, раз, р-раз – и деньги у него в кармане.

Мы рванули. Потом подсчитали в укромном месте – почти 80 рублей!

Деньги решили разделить поровну: по двадцать пять рублей отдать своим матерям, а остальные – прокутить.

На следующее утро держали совет. Куда пойти?

Мы часто ходим в походы. Ранней весной, чуть стает снег, отправляемся километров за пять в лес в Латоху, туда, где протекает речка Суджа, за подснежниками. Приносили домой синенькие букетики, и они долго стояли на столе, радуя всех своим нежным светом. А сколько раз мы ездили на велосипедах с ночевкой на Псел! Ловили рыбу, варили уху, горланили песни.

– А махнем-ка на Крейдянку! – предложил на этот раз Пича.

Мы с Бландой поддержали его. И вот взяли вина, прихватили свои припалы – эдакие самодельные пистолеты, а то давно уже не стреляли, и отправились на Крейдянку, эдакое меловое местечко.

Мы стоим на самом краю белогорья. В стороне под ржавыми крышами чахнет полукустарный черепичный заводик. Возле него приткнулся измазюканный мелом старый экскаватор и такой же доходяга трактор. Они грузят и подвозят сюда мел. Мела тут – навалом. Он возвышается изрезанными сопками, струится расщелинами, ниспадает обрывами. Мел, мел

и мел, горы мела. Он растворяет в себе потоки солнца, заливает все вокруг ослепительным белым светом. Вот бы темные очки, как у альпинистов. Но у нас их нет. Мы щуримся, окидывая взором безмолвные меловые горы.

– О-о-о-о... – прерывисто прикрывая ладошкой вытянутые губы, по-индейски трубит Пича.

– О-о-о-о... – вторим ему с Бландой.

Многоголосое эхо разносится по белым просторам. Горы впитывают наш призыв и зовут к себе.

Пича первым начинает штурм ближайшей белой вершины. Я карабкаюсь за ним. Бланда тоже не отстает. Через минуту наши руки, обувь, все измазано мелом.

– А-а, черт... – слышим сзади жалобный стон Бланды.

Он сорвался с небольшой кручи, подвернул ногу, и теперь сидит, трет ее, поглядывая на нас тоскливыми глазами.

– Не поминай черта, а то палец не найдешь! – замечает Пича.

– Найду!

И действительно, скоро он первый находит чертов палец. Мы подбегаем к нему:

– Покажь!

В руках у Бланды – небольшой коричневатый каменистый отросток, похожий на палец. Вытянутый и гладкий, с заостренным концом. Его так и называют – «чертов палец». От этих пальцев есть практическая польза. Поскобли его ножом, посыпь порошком рану, забинтуй – все скоро заживет. Так мы всегда и делали, дома у всех в ящиках хранились эти самые «чертовы пальцы». Шик был в том, чтобы найти пальцы побольше, покрупнее.

Фантастические меловые горы – это донные отложения плескавшегося здесь миллионы лет назад моря или океана. А то, что мы называли «чертовыми пальцами», – окаменелости разных моллюсков. Необычайно и загадочно было находить остатки доисторических жизней, которым лет несть числа.

Мы лазим, ищем «чертовы пальцы», сравниваем. Все перемазаны мелом, белые с ног до головы. Ничего!

Потом Пича со своей неизменной улыбочкой и прибаутками разливает по стаканам вино, щурится, смакует, охает и крякает. И мы чокаемся и крякаем, стреляем самодельными свинцовыми пулями по бутылкам. Еще лазим по меловым горам, вдосталь собираем «чертовых пальцев».

Пора уже и домой двигать.

Едва меловые горы скрылись за спиной, показалась шелковая долина.

Дунул легкий ветер, и вся равнина на наших глазах заходила ходуном. Мягкие волны катятся одна за другой, перетекая далеко – далеко. Такое увидишь только на Крейдянке. Именно здесь растет ковыль, мягкое степное растение. Сразу его и не заметишь. Искать его надо по травинке, по былинке. И что за чудо букет из ковыля – одна мягкость и нежность, будто сами степные края передают ему свое щедрое солнце.

Мы срываем редкие шелковистые ковылинки.

– А ты чего не рвешь?

Я замечаю, что Бланда, поотстав, прихрамывает, не обращая никакого внимания на степные красоты.

– Да ну тебя, – несется в ответ.

– Наш Бланда сегодня не в духе, – констатирует Пича.

Навстречу по пыльной дороге идут двое ребят. Обыкновенные деревенские пацаны, примерно нашего возраста.

– А ну, дайте закурить! – рыкнул на них Бланда.

– Не курим, – ответил один.

– Зажал! – прицепился к нему наш товарищ. – А ну! – замахнулся он на пацана.

Тот, видя такой поворот событий, отскочил на безопасное расстояние.

Бланда, недолго думая, врезал в скулу его товарищу.

– За что?..

– Ах, ты еще и возбухаешь? На тебе! – ударил Бланда еще раз.

Парень упал. Бланда с размаху заехал ему ногой. Потом еще и еще...

Распаляясь, он стал безостановочно наносить удары ногой пацану в лицу, в живот, куда попало.

Мы с Пичей бросились к нему.

– Ты что? Остановись!

Удержать Бланду было трудно. Мы вдвоем оттаскивали его, а он все рвался к лежащему на земле пареньку, как к своему самому большому обидчику. Тот уже не сопротивлялся. Скрестив руки для защиты, он сжался, не шевелясь, ожидая новых ударов.

Кровь стекала с его разбитого лица и все капала и капала в сухую придорожную пыль белогорья. Ярко светило солнце, было жарко, и мне казалось, кузнечики трещали так громко, хоть уши затыкай...

К старшим классам наши дороги стали расходиться.

Я больше сдружился с городскими ребятами – Басиком, Сучком, Савой, Гучком. Эти ребята составляли ядро класса. И в учебе они были впереди, и в спорте. Я тянулся за ними.

После окончания школы закончил с красным дипломом техникум, заочно – университет. Работал журналистом в газете, потом занялся предпринимательством в сфере полиграфии, издательства. Есть жена, дочь, а теперь еще и внучка.

У Пичи появилась своя компания, довольно разудалая, и он частенько ходил навеселе. Закончил музыкальное училище, но работал шофером. Поздно женился, потом быстро обзавелся двумя детьми. Жена терпела, терпела его пьянки-гулянки, затем забрала детей и ушла.

Пича продолжал пить и вскоре помер.

Павлик, то есть, Бланда, стал промышлять со своими новыми, намного старше его дружками. Сразу после окончания школы сел на семь лет – темной зимней ночью сняли тулуп с какого-то пьяного мужичка.

Вышел из тюрьмы. Однажды захотелось выпить. Бланда залез в соседний дом, снял со стены ковер. А тут зашел дядя Коля, тот самый «наш» дядя Коля с усталыми и добрыми глазами.

Павлик схватил со стола кухонный нож.

Нож вошел дяде Коле по рукоятку в самое сердце.

ИГОРЬ ИЗБОРЦЕВ

СМЕХ И СЛЁЗЫ МОЕГО ДЕТСТВА

Лучше плакать в детстве, чем в старости.
Неизвестный автор

Лето 1963 года, воскресенье, время к полудню. Солнце томит жаром. Не спасает и тень от громады Свято-Троицкого Собора, лишь близость реки Великой дарит живительную свежесть. По пологой крытой соборной лестнице на паперть второго этажа поднимается молодая женщина, держа за руку ребенка. Ступеньки высокие и ребенок едва справляется с подъёмом. Тогда женщина подхватывает его на руки... Эта женщина – моя мама, а ребенок – я. Мне два года, и я с удивлением смотрю на открывающийся сказочный мир, волнующий и непонятный. Все здесь блистает золотом, горит огнями, на боковых стенах и впереди, до самого неба – портреты людей... Кто-то в золотом одеянии пускает из звенящей бубенцами коробочки во все стороны дым, потом громогласно восклицает:

– Благослови, владыка!

– Благословенно Царство Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков, – звучит в ответ.

– Аминь, – поет невидимый хор.

– Миром Господу помолимся, – возглашает тот же, в золотом одеянии.

– Господи, помилуй... – подхватывает хор.

Поют совсем не так, как под гармонь поет мой дедушка, и на музыкальных занятиях в детском саду поют на иной лад. Всё в этом волшебном мире отличается от того, что в обычной жизни...

На самом деле, я не помню, как крестили меня в двухлетнем возрасте в Свято-Троицком Соборе, но легко могу себе это представить: и иду-

щие рябью воды реки, и перси Крома, словно закованная в доспехи грудь богатыря, и белокаменную твердыню Свято-Троицкого Собора, и золотые ризы священнослужителей, чудотворные иконы, семиярусный резной иконостас, ведь все это – константы времени и пространства. Они и сегодня равно так же встречают нынешних матерей и их чад...

Мама вспоминала, как вечером того дня я, захлебываясь от восторга, рассказал вернувшемуся с работы отцу, что был в цирке и там царь угощал меня вкусным вареньем. Это должно было оставаться нашей с мамой тайной, но разве возможно удержать в узде уста младенца? Отец вскипел. В ту пору он, убежденный комсомолец, недавно отслуживший срочную службу в десантных войсках, был далек от религии и всё, что было с ней связано, считал ненужным. Крестился он, уже выйдя на пенсию, чуть позже обвенчался с моей мамой. Так время расставило все по своим местам. Я же тогда и не разумел, что в тот самый день вступил на путь борьбы за свою бессмертную душу...

В день моих крестин отец отчитал маму и потом несколько часов с ней не разговаривал, меня же довел до горьких слез. Впрочем, уже совсем скоро я безмятежно гулял во дворе, слушая шум пролетающих мимо поездов...

Я благодарен своей маме, Маргарите Дмитриевне, за каждый год счастливого детства, за радости и печали, за смех и слезы, за Пушкина, наконец... Которого узнал и полюбил под кровом родного дома, где мне, едва научившемуся ходить, мама читала сказку о рыбаке и рыбке, о мертвой царевне и семи богатырях, о царе Салтане. Сколько себя помню, у нас на книжной полке всегда стояли книжки Пушкина, и обложки их никогда не остывали от теплоты прикасающихся к ним рук. Мы, дети, не засыпали без волшебной мелодии пушкинского слова. Думаю, что так было практически везде – Пушкин был ангелом-хранителем в каждой советской семье.

Я бесконечно люблю Гоголя, но ставшие крылатыми слова французского критика Эжена Вогюэ – «Все мы вышли из гоголевской шинели» – мне не вполне близки. Потому что я вышел из пушкинской «Метели», я родом из Пушкина и думаю, что в этом не одинок...

А еще в детстве мне нравилось смотреть, как заходили «под воду» уставшие паровозы, как зависал над тендером «хобот» гидроколонки и обрушивал вниз поток воды. Казалось, что железные машины жадно пьют, мимоходом выдыхая облака пара. И еще меня завораживали поезда. Стремительно и неотвратимо проносились они мимо, наполненные громом и ветром. Я видел мелькающие в кипящих светом окнах незнакомые лица, и думал о том, что никогда не узнаю имен этих людей, никогда их не встречу и не разгадаю, куда уносились они в этих, похожих на зеленые дирижабли, вагонах? Я воображал, что сижу у окна в одном из них и машу рукой стоящему снаружи подле путей мальчику, так похожему на меня. Сердце замирало от предчувствия чего-то неведомого, неизвестного. Но поезда уходили, а я оставался, смотрел им вслед, слушая, как гудят, успокаиваясь, рельсы, как затихают отголоски умчавшегося железного урагана. Потом шел домой длинными проулками, мимо похожих в своей непритязательности друг на друга домов, бесконечных заборов, и прячущихся за ними сердитых дворовых мосек...

Таков был район Завокзалья, где мне судил Бог родиться. Застраивался он в 40-50-е годы в основном людьми, обездоленными войной. Семья моего деда Степанова Дмитрия Степановича в довоенные годы проживала в деревне Лабенка Псковского района. В 1941 все мои родные были интернированы немцами и отправлены на принудительные работы в буржуазную Эстонию. Вернулись обратно в 1944, но ожидало их лишь пепелище...

Обосновались в Пскове. Новый дом строили в Завокзалье. Топонимика здешних мест была, за редким исключением, привязана к теме железной дороги. От главной улицы – Паровозной – разбегались в разные стороны улочки и переулки: Малая Паровозная, Паровозный проезд, переулки Машиниста, Путейца, Бригадный переулок, Вагонный, улицы Рельсовая, Железнодорожная. И наш переулок назывался соответственно – Паровозный.

А люди здесь жили замечательные: герои войны и труда, труженики-путейцы, машинисты, кочегары, ремонтники из паровозного депо, инженеры – отзывчивые, щедрые душой, скорые на любую помощь. Впрочем, была и у нас своя ложка дегтя – элемент, не желающий честно трудиться и строить, соответственно духу времени, светлое будущее – тунеядцы, жулики, бандиты, мешающие жить честным людям. Одним словом, шпана...

* * *

Я ходил в атаки, кричал «ура», врывался в немецкие окопы, брал языков, ложился грудью на амбразуру вражеского дота и погибал за Родину. Был верен боевым товарищам и хранил военную тайну. Я был вооружен: отец вырезал из доски винтовку, обжег ее на огне, чтобы она приобрела благородный боевой цвет, и вручил мне. А если в бою вдруг кончались патроны, я бил врага гранатами и деревянным ножом. Когда я, пробираясь к немецкому штабу, полз по огороду среди огуречных грядок, сосед моряк-балтиец дядя Жора подбадривал из-за забора:

– Бей фашистского гада! Не жалей! Штыком его!

Иногда, будучи особенно под хмельком, он порывался прыгнуть через забор мне на помощь. И прыгнул бы, если бы не протез, да широченные матросские клеши, которые, попадая в плен к репейнику, держали его на месте...

Дядя Жора был далеко не единственным соседом-фронтовиком. В конце шестидесятых у нас в Завокзалье едва ли не в каждом дворе звучало эхо войны. В выходные и праздники то со двора Сидихиных, то Моисеевых, то Лаптевых доносилось:

На позиции девушка провожала бойца,
Темной ночью простилися на ступеньках крыльца...

Это пели фронтовики. А на дворе дяди Жоры вовсю плескались волны, бывалый моряк затягивал свои морские песни:

Рыщут штормы на просторе,
Блещет молния вдали,
Мы ведем в седое море
Боевые корабли...

Солдаты-победители пели и вспоминали былые сражения. А мы, мальчишки, продолжая их победы, играли в войну.

Игры мальчишек более всего прочего характеризуют эпоху, показывают образ времени, его суть. В годы моего детства мы в играх стояли насмерть под Москвой и Сталинградом, освобождали Варшаву и брали Берлин. Нас не надо было учить побеждать, мы родились под гром победного салюта. Сегодняшние мальчишки плывут по волнам интернета, играют в стрелялки и стратегии, и бог весть, что у них на уме? К каким сражениям они готовятся? И готовятся ли вообще?

Я помню двадцатипятилетие Победы. Идут дорогами Завокзалья фронтовики. С улицы 1-й Полевой, с переулков Путейца и Машиниста выходят на Паровозную, движутся в сторону Вокзала. На них старенькие пиджачки, поношенные военные френчи, а на некоторых, как и на дяде Жоре, флотские бушлаты. И у всех на груди золото Победы – фронтовые медали и ордена. Идут фронтовики...

Если не гордиться Победами, то чем тогда гордиться? Если не равняться на подвиги, то на что равняться?

9 апреля, дядя Жора, проходя мимо нашего дома, кричал мне:

– Сынок, поздравляю с днем Победы, мы взяли Кенигсберг!

А на другой день опять:

– С днем Победы! Одесса наша, фашист бежит.

И мое мальчишеское сердце заходилось от счастья: как хорошо в стране Советской жить! А дядя Жора уже грустил. После стакана портвейна он вспоминал погибших товарищей. Затягивал:

О чем ты тоскуешь, товарищ моряк?
Гармонь твоя стонет и плачет,
И ленты повисли, как траурный флаг...
Скажи нам, что все это значит?

Я через тайный лаз в заборе пробирался к нему во двор, подходил совсем близко, просил:

– Дядь Жора, расскажи, как вы топили фашистский миноносец.

Моряк без проволочек тут же начинал:

– Дело было в 1942...

Сегодня замолчали дворы Завокзалья, никто не поет там песен. Сегодня вообще нигде не поют, народ как будто разучился петь. Молчат дворы, молчат улицы, молчат кварталы... Перед какой бурей это затишье? И если вдруг грянет, найдем ли силы, чтобы достойно ее встретить?

Эх, есть у меня мечта! Мечтаю, чтобы мои дети и внуки прошли дорогами моего детства, вдохнули воздух тех лет, попробовали фруктовое мороженое в бумажном стаканчике за 7 копеек и эскимо за 11. Услышали песни фронтовиков, увидели их парадный ход в День Победы. И после всего поняли бы и поверили, что мы действительно жили в эпоху грандиозных событий и великих имен, что нам было с кого брать пример. И научились бы, как и мы, гордиться нашей Великой страной и нашими Великими Победами.

* * *

Не знаю, сколько классов окончил наш сосед дядя Жора, но рассказчиком он был замечательным. Военные байки, истории о морских

походах и сражениях в его исполнении были куда лучше любого телевизора, вещающего скучным голосом Балашова про битвы за урожай, надои молока и партийные съезды. Иное дело наш сосед – и рассказом заворожит, и песней душу согреет:

Бьются в тесной печурке огонь,
На поленьях смола, как слеза,
И поет мне в землянке гармонь
Про улыбку твою и глаза...

В нашей тесной домашней печурке огонь тоже не переводился. И не только потому, что я был ответственным лицом за тепло в доме. Огонь мне был глубоко симпатичен. Я читал книги, сидя у горящей печи, глядя на пляшущие языки пламени, предавался мечтам, строил планы на будущее. И еще, в открытую дверку топки можно было прекрасно пускать дым, покуривая папироски. Что и делали частенько мы с моим другом Женей, воображая себя где-то на Юконе в Доусон Сити.

– Кто тебя так учил курить, чечако? – спрашивал я его.

– Сам ты чечако, – огрызался он, выпуская дымовые кольца, – тебе и до Чилкута не дойти...

– До Чилкута нет, а вот на физру в школу пора, мы уже дважды ее пропускали, Анна Григорьевна не простит...

Но школа не была к нам излишне строга, хотя, до известной степени, конечно – бывало, вызывали родителей, неоднократно прогоняли в парикмахерскую (был такой период обостренной борьбы за внешний вид), отчитывали за прогулы...

Учился я, с первого по десятый класс, в средней школе № 18, которую окончил с восемью пятерками в аттестате. В основном со всеми предметами был в ладах. Особенно любил литературу, историю, математику, физику и биологию. Отношения к школьным дисциплинам во многом зависели от отношений с учителями, и здесь все складывалось отлично. За редким исключением, коим стала учительница по химии. Однажды на ее уроке кто-то пошалил, что-то поджег, взорвал, напустил дыму... Я к этому отношения не имел, но учительница почему-то решила иначе, она зашлась криком именно в мой адрес и даже приложилась указкой к моей голове.

– Родителей в школу! – истерично кричала она.

Фиг ей, а не родителей! С той поры я стал игнорировать этот предмет, все равно за любой, даже самый отличный ответ она ставила мне тройки, а то и двойки. Наша классная приходила просить за меня, когда химичка вдруг решила вывести мне двойку за четверть. Ведь по остальным предметам у меня были отличные отметки... Отношения с химией нормализовались лишь в институте, но это произошло спустя годы...

В шестом классе я понял, что все домашнее собрание книг перечитал дважды и записался в железнодорожную библиотеку. Располагалась она на первом этаже клуба Железнодорожников в дальнем углу восточного бокового фасада. Приключения и фантастика, как пользующиеся особенным спросом, выдавались по записи, зато зарубежная классика всегда была в свободном доступе. Я встал в очередь на Вальтера Скотта, Хаггарда, Сабатини, Жюля Верна, а пока суд да дело, взял «Приключения Оливера Твиста» Диккенса. Неожиданно увлекся

и прочитал запоем, вернулся в библиотеку и схватил «Рождественские повести» и «Тяжелые времена», потом – «Большие надежды». А далее (в ту пору я уже был записан еще в две городские библиотеки) наш дом в Паровозном переулке посещали самые неожиданные гости: Сомерсет Моэм, Стендаль, Виктор Гюго, Уильям Теккерей, Оноре де Бальзак, Джон Голсуорси, Арчибалд Кронин; а далее еще пуще – Ремарк, Фицджеральд, Хемингуэй; приходили один за другим, днем и ночью. Мама едва не переселила меня в сени, где горящий ночью свет никому не мешал. Так что я рос в отличной компании...

Иногда приключения из книг перемещались в наш тесный дворик и мне удавалось применить в обыденной жизни почерпнутые из книг знания. Однажды дед Митя обнаружил в нашем сарае, где двери никогда не запирались по причине полного отсутствия ценных вещей, предмет, которого там быть не могло: приличного вида фибровый чемодан. Про теракты мы тогда ничего не слышали, потому и открыли чемодан без боязни. Свитер, две-три мужские рубашки, бритвенный прибор, блокнот и какие-то мелочи, которые обязательно затешутся во всякую компанию путешествующих. Я попросил взрослых дать мне немного времени для того, чтобы применить методы дедукции, о которых знал по приключениям отца Брауна и Шерлока Холмса. И так через пятнадцать минут я уже все знал о преступлении: что владельцем чемодана был немолодой состоятельный мужчина, путешествующий в одиночку, и его носильную кладь украли на железнодорожном вокзале, унесли с места преступления, обыскали, забрали все ценное и оставили в первом попавшемся укромном месте...

– Поглядим, чему ты научился в книгах, сдадим находку в милицию, а потом спросим, что выяснилось? – с сомнением сказал дед Митя и пошел за участковым Брагиным.

Однако, проверить мои догадки так и не удалось. Я еще был слишком юн, чтобы задавать сотруднику милиции такие вопросы, а дед слишком стар, потому, вероятно, спросить у участкового о происшествии просто забыл.

* * *

Нынче Завокзалье постепенно превращается в тихий бюргерский район. Давно снесены бараки, сходят с лица земли деревянные халупы бедняков, зато, как грибы, растут коттеджи и особняки богачей. Раскатан в пыль клуб железнодорожников имени Ленина, локомотивное депо сокращено до скромной мастерской, а в ж/д столовой обосновалась некая непонятная секта. И лишь все также прямо и неуклонно тянется к улице Декабристов Паровозная, и разбегаются от нее налево и направо тихие Завокзльные переулки с характерными мастеровыми названиями: Паровозный, Вагонный, Машиниста, Путейца... Жизнь продолжается!

ЕВГЕНИЙ КАЛАЧЁВ

ВЕЛОСИПЕД

После пятого класса Манзаю родители подарили новый взрослый велосипед. Велосипед был великолепен: темно-синяя рама, крылья, багажник, на заднем крыле темно-красный светоотражатель, на никелированном руле никелированная ручка с тросом – ручной тормоз и металлический круглый звонок, черное сиденье, над цепью под цвет рамы металлическая защита, чтобы штанина случайно в цепь не попала. Одним словом, супермашина, а не велосипед.

– Ты можешь подержать за сидушку – хочу примериться, – попросил Манзай.

– Могу, – сказал Леха и взялся руками за низ сиденья.

Манзай прокрутил педали, чтобы одна была в самом низу, а вторая на самом верху, руками взялся за руль, поставил правую ногу на нижнюю педаль, левую забросил через сиденье, чуть не зацепив Леху ногой по лицу.

– Держи! – сказал Манзай.

– Держу! – ответил Леха, напрягая силы, потому что велосипед кренило то в одну, то в другую сторону.

Манзай уверенно поставил ногу на верхнюю педаль, а до нижней педали еле доставал. Тогда он, опираясь руками на руль, спустился с сиденья, носком ноги достал до нижней педали.

– Толкай! – крикнул Манзай и нажал на верхнюю педаль.

Леха плавно, но со всей силы начал толкать велосипед, упираясь в сиденье и багажник. Велосипед тронулся с места, угрожающе завихлял из стороны в сторону, но Манзай был опытный ездок – поворачивал руль в ту сторону, куда кренился велосипед, и одновременно нажимал на педали. Когда велосипед начал набирать скорость, Леха отпустил

его, и стал смотреть с завистью, как Манзай едет на нем по большому полукругу. Чему завидовал Леха? Новому ли велосипеду – у него был маленький велосипедик, чуть больше трехколесного? Или тому, что Манзай был старше его и выше почти на полголовы, а главное, что у него руки и ноги были длиннее? Леха ответить сам себе точно не мог. Но то, что нужно было что-то делать, он точно знал. И придя домой, он долго рассказывал про Манзая и его велосипед и в конце рассказа попросил у родителей купить ему новый велосипед.

– Да, действительно, старый уже ему мал, – сказала мама.

– А до взрослого он еще не дорос, – сказал с улыбкой папа.

Леха хотел возразить папе – Манзай тоже еле до педалей достает, но мама сказала:

– У нас в магазине продавались подростковые велосипеды. Алеше такой был бы как раз. Но их уже давно нет в продаже. И стоили они половину моей зарплаты.

– Ладно, Леха, будем думать. А ты пока уж погоняй на старом, – добавил папа.

– Я лучше с Манзаем на багажнике, – недовольно буркнул Леха.

Через неделю у Лехи появился новый велосипед. Подростковый. Мама купила его с рук у знакомой, у которой сын вырос. Сыну знакомой купили большой велосипед. А старый достался Лехе. Старый велосипед выглядел лучше нового: чистый, смазанный, блестящий, с двойной верхней планкой ярко-синей рамы, с удобным никелированным рулем, на котором был ручной тормоз и звонок; крылья: переднее и заднее с темно-красным отражателем света; маленький багажник. А сиденье было из перфорированной кожи, мягким и удобным.

Леха с первого взгляда влюбился в свой новый велосипед. А когда сел на нем прокатиться, то понял, что мечтал о таком всю свою жизнь. И размер велосипеда ему идеально подходил. И педали работали плавно, без рывков. И цепь не щелкала. Через час он так привык к новому велосипеду, что казалось, что он и велосипед – это единый организм или механизм, если угодно.

Манзаю Лехин новый велосипед тоже понравился. Он внимательно осмотрел его, проверил, как закрывается багажник – плавно ли? Пальцем проверил натяжение цепи. Зажав коленями переднее колесо, попытался сдвинуть руль. Руль был надежно закреплен.

Потом перевернул велосипед вверх тормашками, поставив его на сиденье и руль, руками раскрутил педали. Проверил, как крутится заднее колесо, переднее, проверил ножной тормоз.

– Даже малозаметных восьмерок и тех нет, – удовлетворенно сказал Манзай. – А дай-ка промчусь на нем?

У Лехи глубоко внутри шевельнулась легкая ревность, но Манзаю он отказать не мог – лучший друг все-таки.

– Гони, только далеко не уезжай. А то я на твоем поехать не смогу, – сказал Леха.

И началась у Лехи новая жизнь. Утром, после ухода родителей на работу, заезжал Манзай и они на велосипедах, словно на реактивных самоле-

тах, неслись по гладкому асфальту дамбы в парк. По сторонам длинной дамбы, уходящей с крутого берега плавно вниз, с высоты дамбы и велосипеда словно на ладони просматривалось зеленоватое зеркало большой протоки и песчаный остров у основного русла многоводной реки.

А парк был огромным, разделенным глубокими протоками на четыре острова, на которых росли тополя, заросли черемухи, краснотала. Тополя были толщиной в три обхвата, с глубоко изрезанной, словно оврагами, корой. А на одном из островов, на который не вели ни мост, ни дамба, и на который можно было добраться лишь вброд по мелкому каменистому перекату, словно бамбук, рос тальник, сквозь который пробраться, не прорубив себе тропку, было невозможно, и в чаще которого даже в самый жаркий солнечный день было прохладно и темно, как в сумерках.

По заасфальтированным аллеям парка можно было гонять на велосипедах быстро, но интересно это было только в первый раз. И они с Манзаем находили узкие тропы, нахоженные рыбаками, ездили, уворачиваясь от веток деревьев, пригибаясь к самым рулям.

– Сегодня поедем по «фронтовой дорожке», – говорил Манзай.

И они забирались в такие буреломы, где корни огромных деревьев буквально вспарывали тропу, и приходилось ехать медленно, чтобы не упасть, переезжая очередной корень.

И каким новым неизведанным миром оказался вроде бы давно уже знакомый парк. Каких только птиц Леха с Манзаем не увидели в потаенных местах: и ползающих по стволам деревьев поползней, и красногрудых снегирей, и желтоголовых щеглов, и больших серых дроздов, и полосатых длиннохвостых кукушек.

И каких только зверушек они не обнаружили в, казалось бы, таком обжитом человеком месте – городском парке. И мышей, и сусликов, и лягушек, и жаб, и ужей. Однажды они на высоченном старом тополе, который старше, наверное, их города, увидели висящих вниз головой летучих мышей.

А уж про ос, полосатых шмелей, черных шершней, лохматых многоглазых тарантулов, огромных сине-зеленых стрекоз, черной саранчи с красными крыльями, полосатых жуков-стригунов, разноцветных бабочек – и говорить не приходится... Целый мир открылся перед Лехой и Манзаем. Мир, который можно обнаружить только тогда, когда сам становишься частью этого мира...

Через неделю, расставаясь вечером, Манзай сказал:

– Завтра я не приеду. Буду готовиться к концерту в музыкальной школе. Лето, а они концерт придумали, – сплюнул он.

Леха тоскливо смотрел на Манзая.

– Придешь? – спросил тот.

– Не-а. Ненавижу музыкалку, – сказал Леха.

– Это мне надо ее ненавидеть, а не тебе, – сказал Манзай.

Они помолчали, посмотрели по сторонам. С высоты велосипеда все казалось меньше ростом: и дома, и машины, и люди.

– Да, после концерта займемся подготовкой наших железных коней к дальним походам. Рванем на Вавилинские острова?

– Рванем, – оживился Леха.

– Там уличных фонарей нет. Нужно будет поставить на велики освещение, катафоты. Кстати, я знаю, что катафоты завезли в магазин. А вот где брать фары, динамо, не знаю?

– Может, фонарики прикрутить? – спросил Леха.

– Может и фонарики... Только запасные батарейки понадобятся, – задумчиво произнес Манзай. – Ну, пока! – И они покатили по домам.

А на следующий день Леха поехал на велосипеде в магазин. Велосипед оставил возле входной двери, прислонив к стене. Катафоты он увидел сразу, когда прошел в нужный отдел. Попросил продавщицу посмотреть поближе. Продавщица подала ему катафот. Леха покрутил в руках нужную круглую вещичку с темно-красным стеклом. Свет отражался хорошо. И с обратной стороны был крепеж к спицам.

– Сколько? – спросил Леха.

Продавщица ответила.

– Дайте два, – Леха протянул деньги.

Когда Леха, довольный покупкой, вышел из магазина, он не сразу понял, что произошло. Он сбежал по крыльцу, быстрым шагом направился в сторону дома, но внезапно остановился.

«Велосипед! Он же стоял здесь!!!» – застучало у него в мозгу.

Леха судорожно оглянулся: «Может, я его оставил в другом месте?!».

«Нет. Я же не сошел с ума?! – мысли беспорядочно метались в голове. – Может, кто-то взял прокатиться и вот-вот вывернет из-за угла дома?!».

Но никто не вывернул из-за угла дома, и ничего в этом мире не изменилось – только не было велосипеда. Как будто его никогда и не было в Лехиной жизни. Как будто никогда не было в Лехиной жизни этой самой счастливой недели.

Из магазина вышли два пацана, ровесники Манзая. Леха подскочил к ним:

– Велосипед не видели?

– Какой велосипед? – пацаны, улыбаясь, посмотрели друг на друга.

– Как какой?! Мой! – напирал на них Леха.

– Да отстань ты! Ничего не видели...

До дома Леха шел целый час, хотя ходьбы было всего минут пятнадцать. Он заглядывал во все проулки, дворы, переходил с одной стороны улицы на другую. Домой он пришел совсем истощенный, но не физически, а психологически. Огромная пустота вошла в его жизнь. И он сначала бессмысленно сидел на диване, потом лег, повернулся лицом к стене и так пролежал до тех пор, пока не пришли с работы родители. На вопрос родителей, что случилось, он произнес всего одно слово:

– Украли...

Но не заплакал, как в детстве. И не стал рассказывать подробности, тем более, жаловаться. А просто молчал в оцепенении.

Вечером приехал Манзай – видимо мама сообщила ему о произошедшем.

Леха отдал ему катафоты.

– Вышел из магазина, а его нет... – только и сказал он.

– Ничего, что-нибудь придумаем, – пообещал Манзай. – А катафоты себе оставь. Еще пригодятся.

Через день приехал Манзай на своем велосипеде. Настроение у него от того, что успешно выступил на годовом выпускном концерте, было хорошим и немного расслабленным – теперь и у него наступили полноценные каникулы. Леха встретил его, молча пожал руку.

– Я поспрашивал пацанов про твой велосипед – никто ничего не знает. Наверное, это кто-то из правобережных. Но там у меня друзей нет – сам знаешь, – сказал Манзай.

– Знаю, – сказал Леха. Он достал из кармана катафоты. – Возьми, тебе они больше пригодятся. Ну пока, – кивнул Леха.

– Ты куда?! – удивленно спросил Манзай.

– Да огород родичи просили полить – видишь, какая жара стоит, да и тебе хочется погонять на велике, – сказал Леха.

– А где у вас огород? – спросил Манзай.

– А что? – вопросом на вопрос ответил Леха.

– Садись, подвезу, – сказал Манзай.

– Ну поехали, – через силу улыбнулся Леха. Забрался на багажник. – Трогай.

Манзай хотел направить велосипед в сторону выезда со двора, но Леха скомандовал:

– Езжай между сараями к недостроенной котельной.

От этого места до огорода было метров тридцать. Леха улыбнулся. В этот раз уже спокойно – ведь Манзай был ни в чем не виноват.

Манзай посмотрел через плечо на Леху – издевается над ним что ли? Но поехал послушно за сараи.

Небольшой огородик находился между задней стенкой сарая и недостроенной котельной, но был хорошо удобрен и густо засажен помидорами. За калиткой стояла большая металлическая бочка с водой, рядом большая металлическая лейка.

– Закатывай свой велосипед сюда, – сказал Леха, раскрывая пошире калитку.

– Так никого же нет, – сказал Манзай.

– На всякий случай, – сказал Леха.

Манзай закатил велосипед на огороженную территорию, но калитку закрыть не мог – мешало заднее колесо.

– Ладно, пускай так.

– Ладно, – подтвердил Леха.

Солнце поднималось все выше и выше и начало печь уже по-настоящему. Лехе такая погода очень нравилась. Он снял рубашку, опустил руки в прохладную воду, черпанул пригоршню из бочки и плеснул себе в лицо. Потом черпанул еще пригоршню и полил себе на плечи.

У Манзая огорода не было, но он быстро обучался. Также разделся до пояса и также поплескался прохладной водой из бочки.

«Ура! Каникулы!» – хотел воскликнуть он, но вспомнив, что у Лехи украли велосипед, сказал:

– Каникулы. – Но от улыбки удержатся не смог.

Леха тоже улыбнулся:

– Ты загорай, а я быстро.

Он схватил лейку, набрал в бочке воды и стал поливать помидоры под корень.

– Жара! Лей на них сверху, чтобы не завяли, – сказал Манзай.

– Не-а, – сказал Леха. – Сверху нельзя. Видишь, желтые цветочки? В них если попадет вода – завязи не будет, – гордый за свои познания продолжил Леха.

– А-а, понял, – сказал Манзай. – Давай, я пополиваю.

Потом они залезли на толстую стену недостроенной котельной и загорали на плоских горячих камнях, посматривая с высоты на огородик, на сараи, на внутреннее пространство котельной, которое было захламлено всякой ненужной всячиной.

– А что это там? – спросил Манзай.

– Где? – спросил Леха.

– Пошли... – сказал Манзай.

Они спустились со стены, через широкий проем вошли вовнутрь, Манзай ухватил одной рукой торчащее из мусора велосипедное колесо и потянул. Леха принялся откидывать старые доски, ржавые ведра, рваные мешки, наполненные всяким хламом.

Вскоре они извлекли колесо из-под завала. Оно было в плачевном состоянии – не было нескольких спиц, остальные болтались, еле держа заднюю втулку со звездочкой. Но на ободе была целая шина и камера с ниппилем.

– Вот сюда поставим катафот, а спицы мы подтянем и новые поставим. Есть такой инструмент. Я у Броньди, в дедовском сарае, видел, – сказал Манзай.

Леха, задумчиво разглядывая находку, ничего не сказал. Но было видно, что слова Манзая подтолкнули его к мысли.

– Есть идея, – опережая его, сказал Манзай.

– Едем, – сказал Леха. – Только колесо в огород занесу.

– Почему в огород? Неси сразу в сарай. Да сарай закрыть не забудь, – улыбнулся Манзай.

Они ехали по улице Лиственниц. Сначала, в центре города, дорога была ровной. Манзай с силой нажимал на педали, Леха, сидевший на багажнике, мог только мысленно помочь другу. Разогнавшись, велосипед катился по инерции некоторое время; Манзай в это время отдыхал, а Леха глазел по сторонам. Проехали мимо Дома туристов, через некоторое время дорога пошла под уклон. Запахло сернисто-метановыми испарениями – справа и слева от дороги было узкое, но длинное болото с открытыми озерцами коричневой воды, в которой пацаны и уже взрослые мужчины большими сачками ловили дафнии – рачков для аквариумных рыб.

Леха покрепче вцепился в седушку, потому что велосипед стал набирать большую скоростью. Манзай чуть-чуть пригнулся к рулю, ветер откидывал назад полы расстегнутой рубашки. Но прохладнее от этого не становилось – стояла полуденная жара.

После низшей точки, где под дорогой пролегала большая труба, начался подъем. Да такой крутой, что Лехе пришлось соскочить с багажника. Даже без него Мазай еле-еле с маленькой скоростью поднимался в гору, давя со всей силой на педали велосипеда.

На горе они пересекли последнюю улицу города, проехали дорожно-строительную организацию с колесными тракторами, бульдозерами, грейдерами и катками в просторном дворе – это они увидели через широкие открытые ворота, и перед ними раскинулось огромное холмистое плато, простиравшееся до гряды гор из песчаника. На это плато вела грунтовая, хорошо наезженная дорога, покрытая мелкой светло-коричневой пылью. И они двинулись в неизвестное.

Здесь уклон был небольшой, но Манзай не разгонялся, чтобы не пылить. Они медленно приближались к городской свалке. Была она беспорядочной, разбросанной на большой площади.

– Вот, где-то здесь Броньдя и нашел настоящую финку. Помнишь, я тебе рассказывал? – сказал Леха.

– Помню, – сказал Манзай. Он вспомнил и про клятву, и про Светку. Но сейчас было не до девчонок. И он больше ничего не добавил.

Вдруг в низкой, редкой, пожелтевшей от жаркого солнца траве Леха увидел змею. Несмотря на пекло, у него побежали холодные мурашки по спине. Змея совсем не походила на небольших по размеру степенных ужей, которых они обнаружили с Манзаем в парке. Эта была длинной, почти метровой, с мощным гибким телом, которое зловеще переливалось перламутровыми оттенками под солнечными лучами. А главное, она была чрезвычайно проворна, резка, и от нее веяло опасностью.

– Смотри, гадюка!

Манзай затормозил.

Леха соскочил с багажника, стал искать глазами палку или камень.

– Что ты ищешь? – спросил Манзай.

– Хочу вооружиться, пока она кого-нибудь из нас не укусила.

– Посмотри вверх, – сказал Манзай.

Леха посмотрел на небо. Такого количества коршунов в одном месте, паривших так низко над землей, он давно не видел.

– Похоже у них здесь пир. В честь моего выпускного концерта, – засмеялся Манзай.

– Так гадюка падаль не ест, – сказал Леха.

– Правильно, но мыши все едят. А для нее мыши – любимая еда. И для коршунов мыши еда, а уж змеи для них, как для нас шоколадный пломбир. – Манзай облизнул сухие губы.

– Ты прав. Пусть ползет. Они без нас разберутся, – сказал Леха.

Им повезло. Они еще несильно углубились на территорию свалки, как почти у дороги, в гуще мусора они увидели велосипедную раму. Осмотревшись, чтобы не наткнуться на змею или тарантула, они вытянули раму из мусора. Рама из-за толстого слоя пыли, казалось, была ржавой и никуда не годной. Но когда Леха рукой провел по тому месту, где обычно есть надпись у каждого велосипеда, он с радостью увидел – на темно-синей краске золотыми крупными буквами было написано «Урал».

– Ого! – сказал он. И продолжил осмотр трофея. У велосипеда не было руля, сиденья, колес. Зато была цепь и втулка с большой звездочкой и педалями. Правда одна педаль была сильно изогнута.

– Ничего, разберем, выправим молотком, – довольный за Леху, сказал Манзай.

– Может, еще поищем? – возбужденно сказал Леха.

– Давай, – согласился Манзай. – Только недолго. В такую жару солнечный удар можно получить... Вот бы сейчас залезть в твою бочку в огороде, – мечтательно проговорил он.

За полчаса поисков удалось разыскать только переднее колесо. Колесо было с ужасной восьмеркой. Когда вынесли его на дорогу, Манзай потоптался на нем, выправляя.

– Потом спицы снимем, обод положим на ровное место, обстучим деревянным бруском, и будет как новое, – оптимистично сказал Манзай.

Обратно возвращались пешком. По очереди кто-то вел велосипед, а кто-то держал раму, взгроможденную на этот велосипед. Колесо, которое нацепили на руль, благо одна спица вылетела, мешало поворачивать руль, что тоже тормозило движение. Зато настроение было хорошим – ведь дело сдвинулось с мертвой точки.

На следующий день, когда Леха с Манзаем вытащили из сарая части велосипеда, к ним подошел Броньдя. Леха к тому времени принес из дома губку с порошком, ведро с водой, начал отмывать от пыли и грязи раму, колеса.

Манзай прихватил из дома плоскогубцы, восьмигаечный ключ, болты – ждал, когда Леха закончит мыть.

– Так у тебя же есть велосипед, зачем тебе этот металлолом? – не выдержав молчания, спросил Броньдя.

– Был, – после паузы ответил Леха.

– Почему был? Продал, что ли? – из любопытства спросил Броньдя.

– Украли, – выдохнул Леха. И замолчал.

Замолчал и Броньдя, переваривая услышанное.

Манзай пристально взглянул на Броньдю.

– Ты бы лучше помог... – Манзай замолчал, пытаясь вспомнить имя Броньди.

– Костя, – подсказал Леха.

– Да, Костя, ты бы помог.

– Как что-то нужно – так сразу Костя, а так всё Броньдя, да Броньдя, – обиженно сказал Броньдя. – А как покататься на новом велике?

– Так ты и не просил, – сказал Леха.

– Хочешь на моем? – задал вопрос Манзай.

Броньдя замялся, размышляя:

– Хочу.

– Давай под рамкой. А то у тебя ноги еще коротки. Я и то еле достаю, – сказал Манзай.

Броньдя со второй попытки – первый раз нога соскользнула с педали – тронулся с места, сделал небольшой круг по двору.

– Спасибо, Манзай. Хороший у тебя велик. Новый. Только руль – не очень, – сказал Броньдя.

– Почему? – удивился Манзай.

– Сейчас покажу, – не удержался Броньдя. Он пошел в свой сарай и вывел оттуда взрослый велосипед с высоким необычным рулем. – Вот какой!

Манзай с Лехой внимательно осмотрели велосипед Броньди, подержались за его необычный руль.

– Он с таким и был? – спросил Манзай.
– Нет. Это мне дед такой раздобыл, – сказал с гордостью Броньдя.
– А старый где? – как можно безразличнее спросил Манзай.
– В сарае валяется, – простодушно ответил Броньдя.
– Так тащи его. Примерим на этот, – сказал Манзай.
– А что взамен? – начал торговаться Броньдя.
– Как что? С нами будешь гонять, правда, Леха?
Леха посмотрел на Манзая, потом на Броньдю.
– Да ладно вы... – только и сказал он.
Броньдя увел свой велосипед в сарай, долго не выходил.
– Куркуль. Зажал, – почти равнодушно сказал Манзай.
Но в это время появился Броньдя. В одной руке у него был руль, во второй – банка с солидолом.
– Давайте, я вам помогу.
– Давай, – сказал Леха.
К вечеру велосипед был собран. Без крыльев, без багажника, без сиденья. Педаль была выправлена. Правда, на ней остались следы от молотка. Но не в красоте дело. Главное, что педали крутились, не цепляясь за раму. И спицы были поставлены на колеса и затянуты как следует. Правда, восьмерили немного. Но было терпимо. Главное, что не тормозили о раму и вилку. Леха из дома принес старые свои брюки, обмотали ими раму в том месте, где должно было быть сиденье, сверху замотали синей изолентой.
– Давай, ты первый, – сказал Леха Манзаю.
Манзай поехал, сделал круг по двору, второй. Слез с велосипеда.
– Без сидушки даже лучше – ноги до педалей лучше достают, – сказал он.
– Теперь ты, Броньдя, – сказал Леха.
Броньдя обрадовался:
– А можно я, как Манзай, на раме попробую?
– Пробуй, – улыбнулся Леха.
– Если сломаешь – сам ремонтировать будешь, – засмеялся Манзай.
Потом поехал Леха. Собранный велосипед, конечно, был не таким навороченным, как у Манзая или Броньди. Был он большим, неудобным и тяжелым... Но, как ни странно, Леха уже начинал любить его и чувствовал, что этот крепкий, надежный железный друг у него надолго... А что касается красоты, то Леха сходил домой, принес переводную картинку и наклеил ее на раму. Чуть выше надписи «Урал».
Манзай как-то странно посмотрел на Леху, а утром приехал, как всегда, на велосипеде. Только тот был без багажника, без крыльев, без защиты на цепь, без сиденья. А с руля исчез рычаг ручного тормоза и звонок.
– Что такое? – удивился Леха.
– Зачем ненужное железо возить, – сказал Манзай и протянул Лехе деревянную прищепку. – Защеми брючину, чтобы в цепь не попала...
И только через много лет Леха понял, зачем Манзай тогда снял со своего велосипеда все «лишнее».

АНАТОЛИЙ КИРИЛИН

ДО СИДНЕЯ ОДИННАДЦАТЬ ТЫСЯЧ КИЛОМЕТРОВ

Жизнь проходит, а я все еще не был в Австралии! Я не был во многих других местах, но за Австралию почему-то особенно обидно.

С каждым днем все больше глупостей слышно из телевизора, но кто и когда сказал, что оттуда должны сообщать другое? Поменяйте взгляд на вещи, и вещи встанут на свои места. А что касается Австралии... За собственным благополучием никто не слышит сигнала о неблагополучии кого-то. Неблагополучии точно в таком же объеме. Или больше. Или меньше. И совсем не обязательно этот кто-то пьян и подзаборен. Словечко из стихотворения моей любимой...

Нет, про Австралию вспомнилось непроста. Двор наш – пространство между шестью пятиэтажными домами – занимал территорию немалую. Посреди него огромным и чужим островом помещалась усадьба деда Сабурова. Кто-то, отдаленно знавший про географию, и назвал усадьбу, обнесенную корявым забором, Австралией, намекая, очевидно, на одинокость ее посреди чужого мира. Такая дикость – клочки частного сектора среди новостроек в самом центре города – в те пятидесятые да и еще и в начале шестидесятых не была редкостью. Эти усадьбы теснили, выдавливали из жизни всем миром – от городских властей до дворовой шпаны, к отряду которой примыкал почти всякий достигший двенадцатилетнего возраста.

Между забором деда и общежитием котельного завода, тоже пятиэтажкой, царствовал огромный тополь, метрах в пяти над землей разошедшийся в три ствола. Между стволами был сооружен шалаш, и там, в этом боевом штабе местного воинства, разрабатывались планы

набегов на дедово хозяйство. Не сама же дворовая мелкота придумала, кто-то из взрослых подсказал, кивнув на усадьбу, – кулак. А раз так – наше дело правое, победа будет за нами, и подрастающая братва усердствовала в сотворении козней деду. Была у него корова, пара свиней, куры, огород – как я немного позднее выяснил – обычное деревенское хозяйство. Может, это и не давало покоя горожанам в первом, втором, от силы третьем поколении? Во всяком случае, не помню, чтобы кто-то из соседей высказал патриархальный трепет, вздрогнул ноздрями, когда от дедова подворья тянуло запахом сена и скотского присутствия.

Моя мать родом из Питера, как и многие котельщики, перевезенные сюда вместе с заводом Ильича после прорыва блокады. Отец – из белорусского города Бобруйск, он приехал на завод случайно, занесло послевоенным вольным ветром.

– Герка! – кричит мать из нашего окна на пятом этаже. – Прекрати материться!

Матюги и треск сабуровского малинника стихают, следом Герка кричит из темноты:

– А ваш Толька тоже матерится!

Это, понятное дело, про меня. Суднишниковы жили прямо под нами, стало быть, окна выходили туда же, куда и наши. Только суднишниковым родителям дела не было ни до геркиного мата, ни до самого Герки, одного из пятерых сыновей, которых все звали оторва первый, оторва второй и так далее, по старшинству.

Дед Сабуров жил вдвоем с бабкой. Та, в отличие от хозяина, в войнах с дворовой шпаной не участвовала, вообще была тихой, и мы даже думали – немой. Никто слова от нее не слышал. Однажды видели, как плачет, но тоже как-то по-особенному тихо. Герка привязал корову к забору, зацепив веревку за рог, и изо всей силы хлестанул животину кленовым прутом. Та ломанулась прочь и оставила рог на веревке. Бабка приложила к ране чистую тряпицу, обняла кормилицу и заплакала. Дворовый народец торжествовал, завидуя Геркиной удали.

Мы учились с Геркой в одном классе. Я был скучный пятерочник и, помимо школы, ходил в две спортивные секции и авиамодельный кружок, Герка – двоечник и хулиган, большую часть времени, в том числе школьного, проводивший во дворе. С нами училась Рита Сабурова, в которую Герка был безумно влюблен. Рита приходилась внучкой деду-кулаку, их дом, тоже частный, стоял неподалеку от нашего двора и сильно отличался от дедовой покосившейся хибары. Это был каменный, оштукатуренный особняк за глухим высоченным забором, жили в нем, судя по всему, люди непростые, очевидно, какое-то начальство. По Рите это было видно – ее школьная форма выделялась особенным фасоном и качеством, накрахмаленные фартучки и пышные банты делали ее нарядной в самый будничный день. Свою любовь Герка выражал обыкновенно – лупил всякого, кто посмеет подойти к Рите. Меня почему-то не трогал, может, из-за того, что мой отец поколачивал его родителя, а тот, в свою очередь, дня не проходило, чтобы не порол Герку. Силу у нас уважали. Стычки старшего поколения происходили, в основном, по праздникам, когда Геркин отец поднимался к нам с разборками. Шумим дескать. Это было смешно, потому как у нас гуля-

ли только по красным числам, а у Герки – каждый день. Другое дело, у нас пели под отцовский баян, плясали, а внизу ругались, били друг другу лица и посуду, ломали мебель. Наверно, нижним было обидно, что у них так, а не этак.

Я сидел за одной партой со Светкой Евдокимовой, которая еще в первом классе призналась мне в любви. Иногда я пересаживался к Рите, сидевшей почему-то в одиночестве, и, тихо смущаясь, пытался залезть к ней под юбку. Она отбивалась, а Светка ерзала на своем месте и метала в нас испепеляющие взгляды. В такие дни Герка лупил по нескольку претендентов на Ритино сердце.

Герка среди нас был переростком – и по возрасту, и по росту, и по сложению. К шестому классу у него уже вовсю чернели усы, и физрук Николай Александрович советовал ему начать бриться. Взрослые говорили, будто у него не все в порядке с умственным развитием, но это, мы так думали, касалось только уроков. Хотя – кто знает... В подвале общежития была женская душевая, и мы все подглядывали в замызганные зарешеченные оконца, для чего надо было припасть к самой земле. Комендант ходил по квартирам, жаловался родителям на всех нас по очереди. Битые, мы на некоторое время оставляли порочное занятие, только Герку вразумить было невозможно, он как-то даже кинулся драться с комендантом, чтобы тот не мешал подсматривать. Геркина озабоченность смущала даже нас, озабоченных, может быть, не меньше.

Жить после середины 50-х мы стали получше, посытней. Если сначала форсом было выйти на улицу с куском хлеба, посыпанным сахаром, а то и сахаром по маслу, то теперь – в одной руке булка, в другой – колбаса. Мать моя работала бухгалтером все на том же котельном заводе, отец мастером, потом заместителем начальника цеха. Переместиться по служебной лестнице выше ему не позволяло образование, он даже школу толком не закончил.

У нас, первых во всем подъезде, появился телевизор, КВН с крохотным экраном, и соседи, от первого до пятого этажей, ходили к нам на просмотры, со своими стульями конечно. Геркин отец не ходил, был он человеком немстительным, но обиды не забывал. Где-то в эту же пору, помню, всем подъездом затаскивали к нашим соседям напротив пианино, дочку хозяев записали в музыкальную школу. Мой отец, игравший по праздникам на баяне, откинул лаковую крышку и заиграл вальс «Амурские волны»... Потом мне приходилось видеть его с гитарой в руках, с балалайкой, но так и не довелось узнать, каким образом он научился играть на том, на этом? Дома у него отродясь не было, всю жизнь скитался бродягой, пока на войну не попал. Какие уж там могли быть уроки музыки!

Дед Сабуров терпел все больший урон от беспощадных дворовых оглоедов. Однако не помню, чтобы хоть раз в дело вмешалась милиция. Старый хозяин мужественно держал оборону в одиночку. Немного позднее я понял, почему он не жаловался и не ждал ни от кого сочувствия. Наши родители, как и мы, не знавшие деревни, получали уроки истории, на которых владельцы коровы и пары свиней, названные кулаками, должны были по решению верховной власти отправляться продолжать свою жизнь далеко на севера.

Никогда не видел, чтобы Рита приходила к деду, это было тем более странно, что жили они в паре сотен метров друг от друга. Судя по всему, Ритин отец и вправду был большим начальником, наверно, поэтому семья не общалась с дедом, этим чужим, непонятным наростом на здоровом теле обновляющегося города и всей новой жизни, которая, по заверениям тогдашних руководителей государства, в скором будущем станет раем на нашей благословенной земле.

А Рита росла и расцветала, она уже была красавицей со сформировавшейся фигурой, грудью, тогда как другие наши одноклассницы все еще смотрелись гадкими утятами. Я несколько раз провожал ее домой, зная, что Герка крадется следом, прячась за дворовыми деревьями. К тому времени я уже перестал хватать Риту за коленки и пытаться пробраться выше, как-то само собой это занятие перешло в разряд ненужных. Но вот почему мы ни разу не поцеловались – до сих пор понять не могу. Думаю, она не была против, но когда мы стояли друг перед другом, во взгляде ее сквозила непонятная взрослость, не подпускающая к ней близко. Ни у кого больше не видел я таких глаз – прозрачных, нежно тронутых молочной зеленью – как минерал хризолит. Много позднее я узнал, что хризолит – это по гороскопу мой камень... Потом я вызывал из дома Светку, жившую по соседству, и мы целовались до кровавых трещин на губах.

Моя созревающая плоть не давала покоя мыслям, которые все время крутились вокруг женского тела, благо, подвальный женский душ предоставил для того богатую натуру. Или наоборот, мысли мои грешные чрезмерно бередили плоть? Попробуй ответь, это вопрос из разряда – что появилось раньше, курица или яйцо? Жили мы в двухкомнатной квартире с соседями, семейной парой – Абрамом и Любой. Двухметровый еврей с застенчивыми глазами за толстыми стеклами очков – говорили, он был талантливым инженером. Кем была его жена – никто не знал. Он стеснялся ее скандального нрава, замашек коммунального ратника, визгливого голоса и прятался в своей комнате, едва Люба начинала кухонные разборки. Повод она находила всегда. У нас были раздельные электрические счетчики, и соседка додумалась мылом приклеивать волосок на входные отверстия розеток – контроль за энергетической автономией. Часто волосок отваливался в силу естественных причин, но для Любы таковых не существовало. Отец мой, человек богатырского сложения, в дни скандалов обещал отлупить тщедушного инженера, поскольку тот не в силах укротить свою воинственную жену. Абрам вздыхал беспомощно, и взгляд его говорил: что ж, бейте. Это было правильно, отец никогда не ударил бы беззащитного.

Потом Люба родила, и в нашей переполненной квартире появились еще двое – младенец и кормилица. Через месяц после рождения ребенка Люба сбежала от него на работу. Кормилицу звали Степанидой, была она крепкой деревенской девахой с необъятными грудями, крепкими ногами. По дому она ходила в одном и том же вечно распахнутом халате. Она сводила меня с ума: каждый раз встречаясь в коридоре или на кухне, будто бы невзначай притрагивалась к моим штанам, где обретался предмет мальчишеского беспокойства. Стерва! В своих горячечных видениях я насиловал ее, опрокинув на пол в коридоре! И... Совестно признаться, снова и снова выходил из нашей комнаты, с

нетерпением ожидая ее появления, этого ее бесстыдного жеста и понимающей усмешки совратительницы.

Проклятые и сладкие томления плоти! Я уже понимал, что переживать их приходится не только мне и моим сверстникам. В шестнадцатиметровой комнате мы жили вчетвером. У старшей сестры уже был парень, и я не сомневался, что отношения их далеки от того, что родители, успокаивая себя, называли дружбой. Как-то они отправились компанией за город с ночевкой в палатках и взяли меня с собой. Надо отдать им должное, ребята умели веселиться, даже мне, чужому и чересчур юному, скучно не было. Они умели петь туристские песни, резвились, как дети, прыгали с обрыва в речку – кто дальше... А между делом парами заныривали в палатки, не дожидаясь окончания дня...

Наташка, лучшая подруга сестры, то и дело норовила прижаться ко мне, изображая из себя мужчину, овладевающего любовницей. Я тогда не мог понять, зачем взрослым, искушенным людям дразнить таким образом малолеток? Уж взяли бы затащили к себе в постель или куда еще, в ту же палатку, например, и показали что к чему на самом деле. Видимо, существует какая-то грань, переступить которую они считают для себя невозможным. Еще и потому я делал вывод, что все взрослые – идиоты: в своих играх они, точно дети, не думают о последствиях.

И вот, наконец, деда Сабурова снесли. Мы видели, как уводили корову со двора, слышали, как визжали свиньи под ножом, и не придали этому особого значения, хотя время для заготовки мяса было неурочное. Потом дед несколько вечеров кряду ходил по периметру вдоль своего забора, точно вымерял, сколько ему земли отпущено. Дом не перевозили, дворовые постройки не разбирали, как это делается для дальнейшей пользы. Все раскатали бульдозером, обратили в мусор и вывезли на свалку. День – и на месте усадьбы со стайками, сараем, дровяником, садовыми посадками и огородом образовалась ровная площадка. Еще несколько дней – и там же вырыли котлован, из чего мы заключили, что в нашем дворе будет построен еще один дом. Из всех дедовых насаждений в живых осталась старая яблоня, которая давно уже не плодоносила. Она стояла чуть поодаль от большого тополя, очевидно, близкого ей по возрасту, и смотрелась сиротой.

В те дни мне пришла в голову мысль, что и Ритин дом, стоящий неподалеку в ряду еще нескольких уцелевших среди новостроек, скоро будет снесен. Куда девались дед с бабкой – так никто из нас и не узнал. Да и не узнавали. Отчего-то любопытство по тому или иному поводу просыпается в нас с большим опозданием. Я и вправду хотел бы сейчас узнать, что сталось с последними крестьянами Октябрьской площади города Барнаула. Увы, спросить уже не у кого.

Котлован сначала превратился в общедворовую помойку, а весной заполнился талой водой и стал похож на озеро. Как-то мать рассказала отцу местную новость, якобы в котловане забили ключи.

– Во-во, – молвил он с обычной своей невеселой усмешкой. – Запустим рыбу и по вечерам будем сидеть с удочками.

Мы рассекали водные просторы на плотах, связанных из всякого мусора, даже устраивали морские бои. Мало кто из нас не падал в ледяную

воду, бывало с некоторыми – и не по одному разу на дню. Биты за это мы были нещадно. Первая часть кары – за порченую одежду и обувь, вторая – профилактика, ибо родительский страх рождался не на пустом месте: котлован был нешуточно глубок, утонуть в нем любой мог запросто. Несколько мальчишек, накупавшись, схватили воспаление легких, среди них был и я. Володька по прозвищу Чихал (вот ведь ирония судьбы!) простудился так, что не отошел от болезни до конца своей жизни, и умер совсем молодым. Володька был одним из самых яростных громил дедова хозяйства, и в какой-то момент я подумал, что его болезнь, наши саднящие от порки задницы – месть бывшей сабуровской земли.

Соседи наконец-то съехали, и теперь вся квартира была в нашем распоряжении. Меня отдали в музыкальную школу учиться играть на баяне, по резонам отца – чтобы я стал грамотным музыкантом, не то, что он, самоучка, не знавший нот. Для матери главное – чтобы не болтался на улице после уроков. Я согласился, потому как музыке в той же школе училась Рита. Мой преподаватель, едва обучив меня азам, понял: трудиться над постижением исполнительского мастерства я не буду, и дал мне программу выпускного экзамена.

– Ковыряй! – сказал он с отсутствием надежды в голосе. – Может, за оставшиеся три года доковыряешь.

Летом меня отправляли к дедам в деревню. Надо полагать, материны родителями были первыми дачниками в этом населенном пункте, расположенном в сорока минутах езды на пригородном поезде от города. Сейчас дачи погребли под собой всю деревню, а тогда местные жители знать не знали и слова-то такого – дача. Дед же, наученный ленинградской блокадой, схватился за землю, зная, что она пропасть не даст.

Отец строго наказывал старикам, чтобы я каждый день тренировался на инструменте.

– Пускай вот это играет обязательно, – стучал он пальцем по нотной тетради.

Баян был, кстати, изготовлен на ленинградской фабрике музыкальных инструментов, голосистый, с каким-то редким тембровым окрасом. Дед выставлял табурет посреди двора, гордо оглядывал пространство и командовал:

– Играй!

Я на слух разучил любимую дедову «Вот мчится тройка почтовая» и без устали наяривал эту несложную мелодию. Дед уходил в огород, чтобы не показывать слезы, а вся деревня будто замирала, вслушиваясь в протяжные звуки грустной старинной песни.

Жить мы стали заметно лучше, сытнее и свободнее в расходах. В квартире появился дорогой немецкий мебельный гарнитур, отец стал ездить на курорты лечить свой испорченный беспризорной жизнью и войной кишечник. Но, странное дело, радости в доме не прибавлялось. Не умевшие отдыхать родители продолжали работать сверхурочно, уставали и дома почти не разговаривали друг с другом. Я был свидетелем нескольких отцовских вспышек, когда он вдребезги разбивал о кухонный стол материны бухгалтерские счеты, но скандалы повторялись, а ничего не менялось. Костяшки счет стучали по ночам,

отец засыпал с газетой на диване, в редкие выходные мог пролежать таким образом весь день. У родителей не было друзей, ни с кем они не водили компанию. По праздникам ходили к родне, крепко выпивали, пели песни под отцовский баян.

Герка где-то потерялся, не дойдя с нами даже до седьмого класса. Во дворе он тоже не появлялся, и кто-то запусти слушок, будто он попал в колонию для несовершеннолетних. По другой версии родители перевезли его из густонаселенной своей квартиры к родственникам на окраину города, и он поступил на учебу в какое-то техническое училище.

Пока мы переходили из класса в класс начальной школы, она, школа наша, успела побыть семилеткой, потом одиннадцатилеткой, затем восьмилеткой. Нам тогда казалось, что все школьные реформы испытывают именно на нас. Наивные, что-то сказали бы мы по этому поводу сегодня!

Но вот и подошел к концу восьмой. Перед самым выпускным вечером я подстригся наголо – последний протест против вечного гонения на мой стиляжий кок. Противу торжественных правил надел черную рубашку, а вместо нормального галстука нацепил шнурок с обезьяньей головой на месте узла и металлическими наконечниками. Директриса, увидев меня, сделала кислое лицо и громко отдала распоряжение физруку, чтобы он проверил наши парты на предмет спрятанного там алкоголя. Физруку до чертиков надоели мы, надоела директриса, и он вместо того, чтобы повиноваться, отправился в свою каморку пить в одиночестве.

Не помню того вечера, потому что больше времени провел, нарезая круги по школьному двору. Что к чему – сам до сих пор не знаю. Танцевать не умел и не хотел учиться, болтать с одноклассниками, которые теперь уже для меня никто, тоже не хотелось. Самое сильное ощущение – каждый каждому чужой, будто и не было этих восьми лет. Все наши дружно решили идти дальше учиться в одну и ту же школу, я нарочно записался в другую.

В эту ночь Рита со всей своей семьей уезжала в Ташкент, насовсем. Не могу сказать, что это обстоятельство сильно меня огорчало. Ну, уезжает и что с того? Я, скорее всего, тоже куда-нибудь уеду... И ждать окончания школы не стану. Было грустно, однако это настроение я не связывал с отъездом Риты, как-то чувствительно оглушила вдруг образовавшаяся пустота – вокруг меня и вообще.

Мы отправились на вокзал всем классом. Я уж, было, подумывал сбежать, но, сам не знаю почему, остался. Девчонки шмыгали носами, родители Риты как-то смущенно переминались с ноги на ногу возле вагонных дверей. И тут я вспомнил про деда Сабурова: если уезжает вся семья, то и дед с бабкой тоже должны быть где-то здесь. Однако их не было. Ни среди уезжающих, ни в толпе провожавших. Светка тоже не пошла с нами, она сидела в опустевшем классе и размазывала слезы по щекам.

Наступил момент, когда все слова прощания уже сказаны, и время становится лишним, избыточным. И опять – вокруг чужие люди, отторгнутые друг от друга, как это ни странно, годами тесного соседства. Каждый чувствует неудобство, неловкость, вину за свое неумение

справиться с этими долгими, ненужными минутами. И в голове у всех одно: скорей же, скорей!

Ко мне подошла Рита. Какая она взрослая! Будто я увидел ее сейчас впервые. Незнакомая, далекая, чужая... Она не уезжает, нет, она только что приехала из неведомых краев и понимает, что очутилась неведомо где, она прожила уже несколько жизней – свою, умноженную на число нас, ее одноклассников. В ее хризолитовых глазах отражаются перронные огни и незнакомое далёко.

– Приезжай, – сказала она и притронулась к моей стриженой голове. – Я выйду за тебя замуж.

* * *

Ровно через семь лет на мой служебный адрес пришла телеграмма из Ташкента. «Приезжай. В твоем распоряжении три месяца».

Никуда я не поехал и потом каким-то маленьким осколочком себя жалел об этом, как жалеет большинство о многом, что могло бы случиться, но не произошло и потому не принесло разочарований.

Никого из людей, стоящих в ту ночь на перроне, я больше не видел. Из одноклассников встречаю только Светку. Редко и случайно, на улице. Может, и другие пройдут когда мимо, но я их не узнаю. Глядя на свои фотографии той далекой поры, не узнаю и сам себя. Постарел. Все постарели. Светка рассказала, что Рита стала доктором физико-математических наук. Кто бы сомневался! У нее узбекская фамилия и куча детей. У самой Светки тоже семья, но она ее не видит, потому что вот уже третий десяток лет сидит у постели больного отца. В это трудно поверить, но уж такая она и есть – ей для себя ничего не надо.

За время, прошедшее после окончания нами школы, мир изменился так, что я взираю на себя и своих сверстников, как на нечто доисторическое. Мои многочисленные попытки приспособиться к новой жизни одна за другой терпели неудачу, и однажды я подумал, что жить в этом мире попросту не имею права.

Как-то в руки мне попала бумага с требованиями для переезжающих на постоянное место жительство в Австралию. Возраст, язык, профессия – я не подходил ни по одному пункту. Впрочем, известно, Австралия – самая трудная для эмиграции страна. Потом познакомился с русским австралийцем, увезенным родителями из России в юном возрасте. Он стал известным певцом, но сюда приехал не на гастроли, а всего лишь повидать родину. Поет и вправду хорошо – арии из опер, романсы, по-русски шпарит без запиночки. И пьет по-русски. И плачет пьяный, жалея себя, оторванного от родины. А мне жалко родину, – сказал я ему и предложил поменяться. Он согласился. Мы сидели у него в номере и пьяные играли в подкидного дурака, решив, что просто так поменяться паспортами – это скучно.

– Давай выиграем, – предложил он, – ты у меня, я у тебя...

«Так не бывает», – подумал я и, в конце концов, выиграл все, что у него было – паспорт, доллары, часы. Я с сожалением смотрел на кучу

этого добра, использовать которое мне не придется. Как много дается нам всего лишь для того, чтобы некоторое время подержать в руках!

Я до сих пор хожу в наш старый двор. Это удивительно, однако почти никого из прежних жителей не осталось. Иные умерли, большинство поразъехалось. Уехали и мои родители, которых в этом городе ничто не держало, уехала сестра. Наверно, это куда правильнее, чем все время жить в городе, где родился, учился, взрослел... Слишком разительны перемены вокруг тебя и зачастую – болезненны. Чересчур безобразно старение знакомых лиц. Старость вообще малопривлекательна, а когда она пожирает кого-то на твоих глазах – это действует удручающе. Ощущение – ты живешь среди множества зеркал, и великое количество их лишь усугубляет ситуацию: в какое ни посмотри – видишь одно и то же.

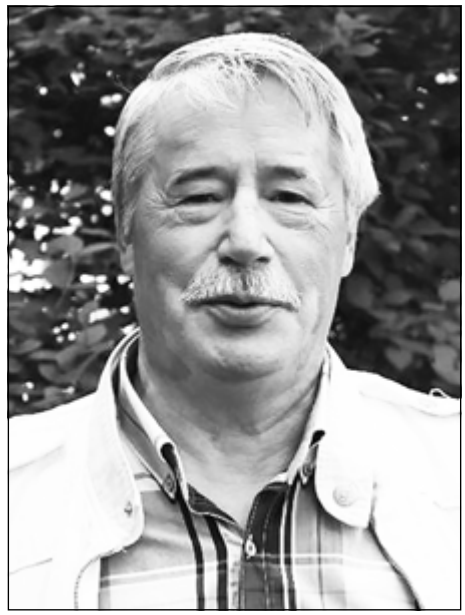
На месте котлована сделали спортивную площадку, и некоторое время она была лучшей в городе. Сейчас на ней все запущено, разорено. Не удивлюсь, если в скором времени здесь снова появится котлован, а следом и новое строение. Такие места в центре города нынче подолгу не пустуют. На месте Ритиной усадьбы пятиэтажный дом с молочным магазином и кучей всяких офисов на первом этаже.

По-прежнему перед окнами общежития возвышается тополь с развилкой, жива и старая яблоня, оставшаяся от деда Сабурова. Несколько поколений, выросших в нашем дворе, делали на стволах затеси в виде матерков и инициалов любимых девчонок. Их затягивало корой, а вернее – самим временем. Оставались шрамы. Все стволы сплошь в шрамах. Эх ты, человек! – вздыхают оживающие по весне кроны. – Ты уходишь, за тобой приходят другие – и все со старыми глупостями. А нам еще жить да жить...

Я попросил сына выяснить по интернету, сколько от нас до Австралии.

– Нигде не сказано, – сообщил он, – вот от Москвы до Сиднея – пожалуйста, четырнадцать с половиной тысяч километров.

Ну, а от нас до Москвы – около трех с половиной. Стало быть... Арифметика простая. Зачем мне надо было это узнавать? Понятия не имею!



ПАВЕЛ КРЕНЁВ

ДЕДУШКО ПАВЛИН

Митрохины именины

Нет рассказчика и весельчака в деревне картинистее дедушки Павлина. И когда где какая собирается «госьба», толковый хозяин, даже если и не состоит с ним в родстве или друзьях, обязательно тем не менее его пригласит. Деду много ведь и не надо: поднеси ему чарочку, да усади куда-нибудь на краешек, он и сидит потихонечку, ждет, когда придет его час. Дедушко очень обожает быть «в обче-стве» и чувствует себя в такой обстановке как рыба в воде. Пригла-шают деда, конечно, с умыслом: вдруг гости попадутся мрачные, и некому будет их рассмешить. Тогда какие там песни... А «госьба» без песен – это, брат, не шутки. Это прежде всего удар по авторитету хозяина дома, неминуемые пересуды на следующее утро: «У Митрохи-то на именинах и не пели!». И пойдет и поедет, и получится, что докатился Митроха в жизни своей забубенной – дальше некуда. Понимает это Митроха, очень хорошо понимает, и дабы накрепко оградить себя от возможных козней гостей, зазывает он и потчует дедушку Павлина.

Дед знает об этой своей предназначенности, и поэтому ведет себя за столом не то чтобы важно, а с особым достоинством человека, черед которого еще не пришел, но придет наверняка. И глаза его, мутноватые в такие минуты, светятся блаженной грустью: «И что бы вы тут, мол, без меня-то...». Время деда Павлина настает, когда души мужиков начинает потихонечку сдавливать некая сила, и ей требуется какой-то выход, а выходу почти ничего не препятствует, потому как мужики приняли уже крепко. Сразу начинается нечто вроде антракта, за которым должно последовать новое действие...

Дедушко Павлин наступление этого «антракта» чувствует нутром – за это его ценят. Наступает его час.

– Н-н дак, это в ерманьску, помню... – Он всегда обычно так начинает свои выступления. Дальше может последовать что угодно: байка, анекдот, частушка. Говорит дед негромко, обращаясь к кому-нибудь сидящему напротив, и эти негромкие слова его почему-то неминуемо приковывают внимание – дедушко Павлин бьет в яблочко.

Замолкают все.

– Чево, Павлин Иванович, про чё ты, не расслышалось? – лезет кто-нибудь из дальнего угла с запоздалыми вопросами. Дед Павлин на это неуместное встревание с важностью не реагирует, и мужик, зашиканный и затолканный локтями, умолкает.

– Дак я гурю, Трофимовна, как так бывat, в ерьманьску мог, а чичас сила не берет?

– Эт он про бабку свою Анисью рассказывает, – предполагает кто-то.

Разрождается чей-то хохоток.

Дед же с недрогнувшей серьезностью беседует с Трофимовной.

– Како дело, понимаешь, песни тады мог складывать, – для скром-ности уточняет он. – Ну не длинны, конешно, не народны, а припевки. Получалиси-сь, деинка! Нагольны грамоты за них получал.

Тут уж мало кто выдерживает. Мужицкий хохот, бабий грай.

– Ох темнеченько-о! Тогды грамот-то не было...

Все понимают, что дед начал очередную бухтину, но поддерживают ее все:

– Дак спой, чего сочинил-то, спой давай, дедушко!

Только тогда дед Павлин начинает улыбаться и приглаживает усы, словно раздвигает улыбку еще шире.

– Ну-ко, Митроха, куды-т твою раскуды, где гармонь? Чичас вмажу!

Гармонь у запасливого и расторопного Митрохи, продумавшего заранее сценарий «госьбы», лежит в сенях, но он всплескивает руками, – мол, вот, едрена корень, кабы знатье! – выбегает из избы на поиски, но возвращается быстро, чтобы не охладить в гостях тягу к песне.

Дед Павлин обращается с гармонью небрежно, как бы нарочно мнет ее и треплет. Наверно потому, чтобы гости не обращали особого внимания на игру, а играет он плохо. Старые, согнутые пальцы не-верно прыгают по ладам, путая их до неузнаваемости самой мелодии. Но небрежность с инструментом скрадывает этот, должно быть, серьезный недостаток, и гармонь выступает лишь как один из элементов оформления дедушкиного концерта, как неизбежный его атрибут.

Вначале следует обычно неровный перебор с этакой залихватостью и претензией на удаль. Дедушко Павлин вытягивает шею и отворачивается от гармошки.

О-о-ох! Ух та-а!

Вы припевочки мои, ой вы девочки мои!

Ух та-а!

Потом пойдут сами частушки. Одна, другая, третья. Дед и поет-то, наверно, плохо, но с таким немыслимым задором и расфуфыренностью, что бабы начинают сначала повизгивать, покрикивать: «Ох тош-

нехонько!», потом пойдут в пляс. Мужики таращат глаза, покрякивают, довольные: «От дает Павлин Иванович», но пока еще сидят.

Дедушко в частушках умеет вставить к месту чье-нибудь имя. Изло-женная в короткой песенке ситуация становится узнаваемой, и это добавляет веселья. Тематика чередующихся куплетов у деда тоже, видимо, продумана. В кульминации какого-нибудь частушечного сюжета, состоящего из четырех-пяти песенок, обязательно включа-ется припевка с «перчиком»:

Мимо тешшиного дома
Я без шуток не хожу...

Но на «госьбах» такие «штучки» проходят на «ура». Дед это понимает и под одобрительный хохот мужиков и визг пляшущих баб продолжает свое сольное выступление. Вот уже в круг вступили и самые «труднозаводимые» мужики. Наяривает и выламывается в неведомых музыкальных выкрутасах гармошка, прыгает на коленях у дедушки Павлина. По лицу гармониста течет пот, он трясет редкими седыми волосами и хриплым усталым голосом выкрикивает все новые куплеты... Гуляет «госьба». Односельчане справляют Митрохины именины.

Я кручусь где-нибудь поблизости и терпеливо жду дедушку: надо проводить его домой. В иной компании бывает у него и «перебор», и тогда одному попадать домой ему трудновато. Да и без этого я бы ждал его. С ним мне всегда хорошо и интересно...

Чтобы убить время, ставлю в проулок чурбачок и кидаю в него комьями земли, рыскаю глазами: не появится ли в пределах досягаемости чья-нибудь кошка или даже собака, не очень бы только крупная, чтобы «зафитилить» и по ним – по живой-то мишени интереснее.

На деревню спускается потихоньку серенький летний вечер. Вот гармошка из последних сил звякает, смолкает топот пляски, и я вздыхаю облегченно: дедушко Павлин скоро выйдет. Он никогда не сидит долго после «заводки», устает, наверно, очень.

«Вот ктой-то с горочки спустился...» – затягивает бас, его тут же подхватывают. Пошли песни. Дед, получивший порцию неминуемых восторгов («От отчебучил Павлин Иванович!»), выпивает сейчас, должно быть, с важным видом чарочку «на последнюю ногу», крутит усы и потихоньку собирается... Он свое дело сделал. Вот-вот выйдет...

И впрямь. В сенях слышатся голоса, возня... Там Митроха, ошалелый от привалившего счастья, от небывалого успеха устро-енной в его доме «госьбы», сыплет дедушке благодарности: «Уважил, Павлин Иванович, от уважил, любушка!.. Я завсегда...».

Открывается наконец входная дверь, и дедушко Павлин, весь довольнешенький, раскрасневшийся, появляется на крыльце. Он напяливает кепку и притоптывает ногой, отдышивается. Потом видит меня и, будто мое появление тут крайне неожиданно, восклицает:

– Пашко, ты-то откуль взялся?

– Тебя жду, дедушко.

Я знаю, что для него сцена эта желанна, и он всегда со старанием разыгрывает свое удивление, хотя ему приятно, конечно, что я его жду всякий раз. Потому что дедушко Павлин меня любит, как люблю его и я.

– Дак поздно ведь уже. Батько-то ремнем не ожедернет?

– Не-е, – отвечаю уверенно, – не ожедернет! Счас ведь каникулы, а я сказал, что пошел к вам в гости.

Наши с дедушкой Павлином дома стоят рядом. Он живет там с бабушкой Анисьей Петровной, и я в гости к ним бегаю часто.

По дороге дед долго еще отходит от своего триумфа и возбуж-денно, разгоряченно восклицает:

– Показал, едрена корень, как надо-то! А то расселись, как молчуны каки!

Особенно радует дедушку реакция гостей на его выступления.

– А Степан-то Матвеич мне и... – слышь, Пашко? – Степан-то Матвеич мне говорит: «Ты, говорит, Павлин Иванович, молодых-то ищё всех обыграешь. Куды, говорит, до тебя молодым-то!».

Идем мы с дедушкой Павлином вдоль деревни по самому берегу моря. Мелкие волны легонько шлепают о твердый песок и силятся добежать до наших ног. Я бы не прочь, конечно, поиграть с волнами, но сейчас нельзя, я веду дедушку подальше от воды. Ему опасно в сырость, у него ноги старые. Он положил руку на мое плечо и тихонько на него опирается, чтобы я знал, что не зря дожидался, что я его помощник.

Напротив наших домов дедушко говорит:

– Давай, Паша, посидим манешенько. Чего-то в тягость по песку ходить стало.

И мы садимся на бревнышко и глядим на море. Над нами раскинул бескрайние сероватые крылья дивный вечер первой половины северного лета, долгий и тихий. Ленивый, легкокрылый, чуточку знобкий ветер шелестит по матовой воде, будто гладит ее поверхность, отчего море, дремотное, разомлевшее за день, довольно урчит на мелких прибойных камушках. Мы сидим и смотрим, как прямо перед нами из моря вылезает и стряхивает брызги огромная безрогая спелая луна. Вот она уже висит над водой, безмятежная, умытая, ядреная, и багрово отсвечивает, как начищенный медный таз. Дедушко Павлин всматривается в луну внимательно, словно в зеркало, блаженно щурит маленькие свои старческие глаза и поглажи-вает ус.

– От уже благодать-то, Павлушко, – шепчет он умиленно. – Эк расфорсилась тишинка.

Воздух напоен запахами выброшенных морем на берег водо-рослей, ракушек, звезд, солью и горечью воды – запахами моря. Дедушко вдыхает его глубоко, как затяжки любимых им цигарок. Вдруг я слышу, как он всхлипывает.

– Ты чево это, дедушко?

– Помирать надо скоро, Павлушко, а мне рано вроде, не нагляделся ищё.

Такого дедушко еще не говорил, и мне становится немного жутковато. Как могу, я успокаиваю его, но дедушко Павлин все плачет и вытирает лицо рукавом. Потом он гладит мои волосы скрюченной своей ладонью и приговаривает:

– От красотишша-а!..

На подходе к дому дедушко наконец становится прежним и подмигивает мне заговорщически:

– Ты, Пашко, в разведку хаживал?

– Хаживал, – отвечаю.

– Тогда слушай боево поручение: выяснить надо настроенье Анисьи Петровны. А то как бы нам с тобой по костылям не схлопотать.

Я вытягиваюсь в струнку: «Есть выяснить настроение!». Боевая задача мне по душе. Дедушко прячется за поветью, а я смело поднимаюсь по крыльцу, стучу, как подобает, в дверь и захожу в избу. Анисья Петровна греет самовар.

– Здравствуйте, – говорю и как ни в чем не бывало интересуюсь: – А где дедушко-то?

– Леший унес куды-то, к Митрохе вроде, – отвечает она сердито. – Третий раз самовар калю. Ну придет, дак...

– Да нету его у Митрохи, – подливаю я масла в огонь. – Может, в другом месте где сидит.

– Как эт не у Митрохи? К ему, сказал... – начинает беспокоиться Анисья Петровна и садится на стул. Глаза ее растревожились. – Бывает, уж лежит где-нибудь, да! Не молодой уж. Вот беда-то, беда-то! – начинает всплескивать она руками.

– Ну ладно, – говорю я важно, – пойду сейчас искать. Может, и найду где.

– Сходи уж, батюшко, подсоби... Я-то тоже чичас обряжусь да пойду. Не пропал ли дедко-то?

Под ее оханье я выхожу на крыльцо и окликаю дедушку. «Об-становка нормальная», – докладываю ему.

Анисья Петровна встречает нас восторженно, хохочет и радостно ругает:

– Вот лиходеи! Старой да малой. Омманули бабку!

Потом мы втроем пьем чай с творожными шаньгами, и дедушко, причмокивая и фыркая, возбужденно рассказывает снова, как он «уел» молодежь на «госьбе».

– Петь, понимаешь ты, не хотят! Расселись!

Когда я собираюсь домой и прощаюсь со стариками, дедушко Павлин напутствует:

– Ежели батько за ремень возьмется, скажи, что у меня был.

Я обещаю так и сделать и выскакиваю опять в немного пасмурный и свежий летний вечер.

Как я хотел стать знаменитым

Дедушко Павлин называет меня теперь своим крестным отцом. Называет, конечно, больше в шутку, но мне это страшно нравится, тем более что сам дедушко уверяет, что имя это я вполне заслужил. Он даже говорит, что будь его воля, он бы обязательно меня наградил медалью или же почетной грамотой. Я бы и сам не против, но дедушко Павлин просто дедушка, а никакой не начальник, даже не председатель сельсовета, поэтому награждение меня ни грамотой, ни медалью не состоялось. Жаль. Зато как компенсацию за это я получил право называться крестным дедушки Павлина, и мой друг Колька Гуля-ев завидует мне до крайности.

Получилось все из-за младшей сестры дедушки Павлина, тетки Анны.

Выйдя на пенсию, она вознамерилась вдруг заниматься рыбалкой и увлеклась этим, видно, очень сильно. То и дело видал я ее с удочкой на Белой реке, что течет рядом с деревней. Бабы и мужики над ней

посмеивались, да и сам Павлин Иванович тоже, но она чуть не каждый вечер шла домой через главную улицу поселка и гордо несла на кукане десяток-другой тощих ершей и окуньков. Обликом и осанкой напоминала она в такие минуты укротительницу самых кровожадных хищных зверей. В конце концов, блюда из ершей, видимо, надоели мужу тетки Анны – старому усатому деревенскому фельдшеру, но больше у нее ничего не клевало, да и не водилось другой рыбы в мелководной Белой реке. Вот тогда-то и обратился ко мне Павлин Иванович.

– Сестра-то моя совсем ошалела на старости лет, – посетовал он. – Пристала: подъязков, грит, хочу поудить. От ядрена корень! Ты уж отвел бы ее куда-нибудь. Лешой с ей-то!

Забот у меня, конечно, хватало и без тетки Анны, да и, откровенно говоря, не было желания с ней валандаться, но ведь сам дедушко попросил, и я сказал:

– Хорошо, пускай собирается.

Тетка Анна примчалась на другое же утро с самого ранья. Вы-спаться не дала... В руке кривое удилище из длинной березовой вицы, глаза горят. Я, как и подобает многоопытному рыбаку, со скептическим, даже чуть презрительным посвистыванием проверил ее снасти, указал, что крючок слишком мал, что удилище не выдержит настоящей рыбы и что вообще надо накопать еще червей (пусть знает, что приходить в такую рань к порядочному человеку и опытному рыбаку бестактно). И тетка Анна, охая над собственной непредусмотрительностью, помчалась устранять указанные недостатки. Я же тем временем понежился еще в постели и только съел завтрак, как увидел в окошко тетку Анну. Что? Она уже все сделала? Я выскочил на крыльцо. Удилище было заменено, оно лежало на изгороди, длинное, легкое и, как видно, прочное.

– А червей накопала, тетя Аня?

Она открыла банку. Там кишел целый клубок навозников. «Вот дает бабуся!» – подумал я восхищенно, и уже тогда заторопился тоже.

Путь на Верхнюю реку, куда мы направились, был в общем-то недлинный: километра три через лес, до Переднего озера. Из него и вытекает река. Там, на ровных сенокосьях, вода тихая, глубокая, с травянистыми омутами. Подъязок водится в тех краях и в ведрую погоду клюет исправно.

Только вышли из поселка и перед заходом в лес поднялись на угор, я сглупил – похвастал тетке Анне, что недели две назад выудил на Верхней реке аж семнадцать штук!

– Во подъязины были! – отмерил на торце удилища невероятные размеры тех рыбин.

Тетка Анна, не шибко-то избалованная дарами Белой реки с ее ершами, приняла мой рассказ, конечно, на веру и раскочегарила по лесу так, что я чуть от нее не отстал.

Откуда и прыть-то такая взялась! Однако, как прибыли на место, я взял опять бразды правления в свои руки и уже командовал теткой Анной как учитель. Показал ей, как поприманистее, жирнее делать наживку, как осторожно надо подходить к омутку и заранее выбирать удобное место, чтобы не было сверху сучьев: на них обычно не обращаешь внимания, а как клюнет, рванешь удилище, а оно и застрева-

ет. Рыба на леске повисит-повисит, потрепещет, пока «ширишься», – обязательно спрыгнет.

– Вот тогда, тетя, прыгай за им в речку-то, имай, – предупредил я тетку Анну.

Она слушала меня вроде внимательно, а сама аж зубами стукала от нетерпения. Умора!

С погодой нам повезло. Стояло безветренное, тихое, чуть сы-роватое и теплое утро. Клев должен быть хорошим. От речки до-носились чавкающие звуки. Там погуливали в водорослях и хватали садящуюся на воду мошкару подъязки. От каждого всплеска тетка Анна вздрагивала.

Вот и первые забросы. Я чуть не упал от изумления и – что там говорить! – зависти, когда моя подопечная уже через пару минут выволокла подъязка. Он запрыгал на траве, красноплавниковый, серебряный и ядреный. Тетка Анна бросилась его хватать, потом, видно, поскользнулась и упала на рыбу животом. Надо бы посмеяться, да мне-то не до смеха. Я-то, опытный, «стреляный» рыбак, ничего не поймал!

Через полчаса рыбалки мы подошли к старой осине, упавшей поперек реки. Тут обычно рыбаки переходят на другой берег, потому что дальше идут сплошняком кусты и удить невозможно. Радостный, что не ударил в грязь лицом (в сумке, висевшей на боку, стучали упругими хвостами три подъязка – не меньше, чем у тетки Анны), я привычно перебежал по осине на другой берег.

Тетка Анна шла сзади, но я в азарте рыбалки не обратил внимания на нее – велико ли дело перебежать речку. Стал уже красться к кусту, за которым прятался уютный омуток, когда услышал сзади короткое «Ох!» и громоподобный всплеск... Оглянувшись, увидел лишь руки тетки Анны, торчащие из реки, да еще уплывающее от нее удилище...

В одну секунду взбежал я снова на осину и прыгнул вниз. И вот тут началась борьба с теткой Анной. Оказалось, что она совсем не умела плавать, и вместо того, чтобы помогать мне вытаскивать себя из воды, обхватила вдруг меня за плечи, прижала к себе и всей тяжестью грузного своего тела потянула ко дну. Я увидел лишь ее широко раскрытые от неожиданного купания и страха, ничего не видящие глаза. Хорошо еще, что успел глотнуть немного воздуха и, достав ногами дно, сильно от него оттолкнулся.

Тетка Анна оторвалась от меня на несколько мгновений, но как только мы вынырнули, вновь на меня бросилась и стала хватать за одежду цепкими пальцами, при этом кричала что-то бессвязное и страшное.

Я понимал, что если она уцепится, мы вновь пойдем ко дну, и я отбивался от ее рук всеми силами. Мне тоже стало жутко и захотелось бросить тетку и выбраться на берег, который был совсем рядом. Но бросать было нельзя, невозможно... и я боролся с руками тетки Анны, которые хотели утянуть меня на дно, и кричал ей что-то ругательное...

Пока мы так барахтались, течение занесло нас в глубокий и тихий омут, где мы только что удили подъязков. Силенки совсем уж покинули меня, и я с трудом держался на воде, тетку же Анну вдруг развернуло как-то боком, и она, потеряв меня из виду, вскрикнула протяжно и дико, и голова ее скрылась. Я едва успел поймать капюшон ее легонькой брезентовой куртки. Как доплыл до берега и вытащил тетку Анну

на песок, я в подробностях не помню. Остались какие-то мучительные и бесформенные обрывки воспоминаний: как выкатывал ее из воды, вперевалку, словно тяжеленную чурку, как ритмически давил коленками на ее спину, пониже лопаток, как начала она кашлять...

Потом я, наверно, уснул и проспал довольно долго, потому что, когда проснулся, солнце стояло уже над лесом, а тетка Анна сидела рядом и гладила меня по совсем уже сухой голове. Никогда бы раньше не поверил, что смогу вот так вот посреди дня закемарить на несколько часов, да еще на рыбалке!

Удить мы тогда больше не стали, не захотелось почему-то, а поднялись и пошли потихоньку домой.

Но это все не главное. Самое основное, что тетка Анна всю дорогу твердила мне, что я настоящий пионер, что я, мол, совершил подвиг, и что она обязательно сообщит обо мне в «Пионерскую правду». Тут она попала в самую точку. Тогда меня только приняли в пионеры, «Пионерскую правду» я любил страшно и читал ее до последней точки, особенно нравились заметки под рубрикой «Так поступают пионеры». Читал их и думал: «Вот бы мне чего-нибудь совершить такое, чтобы и про меня написали в газете: он поступил как настоящий пионер». А тут тетка Анна подвернулась, и все, кажется, получилось, как и у тех ребят, о которых уже написали...

Все то лето и всю осень с трепетом открывал я страницы «Пионерской правды», думал: ну сегодня нет про меня, но завтра-то уж будет точно. Ложась в постель, мечтал, что о том, как я вытащил тетку Анну из Верхней реки, прочитает вся страна, и я стану самым знаменитым пионером в деревне, а может, и в целом Приморском районе, и меня будут уважать взрослые и ставить в пример...

Еще я рассуждал: напечатают или нет мою фотографию? О том, что для этого надо по меньшей мере сфотографироваться, и не думалось.

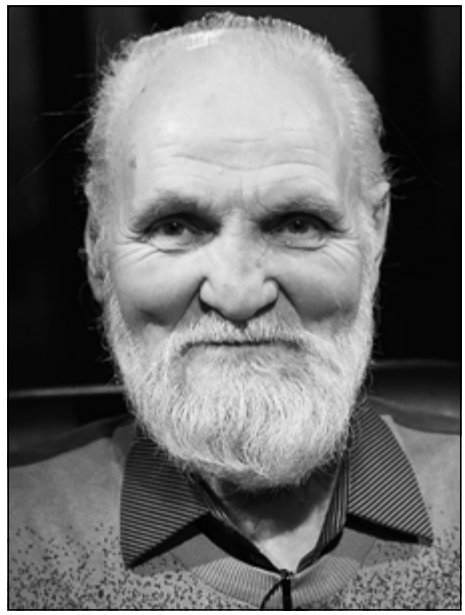
В общем, не написала обо мне «Пионерская правда» под рубрикой «Так поступают пионеры». Я решил, что тетка Анна не сообщила туда ничего, но не стал спрашивать у нее, так это или не так.

А может, в газете постановили, что поступок такого-то пионера из такой-то деревни не является столь уж важным, чтобы о нем писать на всю страну. Сам я больше склонялся к последнему, потому что тетка Анна хоть и зануда, но в общем хорошая и добрая. Так я и не стал знаменитым.

Но зато дедушко Павлин называет меня теперь своим крестным отцом. Говорит, что так полагается, если спасают от неминуемой гибели твоего родственника.

«А ты, – говорит, – Паша, спас мою родную сестру Анну Ивановну».

И мой друг Колька Гуляев страшно мне завидовал.



ВЛАДИМИР КРУПИН

ФОНТАН В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

Девочка Катя знает, что ей завидуют подружки. У девочки есть город, а в городе есть фонтан. В самом центре. Он не простой, этот фонтан. Он цветной и музыкальный.

В этом городе живут дедушка и бабушка девочки. Они её встре-чают. Первым делом девочка спрашивает, работает ли фонтан. Да, работает, говорят ей. И она, едва присев за стол с дороги, торопит-ся в центр, вверх по зеленой улице, которая только для людей, а не для машин. Перед площадью надо ждать светофора, но после того огромного города, в котором девочка живет с родителями, ей просто смешно здешнее движение, и она бежит прямо на красный свет.

Фонтан работает!

Он стоит на одном режиме водоиспускания, то есть из середины бьют несколько струй, и все. Но это ничего не значит, то есть как раз это значит, что фонтан исправен. А разные умные слова о ре-жимах работы фонтана девочка слышала тут же, когда на скамье рядом сидели, видимо, специалисты. Они говорили про какую-то сверхзакалку титана, из которого сделаны форсунки, эти крошеч-ные брандспойты, они говорили о наборах программ для электрон-ной машины, управляющей автоматическими сменами воды, и цве-та, и света, и словно специально находили слова, чтобы отпугнуть очарование фонтаном. Но вот специалисты сказали, что подобного фонтана нет нигде, только здесь, и девочка все им простила. Даже фразу «нет аналогий». Это уж она и сама знала, что нет. Даже на знаменитой своими фонтанами выставке в её большом городе.

Девочка облегченно вздыхает, обходит вокруг фонтана, садится на скамье и замирает. В этой неподвижности, при ровном шерохо-ватом звуке падающей воды ей уютно.

Сухая поздняя осень. Тепло, солнечно. Как девочка вырвалась сюда в это время, как уговорила родителей, это даже ей непонятно. Но она здесь, и теплая волна ликования поднимается у неё в груди. В девочкином городе никто никогда не сделает ей ничего плохого. Она звонит и говорит маме, что всё хорошо, её встретили, погода хорошая, что двоюродных братьев и сестёр ещё не видела, они в школе, – все это девочка тараторит с такой скоростью и так весело, что тревожный мамин голос становится спокойным...

Надо всем подарить по подарку, думает девочка, она обязатель-но всем привезет по подарку. Девочка идет по городу и думает, кому бы и что она подарила. Собака бежит – подарила бы всем собакам по конуре. Дом стоит ободранный – ему бы подарила веселых ма-ляров, а то бы и сама пришла с ними красить. Пусть бы он был по-лосатый, нет, пусть был бы разный: зимой – красный, весной – бе-лый, летом – голубой, а сейчас? Сейчас был бы, был бы... сирене-вый! Тетка навстречу идет, ой, какую тяжелую сумку тащит, вот ей бы подарила такую сумку, чтоб не таскать груз, а катить на колеси-ках. Тут же девочка смеется над собой и говорит: «Тетя, давайте я вам помогу». – «Ой, что ты, милая, – отвечает женщина, – да я са-ма, ой, спасибо». И видно, как в ней прибавились силы от доброго слова.

Девочка идёт дальше и думает: а что бы она подарила своему фонтану? Крышу? Это нельзя – ему надо, чтоб над ним было небо. И как ни воображает девочка, ей нечего подарить фонтану. А я по-дарю себя, решает она, и ей снова смешно, как это она себя пода-рит? Было бы лето, она бы взяла и выкупалась и никого бы не по-стеснялась. Ведь когда она первый раз увидела фонтан три года назад, было как раз лето и в фонтане барахтались два маленьких мальчика. Но тогда девочка посчитала, что она взрослая, и, вот ведь дура, не выкупалась в фонтане. Теперь поздно.

Надо домой, к дедушке и бабушке, а то они беспокоятся. Но это ничего, они ругаться не будут. Девочка ходит по магазинам и всему радуется. Братику она купит теремок. Теремок разборный, из него много чего можно построить. Маме она купит набор тарелочек. Они вместе с мамой испекут сладкий пирог и поставят эти тарелочки, и мама скажет, что тарелочки купила дочь. Папе можно ничего не по-купать, он не обидится. А вообще-то надо бы. Он хоть и не обидит-ся, но как-то показал ей, что хранит подарок, который она сделала в детском ещё садике, – наклеенный на цветную бумагу спичечный коробок и на нём написано «23 февраля».

Труднее всего выбрать что-либо подружкам: она столько нагово-рила им о своем городе, и это надо доказать. Хорошо бы купить им по расписной глиняной игрушке, которые делают только в этом го-роде, но где их продают, даже в этом городе не знают. Правда, сто-ит за стеклом огромная барыня в пяти разноцветных юбках, с вее-ром, но такая дорогая, что даже не с чем сравнить. Девочка вздыха-ет, но тут же и оправдывает цену – очень трудно сделать такую красоту. И вообще девочка ничего не может осудить в своём горо-де.

Пора возвращаться.

Бабушка обо всём расспрашивает девочку, особенно о родите-лях, о братике, но все эти разговоры кажутся девочке военной хит-ростью, чтоб отвлечь ее внимание и побольше ей скормить.

Вот уже и вечер. Девочка надевает на себя вязаную юбку, тол-стый свитер, осеннее пальто, которое недавно было маминым, и, стоя перед зеркалом, кажется себе взрослой. Она так и сяк встряхи-вает головой, волосы взлетают и падают. «Раньше, когда девушки эдак-то носили во-лосы, дак звали их распустехи, – говорит бабушка, но добавляет, что-бы не обидеть внучку: – Нынче всяко над собой издеваются. Чем ни чудней, тем потешней». Девочка, чтобы посме-шить бабушку, говорит, что есть еще прически, которые называются у них между собой: «нас бомбили, мы спасались» или «я у мамы дурочка». Бабушка вздыхает, ничего не говорит. Но дедушка, в ко-тором нет хитрости, заявляет: «Ты не вздумай эдакой халдой на улицу выставиться». Девочка смеется и заплетает волосы в одну косу, но не в тугую, а в свободную, а концы прядей и вовсе оставля-ет. На такое дедушка согласен.

Девочка говорит, что идёт к фонтану, и выходит. Теперь она со-всем не спешит. Конечно, ей хочется увидеть своих двоюродных братьев, но договорились на завтра. Она ко всем, к кому просил па-па, зайдёт. Завтра. А сегодняшний вечер только её.

Какой славный ветер шумит деревьями. Ветер вовсе не холод-ный, в нём тепло, скопленное где-то за городом, в сухом хвойном лесу или в чистом поле. Ветер спелся с ветками деревьев, они по-качиваются туда и сюда враз, по команде его порывов. Ветки ниже высоких неподвижных фонарей. Тень от веток ходит по мостовой, и кажется, что вся улица качается на волнах.

В далеком просвете улицы, как свет в конце тоннеля, появляется разноцветное слабое сияние – работает фонтан. Ноги сами начи-нают частить. Вот уже и музыка слышна.

У фонтана всегда есть место. Не на одной скамье, так на другой. Девочке достается почти полтора метра голубой скамьи. «Хорошо бы рядом никто не сел», – думает она и тут же ругает себя: мимо нее проходит женщина и даже собирается сесть, но вдруг идет дальше. «Она догадалась, что я подумала. Но ведь я сразу разду-мала. А уже было поздно». Девочка вспоминает, что ее весь по-следний год мучают мысли о знаках. Это началось со случайно прочитанной фразы: «Во всем для всех есть тайные знаки, но при усилии разума и направленности души они могут открыться». «И вот сейчас женщина поняла, что я в ту секунду, когда она подходи-ла, не хотела, чтоб кто-то сел рядом. Значит, даже и чужая мысль есть знак» – так думает девочка, а сама уже устроилась, угрелась, подоткнула пальто под колени, запахнула его сверху.

Она ждет начала. То есть фонтан работает уже давно, он вовсю разошелся, но надо поймать момент, когда положение воды, света и музыки от почти нулевого взмывает в какое-то состояние, потом гаснет, потом накапливается и возникает следующее состояние, по-том еще и еще... В том давнем разговоре специалисты называли цифру семь. То есть семь раз видоизменяется выброс различных струй, меняется освещение и соответственно музыка. Но девочка думает, что всё же больше. Надо сосчитать. Надо просидеть внима-тельно полный круг.

Вот смолкает ровный шорох орошения, струи приседают, про-жектора пригасают, музыка дает вступление. Из центральной стой-ки, из середины, взмывает, нарастая и уже на ходу рассыпаясь, разлохмачивая верхушку, невидная из-за своего бесцветного ство-ла, но озаряя окрестность белой кипящей кроной, мощная струя. Вокруг нее, чуть склонясь, вырываются еще четыре струи. В них есть что-то материнское, прикрывающее. По всей окружности воз-никают прямоструйные завесы. Когда они взмывают ввысь, получа-ется живая стена, а когда опускаются, становятся похожи на изго-родь. То ли они, набирая и отпуская воду, командуют музыке, то ли, наоборот, она, зная силу напора, своей волей меняет их рост и окраску. Тут добавляются еще струи, они закрывают расстояние от центра до краев, и все это пространство заполняется невиданными огромными цветами из воды. Может быть, они взяли форму от коло-кольчиков, развернутых в небо. Их лепестки как стеклянные.

Вот возникли в торжественном согласном шуме еще не появляв-шиеся боковые бесчисленные струи, они бьют навстречу друг другу с такой силой, что образуют над всем фонтаном прозрачный, ис-крящийся разноцветными блестками шатер.

Девочка давно забыла, что надо запоминать смены различных настроенностей фонтана. Пусть. Запомнить бы только вот эти кас-кады, когда вода, теряя силу и обрываясь, вдруг подпирается снизу, и вновь насильственно возносится, и вновь пытается упасть. За-помнить вот этот порыв ветра, когда он клонит и треплет заросли воды, а нижние тонкие струи как колосья в поле перед грозой. Вот затихло, и как хорошо, что и музыка, чувствуя, что не она здесь главная, то есть как раз она здесь главная, но главная музыка воды, а звучащая по радио – только сопровождение, и вот она притихает, а нарастает звучание воды, выплескиваются все новые аккорды, и вот уже согласный хор, напоминающий водопад, царствует над округой. И вся вода, поднимаемая, кажется, не напором снизу, а небесным притяжением, замирает вдруг и походит на огромный воздушный шар, который вот-вот взлетит и возьмет с собой всю площадь.

Переблески прожекторов делают фонтан очень разным. Вот он весь голубой, а вот фантастический, золотой, вот, как лес, зелёный.

Вдруг кончается музыка, по радио включают радиостанцию «Ма-як» с последними известиями. Фонтан продолжает шуметь, но голос огрубляет музыку воды. Потом следует эстрадная программа. Она и вовсе не подходит. Тут уж или серьезная музыка, или тишина, ду-мает девочка. Вспоминается дискотека. Там такое же вбивание ко-манды через барабан, так же мигает цветотень. Но там гасят свет не от любви к цвету, а оттого, чтоб не было стыдно дергаться туда и сюда.

А ведь можно и здесь танцевать, думает девочка. Особенно ко-гда хорошая музыка. Прямо в пальто можно. Я бы не постеснялась. И долго-долго танцевать, красиво и медленно.

Вдруг она замечает запах табачного дыма и понимает, что к ней кто-то подсел. Это парень. Он в легкой куртке, джинсах. Длинные светлые волосы зачесаны назад. Поймав ее быстрый, как бы вер-нувшийся взгляд, он невпопад спрашивает:

– Вы кого-то ждете?

Ей смешно.

– Уже дождалась.

По правилам ее круга надо отвечать независимо и даже грубова-то, но не в этом же городе. Парень теряется, его спасает радио. Начинают передавать последние известия, на сей раз спортивные. Он слушает, и видно, что ему действительно интересно.

– Вы за «Спартак», – спрашивает он, – или за ЦСКА?

– Я – за «Арарат».

Парень одобрительно, энергично кивает головой и придвигается. Она отодвигается.

– А зачем вы выпили?

Парень сокрушенно разводит руками, гасит сигарету.

– Плохо одному, понимаете? – Он поднимает голову и говорит, она понимает, правду: – Вот и выпил.

– Что же так? – жестко спрашивает она. – С этих лет?

– Я уж работаю. Из восьмого ушел. Два года в ПТУ. Я монтажник по электросетям, работа денежная, – шутит он, вернее, пытается шутить, потому что застеснялся вдруг.

– Как здорово, – говорит она.

Парень доволен.

– Да уж ладно. Идёмте погуляем! Я маг вынесу, записи будь здо-ров.

– Но как же я пойду с вами гулять? Вы же выпили. Да еще по до-роге будете курить! Да еще включите магнитофон, чтоб не напря-гать собственные мысли, благодарю!

Вдруг сухой частый треск мотоциклетных моторов заполняет воздух.

Все сидящие на скамьях вокруг фонтана вздрагивают, выпрям-ляются и взглядом следят за нарастающим, проносящимся и зами-рающим вихрем властного звука.

– До зимы каждый вечер будут гонять, – почти восхищённо объ-ясняет парень.

Фонтан продолжает работать, струи вздымаются и опускаются, перестраиваются, иссякают и возрождаются, прожектора, скрытые серебристым металлом, все так же меняют цветную подсветку, все так же продолжается озвучивание через замаскированные динами-ки, но что-то меняется, от чего девочка встает и чувствует, как она замерзла и как здесь сыро. Теперь она понимает, почему с этой стороны было свободно, именно сюда ветер забрасывал брызги.

– Можно вас проводить? – хмуро спрашивает парень. Он тоже встал, держит в руке пачку сигарет.

Девочка пожимает плечами. Ей в самом деле все равно. Взглянув на фонтан – как раз центральные струи упали и начинают пульси-ровать боковые, – она уходит.

Парень не отстает.

– Не буду я курить, – мрачно говорит он.

Девочка молчит. Парень шагает к урне, швыряет в неё сигареты.

«Что я, в самом деле, – ругает себя девочка. – Я послезавтра уеду. Какое мне дело до этого парня и зачем я вдруг сунулась де-лать ему выговор?».

– И выпивать не буду, – решительно говорит парень, – и мото-цикл куплю. Может, даже скоро. Я вообще-то этих парней знаю, – продолжает парень, еле поспевая за ней. – Куда ты так? Мама, что ли, в угол поставит?

– Правда, обо мне беспокоятся, – миролюбиво говорит она.

– Да обо мне тоже, – поддерживает он, – мать спать не ляжет. Сейчас из окна в окно суется, чего только в голову не взбредет.

– Что, например?

– Думает, в драку попал или еще чего.

– Значит, бывало?

Теперь уже парень пожимает плечами. Они пришли. Девочке не хочется, чтобы он шел до подъезда, и она решает проститься на уг-лу. Какое-то время они стоят молча, он – потупившись, она – глядя вниз, по направлению к реке и вспоминая ту мелодию, которая осо-бенно подходила движению воды.

Но тут снова слышится рев мотоциклетных моторов, а вот уже и они видны, целая стая, в зубах мотоциклистов сигареты, с сигарет срываются и мечутся в воздухе искры. Многие мотоциклы с коляс-ками, в колясках тоже кто-то сидит, сзади мотоциклистов, держась за их плечи, пристроились девушки. Они тоже в шлемах, волосы по-лощутся сзади. Шлемы полосатые, намазаны фосфорными краска-ми и светятся, некоторые раскрашены под черепа, очки обведены черной сверкающей лентой. Все это несется и гремит. Один, с ко-ляской, сделав какой-то согласный с колясочником рывок, поднима-ет коляску в воздух и добивается приветственных криков и салюта сигналами. Другой встает на сиденье, как в цирке, но тут же шлепа-ется обратно. Один мотоцикл резко привертывает и тормозит.

– Здоров!

– Здоров!

Это знакомый парня.

– Сигарет подбросьте. – Мотоциклист не смотрит на девочку, но это он специально. Знаем мы эти штучки. Парень хлопает себя по карманам и даже лезет руками в карманы куртки – нет. – Что ж так обнищал? – спрашивает мотоциклист и, кивая девочке и мгновенно оглядывая ее: – Отпусти девчонку. Сядешь? – Это уже ей, кивая на заднее сиденье.

– Вы отстанете от своих, – отвечает она, отвечает очень спокой-но, но так внутренне напрягшись, что мотоциклист резко отпускает сцепление.

Он держал сцепление прижатым, а мотоцикл стоял на скорости. И это пытается ей объяснить парень, который понимает, что более не имеет права ее провожать. Девочка идет и вся дрожит. Почему она напряглась, почему почти испугалась, когда говорил мотоцик-лист, – потому, что она поняла: от парня ждать защиты нечего, по-няла тогда, когда он стал себя обыскивать, ища сигареты, но ведь он при ней выбросил пачку, он же знал, что их нет, зачем он так по-ступил? Значит, он боится того мотоциклиста.

Дома тепло. Бабушка раскутывает из шерстяного тряпья огром-ную кастрюлю. Девочка ест и разговаривает. Дед пересказывает содержание газеты бабушке.

– Кормов не хватает, – говорит он, – уж деревья стали на сено рубить. А вот этих бы всех лешаков, – это он говорит о мотоцикли-стах, они их видели в окно, – этих бы всех лешаков на сенокос и уборку. Ведь только и умеют, что по большим праздникам кусок хле-ба себе отрезать. – Он совсем уже идет спать, но девочка втягивает его в чаепитие.

Они сидят втроем. И чего бы ни сказала девочка, ни в чем не возражают. Красота.

– Иди ложись, ты ведь с дороги, – говорят ей.

Девочке постелено на старом широченном диване. Подушка большущая, одеяло толстое. Девочка сразу, увидя такую постель, начинает отчаянно зевать. И в самом деле, такой длинный был день.

– Совсем ты взрослой становишься, – говорит бабушка, подтыкая одеяло под бока.

– Стараюсь, – отвечает девочка и снова зевает.

Бабушка гасит свет, выходит. Девочка решает, что ей надо о многом подумать: о городе, в котором живет, и о городе, в котором она сейчас, о подружках, о маме и папе, о братике, о сегодняшнем вечере, да, особенно о сегодняшнем вечере.

Итак, этот парень струсил. Ах, если бы он не струсил! Ах, если бы! Но тогда бы они его попросту убили. О, она шла бы за гробом во всем черном, с распущенными волосами – когда их заплетать без-утешной вдове!

Почти полночь. Девочка спит. Фонтан выключен. Его обслужива-ют двое: электрик-механик и уборщица. Уборщица давно на пенсии, но еще работает. И очень любит свою работу. Она могла бы прийти с утра, но хочет убрать именно сейчас, чтобы те, кто рано утром будут идти мимо на работу или еще по каким делам, видели, как чи-сто вокруг фонтана. Конечно, кругом полно окурков, которые поче-му-то брошены не в урны, и разных обрывков бумаг, но она не сер-дится, ведь когда-то же поймут, что дело не только в уважении к труду, она за него деньги получает. Дело в красоте.

Теплеет. Значит, пойдет дождь. Старуха садится на скамью и от-дыхает. Дождь и в самом деле начинает шелестеть в деревьях, и отягощенные им листья падают на землю. Ветра нет, листья ложат-ся неслышно. Ну, теперь работы полно. Уборщица достает из сумки накидку и начинает подметать. Дождь шлепает по накидке, и кажет-ся, что еще не выключили фонтан. Во время дождя старухе всегда кажется, что она еще совсем маленькая несет отцу обед, дождь за-стает ее посреди поля, и ей от него некуда укрыться.

* * *

Утром девочка хочет увидеть еще одно любимое место в городе – набережную. К ней она идет по той же улице, что и вчера к фон-тану, только в другую сторону, под гору. Мимо стадиона, где бегают старые и малые, мимо Вечного огня, у которого по праздникам и в выходные дни стоят в почетном карауле школьники и солдаты, она может выйти сразу к реке. Но она хитрит, ей сразу не хочется, она сворачивает и по переулкам идет в прекрасный сад, где на крутом обрыве стоит белая круглая старинная беседка, и именно из нее надо увидеть реку.

Девочка почти бежит по дорожкам сада, но смотрит не вдаль, а под ноги. Это тоже ее хитрость, она бережет взгляд. Вот исписан-ные ступени и колонны беседки, вот девочка подходит к самому краю, еще немножко мучает себя, а потом быстро вскидывает голо-ву.

И взгляд ее улетает в бескрайние дали севера. Вначале луга, по-том леса, леса, леса, а среди них дымящие трубы. Внизу и слева виднеется

красивый длинный высокий мост. Кажется, что в нем много лишнего, так как большой своей частью он протянут над су-шей. «Бедная река, что же ты так обмелела?» – думает девочка. Даже на самой середине всплыл на поверхность огромный пляж. Какой-то рыбак стоит далеко от берега по колено в воде и крутит ка-тушку. Но ближе к этому берегу проплывает тяжелая самоходная баржа, насыпанная песком, и ничего, движется без опаски.

Вдоль берега девочка идет на набережную. За ночь прибавилось упавшей листвы, под ногами разноцветные участки дороги: красные от кленов, желтые от берез, коричневые от дубов... Собаки играют вокруг, белые и черные, но все курчавые, одной породы. С ними женщина. Собак много, и кажется, будто женщина пасет стадо ове-чек.

Старик дворник сгребает листья в груду. Смотрит огорченно на деревья, там еще так много неупавшей листвы. Идет огромный мужчина в красном плаще. Он спрашивает: «Помочь?». Хватает в ладони ствол березы и трясет. Листья, как огромная стая птиц, сле-тают вниз. Мужчина доволен. Идет, куда шел, но по дороге безжа-лостно отряхает деревья. Дворник собирает листья в мешок. Ноша получается такой объемистой, что, когда он ее поднимает, видны только его ноги, будто мешок с листьями сам пошел куда-то.

Деревья кончаются, но девочка по-прежнему идет по золотистой дорожке; оказывается, мешок порвался и из него сыплются листья.

Вот и набережная. У нее имя прекрасного сказочника. Он жил в этом городе, и теперь к очарованию городом добавляется еще и его имя.

Старик с мешком куда-то делся, никого не видно. Девочка стоит около чугунной узорной ограды и смотрит в заречные дали. Потом чертит на мокрой ограде крестик, потом нолик, потом снова крестик.

Красивые здания обращены окнами к реке. Кто-то живет в них, кто-то может постоянно видеть реку. Нет, постоянно никто не мо-жет, надо учиться, работать, спать, есть.

Восходит солнце. Лучше сказать, показывается, потому что оно взошло давно, но не было видно, а сейчас проявилось среди низких туч, да так ярко, что все вдруг лишилось теней и стало ясным. И обозначается ветер, резкий, бодрящий, северный.

Девочка идет к Вечному огню, его хочет сорвать и унести ветер, а может, это огонь хочет, чтоб загорелся ветер, но не жарко, а так, как закат, как море летящей осенней листвы, как вода, застланная оранжевой узорной накидкой.

Завтра уезжать.

Девочка идет по улице.

Медленный вялый дым обволакивает свалка чернеющей листвы. Но почему именно это она заметила, а не, например, взлетающих голубей? Она и их заметила, но как-то мимоходом, а старые листья бросились в глаза. Это от ее состояния в данное время. Значит, решает девочка, я сама выбираю то, что на меня должно действо-вать, то, что уже произошло во мне, непонятно для меня, должно выразиться явным. Грустно – сжигают листья. Было б весело – взлетали бы голуби, а листья горели б сбоку. Но почему она свер-нула в эту улицу, а не пошла по той? Что-то же ведет ее, руководит ее вниманием и состоянием. А

ее желания? Никто не поднимал ее в рань раннюю, сама проснулась, дома ее в это время не добудиться. Никак бы она сама не проснулась, если бы что-то ее не разбудило. Что же ее разбудило? Почему она так мало спала и так прекрасно себя чувствует? И почему в то же время она так печальна?

Вечером, уже с братьями, она вновь у фонтана. Братья, один старше, в десятом классе, другой моложе, в восьмом, веселятся во-всю. Они тоже давно не виделись и вот благодаря сестре встрети-лись. Оба летом подолгу лежали в больницах, и вроде бы о болез-нях надо говорить, о них, кстати, только и говорили их родители по телефону и в письмах, но братья о больницах вспоминают только смешное, особенно анекдоты. Один брат их знает много, но не умеет рассказывать, и девочка ехидно говорит ему: «Скажешь, ко-гда смеяться», другой рассказывать умеет, но анекдотов не знает. Они сидят на скамье, у фонтана, все очень хорошо. Неподалеку стоят юноша и девушка, которым не нашлось места на скамьях, а скорее они просто его не искали, девушка держит в руках букет и ко-гда брызги летят в их сторону, то подставляет под них цветы.

– Братцы, – говорит девочка, – а что ж это вы себе мотоциклы не купите?

– Куда его ставить? – отвечает один.

– Нет, я лучше бы купил телевик к фотоаппарату.

Магнитофоны и радиотехника есть у обоих. Начинают говорить о последних записях ансамблей, спорят о певцах и певицах.

Фонтан всё работает. Музыка всё звучит. Они встают и ходят по кругу, по которому ходят не они одни. Но в какой-то момент – откуда он прилетает, непонятно, но он внезапен, так как перебивает сере-дину фразы, и девочка не помнит, о чем она говорила, – она слы-шит звон воды, бьющейся о металл. Но этот звон не сам для себя, не для обращения слуха к нему, что-то другое, как бы собираемое вместе, сюда, к воде, музыке и свету и вместе с этим уводящее от-сюда... Ничего не понятно! И необъяснимость так томит девочку, что она кажется себе ненормальной. Ведь все хорошо, что еще надо?

– Проводим тебя, – говорят двоюродные братья. – И сами к ба-бушке-дедушке зайдём.

– Ещё круг, – отвечает она, и понимает, что надеется увидеть то-го вчерашнего парня. Она даже на урну взглянула, в которую он вы-бросил сигареты. «Интересно, закурит он снова или нет, – думает она. – Со мной бы не закурил». И сердится на себя: с чего это она вдруг его вспомнила? «Не пришёл, так пусть теперь пострадает». А она его забудет. Вот войдёт завтра в поезд и забудет.

– А летом приедешь? – спрашивают братья.

ДМИТРИЙ ЛАГУТИН

ГАЛСТУК

Над полем тянулись облака, луна выныривала из-за них, тут же пряталась, и по полю скользили, прерываясь, широкие пятна серебряного света – и казалось, что и их тоже гонит ветер.

По узкой петляющей дороге шли, переговариваясь вполголоса, несколько мальчишек с удочками – удочки торчали, как копья, и покачивались в такт ходьбе.

– Ветрюга какой.

– Это хорошо, – говорил самый старший, ему недавно исполнилось шестнадцать, и у него одного удочка была складная, спрятанная в рюкзак. – Когда ветер, клюёт бодрей.

Самому младшему было тринадцать – он увязался за братом, его нехотя взяли, и теперь он плелся позади всех, зевал и тер глаза.

– Ваня, хорош зевать, – окликнул его брат. – Из-за тебя всем спать хочется!

Трава кланялась – ветер то прижимал ее к земле, то позволял распрямиться. Ветер был теплый, летний и пах полынью и дымом.

– Может, тут откроем?

– На мостике откроем, – сказал старший и ускорился. – Давайте-давайте, ползем как мухи!

Далеко впереди вставала черная стена леса, над ней моргали, прыгая от облака к облаку, звезды.

Кто-то споткнулся, выругался, остальные засмеялись. Ваня снова зевнул. Он дотянулся до брата и хлопнул его по рюкзаку.

– Чего?

– Я тоже буду.

– Я тебе буду! Еще чего! Скажи спасибо, что взяли!

Ваня снова отстал.

Наконец, послышалось негромкое журчание, дорога сделала крюк и выгнула спину. Мостик был широкий, плотно сбитый, стянутый металлическими скобами. Рассохшиеся деревянные перила топорщились в разные стороны.

Мостик вставал над поросшей высокой травой канавой, и одолеть его можно было ровно в три шага.

Мальчишки набились на мостик и остановились. Каждый считал своим долгом положить ладонь на щербатые, в трещинах, перила, но опереться или хотя бы облокотиться на них никто не решался.

В траве ворчали лягушки.

Старший как будто неохотно, со вздохом, стащил с плеча рюкзак, медленно расстегнул, достал пузатую пластиковую бутыль. Вторая сверкнула запотевшим боком и осталась внутри. Старший вернул рюкзак на плечо, пшикнул пробкой, прижал горлышко к губам и запрокинул голову. Острый кадык запрыгал вверх-вниз.

Среди мальчишек поднялся ропот.

– Не налегай! Не один!

Кадык подпрыгнул в последний раз, старший опустил бутыль и шумно выдохнул.

– Холодное...

Бутыль пошла по рукам.

– Не люблю холодное...

– Вот и не пей.

Засвистел ветер – удочки-копья закачались, трава у канавы зашуршала. Где-то в поле крикнула ночная птица, мальчишки притихли.

– Это что? – шепотом спросил Ваня у брата и потянул бутылку на себя.

– Покойник! – шепотом ответил брат и хлопнул Ваню по руке.

Все засмеялись – но засмеялись неуверенно, через силу.

– Может, и покойник, – безмятежно сказал старший и носком ботинка спихнул в канаву камешек.

Камешек с плеском упал в черную пенистую воду.

– Лесника вспомните, одноглазого... – начал он.

– Знаем мы про лесника.

– А я не знаю, – шепнул брату Ваня.

Брат покачал головой, не ответил.

– Ишь присосался, давай сюда.

Бутылка опустела уже на три четверти.

От канавы резко и кисло пахло, она неприятно булькала под мостом.

– А представьте... – сказал тот, кто перебил старшего и не дал ему рассказать про одноглазого лесника. – Представьте, что сейчас вот под этим мостом... – Он обвел всех страшным взглядом. – Сидит кто-нибудь!

– Ох, – не сдержался Ваня.

– Все может быть, – с прежней безмятежностью протянул старший.

Он выглянул за перила и крикнул – так, что все вздрогнули:

– Эй! Есть тут кто?

Лягушки замолчали, и только вода продолжала неприятно булькать.

Старший взял бутылку, допил, закрутил крышку, вытянул руку над канавой и разжал пальцы. Бутылка глухо стукнулась о воду и поползла под мост. Мальчишки как по команде развернулись все в одну сторону и нависли над перилами, ожидая появления бутылки.

Бутылка не показывалась.

– Зацепилась за что-нибудь...

Из-под мостика вываливались хлопья пены, черная вода шипела.

– Утащил... – еле слышно прошептал Ваня.

Даже старший нахмурился и заглянул за перила со своей стороны.

– Вот она! – воскликнул кто-то.

Бутылка высунулась из-под мостика и поплыла по канаве, поводя горлышком в разные стороны, точно озираясь.

Старший фыркнул.

– Зацепилась за что-нибудь, вот тебе и на.

Пока стояли на мостике, ветер оттащил все облака в сторону, разметал их в клочья, и теперь над полем висел неподвижно белый диск луны. До полнолуния было еще несколько дней, и луна казалась заваленной набок.

Старший поправил рюкзак, первым сошел с мостика и зашагал по дороге. За ним двинулись остальные. Снова крикнула вдалеке птица, крик покатился по полю, и казалось, что его можно догнать, ухватить рукой.

Черная стена леса теперь выглядела припорошенной снегом – на деревьях лежал белый лунный свет. Стена росла, росла, и скоро мальчишки услышали, как шумит под ночным ветром листва. Лес выпрямлялся, расправлял плечи, набирал полную грудь воздуха, разворачиваясь от одного горизонта до другого и касаясь верхушками звезд.

Мальчишки, сами того не замечая, говорили все тише и тише – иногда только кто-нибудь храбрился и нарочно вскрикивал или смеялся, – а когда за Ваниной спиной сомкнулись широкие стволы, небо вдруг исчезло, а его место занял черный шевелящийся шатер, мальчишки пошли молча. Ваня пробился к брату и зашагал рядом с ним.

Лес производил жуткое впечатление – деревья то прижимались к дороге, то шарахались от нее, в щели между кронами заглядывала луна, свешивая вниз, к самой земле, широкие ленты лучей, а на земле, в густой траве, в кустах, что-то не переставая шуршало, прищелкивало, скрипело и хрустело.

Кто-то зацепился удочкой за ветку, удочка хлестанула по листве, на головы мальчишек посыпались кусочки коры.

– Слышите?

– Что?

– Ухает.

Остановились, стали прислушиваться. Лес был полон звуков – но уханья никто не услышал. Откуда-то просочился, дотянулся, точно волна прибоя, и тут же иссяк протяжный низкий гудок – вроде того, с которым гудят поезда.

– Ну ухает и ухает, пускай себе ухает.

– Я раз видал сову – чуть с ног не сшибла.

Раздались смешки.

– Да ну вас.

Дорога то истончалась, точно ее сжимали с обеих сторон, то расплывалась и теряла очертания. Налетел ветер, шатер из крон закачался, в просветах заплясала заваленная набок луна.

– Мне теперь везде этот лесник чудится, – сказал Ванин брат.

– Что за лесник-то? – спросил шепотом Ваня.

– Цыц! – обернулся старший. – Не здесь!

Он сошел с дороги на узенькую тропинку, терявшуюся в траве. Мальчишки засеменили следом.

Лес навалился, деревья теснились, сплетались, тянули ветви к удочкам, мальчишки то и дело запинались о корни, соскальзывали ботинками в траву, и далеко впереди действительно кто-то заухал тоскливо. Брат пропустил Ваню вперед и шел, наступая ему на пятки.

Тропинка то падала в низину, то взбиралась на пригорок, расталкивая заросли папоротника. Было душно, пахло дубовой листвой, и казалось, что будет гроза – кроны тряслись, вздыхали, но внизу ветра не было.

– Огонек!

– Где?

– Да вон!

Мальчишки остановились, стали вглядываться, щурить глаза в темноту.

– Нет там никакого огонька!

– Был, точно говорю!

Старший поднес ладонь ко рту – наподобие рупора – хотел крикнуть, но осекся.

– Пойдем, – сказал он. – Нет там никакого огонька.

Луна упала в невесть откуда взявшуюся тучу, и стало совсем темно – но, когда вышли-таки к реке, туча прорвалась, и сияющий диск выкатился из нее, как из мешка.

Река не булькала и не чавкала – она мерно и спокойно шумела, и при виде ее мальчишки осмелели, перестали озираться и заговорили громче.

Они стояли на небольшой овальной поляне, поросшей мелкой вытоптанной травой. С одной стороны поляна заканчивалась песчаным обрывом, с другой на нее наступали деревья. Посередине чернело кострище, валялись обугленные поленья, слева, у самого края, лежало длинное толстое бревно, утыканное сучьями.

Скинули рюкзаки на траву, подгребли в кострище веток, старший зачиркал спичками.

Противоположный берег был пологий, бело-песчаный и плавно входил в воду. Деревья стояли поодаль, но сразу за ними начиналась непролазная чаща – черная и страшная.

Старший подошел к обрыву и размашисто, как сеятель зерно, высыпал в реку две горсти отрубей. Из обрыва высовывались и опускались в воду лохмотья корней. Терпко пахло глиной.

Защелкал радостно костер, вокруг него распустилось и затанцевало по траве оранжевое пятно. Лица мальчишек тоже засветились оранжевым, и они смотрели друг на друга с удивлением, словно забыли, как кто выглядит.

– Открываем? – спросил старший и, не дожидаясь ответа, выудил из рюкзака вторую бутыль.

Мальчишки отложили удочки и снасти, с которыми начали было возиться, и уселись вокруг костра. Пламя вздрагивало, ежилось, искры подпрыгивали над ним и таяли.

– Сегодня клёв будет что надо, – сказал старший, отрываясь от горлышка и вытирая рот рукавом.

– Почем знаешь?

– Чую.

– У меня бутерброды есть.

– У меня сосисок связка – можно жарить.

Старший присвистнул.

– Сосиски – это дело, давай сюда.

Половина связки тут же исчезла – никто и не подумал их жарить, ели так.

– Не налегайте, не налегайте! Нам до утра сидеть!

Старший потянул к себе бутыль, закрыл и отставил в сторону.

– Еще одна есть, – обиженно крякнул кто-то.

Старший не ответил. Он встал, отряхнулся, вытащил из рюкзака удочку и пошел к обрыву, на ходу раскладывая ее.

Совсем скоро на реке уже качались поплавки. Мальчишки растянулись по обрыву – кто по-турецки, кто свесив ноги вниз; и теперь если и переговаривались, то шепотом. Время от времени кто-нибудь вставал, клал удочку на траву и шел поправить костер – подбросить сучьев, подуть в пышущее жаром трескучее нутро, зажмуриться от едкого дыма и обязательно приложиться к одиноко стоящей бутыли.

Первым дернулся и ушел под воду поплавок Ваниного брата – леска натянулась, ее повело в сторону. Ваня ахнул, в воздухе над рекой сверкнул серебром блестящий бок.

– Красноперочка, – протянул Ванин брат.

Он схватил трепыхающуюся красноперку, снял с крючка и бросил в траву за собой – красноперка запрыгала, застучала хвостом.

Небо над рекой было чистое, прохудившаяся туча плыла уже где-то за лесом, похожая на груду темного тряпья, луна склонялась к реке и заливала все своим светом – блики кольчугой скользили по воде, и казалось, что это рыбы блестят своими боками.

Под обрывом бултыхнуло – пошли пузыри.

– Щука играет.

– Я раз брал щуку.

– Чем докажешь?

Деревья на том берегу закачались, зашумели, ветер перелетел через реку и дохнул в лица мальчишек, взъерошил волосы. Костер повалился набок, оранжевое пятно вытянулось.

Скоро в траве блестела дюжина мелких рыбешек, самая крупная – с ладонь.

У Вани не клевало, он не сводил взгляда с поплавка, точно гипнотизировал его, и вдруг снова начал зевать и тереть глаза.

– Иди к костру, – сказал брат, тоже зевая. – Все равно не клюет, а тут только сон нагоняешь.

Ваня щелкнул языком, положил удочку, оставив поплавок гарцевать по реке, и шагнул к костру. Тут он взял сосиску, нацепил ее на лежа-

щую рядом ветку и сунул в огонь. Брат оглянулся, встал, забрал бутыль и с ней вернулся к обрыву. Бутыль поплыла из рук в руки.

– Во клюёт, – прошептал старший победно. – Говорил же.

Запахло жареной сосиской, мальчишки заерзали, двое оставили удочки.

Костер затрещал новыми сучьями, в него полетели, съеживаясь и тлея, пучки сухой травы – оранжевое пятно раздулось.

Глубоко в лесу раздался треск.

– Кабан, – сказал старший. – Или барсук. А может...

Он не договорил.

– Что? – спросил Ваня.

Старший обернулся, сделал страшное лицо.

За деревьями снова затрещало. Оранжевый свет выхватывал из тьмы только ближайшие стволы, за ними было черно.

– Красноперка, – сообщил старший.

Опять раздался треск – на этот раз совсем рядом. Ваня встал и подошел к брату. Старший перестал любоваться налимом и повернулся к деревьям.

За деревьями что-то мелькнуло, кто-то вскрикнул тонким голосом. Мальчишки вскочили, Ваня юркнул брату за спину. В следующее мгновение на поляну вывалился грузный мужчина в белой рубашке и узких черных брюках. Воротник рубашки был расстегнут, галстук съехал набок. Лицо и шея мужчины были исцарапаны, на коленях светлели грязные пятна, он тяжело дышал и как-то тоненько всхлипывал.

Мужчина зажмурился, закрылся ладонью от костра и из-за ладони, как из укрытия, обвел мальчишек испуганным взглядом. Потом он поднял обе руки – в одной блестела прозрачная бутылка с тонким горлышком – вверх, и с трудом выговорил:

– Н-не бойтесь, ребятушки, я с-свой.

Язык его заплетался.

Мальчишки молчали, чья-то леска натянулась, заездила туда-сюда по траве.

– П-простите, – сбиваясь, забормотал мужчина. – Напуга-ал. Не хотел, правда... Не хотел...

Он опустил руки и прижал их к груди.

– У нас же там, – он кивнул на деревья, – этот... кор-по-ра...тив!

Он поправил галстук, покачнулся и чуть не упал.

– Я с этой... с этого... С приволья!

Старший присвистнул и выступил вперед.

– Это ж вон где, – сказал он басом, – у шоссе.

Брови мужчины взлетели вверх.

– Да? А я... Я... У шоссе, правильно! Да я только...

Он оглянулся на деревья, оттянул воротник и поскреб шею ногтями.

– Нет-нет... Недалеко... Не то чтобы...

Мальчишки молчали. В лесу заухало.

– О! – вскинул палец мужчина. – Ухает!

Он повернулся к лесу и попятился.

– Разухалась тут!

Он зацепился пяткой за корень, упал навзничь, в метре от костра, и застонал. Бутылка выкатилась из руки.

– Повалился... Стыдоба...

Он дотянулся до бутылки, стащил пробку и сделал большой глоток. Тут же лицо его скривилось, он закашлялся.

– Фу!.. Фу!.. Ужас, а не водка...

Он выругался, потом вывернул шею, посмотрел на мальчишек.

– П-простите, п-пожалуйста.

Тут только он заметил удочки – и в глазах промелькнуло что-то осмысленное.

– А вы тут что? Ры-ыбку ловите?

Он с большим трудом, кряхтя и охая, встал и широко расставил ноги, точно боялся снова упасть. Лицо его расплылось в улыбке.

– Правда? – спросил он срывающимся голосом. – Правда рыбку л-ловите?

Ему никто не ответил.

Улыбка исчезла, толстые губы задрожали, глаза заблестели. Казалось, он вот-вот заплачет.

– Братики... – тихонько позвал он. – Ребятушки... Рыбку ловите...

Он всхлипнул.

– Можно с вами п-посидеть? А? А?

Все молчали. Оранжевое пятно соскользнуло со стволов, поползло к костру.

– У вас вот костерчик тухнет! Я п-помогу! Я п-помогу!

И мужчина, шатаясь, наклонился, завозил руками по траве.

– Вот и вет-точка, вот и т-травка сухая...

Он потянулся к костру так решительно, словно хотел по локоть сунуть в него руку. Костер принял угощение и благодарно затрещал.

Мужчина рассмеялся, прошаркал к ближайшим деревьям, склонился и стал шарить между корней. Потом распрямился, держа перед собой длинную коряжистую ветку, с треском сломал ее пополам, сложил две половины вместе и стал ломать их, краснея и надуваясь. Ветка не давалась. Мужчина выставил вперед колено, потянул, накренился назад, прижавшись спиной к стволу. Ветка оглушительно хрустнула.

Мужчина снова рассмеялся, подбежал, спотыкаясь, к костру и высыпал в него добычу. Оранжевый круг снова уцепился за стволы, удочки заблестели в его свете.

Мужчина привстал на цыпочки, посмотрел на реку и вздохнул.

– Речечка...

Лицо его снова приняло плаксивое выражение, губы задрожали. Он выставил перед собой руки и опустился на траву. Сел у самого костра и подтянул бутылку.

– Знали бы вы, р-ребятушки, – заговорил он, снимая пробку и оглядывая мальчишек, – как я в-вам рад!

Он поднял бутылку.

– Б-будете?

И тут же спохватился.

– Что я... Что я... Вы же...

Он сделал два больших глотка и опять закашлялся.

– Ненавижу! – прохрипел он, с отвращением глядя на бутылку, – Терпеть н-не могу.

Он посмотрел на мальчишек мутным взглядом.

– Я в-вообще не пью... Почти...

Под обрывом снова бухнуло – забулькало.

– Я... это... Корпоратив, ага... За-загородный клуб, ага... Сил моих нет...

Он принялся бормотать что-то неразборчивое, подбородок упал на грудь.

Мальчишки переглянулись, старший хмурился, кусал губы.

– Дядя, – позвал он, наконец. – Дядь.

Мужчина всколыхнулся, заморгал.

– Вы бы... – начал старший, но не мог подобрать нужных слов. – Это, ну... Мы тут как бы...

Он осекся и замолчал.

Мужчина вскинул брови, посмотрел жалостливо, похлопал себя по карманам. Губа вновь запрыгала, задрожала, он выпятил ее и посмотрел в огонь.

– Р-ребятушки... Милые... Я ведь тоже рыбку ловил – как вы. С братиком. Щ-щуку брал, ага... А теперь вот...

Он яростно дернул себя за галстук.

– Ку-да все делось? А? Ку-да?.. Ай, горячо...

Он поджал ноги и отодвинулся от костра.

– Живу, как... Света белого не вижу... Сколиоз, п-пузо вот...

Он ударил кулаком по животу и скривился от боли.

– Что это за жизнь?.. А? Что з-за жизнь? Зрение посадил! Раньше – у-у-у... А сейчас... Компьютер, таблички п-поганые... Карьерная, видите ли, лестница!..

Он потянул носом.

– Сосисочки что ли?.. Дайте сосисочку...

Старший шагнул к костру, вытянул из связки сосиску, протянул мужчине.

– Ми-ленький, спасибо, – мужчина дрожащими пальцами сковырнул с сосиски целлофан, уронил ее, поднял, дунул, потер о рубашку.

Потом он вскинул бутылку, сделал два громких глотка, зажмурился, сунул сосиску в рот и замычал от удовольствия.

– Вку-усно... Вкусно, ага... А у них там... – он кивнул через плечо и скривил губы. – Ф-фуршет. Фуршет-муршет... Дайте еще, а?

Старший протянул ему вторую сосиску, последнюю.

– Последняя?.. Не буду. Можно? Можно? П-пожалуйста.

Он снова выпил, затолкал в рот сосиску и замычал.

– У них там, – чавкая, бормотал он, – тим... т-тим-билдинг. А по углам... Шепчутся, гады.

Он затих и только чавкал, глядя в огонь. Дважды стягивал пробку, но не пил – возвращал обратно. Мальчишки переминались с ноги на ногу, старший хмурился.

Наконец, мужчина сказал безучастно:

– А Н-наташка... Ага... Сказала, уволят. Сократят...

Он поднял глаза на старшего и закричал, обращаясь лично к нему:

– Меня! Меня с-сократят! Я для них... А они...

Он принялся тереть глаза рукавом – всхлипывая и шмыгая носом.

– Я для них... Семьи нет, ничего нет... А они...

Он закрыл лицо локтем, и по оранжевым блестящим щекам покатились одна за другой крупные слезы. Мальчишкам стало неловко.

Свободной рукой мужчина сковырнул на траву пробку, сунул горлышко под сотрясающийся локоть и запрокинул голову.

Леска на одной из удочек натянулась, удочка с легким шелестом заскользила по траве и свесилась с обрыва. Ее хозяин ахнул, упал на землю, поймал.

Мужчина отнял от лица локоть и выглянул из-за костра. Глаза его были красные, взгляд блуждал.

– Это ч-что там? Клюет?

Слова давались ему все труднее.

Хозяин удочки потянул, дернул – и на леске забилась красноперка. Мужчина покачнулся, но вместо того, чтобы упасть, как-то неожиданно ловко вскочил вдруг на ноги. Его тут же повело в одну сторону, в другую, он раскинул руки и балансировал, как эквилибрист на канате. Он перестал плакать, и только шмыгал и шумно дышал. Лицо его блестело.

– А и ну их! – забормотал он себе под нос. – Ну их всех! Н-надоело! Все!

Он, обливаясь водкой, стянул с себя галстук – не развязывая, через голову – и швырнул в сторону.

– Все!

Он хотел сказать что-то еще, но только шевелил бессвязно губами – вероятно, все силы ушли на последний рывок. Он приложил руки к груди, обвел мальчишек долгим умоляющим взглядом и плюхнулся на прежнее место, чудом не опрокинувшись на спину.

– Я т-тут посижу, хорошо? – спросил он. – Не пр-рогоняйте меня... П-пожалуйста...

Слова вязли, путались, и понять, что он говорит, можно было с трудом.

Он посмотрел на бутылку, поднял ее было ко рту, но затем вытянул руку и вылил остатки в траву. Потом он закрыл глаза и повесил голову на грудь. Потом свободной рукой пошарил по земле, шумно выдохнул и лег. Приоткрыл один глаз, посмотрел на танцующий перед лицом костер, отодвинулся от него и повернулся к огню спиной.

Через несколько минут от костра донеслось тонкое жалобное сопение, еще через несколько его сменил неровный хриплый храп.

Старший обошел спящего по широкой дуге, присел на корточки.

– Спит? – спросил кто-то шепотом.

– Спит.

Повисла тишина.

– Уйдем?

Старший фыркнул. Склонился над мужчиной, повел ноздрями.

– Как бы в костер ни залез, – снова зазвучал шепот.

– Не залезет.

– Может, уйдем?

– Куда? – с раздражением спросил старший, не переставая принюхиваться. – Тут до рассвета осталось всего ничего... До ближайшего пляжа чесать и чесать. Я из-за какого-то козла рыбалку терять не собираюсь, мне уезжать послезавтра.

Мужчина всхрапнул и дернул ногой.

– Пускай спит, – сказал старший. – Если что, я его поленом огрею.

Он пихнул ногой одно из поленьев, и оно выкатилось из костра, рассыпая искры. Костер поник.

– Надо бревно положить, – предложил кто-то. – Точно в костер залезет. Как Катькин брат.

Подтащили с края поляны бревно – низ его был черный и сырой, по нему бегали мокрицы – опустили между мужчиной и костром. Мужчина вздрогнул, перестал храпеть и забормотал что-то – губа опять задрожала. На плечо вскарабкалась мокрица, покружилась на месте и спустилась к бревну.

– Доставай третью, – скомандовал старший.

Один из мальчишек вынул из рюкзака третью бутыль.

По небу плыли тонкие вытянутые облака, похожие на лодки. Луну отнесло вбок, она перекатывалась с лодки на лодку, точно ей было весело.

Старший собрал всю пойманную рыбу, ссыпал в ведро. Потом сел на траву, свесив ноги с обрыва, и отвернул пробку. Отпив, он фыркнул, взял удочку, вытянул из воды леску с голым крючком, насадил червя.

Мальчишки по одному рассаживались, оборачивались на спящего, шептались. Тот снова храпел.

– Да не жмись ты! – зашипел на Ваню брат. – Трусишь, что ли?

– Ничего я не трушу.

Какое-то время сидели молча – ни у кого не клевало. Бутылка курсировала по рукам, стремительно пустея.

– Повезло дураку, – весомо сказал старший, – что на нас вышел.

Все закивали: повезло, повезло.

– А то бы мог и заплутать совсем.

Все закивали: мог, мог.

– А мог и того, – старший понизил голос, – к леснику...

Все притихли, Ваня снова вопросительно посмотрел на брата, тут же отвернулся.

Он не стал закидывать удочку – сидел и болтал ногами.

– Кто там ногами болтает? – прошипел старший. – Песок сыпете!

Ваня поджал ноги.

Мужчина храпел тревожно, иногда бормотал, вздыхал. Костер тихо щелкал, пламя ползало по поленьям, покрытым белой мерцающей чешуей. Оранжевое пятно сжалось.

Раздался плеск, засвистела катушка, старший подтянул к себе ведро.

– Сейчас пойдет, – сказал он довольно. – Только успевай...

И вправду – пошло. Клюнуло у одного, потом у другого, потом опять у старшего.

Понемногу разговорились – теперь оборачивались не испуганно, а со смехом, фыркали, язвили. Над рекой плыл тревожный храп. Говорили про рыбалку, вспомнили заброшенный дом на краю поля, кто-то хвастался отцовским компасом.

– Был я в том доме, – говорил старший. – Ничего особенного.

Ему не верили – в заброшенном доме не может быть ничего особенного?

– Говорю вам, ничего особенного. Только подвал разве что... Но в подвал я не спускался – замок заклинило.

– А вдруг это не замок заклинило... – протянул Ваня. – А держал кто-то снизу.

Старший сделал невозмутимое лицо, сказал, глядя на воду:

– Может и держал, я почем знаю.

В глубине леса раздался звонкий стук – точно по стволу били топориком. Мальчишки обернулись, стали вглядываться в черные щели между деревьями, но стук затих, и снова самым громким звуком в лесу стал храп.

– Я слышал, этот дом сами хозяева и подожгли. Перед тем, как уехать.

– Не. В него молния ударила.

Луна упала в очередную облачную лодку, спряталась в ней наполовину – и казалось, что она катится по белому дну, спотыкаясь о рейки. Далеко над лесом небо уже начинало понемногу выцветать.

Зевали по очереди, а Ваня клевал-клевал носом, да и положил голову брату на плечо – и задышал ровно.

По реке плыли жидкие комья тумана. Костер – хотя в него и подкидывали постоянно то траву, то хворост – чах, уже не щелкал, и от него было больше дыма, чем огня. Дым стелился по траве и стекал с обрыва, цепляясь за удочки, вливался в туман.

Когда костер совсем погас, по верхушкам деревьев уже скользил розовый свет зари, в траве блестела роса. Небо посветлело как-то вдруг, все сразу, луна сделалась бледной.

Все уже были в свитерах – и даже на Ваню брат сумел натянуть свитер и куртку. И все равно было холодно.

В лесу свистели птицы, на том берегу из-за деревьев поднялась в воздух целая стая, стала удаляться, превращаясь в горсть черных точек, пропала из виду.

– Пора, – сказал старший и вытянул из воды пустой крючок. – А то задубеем.

Он встал и похлопал себя по щекам. Подошел к костру, ткнул тлеющее полено ногой, точно и костер хотел разбудить. Над поленом повисло облачко пепла.

Мальчишки вставали, кряхтя, потягивались, хрустели шеями. Ваня тряхнул плечом, сильнее – брат встрепенулся, заморгал, тут же застучал зубами.

– А этот, – старший кивнул на мужчину, – все дрыхнет.

Мужчина лежал, поджав ноги к животу, точно младенец в утробе, лицо его кривилось.

– Ау, – позвал старший, – утро доброе.

Мужчина скривился еще сильнее.

– Ау, – повторил старший.

Мужчина, не переставая кривить лицо, открыл один глаз. Зрачок блуждал и все норовил нырнуть под набухшее сиреневое веко.

– Оставь ты его... Пусть сам...

– Околеет.

Мужчина перевернулся на живот, уперся ладонями в траву, встал на четвереньки, потом на колени. Его шатало из стороны в сторону, лицо было бледно-серым.

– Ок-колею, – пробормотал он.

Губа его ходила ходуном, зубы стучали, он пытался что-то сказать, но не мог.

– Я-я-я... В-в-в...

Он встал, расставив руки в стороны, зажмурился.

– Дайте попить...

Старший протянул ему воду. Мужчина вцепился в бутылку, сорвал пробку и воткнул горлышко в губы. Вода побежала по бледной блестящей шее, на рубашку.

– Н-надо двигаться, – сказал он, отрываясь от воды и фыркая, – надо д-двигаться.

Он взмахнул руками, словно хотел взлететь, вода брызнула из бутылки во все стороны.

– Ладно, – пробормотал он. – Ладно. С кем не б-бывает.

Он посмотрел на мальчишек, и лицо его расплылось в улыбке.

– Я ж-же вас не испугал? А?

Старший фыркнул, стал складывать удочку.

– Ну, х-хорошо, – сказал мужчина. – Х-хорошо.

Он снова заулыбался.

– А как ул-лов?

Старший покосился на него.

– Ничего улов, – сказал он важно. – Сойдет.

Мужчина прижал руки к груди.

– Ну, м-молодцы, ребятушки. М-молодцы.

Лицо его вдруг изменилось, он ощупал грудь ладонью, скосил глаза.

– Р-ребятушки... – пробормотал он. – А где же галстук мой?

И он завертел головой.

И мальчишки завертели головами. Но галстука нигде не было.

– А ведь п-подарили... – сокрушенно протянул мужчина и провел ладонью по лицу. – Ладно...

Он склонился над костром, дунул, в лицо ему брызнул пепел. Мужчина закашлялся.

– Фу, фу, – захрипел он.

От реки раздался звонкий плеск.

– О!

И мужчина снова закашлялся.

Облако пепла улеглось, в глубине, между поленьями, заалело.

– Ладно... – сказал он тихо. – П-пойду. Изви-ните, ребятушки.

И, шатаясь, побрел к деревьям.

Мальчишки молчали.

– Там поле... – сказал старший.

Мужчина обернулся, у самой кромки леса.

– А т-то я не знаю... – улыбнулся он. – Я ж из этих мест. С бра-тиком тут все исходили...

Он отвесил мальчишкам поклон.

– С-спасибо, ребятушки. Извините, если это... того...

Он взмахнул рукой, развернулся, занес высоко ногу, точно хотел переступить через какое-то препятствие, покачнулся всем корпусом и сделал широкий шаг.

Мальчишки смотрели, как удаляется, исчезает между стволами белая рубашка. Мужчина шагал грузно, и шум стоял такой, словно через лес ломится медведь.

Наконец воцарилась тишина.

– Гм... – только и сказал старший. – Гм...

И принялся собирать вещи.

Далеко на горизонте из-за темных верхушек показалось солнце, на поляну хлынули золотые лучи, зеленый свод засиял, переливаясь, но

на том берегу, между деревьями еще клубились тени, и казалось, что там, у самой земли, еще ночь.

Ване собирать было нечего, и он ходил по кромке обрыва, заглядывая в реку.

– Смотрите! – крикнул он.

Справа, у самого обрыва в воде пестрел сиреневый в полоску галстук. Течение тянуло его за собой, он извивался, как змея, но не мог отцепиться от торчащей из воды ветки. Ветка была усеяна зелеными листочками, и над ней кружила на невидимых крыльях тоненькая голубая стрекоза.

Старший усмехнулся, нашел камень, кинул, спугнув стрекозу, но не попал – камень с плеском исчез в воде у самого галстука.

– Пущай болтается, – махнул рукой старший.

Когда вышли в поле, было совсем светло, небо лежало стеклянное, блестящее, с западного края подернутое золотой вязью облаков. Луна парила совсем прозрачная, и казалось странным, что она вообще еще может держать форму, а не расплывается клочком тумана.

Ваня шел и все шмыгал носом.

– Что ты все шмыгаешь? – спросил брат. – Теплее всех одет.

– Н-не знаю, – сказал Ваня и снова шмыгнул.

– Не вздумай заболеть. Меня мама убьет.

Ваня не ответил.

Через поле ехал по дороге велосипедист. Поравнявшись с мальчишками, он остановился и спросил:

– Здорово, рыбаки! Как клев?

– Ничего, – ответил за всех старший.

Велосипедист стянул с головы кепку, вытер ей лицо, вернул на место.

– А я вот, – показал он на велосипед. – Развлекаюсь.

Мальчишки закивали.

– Ну, бывайте, рыбаки.

Он навалился на руль, колени запрыгали вверх-вниз, велосипедист стал удаляться – и через несколько минут исчез за деревьями.

На мостике мальчишки остановились, послушали, как хлюпает и журчит вода. Вода была мутная, но все же светлая – не та, что ночью. По ней плыли вереницами листья, пучки травы. Завела свою песню лягушка.

По полю скользил холодный ветер, трава колыхалась, и могло показаться, что мостик стоит посреди желто-зеленого моря.

– Я вот думаю, – сказал старший, царапая ногтем деревянное перильце. – А вдруг...

Он помолчал немного, посмотрел из-под ладони вдаль.

– Вдруг этот, с галстуком... Вдруг это лесник и есть?

Все посмотрели на него. Ваня шмыгнул.

– А что? – покачал головой старший. – Ему ж перекинуться – раз плюнуть.

Мальчишки задумались – но страшно никому не было, солнце поднималось все выше, со всех сторон звенел щебет, в траве стрекотали кузнечики. С той стороны, где заканчивается поле и начинаются улицы, долетел едва различимый петушиный крик. Золотая вязь растаяла, и небо стало совсем чистым, сине-голубым, высоким – и в самой далекой его вышине, за сто миллионов километров от земли, радуясь новому дню, танцевали птицы.

АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВ (ФИЛИППОВ)

ЗАГАДКА СФИНКСА

Вы, конечно, решите, что это фантастический рассказ. Но, как в старину писали, «спешу предуведомить»: мистика – не всегда выдумка. Началась эта в высшей степени странная и неправдоподобная история с Клуба германо-нашенского делового партнёрства. И тут пока ещё ничего загадочного нет. Клуб сей – этакое детище досанкционных времён, событие для нашего заштатного и затерянного в Сибири города. Прилетали немцы из Саксонии, из Баварии – представители деловых кругов, их на лимузинах посольского класса отвозили в конференц-зал губернского управления торговли и внешних связей, там с умным видом выспрашивали что-то через переводчиков.

И делали вид, что понимают. А деловые эти немцы с таким же умным видом давали интервью, звали к себе на инвестиции и сами привозили какие-то инвестиции... Впрочем, по-моему, все они больше болтали про инвестиции!

Немцам у нас нравилось. Летом они устраивали у нас *Urzeitlich* – первобытные дикие сплавы по девственно-безлюдным бурным горным рекам, а зимой – катались на лыжах по таёжным маршрутам. Сталинграда их лыжникам, видимо, не хватило – а впрочем, под Сталинградом их отцам не наливали водочки. Зато теперь – старались накатить «двойных», от переизбытка чувственно-корыстной «Дружбы – Фройндшафт», которая как обнялась со стаканом во времена ГДР, так никак уняться не могла....

И нашим прохиндеям у них там, в их баварских пивных, тоже нравилось. Потому сложился устойчивый такой блочек, водой не разольёшь: то саксонцы к нам... то наши к ним...

Эка невидаль, скажете вы, не понимая, что тут фантастического, ну да я ведь не об этом!

Меня это, в общем-то, никаким боком не касалось, за исключением: попав в пул халявы, пожевать изящную выпечку на презентациях, а если повезёт – то даже и спереть, по давней святой журналисткой традиции, бутылку водочки. Это уж как водится... Ежели её никто за твоим столиком не распечатает...

Вижу, вы меня осуждаете, но вот что я вам скажу: всё одно ведь сервираторы сопрут себе к каптёрку, лучше уж... И по секрету добавлю, у того журналиста, который намастрячился ходить по деловым презентациям – даже внутренний карман специальный имеется, аккурат чтобы бутылка проходила. На этой стезе – не я первый, не я последний...

Работал я на момент этих удивительных событий в местной газете «Предприниматель» простым репортёром. Жил тогда одиноко, в доставшейся от покойной бабушки маленькой панельной квартирке, на которую накатывали волны босяцкой разрухи. Зарабатывал немного, но в принципе – мне хватало...

Ну, конечно, по журналистским меркам я в самом низу пищевой цепи. Вот, судите сами: репортёр это пехота журналистики, он в атаки ходит – на презентации и объекты – и в дождь, и в снег, и в грязь лицом... Такого завсегда куда-нибудь заслать могут, сам себе не хозяин. Поднимаешься на ступеньку – ты корреспондент. Это уже посолиднее – уже ты сам корреспонденцию готовишь, а не просто описываешь увиденное. Ещё шаг наверх – обозреватель. Этому никуда бегать не надо, ему информацию подают на блюдечке, чтобы он её «обозрел». Оборзеет... то есть обозреет он её минут за двадцать – считай, весь день свободен... Они поэтому алкаши и курильщики завзятые, эти обозреватели...

Ещё вверх по лесенке – и попадаем в круг завотделов и колумнистов. Завотделы не знаю зачем, это типа пенсии для заслуженных писак, которые уже исписались, а выгнать их редактору жалко... Колумнист – белая кость! Сам выдумывает, что в своей колонке написать! О таком только мечтать можно!

Но и это не предел. Выше там замы редакторов, «ответы», «выпускающие» и прочая, и прочая... И главный редактор – маленький фюрер... И все эти люди живут, кто хорошо, кто плохо, но в каком-то перевёрнутом, извращённом мире. Мой редактор, Сашка Фиолетов-Лепилов – ну в точности тот редактор из анекдота:

– ...Крушение поезда?! Прекрасно! Жертвы есть?

– Есть.

– Великолепно! И много?

– Полна коробушка...

– Замечательно! Чувствовал – сверстаем сёдня великий номер газеты!

Когда годами в этом живешь – перестаёшь удивляться...

Журналистика – очень сложный мир, в котором уметь писать – очень мало. Здесь нужно понимать, что можно писать на твоей ступеньке, а чего нельзя. Может быть, у репортёра отличный аналитический взгляд – ан нет, братец! Не твоё дело рассуждать! Увидел – записал, как было, и точка! Чтобы рассуждать вальяжно от первого лица – нужно быть двумя ступенями выше моего положения...

Опять же – рассуждать пишущий тоже может, только каждый о своем. К примеру, в региональной прессе ни к чему рассуждения о проблемах страны, человечества – это всё вздор, скажут тебе. Ты обдумай культурный смысл, шествуя в «культпоход на пивзавод». Причем местный. А в соседней области – уже неинтересно...

Одним можно фотку свою к материалу поставить. Другим – нечего, баловство! А третьи могут и несколько фоток выложить, в разных ракурсах, мол, вот я там был, мёд-пиво пил...

Как, например, эта продувная бестия, Сашка Фиолетов-Лепилов! Выдаёт себя за «профессионального прозаика», хотя по этой линии в жизни ни одного гонорара не получил, и очень любит везде выкладывать свои «фотки с великими». И мне предлагал. Я сухо отнеткался:

– У меня фоток с великими нет...

Впрочем, в этом тоже нет ничего удивительного из разряда фантастики, однако дальше как раз и начинается нечто таинственное, выпадающее из обыденных рядов жизни.

Как вы уже поняли: исходя из законов природы и речи быть не могло, чтобы мне на Эльзу какие-то там виды иметь! Эльза – прилетела с немецкой делегацией, в составе телевизионной группы, чтобы вести телерепортажи про несчастный этот германский деловой клуб для канала GTV. Это настолько «тамошний» их канал, что наши телевизоры его даже ловить боятся...

А то вы ещё подумаете – ну чего тут нереального? Мол, я журналист, она журналистка... Ни понюшки подобного! Вы, если так подумали, просто нашего мира не знаете... Она – тележурналистка, с европейского телевизионного канала, она не просто фото своё к материалу приложить может, она вообще на экране вещает! Её оператор снимает на камеру, а она с микрофоном балабонит всякую ерунду про инвестиции и инновации в Сибири через Саксонию...

То есть Эльза – она элита из элит. А я – «серый гусар», пехтура, мелкота. И потому я, когда в первый раз её с микрофоном увидел, – вполне умно сказал себе: Тоша, держись подальше, чтобы международного скандала не было! Она – из поволжских немок, репатриантка 90-х, по-русски чешет лучше меня – но и немецкий в совершенстве знает. Чего-нибудь не то ей ляпнешь на любом языке – и выйдет афронт...

Но хоть я и сказал себе – держаться от неё подальше, но, вопреки уму, держался всегда поближе. Она такая тонкая, белокурая, зеленоглазая, смотреть приятно, а вблизи мне ещё её веснушки очень нравились... Знаете, почти незаметные, но очень озорные, если присмотреться...

Конечно, разумом я всегда понимал, что она обращается ко мне как к местному, а не как к мужчине. Но иногда играл сам с собой в несознанку, приятно же вообразить, будто мы с тележурналисткой друзья!

Началось всё в тот день, когда ведущий немецкий инвестиционный банкир бойко щебетал про изделия табачной промышленности, которые у нас в пять раз дешевле, чем в Германии, и я грешным делом подумал, уж не собирается ли он контрабанду организовать?

Но он к чему-то другому гнул, к чему – уже не помню, потому что мы стояли в журналистском пуле плечом к плечу, она, помню, была в эдакой вычурной шотландской клетчатой накидке... И вот пово-

рачивает ко мне своё ангельское личико и на чистейшем русском вдруг спрашивает:

– А ты не помнишь, что такое «аваль»?

– Это такое поручительство по векселю... – пробормотал я, взмокнув. – Ну, или по чеку...

Я ведь не знал, про какой аваль она спрашивает, про вексельный или чековый, испугался, что введу в заблуждение европейскую телезвезду. А она увидела, что я побледнел, и насмешливо так спрашивает:

– Неужели он такой страшный?!

Я не нашел ничего лучше, чем спросить, какой у неё акцент. Она ответила, что поволжский, что вообще-то она из России, но теперь живёт в Германии, что зовут её Эльза и всё прочее. Я – хоть и пустое это, незачем – тем не менее, всю свою биографию выдал.

Благо, коротенькая у меня биография: родился, учился, работаю, перспектив никаких... Ну, помру, дата смерти добавится, вот и завершенный будет роман-жизнеописание...

И она – с чисто европейской вежливостью – весь этот бред про моё тёмное прошлое выслушала, а потом предложила по кофейку. Я думаю, с чего бы это?! Может, думаю, я красивый? Как у Булгакова – бабушка согрешила с водолазом, или ещё чего?

Ну нет, конечно, это всё вздор. Пришли мы в фуршет-зал, налили себе по чашечке капучино, закусили расстегайчиком презентационным... И всё выяснилось: она, как и всякая красивая женщина, не обязана знать всякий бред, который несут пожилые артритные да геморройные банкиры. Те-то в конференц-зале распинались про какую-то «кривую Бевериджа». И вот теперь надобно Эльзе узнать – что это такое и с чем едят...

– Кофием запивают... – улыбнулся я. – Это такой график зависимости между безработицей и числом вакансий... Ваш этот Фогелер, – это я про банкира, страдающего одышкой, – имел в виду, что рабочая сила тут выгоднее, чем в ФРГ. И кривой этой криво обосновывал...

– А-а... – улыбается она мне холодно. – Понятно. Спасибо, Тоша...

Так и возник у нас с Эльзой странный симбиоз. Я стал ей всякий маразм инвесторов с экономического языка на русский переводить. И ей сподручно, и мне приятно! А она уже с русского на немецкий под камеру для репортажей... Ей своего рода техническая поддержка, а мне... Ну кто же откажется возле такой постоять?!

– Тоша, – говорит, – помню, антикрез, судя по словосочетанию, нищий человек? Я правильно поняла?

– Ну, строго говоря, правильно, если бы речь шла о нормальных людях, – ответил я. – Ведь Крез – это легендарный античный богач, стало быть, «анти» – ему наоборот. Но у экономистов, которые на всю голову отмороженные, антикрез – это такая особая форма залога, когда твоим залогом ростовщик имеет право пользоваться. Ну, типа ты машину в его гараж поставила – а он сел в неё и давай кататься...

Когда я ей это рассказал в холодном фойе, где она зябко поводила плечами – она сделала мне шикарный комплимент:

– Тоша, – говорит, – у тебя, наверное IQ высшей степени?

Они в Европе все в эту чушь про IQ верят...

– Нет, – говорю (а самому приятно), – к сожалению, мой IQ на уровне идиота.

– Как же так может быть? – хлопает она фантастическими ресницами. – Тут тебе и аваль, и антикрез...

– Ну, – отвечаю, – если ты в Поволжье жила, должна помнить! На любом экзамене для правдоподобия обязано найтись какое-то количество двоек и троек... Для объективности оценки... Если экзаменатор всем «пятаки» расставит – его же заподозрят... Вот у нас есть главный редактор – его IQ должен быть наивысшим, правильно?

– С какой стати?

– А иначе почему он нами руководит?! То есть заранее известно, у кого будет высший результат... Замам – по четвёрке, чтобы статус подтвердить, всяким там заслуженным и номинированным – тройбаны... А двоечники тоже быть должны... Кроме таких, как я, быть ими некому... Так что IQ у меня на уровне идиота! Но мне велели в редакции не расстраиваться – даже идиот справится с расшифровкой диктофонных записей... Большего же от меня никто не ждёт...

– Грустная история! – говорит мне Эльза.

А я про себя подумал – пусть знает. Незачем нам вместе тереться... Не приведет к добру такое сближение классово-чуждых элементов...

Но она всё равно потом у меня спросила, чем куртаж отличается от куража и фуража. И чем вариационная маржа отличается от обычной. Про обычную-то она знала, всё же экономическую телепередачу ведёт, а другие тонкости уже от меня получала.

– ...И не пишите, что все у нас плохо, – умоляли в это время нас из президиума лопающиеся от паюсной игры чины. – Вы же отпугиваете инвесторов...

– А мы и не пишем, что *у вас* плохо, – сказал я Эльзе на ушко. – Мы пишем, что плохо *у нас*...

И она поняла, хихикнула в кулачок: поволжская, наша...

Ну, на этом, собственно, и всё – как я думал. Согласитесь, странность уже ощущается, но пока ещё, как говорит наш редактор, «всему можно подыскать разумное объяснение».

Улетели наши немцы-инвесторы, и Эльза с ними в том же самолёте, в свою Саксонию, навсегда...

Проходит пару месяцев – надо же! Вызывает меня в свой закуток, совмещённый в «Предпринимателе» с пунктом питания, Фиолетов-Лепилов, и ехидно так спрашивает: не соскучился ли я по своим немцам? Он всё время «чаёвничает» (слово такое есть), а со всяких бизнес-форумов не как наш брат, по бутылке, таскает, а жратву – коробками! Забив их, как снаряд в пушку туго, в наш редакционный холодильник. Смотрю я на него, и думаю: «Какой ты прозаик? На любом фото распирающий подкожный оптимизм выдаёт в тебе редактора «Предпринимателя»...».

Сказал, конечно, не это, а о другом, но тоже правду:

– Соскучился.

И вот вываливает в нашем аэропорту новая группа инвесторов, и с ними крутится съёмочная группа, а в объектив камеры вещает всё та же Эльза...

Ну и снова мы с ней пару дней в микроавтобусе для прессы катаемся. Он битком набит, а я никого кроме неё не вижу, а ей, к счастью, тоже кое-что узнать у меня требовалось...

В этот раз нас гоняли на инвестиционный объект: при трассе члены нашего делового клуба выстроили гостинично-ресторанный комплекс «Красный протез», и всё это их обочинное великолепие требовалось заснять-описать...

В дороге мы с Эльзой трещали, не умолкая. Я, вообще-то, человек сумрачный, сдержанный, я столько слов, сколько с ней тогда, – вообще никогда в жизни не говорил. А тут она меня как-то подначивала, что ли, с особой европейской вежливостью – типа, ей зашибись какой интерес насчет моей жизни (пустой) и мнения (никому не нужного).

Ну, мне же не жалко! Она спрашивает – я отвечаю... И про «Красный протез», почему такое название странное – там при коммунистах фабрика протезирования стояла... И про городок её, в Германии с позором переименованный, бывший Ленин – пойми, говорю, Эльза, он с 14-го века был Ленин, он к вождю пролов никакого отношения не имел, просто так уж совпало...

– Неужели, – хлопает ресницами, всю душу мне взглядом выворачивая, – с 14-го века?!

– Ну, говорю тебе, Эльза, лично на средневековых картах видел, Ленин, как есть Ленин... Это какое-то немецкое слово, старое, а по звукам видишь, как совпало[1]... Помнишь, как у Высоцкого: «И кстати, вашего соседа, забирают, негодяя, потому что он на Берию похож...».

Смеётся...

Зубки маленькие, изящные, белые-белые... Перламутром мерцают...

И стал я напряженно думать – какую бы ещё чушь вспомнить, чтобы подольше она на меня смотрела, хоть и зря это, ни к чему...

– Основы журналистики от Саши Фиолетова! Директор завода ему говорит: у нас на производстве две новости, хорошая и плохая. С какой начнём? А тот ему отвечает:

– Давайте плохую новость и ни слова о хорошей!

– Почему?! – удивился директор.

Саша отвечает:

– Сразу видно, что вы ничего не понимаете в журналистике...

Вроде банальный случай для репортёра, и ничего смешного, а она опять смеётся...

– Приезжал Медведев. Я освещал сбоку. Написал заметку «Медведев в городе». Фиолетов мне лепит:

– Он что, зюзик без должности? Пиши, как положено!

Мне всё пофиг, пусть будет длинный заголовок, не моя головная боль, исправил так: «Президент России Медведев в городе».

Саше опять не слава Богу! Говорит – думай маленько, нас же в краевом правительстве читают! Есть Путин, нацлидер, зачем написал «президент России»?!

---

[1] *Автор описывает реальную ситуацию: после объединения Германии был переименован город, со времён раннего средневековья носивший имя «Ленин», случайно созвучное с именем вождя.*

Я уже не знаю, что делать: и с должностью не так, и без должности не так! Но Фиолетов научил. Вычеркнул одно слово, и всё на место встало. Он в таких делах собаку съел...

– Но какое же слово он вычеркнул? – с виду искренне недоумевала Эльза.

– В итоге вышло: «Президент Медведев в городе»... А чего он там президент – пусть каждый понимает в меру своей испорченности!

Только поволжская немка может понять, над чем тут смеяться...

Так и повелось. Деловой клуб собирается – Эльза сюда, и нас водой не разольёшь. И мне весело, лепится нелепое какое-то гудение в груди, как будто я не умер давно... Ну, а потом она улетает, надолго, до следующего заседания этих инвестиционных маразматиков, и оставляет меня тут, среди мёрзлых пашен и заштрихованных инеем стёкол... Как щенка хозяева на даче «забывают», когда осень, и в город пора перебираться...

И понял я, что вышла беда. Что не прачку я встретил, и не водительницу троллейбуса, а – на горе себе – европейскую тележурналистку... И ждать её в компании с ведущими саксонскими банкирами – тоска. И не ждать – тоже тоскливо... Конечно, поговорить бы с ней о чём-нибудь кроме экономики, тестов IQ и средневековой истории – но как? И зачем?

Стыдно ей врать, да и поздно уже: про своё «блестящее» положение я ей уже раззвонил в первые встречи... Ну что я ей скажу? Забери меня, Эльза, с собой, я тебе там байки смешные травить тоже буду? Или – ещё смешнее – оставайся, Эльза, в Сибири, покажу тебе, как зимой у берёз стволы от мороза лопаются... У меня, в моей панельной малосемейке, в моей бомжарне – место на шконке милому другу завсегда отыщется...

И ничего я ей не говорил. То есть говорил, конечно, отрабатывая её версию о моём офигенном IQ, языком, как помелом, мёл – но всё не о том... А про главное молчал. А по-другому – как?

Зря, конечно, встретились, зря... Послали бы вместо неё какого-нибудь дурачка Клауса или Ганса освещать телезрителям дебильные посиделки деловых кругов – ну, и запомнились бы мне эти посиделки только стащенной бутылкой хорошей водки...

Но однажды случилось нечто. Такое, чего я ни понять, ни осмыслить не могу. И вас не прошу понимать – просто поверьте, что так было!

Один с нашей стороны, учредитель «Кина и немцев», жестоко обожрался и помер скоропостижно.

Этот факт, кстати сказать, я и понять и осмыслить могу легко. Помер он вполне обыденно, и Саша Лепилов, урождённый Фиолетов, даже сказал нечто вроде поучительного некролога, отпивая свой неизменный чай:

– Вот оно как, ребята! Надо помнить, ребята, меру блинчикам с икрой!

Про то, что от полусотни блинчиков с икрой можно запросто откинутся – это я, поверьте, очень хорошо понимаю. Я совсем про другое...

Вполне объяснимо, что как наши, так и немецкие члены Клуба решили отца-основателя проводить в последний путь. А чего не проводить, когда они бабло вместе намывали, пресс-конференции вместе давали и денег полно? Им ведь не нам, билет на самолёт – раз плюнуть!

И они, значит, как один все припёрлись провожать на кладбище этого несчастного председателя «Клуба деловой дружбы», и от избытка скорбящих чувств потащили пресс-пул на кладбище...

Там мы с Эльзой замёрзли, и я угощал её украденной с фуршета водкой, умилив старинным складным пластиковым стаканчиком из кармана, а также плавленым сырком «Дружба» на закусь. Помёрзнув (и выпив с горя) на кладбище, мы закопали незадачливого врага блинов («блины оказались сильнее» – надо бы в назидание потомкам высечь на памятнике), и поволоклись, как были, большой делегацией, на поминальный ужин...

Поминки там или нет, куриная лапша или не куриная – а я сел с Эльзой рядом, как у нас уже было заведено в прошлые её приезды. На нас никто не глядел, ибо мы – с обслугой в хвосте стола. А первые лица стали полоскать тостами память покойного: какой он был незаменимый и деловитый, энергичный, и с IQ (само собой) – высших и запредельных сверхчеловеческих уровней...

И тут меня взяла такая тоска... Вы поймите правильно – конечно, не по барыге, который, обожравшись привычным чрезмерно, убыл, пожив перед этим вполне себе всласть. Этому доброго пути и земля пухом!

А просто общее кладбищенско-поминальное настроение наложилось на жуткую мысль: нет теперь с нами этого NN, мало ли? Может, Клуб собирать перестанут (NN был душой всей затеи) – немцы больше не прилетят. И Эльза с ними тоже больше не прилетит...

А мне что же тогда? Я и живу, собственно, от одного её прилёта до другого... А она даже не чувствует... Жестокие они бабы, в Европе... Можно ли такой вот ментальный пронзительный вопль не услышать?! Нашла себе забаву, дружка по электронной переписке... А что, если она и её съемочная группа в нашем городке в последний раз?

Я-то ведь туда, к ним не долечу, дело ясное! Это они летают, как здрасьте сказать, а мне авиабилет в Берлин не в одну мою зарплату встанет...

Пока наши инвесторы обменивались траурными речами – Эльза вышла покурить в вестибюль делового комплекса, в котором всё это безобразие происходило...

И я зачем-то попёрся за ней следом. Я даже не знал, что она курить пошла. А вдруг она в туалет бы пошла, а я как хвостик – неотступно следом?! Ну, неудобно, неприлично, честное слово, – однако я так сделал, потому что эта тяга оказалась сильнее меня...

Встали мы с ней в пустом и гулком вестибюле, среди стекла, металла, мрамора, из залы доносятся голоса, скупо проливается свет, а мы в полумраке. Она мне сигарету дала, курим вместе, дым в потолок...

Я так понимаю – она сначала мне просто пожаловаться хотела. Ну, как близкому человеку, как другу – кому-то же надо пожаловаться на жизнь! И кто бы мог в ту секунду подумать, *что* из банальной жалобы красивой девчонки выйдет?!

– На нашем канале сокращения... – говорит она глухо. – Меня вызвал новый директор и сказал, что я «подпадаю»... Ну, конечно, если я соглашусь с ним «поближе познакомиться», то он может изменить мнение о моём профессионализме... Мерзавец!

– Расстрелять его мало... – сказал я с постным, казенным осуждением на лице в рамках профессиональной солидарности. А потом

набрал в лёгкие побольше воздуха и выдал страдальческое: – Хотя я его понимаю...

– Кого понимаешь?! – оторопела Эльза.

– Я хотел сказать... – стушевался я, – что если бы меня за тебя расстреляли, я был бы не против...

– Однако, Тоша... – она смотрела на меня пристально и гипнотической силой своего прекрасного взгляда не давала мне отвести глаз. – Ты это серьёзно?

Мною двигало отчаяние. Я не хотел ей врать. В конце концов, почему? Пусть знает...

– Эльза, почему это тебя удивляет?! Чего такого есть в моей жизни, что было бы дороже минуты с тобой?! У меня жалкая, пустая жизнь... Она – небольшая цена за счастье быть с тобой хотя бы... хотя бы... Короче, можешь обижаться, но я понимаю твоего директора... Он считал, что у него есть шансы, и он попробовал! Если бы у меня был шанс, а я бы не попробовал – я бы себе никогда потом этого не простил...

Мы оба согласно и значительно помолчали. Потом она сделала шаг ко мне и сказала совсем тихо:

– Мне плохо в Германии, Тоша... Я хотела бы вернуться...

– А зачем ты мне это говоришь?

– А затем, что я не знаю, стоит ли возвращаться? – шепчет она обворожительно. – У вас тут теперь всё то же самое, что и там...

– Может быть... – бормотал я, вконец смущённый её близким дыханием. – Но там, где ты, Эльза, – там и Солнце...

– Ты правда так считаешь? – сузила она зелёные коварные глаза.

– При чем тут – как я считаю? Если это очевидно?

– Тогда забери меня к себе, Тоша...

Сначала мне показалось, что я ослышался. Потом я подумал, что она пошутила. Наконец, я догадался: европейская тележурналистка, конечно же: где-то в фойе скрытая камера и это розыгрыш...

Потому что она говорила совершенно серьёзным тоном. Она не шутила. Она – тележурналистка в кадре. А я страшненький чухонский газетный репортёр в экономической газете...

Две слезинки сползли из моих бесцветных и невыразительных глаз.

– Эльза, что я плохого тебе сделал? Зачем ты так поступаешь со мной? Где скрытая камера?

– Дурачок! – сказала она, и погладила меня ладонью по плохо пробритой щеке (а для кого мне было бриться?). – Нет никакой скрытой камеры... Я не шучу... Сейчас всё в твоих руках. Я своё слово сказала... Решать тебе...

Дальше было совсем уж невероятно. Если решать мне – то я всё давно решил. Я её обнял прямо в фойе этого забытого нами поминального обеда и мы поцеловались самым страстным поцелуем в моей жизни.

А потом... Да, это звучит неправдоподобно, но так оно всё и было, клянусь... Мы уехали ко мне, и она одобрила мою захламлённую и облезлую «полуторку» в «хрущевском» панельном доме.

На следующий день она сдала в аэропорту билет и съемочная группа канала GTV улетела в ФРГ без неё. И мы стали жить вдвоём. Странным образом тесная для одного квартира стала для двоих просторной.

Бедная для одного – она стала роскошной для двоих. В ней ничего не менялось – но изменилось всё. Я был жалким газетным репортером – а стал уважаемым сотрудником экономического издания! Раньше ел гадкие макароны с нищенским томатным соусом – а теперь вкушаю великолепные изысканные спагетти с роскошным кетчупом...

Но при этом должность моя не изменилась, и визитки перепечатывать не пришлось, до сих пор не понимаю, как такое может быть?

Правда, моего оклада как-то не очень хватало, и она устроилась на наше местное телевидение. Учитывая её прежнее место работы – её взяли без лишних разговоров, а русским она владеет превосходно, с детства!

При этом, щадя моё самолюбие, она уверяла меня, что просто не может без телевидения, и что это не ради денег – ради самовыражения и личностного роста... Я как бы верю...

И ещё: скоро у нас родится ребёнок. Под напором таких фактов я вынужден признать очевидное, но невероятное: она не шутила, не разыгрывала меня, и не играла со мной. Всё случилось на самом деле. Она просто взяла и поселилась у меня.

Я знаю, как вы думаете меня подловить! Обычно такие истории фантасты заканчивают, что, мол, после всего они поверили в себя, сделали карьеру, заработали огромные деньги и купили обалденный дом, и всё такое прочее...

Так вот.

Я не поверил в себя.

Не сделал карьеры, не заработал денег.

И дома не купил.

Но она живёт со мной.

И мне больше ничего не нужно.

А она говорит, что это ей нравится. В чем тут подвох? Расскажи мне такое другой, тот же «прозаик» Фиолетов, – ни в жизнь бы не поверил, так что понимаю вашу скептическую усмешку! Но рассказываю сам о себе. Я голову сломал, пытаясь разгадать эту загадку! Видит Бог, не знаю...

ЮРИЙ МАНАКОВ

ХИТРОВАН ТУНГУС

Дорога в две колеи, с выходом по обочинам плоских шершавых плит, обежала с десяток стоящих наособицу кудрявых коренастых кедров и резво взяла в гору. Августовское солнышко грело ласково и не жарко, и поэтому идти было относительно легко. В паевках за плечами только снедь, плички-совки для удобства при сборе черники, тёплая одежда для ночлега. Охотничьи тесаки на поясах в кожаных ножнах. На ногах кроссовки с толстыми рифлёными подошвами, головы покрыты панамками.

У Лукича к рюкзаку, в котором разместилась двухведёрная капроновая паевка, снизу приторочен закопчённый котелок. На широких ремнях за моей спиной фанерная паевка с плоской выдвижной крышкой, ёмкость без малого на четыре ведра. Она перешла ко мне лет тридцать назад от отца. Вес у нас, в общем-то, невеликий. Добыча наша пока еще где-то доспевала на альпийских лугах и плоскогорьях.

Астра, лайка рослая, тёмно-серого окраса, со светлыми чулочками на мощных лапах и белоснежным галстуком на шее, по своему обыкновению рыскала впереди, иногда срывалась с дороги в заросли высокой травы. И там носилась, преследуя мышей полёвок, да так, что упругие и круглые, как прямые палки, стебли марального корня с венчающими их лиловыми бутонами цветов и синеющие между ними мохнатые метёлочки кисточки-белковки ходили ходуном.

Тунгус, помесь, вероятнее всего, таксы и дворняжки, пёс жёлто-коричневой масти, гладкошёрстный и низкорослый, понуро плёлся позади, заставляя нас поминутно останавливаться и оглядываться: не отстал ли бедолага, не свалился наземь и не отполз ли в изнеможении куда-нибудь в тенёчек.

Если у Астры хозяин Лукич, то Тунгус – пёс вольный, бродячий. То ли оттого, что по жизни он беспризорный, и поэтому ухо ему постоянно приходилось держать востро, то ли по наследственности, но Тунгус – как приметил я почти сразу, как только этот пёс увязался за нами, выходящими из посёлка в лес, – парень был еще тот, себе на уме. Вдобавок ко всему и разноглазый: правый под густыми шерстистыми бровями – синий, а левый глаз – зелёный. Но оба странным образом выглядели и простодушно-доверчивыми, и одновременно было в их выражении что-то неуловимо плутовское.

Сегодня утром я встретился с ним впервые, а вот Лукичу по его словам Тунгус был знакомцем давним, да и Астра отнеслась к новому попутчику более чем спокойно. В самом начале её некоторая благосклонность в отношении приблудившегося кобелька проявилась в позволении тому влажным носом обнюхать и лизнуть её подхвостку, однако допустила до себя лишь единственный раз. Когда воскрылённый пёс сунулся вторично, Астра так клацнула зубами, что вмиг отбила охальнику всякую охоту продолжать вожделенное изучение её прелестей.

И тут я Астру понимаю: всякий сверчок должен знать свой шесток, давно пора, а то, со ставшим повсеместно хроническим допущением и неразборчивостью в связях нынешних обитателей Земли, уже почти вся планета наша так измельчала, что скоро всё будем рассматривать под микроскопом или вообще перескочим в пресловутый «нано-мир».

Приземлённость, будь она хоть виртуальной, хоть реальной владычествует нынче, как никогда, и, бывая по случаю в мегаполисах, сопротивление этому я, если и наблюдаю, то весьма зыбкое ислабенькое. Оказывается, как это сладко: запихивать в себя не только пластмассовые, разбавленные ароматическими красителями, продукты, но и открывать своё сердце, беззаботно бросать свою душу в топкое и бездонное болото сносящего голову безудержного потребления!

У ручья, выбегающего из нагромождённых в теснине мареновых валунов и прозрачно растекающегося по дороге, прежде чем опять собраться на обочине в тугие струи и упасть водопадом вниз на покатый альпийский лужок, решили мы перекусить. Порезали колбаски и огурчиков, разломили хлеба и уселись на травянистую бровку у пробегающей воды. Лукич достал из целлофанового пакета обжаренный куриный окорочок, разорвал пополам, подозвал собак. Тунгус – секунда, и тут как тут, жадно схватил брошенную мясистую косточку в зубы и, поджав хвост, злобно прорычал на нас.

– Вот и отблагодарил, – невольно вырвалось у меня.

– Как говорится: не мы такие – жизнь такая, – шутливо откликнулся Лукич.

Астра всё это время стояла в сторонке, спокойно поджидая своей очереди.

– Ко мне, – только и обронил Лукич.

Лайка подошла и аккуратно, я бы сказал – с каким-то внутренним достоинством взяла из рук хозяина свою долю, вспрыгнула на бровку и, улёгшись, принялась неспешно поглощать мясо и разгрызать косточку.

Приступили к трапезе и мы. И хотя на нашем дастархане стояли две эмалированные кружки, я намеренно присел ближе к ручью, чтобы

можно было легко дотянуться и обмакнуть ломоть хлеба в пробегающую воду. Намачивать хлебушко в живых и студёных алтайских струях моя давняя привычка, она у меня едва ли не с детства, с той самой поры, когда папка стал брать с собой в горы. У него-то я её и перенял. И скажу вам: вкус и наслаждение непередаваемые! Особенно если всё это приправлено добрым шматком сальца и пучком только что срезанной сочной черемши.

Между тем Тунгус быстро расправился со своей порцией и, повиливая куцым хвостиком, подбежал и присел на дороге в шаге перед нами. Разноцветные глазёнки его так и пожирали нас, и столько в них было обожания и преданности, что я не выдержал и кинул псу кружок колбасы. Тунгус поймал его в воздухе и, даже не прожёвывая, мгновенно проглотил. И опять он полное воплощение безграничной любви и преданности, только сейчас, как я заметил, для пса никого в мире не существовало кроме меня, такого щедрого и заботливого.

– Ты можешь скормить этому обжоре хоть весь наш двухдневный запас, – Лукич подавил усмешку. – Он всё сожрёт и ни разу не поперхнётся. Однако когда тебе будет нечего ему дать, ты для Тунгуса станешь пустым местом. А на какие концерты способен этот шибздик, ты еще не раз увидишь, – старый таёжник помолчал и философски закончил: – И запомни: мы для него всего лишь кошёлки с вкусной едой и ориентиры, чтобы не заплутать и не потеряться в горах.

Лукич убрал в паевку эмалированные кружки, полбулки хлеба, половину палки колбасы. Смял пальцами в комок пустые целлофановые пакетики и засунул в боковой кармашек рюкзака; вечером он их достанет и сожжёт в костре. Это наше неписаное правило: никакой пластики в тайге после себя не оставлять. Всё сжигаем или, если громоздкое, уносим назад в посёлок и там забрасываем в первый попавшийся мусорный контейнер. Порожние банки из-под консервов и тушёнки непременно кладём на красные угли костра. Жестянки обгорают и, в скором времени от них и следа не найдёшь. Огуречные и прочие кожурки обычно оставляем, сметая их кучкой в сторонку – это органика, перегниёт и станет удобрением.

После полудня, пройдя километра полтора по гребню горного хребта, по краям которого кое-где на осыпях виднелись подёрнутые первой позолотой карликовые лиственницы и причудливые тундровые берёзки, начали мы спуск в ущелье к Верхне-Кедровскому озеру, поблескивающему своей прозрачной синевой и уже видимому нами отсюда.

Озеро это словно вдавлено в середину крутого и каменистого склона белка и было оно безупречно круглым, обрамлённым высокими зубцами скал, отвесно выходящих из глубины и увенчанных поверху бахромой оплывающего на них альпийского луга.

Я подозревал, что образовалось озеро в те незапамятные времена, когда формировалась наша планета и, конечно же, не из кратера потухшего вулкана – подобное происходило, как правило, на вершинах и пиках горных кряжей, – а вследствие падения метеорита. Видимо, сила удара этого космического пришельца была такой мощной и хлёсткой, что сам он провалился глубоко в недра, где и застрял навеки, а

правильно очерченная вмятина со временем заполнилась хрустальной и целебной влагой.

Чаша озера смотрелась идеальной и, чтобы ей не переполняться, имела в правом более низком овале слив в виде углублённого русла между двух, обнявших толстыми витыми корнями пологие плиты, разлапистых кедров. Это был исток речки Кедровки, что, скатываясь отсюда, петляла между утёсов и останцев, щедро напитываясь по пути из бесчисленных таёжных притоков, пока порожисто не выносилась из ущелья и не впадала в бегущую из Риддерской долины Ульбу.

Глубину озера на резиновой лодке промеряли геологи, и она составила двадцать пять метров в центре и чуть меньше по краям. Вода всегда ледяная, такую и прогреть-то трудно. Окунуться сюда рискуют только самые отчаянные и закалённые. Мужики заходят в озеро с нижней пологой стороны, где неглубокое дно тянется около трёх метров, пока резко не обрывается в подводную бездну. Однако заплывать на середину водоёма на моей памяти никто из них и не пытался. Поплюхаются, поморжуют у берега и пулей вылетают на прокалённую солнцем песчаную полоску поваляться после экстремального заплыва.

Путь наш сейчас лежал по изломанно-серпантинной тропинке вниз к озеру по панцирному склону. На сравнение этой стороны ущелья с чешуйчато-панцирной бронёй наталкивал вид разнокалиберных плоских плит, щедро разбросанных по довольно отвесному склону снизу доверху. И пусть некоторые плиты и скалы, похожие на блюдечки, лежали, будто вжавшись всей своей округлостью в травяной суглинистый песчаник, а другие косо торчали в небо замшелыми заломами и острыми зазубринами, однако общее впечатление от них оставалось именно как от единого циклопического панциря, тяжело нахлобученного на весь этот крутобокий склон. Попадались и выдавленные на тропу, в рыжеватых пятнах лишайника, углы и овалы плит, их приходилось обходить.

Кое в каких местах склон был изрезан мелкими овражками с пересохшими, усыпанными крупными камнями руслами – именно по этим створам в начале лета, в период активного таянья, с бешеной скоростью неслась талая вода с вершин на дно ущелья в речку Кедровку. Покров снега в здешних горах иногда достигал четырёх метров, и поэтому было чему таять и чем ворочать на своём пути неподъёмные валуны.

Мы не сделали и двадцати шагов вниз, как шедший впереди Лукич предостерегающе поднял руку и обернулся ко мне:

– Ступай аккуратней – впереди змеи, – и указал на вытянувшуюся через всё мшистое блюдечко сбоку тропы изумрудную, с чёрными насечками гадюку. – Вишь ты, как разнежилась красавица! Идём, не будем девочке кайф ломать...

– Лукич, гляди! Вон еще одна дрыхнет! А на плите повыше так вообще две штуки валяются! – Я засомневался: – А не дай бог, они вдруг проснутся все одновременно да полезут на нас? Куда бежать-то?

– А никуда, – беззаботно ответил старый таёжник. – Ты глянь, какие они вялые, будто неживые! Им сейчас просто не до нас. Змеи повыползали из своих нор последний разок в этом году погреться на солнышке, перед тем как залечь до весны в спячку. – Лукич на минутку задумался и продолжил: – Хотя эти процедуры у них обычно случают-

ся ближе к середине сентября, а нынче, вишь ты, что-то раненько – в конце августа. Старики бы сказали: к холодной осени и ранней зиме. Так что, Василий, смотри под ноги да не лови ворон...

Мы продолжили спуск. И тут наш Тунгус опять отличился. Если опытная Астра не покидала тропу и шла за хозяином почти след в след, напряжённо распрямив и прижав к подхвостке пышный крючок своего хвоста, то этот шалопай надумал совершить то, к чему у таких как он нет ни навыков, да и, смею предположить, не заложено ничего природой в их инстинкт. Пёс решил побегать вокруг и поохотиться. Наверное, наш хитрован прикинул: путь под гору – это тебе не в гору, сил столько не требует, вот и высвободившуюся энергию можно потратить на поиск добычи.

Тем более, при подъёме он наблюдал, как Астра мышковала, а он чем хуже – парень видный, ловкий, вон на какую верхотуру вскарабкался, и ничегошеньки! «Ты, мол, сейчас, Астрочка, увидишь, какой я есть доблестный охотник и добытчик!». Так ли, не так ли думал Тунгус, неизвестно, но весь его воинственный решительный вид и безрассудное поведение говорили, что, скорее всего, так оно и было.

Тунгус носился по редкотравью между торчащих плит и валунов, засовывал свой влажный нос в попадавшиеся норы, что-то вынюхивал, подпрыгивал, фыркал, встряхивался и бежал дальше. А вокруг на шершавых блюдечках плит дремали и нежились десятки узорчатых зелёных, коричневых и серых гадюк.

Оно бы всё и обошлось, кабы раззадоренный пёс не надумал перемахнуть через одну узкую плиту невдалеке от нас. То ли задел хвостом, то ли шаркнул коготками лапок греющуюся на ложе толстую змею, однако видно так потревожил гадюку, что та неожиданно вскинулась, в одно мгновенье стала упругой, злой, свернулась в кольцо, распрямилась и быстро заскользила вслед за обидчиком, приподняв над землёй сплющенную мордочку с раскрытой шипящей пастью.

А Тунгус, не оборачиваясь и не чуя опасности, отбежал метра на три, отыскал очередную норку, сунул в неё свой нос, что-то учуял и – давай разгребать, разбрасывать грунт лапами, да так увлёкся, что не замечал вокруг себя ничего! И напрасно. Гадюка подползла уже на то расстояние, с которого можно было прыгнуть на жертву наверняка. Скорее всего, так бы оно и произошло.

Нам с Лукичом уже не успеть даже нагнуться за каким-нибудь пластинчатым сколом, чтоб метнуть в гадюку... Тунгус же своей перепачканной мордой был давно в норе, наружи торчали лишь поблескивающий изгиб короткошёрстной, будто постриженной машинкой умелого парикмахера, спины и тощий, с невзрачным хвостиком, собачий зад. На него-то в шаге от пса и нацелилась змея, упруго подтянув своё блескуче-кольчатое тело и сгруппировавшись для смертельного прыжка. И в этот миг вихревой клубок пронёсся с тропы вниз и закружился между Тунгусом и гадюкой.

– Ай, да Астра! Ай, да молодец! – не сдержал я восторга. Но тут же меня ошпарило сомненьем: – Лукич! А эта падла не укусит её?

– Сейчас и поглядим, – ответил старый таёжник.

Однако голос и тон у друга были спокойными, чувствовалось, что исход схватки Лукичу известен заранее. И тут же лайка обернулась в

нашу сторону. В стиснутых зубах её с одного края вбок торчала мёртвая сплюснутая голова с раскрытой пастью, с другого на чешуйчатых лоскутах до земли толстой верёвкой свисало тулово змеи.

Отбежавший от норки Тунгус испуганно жался в сторонке к серому выпирающему из склона ребру плиты, на овальном блюдце которой, как я отметил боковым зрением, дремала еще одна гадюка с узорными татуировками, и смотрелась она гораздо крупнее только что разорванной Астрой змеи.

– Лукич, пойдём скорей да веселей! – вырвалось у меня. – Не по душе мне эта компания. А то как бы твари не очухались и не принялись мстить за погибшую товарку.

– У тебя чё, Василий, глаз нету? – Лукич покачал седой головой и поправил чуть съехавшую набок панамку. – Астра тока что на виду у всех задавила одну из них и – вишь ты, хоть бы кто шелохнулся! Нежатся да дрыхнут. Однако ты прав, идти нам пора, скоро солнце сядет, с ночёвкой надо что-то решать.

Стоянку облюбовали ниже озёра у горбатого пластинчатого останца на краю покато-широкого, с островками черничных полянок, вдавленного в ущелье седёлка – перемычки между двумя белками, Сержинским, с него мы недавно спустились, и отвесно-нехожалым Сметанинским.

Пока было светло, натаскали хвороста. Я прикатил от скалы два откоповшихся куска с плоской поверхностью, пододвинул их друг к дружке, чтобы можно было поставить посуду под варево, и развёл между ними костёр. Сухие дрова взялись дружно. Лукич тем временем сходил к останцу, извлёк из притаённой за кустарником ниши пузатый прокопчённый чайник и несколько полуторалитровых пластиковых бутылок в цветастом продуктовом пакете.

– Колись, Лукич, – шутливо спросил я, – что там еще заныкано?

– Небольшой рулон полиэтилена на случай дождя, – серьезно ответил таёжник. – Алюминиевые миски, кружки и ложки, старая фуфайка, парочка свитков берёсты для розжига. Правда, из съестного не прячу ничего, чтобы лишний раз не привлекать зверьё. Мне-то не жалко, но они ведь, если доберутся, заодно разгрызут и почикают все тряпки, – говоря это, Лукич протянул мне чайник и пакет с бутылками. – Сбегай-ка лучше, Василий, на ключ за водой; нарви попутно на заварку смородинного и черничного листа с ягодой. А я покуда почищу картошку-моркошку да вскрою тушёнку.

В сумерках поужинали, покормили собак; прикрытый крышкой котелок с недоеденной похлёбкой Лукич отнёс и поставил в холодок у изножья останца, остальные продукты прибрал в паевку. Наломали пихтовых лапок под подстилку, нарезали тесаками травы – получилось хорошее взбитое ложе. Накрыли костёр двумя лиственными толстыми жердочками, одну к другой – гореть будут неспешно и с высокой теплоотдачей. Только не забывай в срок подвигать. Самое время укладываться спать, что и собирались мы сделать, но помешал Тунгус.

Астра как улеглась под смородиновым кустом, положив голову на вытянутые передние лапы, сразу задремала, а пёсик, хоть и съел пайку в два раза больше, однако угомоняться и не думал, понуро бродя между

костром и нами и демонстративно обнюхивая приготовленные на ночь и лежащие ворохом сучья.

– Зырь, Васёк, каков артист! Будто сроду и не кормлен. Куда в него тока лезет?

– А у него, видно, всё как у утки: сразу на вынос... Поди оформим хлебную тюрю с бульоном?

– Не поможет. Оставь его. Пусть себе покапризничает.

Тунгус, поняв своим собачьим чутьём, что говорят про него, быстро подбежал и присел перед нами, подметая куцым хвостиком остывшую пепельную золу позади себя и преданно поедая нас своими разноцветными глазёнками.

– Лукич, давай я схожу за котелком? Подкормим парня.

– Не блажи. Он сытый и нечего пса поважать! – сказав это, Лукич отвалился на спину вдоль хвойно-травяной подстилки и через минуту захрапел.

Мне же не спалось. Я привстал, выбрал из вороха дров кедровую ветку с сухой желтой иглой и, поправив костёр, бросил её на тлеющие жердочки. Ветка ярко вспыхнула и осветила всё вокруг.

Боковым зрением я отметил, как Тунгус, чтобы не подпалиться, нехотя встал и обиженно поковылял, но не к смородине, под которой дремала Астра, а к останцу. Не дойдя метра два до скал, он даже и не лёг, а скорее рухнул на притоптанную нами траву. Всё бы ничего, но было забавно наблюдать, как он почти сразу приподнял маленькую свою удлинённую мордочку, поворотил её, укоризненно глянул на меня и с вызовом отвернулся к освещённому костром останцу. Ишь ты, какой характерный! Ну да ладно: утро вечера мудренее.

Среди ночи я проснулся оттого, что кто-то под ухом у меня посапывал и со сладким стоном шумно причмокивал. Я повернулся и в тусклых отблесках догорающего костра обнаружил сбоку от себя вольготно растянувшегося между мной и Лукичом Тунгуса. Гляди-ка, затесался, бедолага! Нашёл-таки тёплое местечко.

Я встал, зевнул с потягиванием, подбросил в костёр дров и снова прилёг. Пёс за всё это время даже не пошевелился, так и спал на спине, вольно раскинув, слегка подогнутые передние и задние лапы. Мне стало любопытно: а где же Астра? Поискав взглядом, нашёл её там же, где и вечером: под смородиновым кустом. Только теперь она не дремала, а бодрствовала, и весь вид лайки – напряжённые глаза и уши торчком – говорил о том, что Астра бдит и сторожит не только лишь покой своего хозяина, ну и наш, с по-прежнему сопящим с прихрапываньем во сне пёсиком.

Рассматривая крупные, будто врезанные золотом в чёрное бархатное небо звёзды, вскоре сомлел и я, а прохватился в очередной раз от злобного собачьего рычанья и взлаиванья. Полусонный, сел на примятые пихтовые лапки и осмотрелся.

Лукич сноровисто укладывал в костёр хворост пучками, пламя взмётывалось высоко вверх, освещая не только горбатый останец, но и могучий кедр метрах в пятнадцати на лугу с противоположной стороны. Астра то убегала с лаем в изломанную отсветами ночь, то возвращалась, однако с полдороги обратно уносилась на луг. Тунгус, поскули-

вая и потявкивая, испуганно жался к костру, но, опасаясь подпалить шерсть, близко не подбирался.

– Хозяин шастает, – громко бросил Лукич, когда я присоединился и тоже принялся кидать в жаркое пламя сухие сучья. Старый таёжник одобрительно покивал и с усмешкой пояснил: – Чернику нашу Мишенька подъедает. Там же понизу ягодка испокон рясная. И крупная, не хуже смородины.

– А он Астру не порвёт?

– Пускай сначала догонит! Ты думаешь, я от нечего делать такой пионерский костёр палю? Отпугиваю.

– Да я уж понял. Конкурента шугаешь!

– Зверь теперь сытый. По большому счёту мы ему – по барабану... Однако бережёного Бог бережёт!

Между тем лай Астры начал затихать и минут через пять собака вернулась к костру. И хотя вид у неё был совсем не воинственный, но шерсть на загривке всё еще стояла дыбом. Лукич, поджидая Астру, достал из паевки колбасу, отломил кусок и сейчас протягивал его приближающейся лайке. Астра шла невозмутимо, но с чувством исполненного долга, оставался какой-то метр, когда в зазор между собакой и Лукичом ворвался Тунгус, ловко подпрыгнув, выхватил на лету кусок из рук мужика и умчался в ночь.

– Вот это жук так жук! – с восторженным недоумением вырвалось у меня.

– Проныра, – снисходительно обронил Лукич и обратился к подошедшей Астре: – Прохлопала, девонька, свой приз?

Та в ответ лишь виновато вильнула роскошным хвостом: что, мол, с бродяги возьмёшь...

– Да уж, точно, миленькая ты моя, – словно прочитав собачьи мысли, вслух согласился Лукич, извлекая остатки колбасной палки из паевки и разламывая надвое. – Давай держи. Заслужила.

Астра осторожно взяла из рук хозяина аппетитный ломоть и удалилась к смородиновому кусту.

– Породу в карман не спрячешь, – уважительно проводил я лайку и поинтересовался у друга: – Пальцы-то хоть целы?

– Сам удивляюсь – но и царапинки нет. Вот ловкач! – Лукич, чтобы лучше рассмотреть, поднёс ладонь к огню, растопырил пальцы и покачал сединами. – Ладно, Василий, пойдём досыпать, а то скоро светать начнёт...

Сон после медведя получился цветным и рваным: то какой-то зоопарк привиделся с африканским жирафом в окружении наших косолапых; то я сползал по крыше многоэтажного дома и никак не мог найти, за что бы ухватиться, чтобы не улететь вниз и не разбиться в манящей и пугающей бездне. Последним приснился берег Верхне-Кедровского озера, ярко-зелёные кусты по окоёму, переливающиеся в солнечном свете разноцветные камешки и я, заходящий босиком в ледяную прозрачную воду. И хотя ощущались пупырышки изморози на коже и начинало сводить пальцы на ногах, но почему-то я не мог повернуться и выйти из студёного озера. Бр-р!

С трудом разлепил глаза и, преодолевая сонливую вялость, резко оторвал свой корпус от ложа и сел наземь по-турецки, подобрав ноги под себя. Рассвело, но солнце еще не встало. С белка, от озера тянуло про-

низывающим холодом, это, в общем-то, и объясняло мой последний сон, но только его, а остальные предыдущие мне бы никто наверняка и растолковать не смог. Видимо, просто сказались усталость и напряжение всего вчерашнего дня и беспокойная ночь.

Лукич хлопотал у прогоревшего костра: на подёрнутых пеплом углях сооружал из сухих щепок и сучьев миниатюрный шалашик. Вот он нагнулся, набрал полные лёгкие воздуха и начал дуть внутрь шалаша. Угли вспыхнули, затрепетало пламя, теперь можно подкладывать толстые ветки. Тунгус крутился рядом с Лукичом, Астра полёживала на своём месте под смородой.

– Доброе утрецо! – сказал я, поднимаясь с лежанки и подходя к костру. – Что-то холодновато нынче.

– Всё к тому. Это ж высокогорье. Теперь запросто может и снежок пролетать. – Старый таёжник уложил кривой сук поперёк горящих дров и обернулся ко мне: – Тока не сегодня. Роса обильная, день сулит быть ясным. – Лукич указал на мокрые гачины своих штанин: – Спускался на лужок глядеть медвежье топтанье, вымок весь. Вишь ты, теперь сушусь...

– Пока то да сё, схожу-ка я на ключик, сполоснусь... Воды не надо?

– Да я уж принёс котелок.

– Постой. В нём же похлёбка оставалась?

– Вспомнил!.. – Лукич растянул морщинистый рот в снисходительной ухмылке и кивнул на Тунгуса, усевшегося напротив и влюблённо пожирающего глазёнками обоих нас по переменке. – Скажи спасибо этому шалопаю. Видно, ночью, пока мы спали, сбегал к скалам, да и выжрал всё до донышка. А я-то, старый дурень, не усёк, с кем имеем дело. Лопухнулся по полной. Не прибрал котелок на выступ повыше. Вот и пришлось его драить с песочком.

– То-то он так дрых с полным брюхом, что аж постанывал от удовольствия!

– Когда?

– Да ночью же! Завалился между нами, отыскал ведь, хмырь, где потеплее и не поддувало, и так расхрапелся, что разбудил меня.

– Понятно. И выспался, и попировал. Ничего, сейчас заново наварим. Всем хватит. А там и солнышко всю росу выпарит, чтоб черничку сухой брать.

Доброе настроение друга передалось и мне. Я кликнул Астру, та охотно вскочила из-под куста и мы направились по чуть приметной тропке к ручью. Тунгус увязался было за нами, но неловко зацепился тощим боком за высокий и густой кустик пижмы, его щедро окатило сверху росяным душем, пёс тихонько взвизгнул и с обиженным видом вернулся сушиться к костру.

Зелёная плантация с тёмно-фиолетовыми островками черники поблескивала в солнечных лучах россыпями спелых ягод, когда мы в траве по пояс спустились к ней, минуя одну заросшую наклонную террасу за другой. Середина плантации оказалась вытоптана, создавалось впечатление, что медведь здесь не только вдоволь полакомился, но и от души повалялся. В двух-трёх местах рядом с ма-

реновыми плитами возвышались пирамидками иссиня-чёрные кучи звериного помёта.

– Вишь ты, не тока у нас, – Лукич вздохнул, – но и среди медведей встречаются засранцы: где пожрёт, там и нагадит. Хотя обычно ходят они в сторонку подальше от мест своей пасьбы.

– Получается, что лай нашей Астрочки был ему до лампочки? – в рифму спросил я и обвёл руками весь взбуровленный участок: – Кабы испугался, столько б не наворотил!

– Он либо старый, матёрый, или же наоборот – пестун неопытный. Медведь – зверь умный, осторожный и коварный. Старый наверняка нас засёк и определил еще засветло, всё оценил, дождался ночи и начал пастись. Молодой же мог случайно, на запах, выйти сюда, а жадность, да и рясная черника перебили всю осторожность. – Лукич на самую малость задумался и уверенно закончил: – А ветерок с вечера, как я помню, дул с белка, что и дало Мишке время хорошо подъесть и раскурочить эту полянку. А как тока ветер сменился, Астра его и учуяла...

Тунгус, что всю дорогу, пока мы лезли по дурбею и кушерам, плёлся позади, терпеливо дожидаясь, когда мы примнём траву и кустарник, с выходом на плантацию, где венчики черники и ему всего-то лишь по брюхо, так обрадовался свободному пространству, что принялся носиться и нарезать круги по поляне. Два раза даже перевернулся через голову, что совсем не сбило его куража.

Остановиться же пса заставила куча медвежьего помёта, на которую он напоролся, продолжая раскручивать свою неистовую беговую спираль. Тормозя, Тунгус выбросил перед собой передние лапы. Это и спасло от того, чтобы ему не вляпаться в свежую и такую пахучую кучу. Тунгус осторожно обнюхал её; хвостик, только что торчавший вверх пистолетом, сник и вжался между ног в подбрюшье. Пёс прижал уши и попятился назад, а когда поравнялся с нами, глянул искоса в нашу сторону, да и резво скакнул обратно в ту просеку, что недавно, идя сюда, промяли мы.

– Ты чего это, братишка, струхнул-то? – громко бросил вдогонку Лукич. И будто неразумному человеку отечески прокричал: – Убежишь – потеряешься. Потеряешься – пропадёшь.

Самое любопытное случилось, едва старый таёжник умолк. Уже исчезнувший в травяных зарослях Тунгус вернулся на поляну. И сделал это напрямую через стоящую стеной высокую траву, а не как мы ожидали по тропинке назад. И не испугался ведь, бедолага, ни толстых бодылей и стеблей маральего корня, дягиля и пижмы, ни сплетений вязели. Пулей вылетел на ягодную плантацию и, виляя хвостиком и преданно изгибая спину, приковылял к нам.

Обратная дорога домой (пусть и была с виду легче: почти всегда петляла под гору, исключение составил лишь крутой полуторачасовой подъём с черничной перемычки на вершину белка) по времени оказалась примерно равной тому пути, которым мы карабкались сюда: на спуск ушло также около восьми часов.

Со стороны глянуть: беги себе вприпрыжку вниз по крутой дорожке да припевай! Ан, нет! Немалый груз за спиной да крупный щебень и

сколы под ногами не шибко-то дают разбежаться! И потом – спроси любого опытного алтайского таёжника, что предпочтительней: спуск или подъём? Почти каждый, не раздумывая, ответит: «конечно же, подъём». Причём, знаю по собственному опыту – хоть гружёному, хоть порожнему. Уже одно то, что при подъёме на колени нагрузка ослабевает, для человека значит немало. А торопиться, гнать с горы – можно и шею свернуть.

Паевки наши были наполнены отборной черникой под завязку. Тёплые вещи, как и пакет с посудой, я приторочил поверх крышки, накрепко притянув жгутом. Лукич рассовал своё в кармашки и пустоты рюкзака. Подъём преодолели спокойно. Змей не встретили ни одной, за эти два дня гадюки расползлись по норам теперь уж наверняка до первого весеннего грома.

Астра бежала впереди, иногда обшаривала плиты и валуны; Тунгус уныло плёлся позади, всем видом показывая, как жить бедному бродяге трудно и как ему опостылели эти грёбаные вершины и утёсы. Пёс приободрился, когда мы продолжили путь по рыжеватому, поросшему вереском плато. Он даже несколько раз забегал вперёд и, энергично крутя хвостиком, преданно заглядывал нам в глаза: почто, мол, не кормите, люди добрые? Видели, как я отважно взбирался вверх? Между прочим, все подушки на лапах себе сбил!.

– Потерпи чуток, братишка, – словно прочитав его мысли, вслух обратился к пёсику Лукич, когда тот в очередной раз перегородил нам дорогу. – У давешнего ключика сядем перекусить, тогда-то и почавкаешь вволю.

Пёс недоверчиво посмотрел на Лукича и посторонился. Как ни странно, но за тот час ходу, что оставался до ручья, Тунгус уже больше ни разу не забегал вперёд, а, опустив голову, молча тащился сзади. Ну как тут не поверишь, что братьям нашим меньшим речь человеческая вполне понятна, вот только сказать что-нибудь в ответ они никак не обучатся.

Из леса на окраину посёлка мы вышли ближе к ночи. Ремни так врезались, что думалось: как бы плечи не отвалились. На последних привалах у нас не было сил, чтобы стащить с себя тяжеленные паевки и прислонить рядом к стволам пихт, а самим блаженно вытянуть нахоженные ноженьки. Теперь отдыхали, переводили дух, отыскав удобные бугорки или невысокие подходящие навесы над дорогой, чтобы, попятившись, поставить низ своих паевок на твёрдую поверхность, тем самым ослабляя давление ремней на плечи. Астра, понимая, как мы устали, больше не шныряла по кустам, а степенно шла рядом с Лукичом. Зато Тунгус, откуда только силы взялись, носился как угорелый и перед нами, и по зарослям сбоку.

– Вишь ты, учуял дом. Радуется, – добродушно ухмыльнулся Лукич. – Сейчас улизнёт и ищи-свищи парня!

И действительно, только мы перешли мост через Ульбу, пёс будто растворился среди низеньких кустов на сумеречной полянке, за которой на взгорке зыбко проступали заборы и крыши поселковых домов. На столбах вдоль переулка зажигались первые фонари. Я покричал, подзывая собаку, но никто не откликнулся, не подбежал...

Прошёл месяц. Однажды решил я сходить, побродить по сентябрьскому пойменному лесу, поискать опят. Утро солнечное, по-осеннему тихое, листва на деревьях жёлтая и багряная. Воздух горьковато-сухой. Бодро шагаю по переулку, сейчас спуск, полянка, невдалеке речной мост.

Гляжу и не верю своим глазам: с полянки, весело повиливая куцым хвостиком, бежит мне навстречу ни кто иной, как бродяга Тунгус. А у меня как назло ни крошки хлеба, ни жареного куска мяса в сумке, только ножик – срезать с пеньков опят. И возвращаться за гостинцами далеко.

Мелькнула мысль: неправ был Лукич. Всё-таки мы не кошёлки для пёсика, а что-то большее, коль он с такого дальнего расстояния узнал меня и бежит со всех ног здороваться! Ай да молодец Тунгус! Давай-ка пожалеемся! И я протянул подбегающему пёсику свободную руку. Однако Тунгус, поравнявшись, ловко вывернулся и, даже не глянув в мою сторону, понёсся дальше.

Я так и замер на месте, в полном недоумении машинально поворачивая голову вслед за убегающей собакой. И тут же всё понял.

Позади, метрах в семи за мной у калитки остановилась видимо ходившая за покупками в магазин пожилая женщина, поставила большой пакет с продуктами на лавочку, склонилась и начала рыться в нём. Тунгус уже рядом, крутится возле старушки и так подпрыгивает, что еще чуть-чуть и с лёгкостью сделает сальто в воздухе. Да, может, и не одно!

Я постоял с минуту посреди дороги и пошёл дальше, напоследок усмехнувшись про себя: ну, что же тут поделаешь? Может, с грибами больше повезёт...

ВИКТОР МЕЛЬНИКОВ

ТЕЛЕФОН ВРЕМЕНИ

Непонятное напряжение звенело в воздухе. Что-то должно было произойти, хотя утро начиналось вроде бы вполне обычно.

За окном разливался сладкий весенний воздух. В небе над деревьями крикливые птицы водили хороводы. Захар Савельевич вышел на лоджию и решительно открыл створку окна. Через несколько минут он понял, что сегодня ему дома не усидеть. Кликнул жену:

– Оля! Может, прогуляемся? Смотри, какая красота на улице!

Женщина не ответила. Шагнув обратно в квартиру, Захар увидел, как жена перебирает на диване летние платья. Второй раз он не решился повторить приглашение, понял, что жена не в духе. Только сказал:

– Пойду прогуляюсь.

Долго подбирал к костюму рубашку, будто не на прогулку собирался, а по крайней мере на деловой приём. Жена не обращала на него внимания, увлечённая своим занятием. Много времени ушло на выбор галстука. Хотя в конце концов решил от него отказаться. Взглянул напоследок в зеркало и подмигнул своему отражению: хорош! Умное лицо, лёгкий прищур карих глаз, горделивый чуб, зачёсанный набок. Щетина на щеках отливала серебром и как бы даже молодила его. По привычке брызнул одеколоном.

Причину своих столь тщательных и долгих сборов на обыкновенную прогулку Захар Савельевич мог бы объяснить. В нём росло странное ощущение, что там, на улице, его ждало что-то такое важное, от чего изменится жизнь. И чем ближе к выходу – тем сильнее.

Захар Савельевич вспомнил, что подобное ему пришлось пережить давно, ещё когда родился внук, а потом и позже, когда того крестили.

В те дни стояла осень, и было видно, как по блестящим листьям струился серебряный свет. А с неба звучал высокий торжественный звон. В храме было празднично от золотых икон, и дети в белоснежных крестильных рубашечках казались ангелами. Новоиспечённый дед, немало проживший на свете, с волнением вдыхал запах ладана и смотрел, как батюшка высоко приподнял его внука – будто вручая Самому Христу...

Несмотря на свой возраст, Захар Савельевич молодцевато сбежал по лестнице и открыл парадную дверь. В грудь холодно и сыро ударил плотный весенний воздух. Просторный двор пока был безлюден. В углу трепыхалось на ветру бельё. Захар Савельевич глубоко вздохнул, натянул поглубже кепку и бодро зашагал вперёд.

Эта зима показалась ему непривычно долгой. Может быть, потому, что она была первой в его пенсионной жизни. С утра никуда не надо торопиться, если только мусор вынести. Дел по дому никаких, один телевизор да разговоры с женой. Да и разговоров-то стало немного. Бывали вечера, когда вообще молчали. Вроде бы поводов для обид и ссор не было, и сами не знали, на что злились. Будто бес какой в них вселился или кто-то сглазил, позавидовав их дружной семейной жизни...

Раньше Захар Савельевич всегда первым уходил на работу, и жена, стоя у окна, прощально махала ему рукой. Днём не раз переговаривались по телефону, а вечером вместе возвращались домой. Куда всё это делось?

Ноги как-то сами собой вынесли на окраину города. Здесь Захар Савельевич родился, здесь прошло его детство... Дом продали после смерти родителей и перебрались в городскую квартиру. Давно не бывал Захар в этих местах, хотя тянуло его сюда и не раз собирался прийти.

До стекольного завода он дошёл быстро, а затем зашагал не спеша, рассматривая сады и дома. Строения тут стояли разные: и дома, и домища. Но в основном – развалюшки, покривившиеся, остывшие, осевшие в землю. Нерадостны были и наличники, почерневшие от осенних дождей. По тротуарам ребятня отчаянно гоняла на велосипедах и скейтбордах. Захар Савельевич уворачивался как мог. В конце концов сошёл с тротуара на газон. Около одного дома заметил скамейку. Направился к ней, вытер вспотевший лоб и, опершись рукой, тяжело сел. Только сейчас он почувствовал, что чертовски устал. А мальчишки продолжали носиться, объезжая своих «скакунов».

Немного отдохнув, Захар Савельевич встал, запрокинул руки за голову, потянулся. На другой стороне улицы, под деревом у покосившегося дома неожиданно увидел... старую телефонную будку! Им овладело любопытство. Откуда она тут? Когда жил здесь, её точно не было. Имелся в их районе телефон-автомат, но он стоял около магазина. А магазин – совсем в другом конце посёлка...

Захар Савельевич подошёл к «антиквариату». Вид у будки был, конечно, не первой свежести. Краска обшелушилась, дверные стёкла разбиты, стены исписаны. В основном, пылкими признаниями: «Любаша! Я тебя люблю!», «Катя + Рома = любовь», «Длинный! Ещё раз увижу с Надькой, ноги повыдергаю!». В общем, теми словами, которые адресат не отваживался сказать вслух. Были нацарапаны и номера телефонов. Пятизначные – тех лет.

Телефон в будке оказался цел. Захар Савельевич с любопытством поднял трубку. Она отозвалась непрерывным гудком. Однако дальше дело не пошло – требовались старые двухкопеечные монеты. Мужчина разочарованно вышел из будки, плотно прикрыв за собой дверцу.

Вечером дома он вдруг вспомнил, что у него где-то должен храниться школьный пенал с советскими монетами. На его счастье, пенал отыскался, было цело и содержимое. Захар Савельевич обрадовался этому привету из детства, но жене ничего не сказал.

Он еле дождался следующего дня. Быстренько позавтракав, выскочил из дома. Его словно подталкивала какая-то сила. Почти бежал, будто опасаясь опоздать. А куда? На свидание со старой телефонной будкой? И что ждёт впереди – тоже не знал. Ну, войдёт сейчас в эту будку, бросит старую монетку, а где гарантия, что телефон сработает? Да и какая в том надобность? Позвонить он может в любое время, хоть с домашнего телефона, хоть с сотового, который всегда в кармане. И всё-таки Захар торопился.

Будка стояла на месте, никуда не делась. Мужчина потянул дверцу на себя, и она со скрипом отворилась. Краешком глаза Захар заметил, что в эту же минуту на противоположной стороне улицы открылась калитка, и из неё вышла дряхлая старушка. Она никуда не пошла, села на лавку. Показалось, что она во все глаза смотрит на Захара. Это смущало, но он забыл о старушке, как только прикоснулся к телефону. Снял трубку, погладил её. Бросил «двушку». Внутри автомата что-то троекратно щёлкнуло, и раздался гудок. Захар оторопел. Ему даже показалось, что и в нём что-то сработало, как в этом старом телефоне, и на какой-то миг перенесло в давний мир детства. Дрожащими пальцами он набрал номер родительского телефона.

На том конце провода отозвался женский голос:

– Да, я вас слушаю...

Захар Савельевич чуть не выронил трубку. Он узнал голос матери.

Какая-то зыбь пошла вокруг: то ли от волнения в глазах помутилось, то ли действительно изменилось пространство.

– Говорите, пожалуйста, – сказала мать.

Захар, еле сдерживаясь, произнёс тихо:

– Мама, это я...

От своих слов он чуть не сошёл с ума. Будто не было временного расстояния! Будто бы только утром расстались.

– Захарушка, у вас что, занятия уже закончились? Может, ты пораньше домой придёшь?

– Не совсем, – с трудом выговорил он. – У нас ещё физра будет.

Мать назвала его, как в детстве, и он снова почувствовал себя прежним мальчишкой. В груди всё клокотало и пело.

А невероятный диалог продолжался.

– А я затеяла на сегодня беляши, – говорила мама. – Ты только не опаздывай. Приходи к горячим. Может, с Олюшкой придёшь?

– Наверно, нет, – испугался Захар Савельевич, перепутав прошлое с настоящим. Сообразив, что речь идёт о той Олюшке, которой ещё семнадцать, а не о взрослой женщине, прожившей с ним жизнь, он поправился: – Придём, если она захочет.

– Скажи, что это я её пригласила. А вы, случаем, с ней не поссорились? – насторожилась мать.

– С чего ты взяла? Просто она после занятий ходит на репетиции КВН.

– Ну хорошо. Жду вас в любое время.

В трубке раздались гудки. «Похоже, я совсем спятил, – оторопело размышлял Захар Савельевич. – Ну как это можно разговаривать с человеком, которого давно нет на свете?! Или я понемногу схожу с ума, или действительно существует "параллельное пространство". Если это так, то ведь можно пусть не вернуть на землю умерших людей, но хотя бы разговаривать с ними». У него было ощущение, что оказался причастен к великой и непостижимой Тайне мира. Захар тряхнул головой, стараясь отогнать наваждение, но всё осталось по-прежнему: и яркий солнечный день, подёрнутый почти незаметной зыбью, и эта древняя будка без стёкол со смешными надписями по стенкам и ровно гудящей в руке чёрной трубкой.

– Надо проверить, – пробормотал Захар и дрогнувшими пальцами достал ещё одну «двушку».

Он позвонил другу, который давно погиб, ещё в Афгане.

Трубку подняли не сразу. Захар Савельевич было подумал, что на этом и закончились его открытия, но вдруг в трубке зазвучал знакомый, чуть хрипловатый голос:

– Алло, говорите...

Это был он, Виталик Ходасевич. Захар ответил ему не сразу:

– Привет, дружище... Рад тебя слышать.

– Ты чего такой взволнованный? Что-нибудь случилось?

– Да нет, всё в порядке...

Хотелось задать столько вопросов! Но язык словно онемел.

– Ну так заходи в гости. А то меня ведь скоро в армию загребут. Мама тебя недавно вспоминала. Приходи!

– Обязательно приду! – крикнул в трубку Захар Савельевич. – Ты только без меня в армию не уходи!

В голове у него всё окончательно перепуталось. Мысли, одна смелее другой, теснились и обгоняли друг друга. Он решил навестить родительский дом, хотя точно знал, что его снесли лет пять назад.

Захар вышел из будки. В тот же миг поднялась со скамейки и бабушка, открыла калитку и будто рассеялась в пространстве своего двора. Когда он пересёк улицу, калитка оказалась запертой намертво. Как он ни стучался, никто не вышел.

...Захар Савельевич не спеша шёл по старой аллее, которая должна была вывести к родительскому крову. Но чуда не случилось. Множеством окон светилась девятиэтажка с шестью подъездами. По центру двора, как раз там, где стоял их дом, заасфальтировали большую площадку под автостоянку.

Захар почувствовал опустошение. Шагал по знакомым улицам, будто совершенно чужой человек. Люди проходили мимо незнакомые, а было время, когда его здесь знали, и каждый считал за честь поздороваться с ним. Да что люди! Каждый камешек был родным, каждая трещинка на тротуаре! А сейчас одна тень бредёт за ним, и то как чужая.

Захар вернулся домой. Жена удивлённо взглянула на него:

– Ты чего, Савельич? Случилось что? На тебе лица нет!

– Не обращай внимания... Просто устал...

Уединился в своей комнате, и, вытащив на стол кляссер, стал перелистывать тяжёлые страницы со старыми марками. Марки были всего лишь маскировкой. Он попытался отгородиться от жены. Боялся, что разговорится с ней и выболтает свою Тайну. Поверит ли она ему? Нет. Только посмеётся, приняв рассказ за сумасшедший бред. Да и как в такое можно поверить? А может, он от пенсионного безделья и впрямь сходит с ума? Но откуда тогда ощущение, что его жизнь обрела какой-то другой смысл? Появился лучик света, который выхватывал иную реальность! Укладываясь спать, Захар хотел только одного – чтобы скорее наступило утро. Чтобы снова поговорить с матерью.

Он часто видел её во сне. Этот сон являлся много раз.

Стоит жёлтая осень, тревожно кричат журавли, летящие длинной стаей. Воздух уже настолько прохладный, что хватает за уши. Небо закуталось в тучи, точно в тёплую шаль. Захар бредёт по незнакомой аллее. Она такая узкая, что он то и дело натыкается на ветки деревьев. И вдруг в конце аллеи видит женский силуэт, который машет ему рукой. Он подходит ближе и узнаёт мать. А вокруг плотным слоем ложатся влажные листья – красные и жёлтые. Он прибавляет шаг. Мокрая трава бьётся о колени. Захар бежит на зов её руки, а расстояние никак не сокращается, будто он стоит на одном месте. И когда до матери остаётся совсем немного, он поскальзывается и падает, ушибая колени и руки. Пытается встать, но тело не подчиняется...

Сон повторился и сегодня. Захар проснулся от того, что его трясла за плечо жена.

– Проснись! Что за сон тебе снится? Кричишь во сне, машешь руками. С тобой страшно даже спать: того и гляди по лицу ударишь... Насмотрелся на ночь телевизора...

Захар встал, пошёл на кухню, выпил большую кружку холодной воды. Часы уже показывали утреннее время. До разговора с матерью осталось не так много времени.

Утром объяснять жене, куда отправился, не пришлось. Когда Захар проснулся, её уже не было. Вот и хорошо. Он вспомнил, что Ольга собиралась к дочери, посидеть с внуками. На столе, прикрытый полотенцем, ждал завтрак. Захар Савельевич обожал такие минуты одиночества. Но сегодня он позавтракал торопливо, не перечитывая вчерашних газет, наскоро помыл за собой посуду.

Перед уходом залез в своё потаённое место, извлёк очередную волшебную монету. Подбросил на ладони потускневший кругляшок и направился к выходу.

Весна совсем разгулялась. От сугробов остались крохотные островки почерневшего льда. В некоторых местах начала пробиваться трава.

По дороге никто не встретился. Неудивительно – время рабочее. Захар Савельевич едва сдерживался, чтобы не сменить шаг на бег. Так он делал иногда в студенческую пору, возвращаясь домой. Хоть приходил иногда поздно вечером или совсем за полночь, мать всегда выходила встречать в прихожую, помогала раздеваться, на ходу расспрашивая, как прошёл день. Это было каким-то ритуалом. И только когда Захар

допивал чай, к нему выходил отец. Начинались те же расспросы, но в иной, так сказать, тональности. Отец умел как-то сразу всё проанализировать и решить проблемы сына, не откладывая на завтра. Тем не менее Захар не любил эти разговоры – это были расспросы, похожие на экзекуции. И вот только сейчас, через эти прошедшие годы, всё решительно поменялось местами. Теперь сын боялся, что никогда не услышит материнского голоса. И торопился, торопился...

Он успокоился, когда увидел впереди себя знакомый объект, ставший за минувшие два дня необходимым, как воздух.

Захар Савельевич вошёл в будку, не забыв оглянуться через дорогу. Там отворилась калитка и показалась бабушка. Она села на скамеечку и начала грызть семечки. «Вредная старуха, – подумал про неё Захар. – Ну чего ей не сидится дома? И надо же: выходит всегда именно тогда, когда появляюсь я».

Он вытащил из кармана «двушку», опустил её в щель автомата. Внутри раздался какой-то двойной перестук, видимо, соединивший его с прошлым миром. Мужчина с тяжёлым вздохом набрал знакомый номер.

– Я слушаю, – торопливо отозвался материнский голос изнутри. Будто она долго ждала этого звонка.

– Мама, это снова я, – раздельно, с расстановкой произнёс Захар Савельевич.

– А ты почему звонишь? – испугалась мать. – Снова поздно придёшь? Что-то ты, Захарка, загулял. Перестал совсем к занятиям готовиться. Я давно уж тебя не видела с книжкой в руках. Смотри, отчислят из института, тогда прямая дорога в армию. А время сейчас, видишь, какое? Война... Всю молодь в Афган гонят.

– Да нет, мама, – попытался успокоить сын, – у меня всё в порядке. Просто мне нравится с тобой разговаривать по телефону. Это так романтично! Ты совсем другая...

– Это какая же? – перебила она его.

– Ну, как ровесница, – открыл душу Захар.

– Отец то же самое говорит, – согласилась мать, – что мы с тобой, как подружки. Считает, что мне с тобой надо быть построже.

– Да, наш папка – настоящий фельдфебель, – засмеялся Захар Савельевич.

– Никакой он не фельдфебель! – защитила мужа Евгения Васильевна. – Просто он хочет, чтобы ты вырос настоящим мужчиной, чтобы у тебя всё в жизни сложилось благополучно...

– Извини, мама, – смутился Захар. – Я не то хотел сказать. Папка у нас молодец. Я его очень люблю... и тебя тоже.

– А как у тебя с Олечкой дела? – в голосе матери послышались тревожные нотки. – Ты её любишь?

– Мы оба любим друг друга. Она у меня одна...

– Не морочь девчонке голову, – встревожилась мать за будущую невестку. Она хорошая. И любит тебя, дурака, по-настоящему. Недавно была у нас в гостях, пока ты где-то болтался по городу.

– Жаловалась, что ли, на меня? – настороженно спросил Захар Савельевич.

– Про тебя вообще ни одного слова не было. Простые женские разговоры. Я заметила, что Оле приятно бывать у нас. Ей не хватает нашего дома. Почаще приходите вдвоём! Постарайся не потерять её. Понимаешь, в молодости можно наделать таких ошибок, что потом и жизни не хватит их исправить.

– Мама, у нас всё хорошо, – Захар почувствовал, как что-то защемило внутри. – Лучше пеки пирожки, после занятий мы заявимся вдвоём. Что-нибудь по дороге купить?

– Да ничего не надо. Если только кефира отцу на вечер.

Всё в жизни Захара так и сложилось, как мечтали родители. Он окончил институт, женился на Оле. Захар Савельевич вспомнил про жену, и ему за многие годы стало вдруг стыдно перед ней. Как-то неправильно они жили последние годы, будто что-то надломилось в их отношениях, исчезло, и стали они похожи на чужих людей. «Постарайся не потерять её» – вспомнил он слова матери. И ударил себя кулаком в грудь. «Дурак, какой я дурак! Ведь мы были счастливы и любили друг друга! Куда всё это делось? Вот, наверно, для чего оказался на моём пути этот старый телефон, чтобы помочь исправить жизнь».

Домой он не пошёл, а направился сразу на квартиру к дочери. По дороге зашёл в цветочный киоск, купил букет алых роз. Он уже не помнил, когда дарил жене цветы, и потому сейчас ему неловко было нести их, он застенчиво прятал букет за спину, стесняясь прохожих.

У него были ключи от квартиры, но захотелось, чтобы жена сама открыла дверь. Захар долго звонил. И наконец услышал, а вернее, угадал шаги Ольги. Она стояла на пороге с внуком на руках. Захар Савельевич почувствовал, как сердце зашлось от нахлынувшей нежности.

– Ты?! – удивилась жена, стараясь разглядеть, что он там прячет за спиной.

– Вот, пришёл... – неопределённо пробормотал Захар Савельевич. – Знаешь, давай вместе ходить к внукам! А то вырастут и знать меня не будут. Вроде был дед, а вроде бы его и нет. – И протянул жене букет: – Это тебе!

– Захар! Не верю! – совсем по Станиславскому воскликнула Ольга. – Наверно, что-то дома натворил. Судя по обилию флоры, ты, по меньшей мере, разбил наш свадебный сервиз. Впрочем, спасибо!

Она отступила, пропустив мужа в квартиру.

Пили чай на кухне. Жена протянула руку, двумя пальцами дотронулась до щеки Захара.

– Совсем ты зарос. Лицо колючее, как кактус.

– У молодых это сейчас называется «трёхдневка», – нашёлся он.

– Совсем перестал за собой следить... Неужели не стыдно?

– Для пенсионера сойдёт, – попытался отшутиться Захар Савельевич.

– Ты не пенсионер. Ты русский инженер Захар Воронин. – И добавила: – Вспомни своего отца. Он каждое утро брился... А было ему тогда под девяносто...

Вечером домой возвращались вдвоём. Шли под ручку, словно молодые. Ольга подумала вслух, что в этом виновата весна. В голове у Захара всё спуталось, и он чуть было не зашёл в гастроном за кефиром для отца.

Телефонные разговоры с матерью продолжались. «Двушки» понемногу иссякали, и наконец наступил тот день, когда в пенале осталась одна-единственная.

Захар Савельевич решил не беречь её.

На дворе уже стояло лето. Над городом неслышно летал тополиный пух. Кругом было белым-бело, как в зимнюю стужу. Трамваи носились в этом пушистом снегу, словно лыжники.

Захар Савельевич шёл размеренным, неторопливым шагом, крепко сжимая в кулаке старую монетку – пропуск на последний разговор. Вот уже дошёл до рынка и свернул направо к стекольному заводу. Прошёл под его бетонным забором и снова свернул направо. Около проходной стояла одинокая фура. По тротуару навстречу промчались два велосипедиста, лихо задрав передние колёса вверх. За ними прошла ветхая старушка, похожая на его незнакомку. Захару стало жарко. Он расстегнул две верхние пуговицы на рубашке. Теперь ещё раз свернуть направо, и он увидит дом с деревом, под которым ютится его поржавевшая телефонная будка...

Но ничего за поворотом не было.

Спиленное дерево лежало на земле, а на месте, где стоял телефон, рабочие в оранжевых куртках рыли котлован. Впереди зияла пустота. Захар подошёл к рабочим. Упавшим голосом спросил:

– Что здесь такое?

– Магазин здесь скоро будет! – воткнув лопату в отвал, весело ответил один.

– А здесь телефонная будка стояла... Где она? – поинтересовался Захар Савельевич.

– Где и положено быть: на свалке.

– Как же так? – разочарованно произнёс Захар Савельевич. – Телефон же цел был... По нему звонили...

– Ну и шутник ты, дед! Как это можно было по такой рухляди звонить? Ты бы шёл отсюда, не морочил голову людям, – потеряв к нему всякий интерес, отмахнулся рабочий.

Захар Савельевич послушно отошёл, сел на спиленное дерево. Хотелось заплакать. Было такое чувство, точно он похоронил свою мать вторично. Будто не только тело, а сама душа её ушла в пустоту, а он остался один. Хотя, конечно, не один. С ним – его жена, дети, внуки... Но всё равно чувство одиночества стиснуло его железной хваткой.

И тут он вспомнил про давешнюю старуху. Она была свидетельницей! Она могла подтвердить, что всё это ему не привиделось!

Лавочка у калитки была пуста.

Захар тяжело встал и направился к таинственному дому. Стучал долго, пока наконец не услышал, как входная дверь открылась, и кто-то начал спускаться к калитке. Отворила молодая женщина. Захар Савельевич смутился и через минуту с волнением спросил:

– Можно мне поговорить с бабушкой, которая здесь живёт?

– Так она давно умерла. А вы что, её знали? – с интересом спросила симпатичная хозяйка.

– Да нет... просто иногда видел, как она сидела здесь, на скамейке. Приметная была старушка, – ответил ей Захар Савельевич.

– Так когда это было! – воскликнула женщина. – Целая вечность уже прошла. А насчёт приметности вы правы... Под старость она чудить начала, появились у неё такие, как бы это сказать... видения, что ли. Мы по первости думали, что она в детство впадает, а потом заметили, что её предсказания сбываются. Маленькие такие предсказания, в пределах нашей улицы, но всё равно занятно было... Говорила она, что место у нас тут какое-то особенное; да кто же сейчас проверит? Умерла давно бабушка... Ну, прощайте.

И, не дождавшись ответа, закрыла калитку.

Захар Савельевич сел на ту самую скамейку. Таким утомлённым он никогда себя не чувствовал. Потом эта усталость отозвалась болью в сердце. Он достал из кармана таблетку валидола и положил под язык. «Зачем я сюда пришёл? – подумал он. – Был же какой-то смысл в том, что я здесь оказался? Конечно же, был! Я себя потерял, без боя сдался пошлой рутине и скуке, а прошлое вернуло меня самому себе! Но теперь... Теперь надо подниматься! Семья ждёт. Будущее ждёт!».

И он встал и пошёл. И чем дальше он отходил от этого дома, тем легче становилось на сердце.

ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВ

«АФГАНЕЦ»

Кирилл выкроил наконец несколько дней, взял билет на удобный экспресс в сидячий вагон, прихватил в день отъезда гостинцы из вкусной кондитерской и прискакал прямо с работы на Курский вокзал за несколько минут до отправления. Упав на кресло и переведя дух, осматривался. Как-то сразу взор споткнулся о соседа, крепкого поджарого мужчину. Он сидел в ряду через проход, читал книгу. Вяло блуждая по объемному полупустому салону, глаза несколько раз ещё возвращались к этому крепышу. «Знакомое очень лицо, мой ровесник примерно, – отметил Кирилл. – Где-то пересекался с ним, причем в юности, при Союзе. Но где?.. Жаль, глаз не видно почти». Понаблюдав ещё немного, понял, кого он напоминает: «На того самого «афганца» очень похож. А что, спрошу, – решил Кирилл, не раздумывая. – Рядом с ним никого. Ошибся – невелика беда». Дождавшись, пока поезд тронется, наберет скорость, встал и сделал несколько шагов к соседу.

– Простите, мне кажется, мы встречались давным-давно. Вы не служили в Афгане в восемьдесят втором?

Крепыш нехотя поднял глаза с книги, оглядел пытливо обратившегося, и не узнав, скупо бросил: «Было дело».

– В середине лета вы прибыли с колонной машин на нашу сторону Амударьи, в пограничный Термез, – настырно напоминал Кирилл, почти уверенный уже, что не обознался. – Что-то привезли, чем-то загрузиться должны были. И перед дорогой обратной заглянули на местное водохранилище покупаться. С сослуживцем... На ГАЗ-66.

– ...Был, был такой эпизод, – подтвердил крепыш, морщиня лоб, прищуривая глаза, и через мгновение встрепенулся: – А-а, вы тот сту-

дент, что с приятелем, кажется тоже студентом, отдыхали там... Точнее от жары спасались... Да-да. На каникулы приехали домой... Угощали нас пирожками домашними, арбузом, чаем. Говорили о том о сём... Я про себя, кажется, рассказывал: выговорился по случаю... Хорошо так окунулся в мир, разомлел.

– Всё старались угодить вам, – продолжал вспоминать подробности довольный Кирилл. – А то мы балдеем, гладь да тишь вокруг, а вам не сегодня-завтра встреча с духами маячит... и неизвестно ещё, как всё обернется. Само собой, узнать хотелось из первых уст, что там «за речкой».

– Да-да, так и было, – закивал оживленно крепыш, откладывая книгу. – Рад, рад увидеть... Вы далеко едете?

– В Нижний Новгород – маму навестить. А вы?

– Во Владимир.

– Так у нас времени полно, – обрадовался Кирилл. – Может, я пересяду, поговорим? Как?

– Да-да, конечно, – согласился сразу «афганец», закрывая книгу. – Простите, не помню имени вашего.

Кирилл назвался, перетащил свою дорожную сумку со старого места на новое и присел.

– А я ваше помню, – похвалился он. – Степан. Так?

– Точно, – улыбнулся тепло крепыш.

– Да-а, тесен мир, – покачал головой Кирилл. – Больше тридцати пяти лет прошло – надо же... Я потом ещё долго возвращался к той случайной встрече, к истории вашей... тогда уже необычной. Думал, живы – нет? Мысль даже была разыскать вас в Москве, когда доучивался в вузе. Вы же москвич?

– С девяти лет.

– Но фамилию забыл, адресами мы не обменялись... Отец ваш, помнится, генерал. И брат у вас был. Вы с ним двойняшки. Поступали оба в МИФИ да провалились. Откосить хотели от армии, отец не дал... и после призыва от Афгана не отвел... Служили с братом вместе, где-то на передке. Брата ранили тяжко и в плен захватили – погиб... жутко погиб. Я даже под впечатлением пару четверостиший написал – баловался тогда. Задело ваше настроение.

– Вот как, – глухо удивился Степан. – Может, прочтете, если не забыли, конечно.

– Не забыл. Сейчас, повторю про себя... Да, такие вот строки:

Он вновь и вновь перед глазами
Живой, веселый и лихой солдат,
Но чаще – труп, изрезанный ножами,
Не всеми узнан был мой брат.
Афганский зной не замечаю,
На мины, пули наплевать.
Зачем я здесь, теперь я знаю –
За муки брата убивать.

Степан отвел голову к пролетающей за окном густо-зелёной стене июньского придорожного леса, с полминуты молчал, потом неровным голосом оценил:

– Не Симонов, но это точно было у меня на сердце... На бумаге мне черкните, пока едем, не забудьте. Бумага, ручка есть. И будем на «ты».

– Конечно черкну, – пообещал Кирилл. – Я, кстати, после той встречи не раз ещё расспрашивал наших военных-«афганцев»: что там и как. Неоднозначная картина выходила по рассказам, как и у тебя. А прежде официальную версию целиком разделял... Только вошли в Афган, от души вполне выскочило пафосное такое четверостишие. Прочесть? Для контраста. И не буду больше докучать своими старыми виршами.

– Ну-ну, интересно.

– *В походе далеком советский солдат*
Надежно свой долг исполняет.
Опять боевыми его автомат
Чужая беда заряжает.

– Неплохо, – кивнул из вежливости Степан. – В русле советского интернационализма. И я так думал поначалу... Со временем, когда вгляделся в местных по обе стороны баррикад, стало доходить мало-помалу, в какое болото раннефеодальное и многоплеменное мы влезли со своей военной машиной. Свой у них интернационализм... А мы уже увязли – на радость янки... Вроде опытом обросли, контакт какой-никакой есть с афганскими армейцами, придавливаем духов. Но сопротивление не слабеет. Чуем на своей шкуре – растет их поддержка извне: оружием, деньгами. Конца-краю не видно... Нужны мы здесь с огнем и мечом? Иных забот что ли нет? Донимали вопросы... Потом брата... Вопросы исчезли. Ротный всё пытался меня придержать. «Не лезь на рожон! – орал. – Семью пожалей, дурак!». ...И насчет долга солдатского: краснеть нам не за что по большому счету.

– Теперь как думаешь: стоило входить в Афганистан, нет? Спорят всё.

– Зря влезли с армией. Даже, если бы Бог миловал и не рулил событиями Горбачев, а потом Ельцин, и сохранился бы Союз, цвёл и рос – все равно зря... Напрасное дело – чужбину наставлять на путь истинный. Легче недруга нажить, чем друга – жизнь показала... О каких только диковинных странах ни хлопотали. А свою необъятную ослабляли, проворонили в конце концов. На века она, думали. Её надо было беречь, крепить, лелеять – банально звучит да верно.

– С армией зря. А что надо было?

– Что надо?.. Да по-соседски исключительно, тайно помогать симпатичной стороне: советами, оружием, ресурсами кое-какими. Скромненько так помогать. И кто победит – тот победит. С теми и ладить, если не дружить. Мы же это умели... Столько лет ладили с шахами афганскими. Торговали тихо-тихо, объекты хозяйственные строили к выгоде взаимной. Самая спокойная граница была в Союзе. Ты же вырос там, лучше меня знаешь.

Кирилл задумался немного и тотчас заулыбался:

– Конечно, спокойная... Помню такой случай. На окраине нашего города был зоопарк – и поныне он живой. Амударья там рукой подать. Сразу от зоопарка в сторону реки шла в несколько рядов ограда из колючей проволоки – отсекала город от приграничной запретной зоны. Для обитателей зоопарка воду подавали из Амударьи по каналу, довольно широкому. На его входе в зоопарк стояла мощная стальная

решетка. Но мы проныры – лет по двенадцать-тринадцать было – нашли ходы, пробирались из зоопарка в охраняемую зону и рыбачили на канале. Рыба непуганая, клевала как бешеная: усачи, сазаны, сомята, змееголовы некрупные попадались. С вышки наблюдательной – неподалеку торчала – пограничники нас засекали, как ни старались мы затеряться в камышах. Наблюдали за нами в бинокль. Поначалу мы поглядывали нет-нет в их сторону – вдруг нагрянут, успеть надо дать дёру, в зоопарк вернуться – на вольную землю. Но нас не трогали, давали рыбачить. Пока не попались однажды юнцы-погранцы, что покуражиться решили – со скуки. Подкрались двое скрытно, наставили грозно автоматы. Пленили. На заставе, говорят, тревога, нарушение границы, и вы, если не нарушители, то пособники их. Сейчас вас под арест и раскалывать, пока не очухались. Бежать вздумаете – огонь на поражение. Мы им: «Не первый раз здесь рыбачим, свои, местные. Хорош пугать». А они: «Рыбалку придумали ваши хозяева для отвода глаз. Решили прикрыться рыбалкой и пробраться скрытно в город, диверсию совершить в стране Советов. Почём продались, плохиши?!». И, главное, сыграли так здорово, что купились мы, перетрухали не на шутку. Артисты эти не удержались, принялись ржать. Ещё и порыбачили вместе. Такое приключение вышло... Спокойная была граница, неприметная... Была-то была, да смута пришла. А если бы американцы вместо нас в Афгане оказались? На нашей южной границе? С военными базами, ракетами?

– Это вряд ли... Во-первых, далеко. Афганистан далеко от Америки, от Афганистана далеко до наших центров силы – накладно там обустраиваться всерьез и резона нет стратегического... Во-вторых, американцы командовать горазды, корысть свою не скрывают, гонора навалом. Афганцы этого не любят. Не ладить им, не дружить тем паче... Оказались вот янки в Афгане со своей войной, лет семнадцать уже – и что? Всё больше за стенами крепкими хоронятся. Под угрозой нападения беспрерывной. Контролируют с подшефным правительством кусочки страны. Уйдут, тут же падет оно. Как во Вьетнаме.

– Может и так, – не стал возражать Кирилл и неожиданно переключился: – Но что же было после Афгана?.. Прости за нахальство – больно любопытно.

Степан чуть помолчал, соображая, о чем стоит говорить, о чем нет. Улыбнулся понятливо, снисходительно и стал рассказывать:

– Окончил я свой МИФИ после возвращения – факультет автоматики и электроники. Попал в Курчатовский институт ядерной энергии. Перестройка уже в экономику вкатилась: кооперативы, челночный бум, частные магазины, рестораны, банки, дух коммерции, легких денег повсюду, цены ползут вверх, а зарплаты стоят – помнишь, конечно. Год выдержал в институте. Потом стал искать денежные варианты. По случаю пристроился в частный банк – в управление по эксплуатации и развитию информационной системы. Освоился быстро – МИФИ заслуга. Скоро уже рулил управлением... Банк оказался очень даже прибыльным – влиятельный политик опекал. Без проблем брали деньги у Госбанка Союза ССР под малый процент и под большой кредитовали крупные краткосрочные проекты. Деньги давали только солидным,

проверенным заёмщикам. Отсюда главный навар. Ума большого не надо, риск ничтожный. Депозитов, счетов предприятий было у нас с гулькин нос – так, для виду. Оклад шикарный плюс премии квартальные, годовая премия в десять окладов и никакого напряга. Женился, долго не думая. Новый мерс, квартиру купил и много ещё чего. Экономисток хорошеньких к себе в управление набрал. Пошло-поехало – пир горой. Как говорится, я не могу не тратить – есть доход, из года в год "хочу" моё растет.

Размышлял не раз, могло быть по-другому, нет. Всякий раз приходил к выводу: не могло. Не в банк, на другое доходное место ушёл бы... Не знаю, как у тебя, а у меня железная была уверенность, что эта вольница суетливая быстро сойдет на нет. Так же стремительно, как возникла. Не сама сойдет – ясно. Погасят её, прикроют, как НЭП когда-то... Не хотел момент упускать.

Тут ГКЧП, провал его скорый, Союз на грани краха. Отец в то время уже в отставку вышел, но по гражданке работал с Ахромеевым. После самоубийства маршала, крушения Союза в депрессию впал кромешную. Высох весь, ослаб. Кое-как из комнаты в комнату передвигался. Все стволы из квартиры вымели. Еле уберегли его тогда... Помню, шумел иной раз: «Не успели заменить Язова Варенниковым. Он с Ахромеевым армией спасли бы Союз». А я, дрянь бессердечная, ему: «Какая армия, батя! Что было после Баку, Тбилиси, Вильнюса? После этих акций по принуждению к порядку? Все жертвы немногие на армию повесили. А Верховный отмолчался трусливо: я не я, армия не моя. СМИ ошалевшие её в кровавого монстра превратили. И сдулась твоя армия. Глянуть хмуро боялась в сторону бунтовщиков, не то что силу применить».

Что дальше?.. Цветочки перестроечные отцвели, пошли ягодки – шоковая терапия. Тотальная рыночнизация, ценовая либерализация, гиперинфляция, приватизация, производство валится, заводы встают, бюджет худой, государство драпает из здравоохранения, образования, системы правопорядка, армии и оборонки, культуры – отовсюду. Бандиты наступают, штурмуют предприятия, идут во власть, разборки, перестрелки. Безработица, нищета, смертность прут вверх. Народ ошарашен, в толк не возьмет, почему такое, не за то ратовал, хотел обновленного социализма или чего-то вроде скандинавского капитализма, где рыночная экономика есть, а бедных нет, и на тебе! ...Я рассказываю, словно ты за бугром где был, мимо тебя это прошло. Или был?

– Здесь я был, здесь, – усмехнулся Кирилл.

– Но, ты знаешь, – продолжил «афганец», – меня все эти напасти несколько лет вовсе не занимали. Банк мой перешел «под крышу» ельцинского сподвижника, жил прежним макаром, бандиты не трогали, разжирел ещё больше, меня не забывал поощрять. И продолжал я пировать-жуировать.

– А что случилось через несколько лет? – не удержался Кирилл.

– Батя! – грохнул кулаком о подлокотник кресла Степан. – Он встряхнул, родной. Запустил процесс пробуждения, так сказать... Дорогой ценой...

Общались мы редко с тех пор, как я перебрался на свою квартиру. Образовался явный холодок между нами и шёл он изначально от отца.

Когда я заезжал изредка – повидаться, денег подкинуть – больше с матерью беседовал. И деньги мать тайком от бати брала – против был... Жил он в общем тихо, размеренно, по-пенсионерски. Но встречался частенько с бывшими сослуживцами и советскими управленцами отставными (в доме их немало жило). Громили политику властей: и внутреннюю, и внешнюю – мать рассказывала.

В один из моих приездов он, к моему изумлению, позвал к себе в комнату – побалакаем, говорит. Побалакали. В своём стиле он «взял быка за рога». Гляжу, говорит, на тебя, жизнь твою веселую, привольную и любопытно мне, долго ещё будешь обслуживать новых буржуев, в холуях ходить? Ты, кавалер ордена Красной Звезды!

Смешался я от неожиданности, обиды. Отнекиваться стал: не прав ты, батя, ни у кого в холуях не хожу, наемный я работник, сложным направлением в банке рулю, неплохо получается, потому ценят, платят хорошо.

А он своим громовым гласом: «Ты матери лапшу вешай. Доят госказну хозяева твои, спекулируют народными деньгами и тебя используют в своих аферах. За пособничество и лояльность тебе платят хорошо! Ты не видишь, что у нас в стране идет форменный грабеж?! Государством организованный грабеж!».

Вижу, заводится он, краснеет – наверняка от давления. Пытаюсь отшутиться. Экспроприация, говорю, – наша традиция, революционная.

А он: «Дурень, после октября 1917 перераспределялись материальные ценности от явного меньшинства к большинству народа. К большинству, которое и создавало эти ценности на протяжении веков. А теперь плоды трудов большинства уходят к явному меньшинству. Какой-то сотне тысяч ловкачей, близких к шокотерапевтам кремлевским и местным. Под флагом рыночных реформ и возврата на столбовой путь развития. При активной поддержке Запада во главе с американцами. Он и подсунул сумасбродному, недалекому Кремлю разорительную шоковую терапию. Потому что это путь гарантированного, крайнего ослабления России. То Западу и нужно: истощить, взять под контроль главного конкурента. То и выходит: мы чахнем, вязнем в зависимости от Запада. Повезло ему крупно два раза кряду. Первый раз с Горбачевым, теперь вот с Ельциным... Ты представляешь, какой дичайший проект осуществляется в стране, если в результате каждый год небывало падает национальный доход и притом резво растет его доля, достающаяся сотне тысяч ловкачей. Низость несусветная: для создания российских миллионеров и миллиардеров долларовых средства отбираются у школ и учителей, важных технических систем и инженеров, науки и ученых, армии и военных, пенсионеров, детей... Как это могло произойти?! Уму непостижимо!».

Отец тяжело дышал, но был я раздражён его оскорбительными эпитетами и не утерпел. Устал, говорю, народ от нескончаемого дефицита обычных бытовых вещей, пустых обещаний повышать «благосостояние каждого советского человека». От гордости за танки и ракеты, за музейно-балетную, колбасно-конфетную Москву, за «ведущую роль СССР в мировом коммунистическом движении». От компартийного идеологического маразма устал. От унизительной участи быть запер-

тым в своей стране. От тухлой морали советских властей: вместо того, чтобы сокращать дефицит для всех, они себя любимых избавляли от него через персональные закрытые прилавки. Народ жаждал перемен, реального решения застарелых проблем. И поверил Ельцину, который взялся за них.

«Да ты прямо рупор шокотерапевтов махонький, – перешёл на нервный шёпот отец. – Слово в слово повторяешь их доводы – горстка правды и гора лжи... И что! – загремел он. – Всё путём идёт, не прогадал народ, не обманулся?! Я в отличие от тебя выхожу в люди, знаю настроения трудовых масс. Частушка одна их метко передаёт – недавно услышал... Вечер. Возвращаемся с соседом на электричке с его дачи – рыбачили на Оке. Кстати, это бывший директор станкостроительного завода; треть станков шла на экспорт, а теперь в цехах торговые ряды. Так вот, по полным вагонам ходит куплетист с баяном – кто сколько подаст. Он и спел ту частушку – легко запоминается:

Боря, Боря-патриот
За народ пластался.
Дал венец ему народ,
В жопе оказался.

Ни ха-ха тебе в вагоне, ни хи-хи, щедрые горькие аплодисменты».

«Я продолжаю обороняться, – усмехнулся грустно Степан. – Вспомнил афоризм, забыл чей: «Жаждущие перемен приступают к ним, мало задумываясь о последствиях, словно путники, изнывающие от жары и без колебаний бросающиеся к первому встречному источнику воды». Довели, говорю, людей до жажды, немудрено было им ошибиться».

Отец дернулся раздраженно в кресле. Какая, зашумел, жажда, скажи ещё про угрозу голода, которой пугали шокотерапевты, начиная своё черное дело – подлое враньё... А правда в том, продолжил он, немного отдышавшись и понизив голос, что мы не вперед двинулись осторожно, как китайцы, к примеру, а бросились сломя голову назад, в прошлое, теряя массу полезного, потом и кровью оплаченного. В мир шарахнулись, где малость богатых и тьма бедных, где правят богатые в интересах богатых. Народ это кажется понял. Ты уж точно, прикидываешься только... Понял-то народ понял, а терпеть будет долго, как водится.

На том мы и расстались. А рано утром звонит мать, плачет: обширный инфаркт у отца. К вечеру умер батя в реанимации. Я помог – факт...

«Афганец» умолк, прикрыл глаза. Молчал задумчиво и Кирилл, боясь ляпнуть что-либо невпопад.

– Прав был батя, – прервал, наконец, молчание Степан. – И по поводу наших рыночных реформ, последствий их мрачных... И по поводу меня: обслуживал своих банковских нуворишей за хорошее бабло, обирал людей да понимал к тому же, что к чему. А возражал ему с досады, по злобе.

– Не сгущаешь краски? – встрял Кирилл. – С работой повезло – да. Но платили тебе хорошо всё же за квалификацию, умение головой работать, управлять. Как ты обирал? Кого?

– Не сгущаю. Давай возьмем, скажем, главного врача больницы или университетского профессора, полковника генштаба или главного ин-

женера электростанции. С квалификацией, умением головой работать и управлять у них порядок. Только заработок был раз в десять-двадцать меньше моего. Еле ведь сводили концы с концами. А я понимал, что им явно недоплачивают, мне явно переплачивают, и чтобы мне переплатить, им нужно было недоплатить. Кто так устроил – другой вопрос. Важно, я понимал это и принимал. Значит, обирал их по сути. И не только их. Так-то...

В общем, сошлось всё одно к одному: и смерть отца, и его презрение ко мне нескрываемое... и сознание собственной неспособности изменить свою изобильно-разгульную жизнь. Последнее просто приводило в бешенство. На сотрудников бросался по пустякам, с шефом банка поцапался. На жену и дочь рычал: боялись на глаза мне попадаться.

Выручал стадион полузаброшенный, рядом с домом. Бегал там часто по вечерам до дрожи в коленях, до изнеможения. Что-то ел потом и отрубался. Назавтра хандра и желчь возвращались. Зато высыпался и бухал меньше... Да-а, стадион мой, стадион. Он и поправил мне жизнь.

– Как это? – спросил Кирилл с предчувствием нового поворота.

– Однажды, когда я бегал, на стадион занесло парня лет восемнадцати – на мопеде. Рослый такой, акселерат. Дал один круг – понравилось. Продолжает кататься. Народу на беговых дорожках немного: пара мамочек молоденьких с колясками, несколько пенсионеров гуляли, тройка бегунов, помимо меня. Люди отдыхают, физкультурой занимаются, а эта детина наглая чадит, тарахтит вовсю, малышей пугает. Нашел место! Начинаю закипать. Сейчас, думаю, доедешь до меня, направлю мигом отсюда. Опередил дедок-пенсионер: преградил парню дорогу, выговаривает. Тот бесцеремонно отстраняет дедка рукой – не мешай, мол, старче. Но ветеран упорный, встаёт на пути. Детина этот невозмутимо слезает с мопеда и бьет старика кулаком в лицо. Тот грохнулся ничком, еле шевелится. Я бегу навстречу и всё это вижу. Рванул вперед, врезал пару раз что было сил. Соображать толком начинаю, когда уже вижу парня лежащим без движения: голова на бетонном бордюре, кровь на ней. Беда. Пульс проверил – живой. Вызвали скорую. Медики парня привели в чувство кое-как, забрали в больницу. Менты – вслед за скорой появились – опросили свидетелей, повезли меня в отделение. Дедок тот стойкий всё повторял: «Не беспокойтесь, товарищ, где надо я скажу, что он первый напал, а вы за меня вступились». В общем, завертелось дело.

– Да-а, – покачал головой Кирилл. – Трагичная история. А как парень?

– Сотрясение мозга у него было и гематома, оперировали. Где-то месяц лежал в больнице, оклемался. А ещё до его выписки меня осудили по статье 112 УК: три года колонии-поселения.

– Ни хрена себе! – возмутился Кирилл. – У тебя же аффект был натуральный. Учесть должны были. И что ветеран афганской кампании.

– Аффекта моего свидетели не приметили, даже дедок тот. Я не настаивал... А Афган учли: обвинение упирало на жестокость «афганцев».

– Апелляцию подавали? Можно было на условный срок выйти или вовсе без наказания обойтись, если договориться с потерпевшим.

– Не хотел я апелляции, не хотел договариваться, ничего не хотел...

– Недалеко от Москвы отбывал?

– Просил куда подальше. Оказался в глуши Вологодской области.

– И как там?

– В колонии все почти были первоходы, за незначительные преступления. Отморозки мне не попадались. Жили в стареньких двухэтажных общагах, по четыре-пять человек в комнате. Обычно в будние дни, иногда и в выходные – кто на сельхозработах, кто плотничать по-простому: ящики, штакетники всякие делали, табуретки...

Первый месяц помучился, конечно, пока привык к режиму, стряпне пресной, к соседям по комнате притерся. Овощей и фруктов почти не давали. Караул! Я ж фруктово-овощная душа. Не успокоился, пока не сыскал к ним дорожку...

А вообще повезло мне – попал в подмастерье к столяру-краснодеревщику. Резьбе незатейливой обучился. Страсть как это дело понравилось. Скоро уже сам мастерил стулья с резными спинками для поселковой администрации, офицеров колонии, охранников. Придумывал узоры, вставки из можжевельника – чудный дух дают. Акции мои вверх пошли. Запросто стали отпускать в поселок: в библиотеку, магазин продуктовый, прошвырнуться так просто на воле... Какие там места, Кирилл! Лес вокруг дремучий, никаких вырубок близко. Воздух чистейший, ароматами лесными сдобренный. Особенно зимой сказка, когда гнус не донимает...

Неподалеку от нас был монастырь мужской. Эконом монастырский прознал про мои художества и поступил заказ. В трапезную сделал скамьи с резными ножками, потом наличники для монастырских построек, ещё кое-чего. Долго нет заказа из монастыря, сам его сочиню и подкину эконому. Так и мастырил что-нибудь монахам, пока срок мотал. Тянуло в монастырь... Спокойно там было, душевно... Тогда же стал вчитываться в Евангелия; прежде по верхам отдельные куски пробегал...

– И что? – понимающе улыбнулся Кирилл.

– Ты знаешь, – заволновался вдруг Степан, – обнаружил исключительную актуальность ключевых Христовых заветов: не стремиться к богатству, росту материального благосостояния, довольствоваться малым, самым необходимым. Как же образно Он припечатал обогащение материальное!

– Прямо-таки припечатал.

– Именно. Жестко и недвусмысленно. «Удобнее верблюду пройти сквозь игольное ушко, нежели богатому войти в Царствие Небесное». Эти слова Христа о чем? Не о том ли, что путь к материальному богатству и обладание им усеяны неисчислимыми искушениями, перед массой которых невозможно устоять, что обогащение тянет за собой букет греховный: гордыню, жадность, криминал всякий, блуд и распутство, праздность, прочее. Недосуг над прегрешениями поразмышлять, о покаянии подумать или вовсе потребности в этом нет... Вероятность попадания богатого в рай близка к нулю – вот что утверждал Иисус Христос! И ещё от Христа: «Не собирайте себе сокровищ на земле... ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Это вообще слова твердого материалиста, всё равно как сказать «бытие определяет сознание». И точно, если человек обладает материальным богатством,

занят его накоплением, то думы, заботы, переживания сосредоточены на сбережении, преумножении, рачительном использовании своего состоянии, нет места высоким чувствам, либо мало его совсем для них. Будь он хоть самым примерным внешне христианином, а сердце его с богатством.

– А если богатый живёт с семьёй очень скромно, все свои свободные средства расходует на нуждающихся, что и он не достоин рая?

– За такого я проголосую, если понадобится, – ухмыльнулся Степан. – Только назови хотя бы одного.

– ...Не припомню, – замялся Кирилл. – Как-то не интересовался этим.

– То-то и оно. Если и есть подобные, такая они редкость...

– Но почему ты решил, что заветы эти исключительно актуальны? – скептически спросил Кирилл. – Всегда они были важны для истинных христиан и мыслящих нехристиан. И во времена, когда Иисус Христос проповедовал, и тысячу лет назад, и теперь.

– Да потому, что теперь глобальное значение материального обогащения богатых совсем не то, что в прошлые времена. Прежде счёт богатых на Земле шёл на тысячи. Сегодня они исчисляются не одним десятком миллионов, и на пятки им наступает ещё сотня-другая миллионов с солидным материальным благосостоянием. Это авангард высокого потребления, о котором мечтают все почти остальные, которое пропагандируют богатые настойчиво и изобретательно: им нужен рост продаж у их компаний, преумножение богатства. И они наращивают объемы производства. В итоге имеем колоссальные, беспрерывно растущие отходы производства и потребления, загаженную донельзя Землю: сушу, воды, воздух. Многие серьёзные эксперты давно уже предсказывают скорое катастрофическое будущее... Земля долго выдерживала тысячи, но не выдержит десятки миллионов обжор.

– Итак, культура материального обогащения – главная на сегодня беда человечества, способная его погубить?

– Да! И Христос предвидел губительную её сущность задолго до пришествия капитализма, когда богатство стало доступно многим, задолго до её сегодняшнего триумфа, когда она победно шагает по планете, утопающей в человеческих отходах... И только большевики смогли поставить её вне закона, загнать в подполье, подобно тому как потеряв терпение Иисус бичом изгнал торговцев и менял из храма. Советские люди были изолированы от возможности обогащения, как монахи от мирских соблазнов. Большевики добивались социальной справедливости и притушили заодно этот рассадник грехов... большое богоугодное дело сотворили. Эти атеисты оказались воинами Христовыми! А советский проект доказал, что избавленные от возможности обогащения люди более счастливы, открыты высокому, способны многого достичь во всех сферах жизни и без тысячелетнего мотиватора человеческой активности.

– По Христу, у богатого высочайшие шансы загреметь в ад, а духовенство открыто благоволит к богатым. Как тебе такое?

– Церковь живет на пожертвования... Надо сказать, спрашивал я об этом в монастыре самого игумена, в осторожной очень форме.

– И что он?

– Напомнил, как фарисеи упрекали Иисуса Христа, что ест и пьёт с мытарями и грешниками, а Он сказал: «...Не здоровые имеют нужду во враче, но больные... Я пришёл призвать не праведников, но грешников к покаянию».

– Не сообщил монахам, что большевики – воины Христовы? – озорно поинтересовался Кирилл.

– Предложил одному поразмышлять над этим; бывало беседовали с ним по душам. Он сказал «не богохульствуй»... Они вообще немногословные. Я думал, на севере монахи такие. А они и в моём монастыре под Владимиром скупы на слова.

– Что значит, в моём? – опешил Кирилл.

– Лет двадцать уже провожу в этом монастыре два-три летних месяца, иногда сентябрь прихватываю. Трудовым паломником. По своему вологодскому профилю работаю. Туда и еду.

«Афганец» кивнул на багажную полку, где громоздилась его внушительная дорожная сумка:

– Вон инструмент мой столярный.

– А как на жизнь зарабатываешь?

– Фрилансер ваш покорный слуга. Прикладным программированием занимаюсь, когда приличный проект подворачивается, или делаю резные стулья, столы, комоды, тумбочки – это уже на дачке, там мастерская. Иногда удаётся сочетать.

– И давно так?

– Как освободился из колонии, так в свободном плавании.

– В банк не пытался вернуться?

– Звали, не пошёл.

Тут объявили, что поезд прибывает на станцию Владимир.

Кирилл расстроился:

– Ну вот, столько всего не рассказал. Про семью ничего...

Степан улыбнулся сдержанно, встал, стал складывать в сумку книгу, газеты, оправляться:

– Мама жива, слава Богу, жена и дочь рядом. Кстати, дочка отличный стоматолог... Мы с тобой можем встретиться как-нибудь после лета, тем более должок за тобой – история твоя и текст стиха, того про брата и меня.

Они обменялись номерами телефонов, попрощались и «афганец» заспешил к выходу.

АЛЕКСАНДР НЕСТРУГИН

ЧТО ПОМНИТ СЫН?..

Что помнит сын – из того, что я сейчас перебираю в памяти, как старые его, детские ещё картинки-раскраски? Картинки те долго валялись в сарае, в полиэтиленовом пакете с какими-то старыми квитанциями, открытками и прочим бумажным хламом. Наводя в сарае порядок, я нашёл и стал перелистывать эту тоненькую, похожую на пару сшитых вместе контурных карт книжицу-забаву.

Вот богатырь Илья Муромец. Раскрашенная синим кольчуга, шлем, алые наколенники и наплечники, конь – с густо-черной гривой и синими глазами. А меч-кладенец остался белым, будто не узнанным...

Вот дом на взгорке, этакий терем-теремок. Трава перед ним зеленая, её щиплют красноклювые синие гуси; над домом, над алой трубой, дымок сизый вьется. Крыша светло-зеленая, над ней желтый петушок-флюгер, изогнувшись, кричит красное свое «ку-ка-ре-ку!». Наличники резные, светло-сиреневые, окна – синие, а крыльцо, дверь входная – не раскрашены, будто и нет их вовсе...

Занятная оказалась книжица. Долго я её листал. А теперь вот, как те шершавые страницы, ворошу нынче картинки памяти. Стараюсь перевернуть. Вернуть. Пережить снова. Зачем?

Из раннего детства...

Своего отца я помню строгим, взрослым, отъединенно-далеким. Он словно жил в каком-то другом мире, и приходя ежевечерне с работы, как мне тогда казалось, не всегда домой по-настоящему возвращался.

Конечно, он брал меня на руки, гладил по голове. Я даже смутно помню касание его колючей небритой щеки. Но это было в раннем детстве,

и потому как бы не со мной: я вижу это со стороны, сквозь листву росшей во дворе, чуть ли не у самого крыльца, старой яблони с калечным, клонящимся в сторону от дома, «на простор», шершавым стволом. Я влез на яблоню, уселся на развилке и наблюдаю за тем, что происходит во дворе. Но листва густая, ветер взбивает, клонит, перемешивает её, и вместо двора я вижу только зыбкие полоски и пятна, в которых движется что-то время от времени, мелькает, а что – не разглядеть.

Может быть, тронутой ветром яблоневой листвой между нами колыхалось само время?

Когда я родился, отцу было тридцать пять лет, в его жизни без меня уже многое случилось, и мало среди случившегося было светлого. Раннее детство отца опалила Гражданская война, которую он если и помнил, то лишь как смутное ощущение, – как я его колючую щеку. Но чувство опасности, постоянного ожидания беды, зыбкости всего сущего, думаю, он впитал с молоком матери. О том, что происходило в то время в наших местах, на границе воронежской Слобожанщины и Области Войска Донского, осталось много свидетельств. Но самое яркое – это роман Михаила Александровича Шолохова «Тихий Дон». Я прочёл его рано, ещё подростком. Осмыслить всего тогда просто не мог, но многие горькие страницы остались в памяти.

«...И помалу Григорий стал проникаться злобой к большевикам. Они вторглись в его жизнь врагами, отняли его от земли! Он видел: такое же чувство завладело и остальными казаками. Всем им казалось, что только по вине большевиков, напиравших на Область, идёт эта война. И каждый, глядя на неубранные валы пшеницы, на полёгший под копытами нескошенный хлеб, на пустые гумна, вспоминал свои десятины, над которыми хрипели в непосильной работе бабы, и черствел сердцем, зверел. Григорию иногда в бою казалось, что и враги его – тамбовские, рязанские, саратовские мужики – идут движимые таким же ревнивым чувством к земле: «Бьёмся за неё, будто за любушку», – думал Григорий.

Меньше стали брать в плен. Участились случаи расправ над пленными. Широкой волной разлились по фронту грабежи...».

Всё это происходило в год рождения моего отца. Красные тогда оттеснили белых. Жизнь вроде стала приходить в нормальное русло, но ненадолго. Года не прошло – полыхнуло в станице Вешёнской. И пошло, пошло, не только по казачьему краю: «Полой водой взбугрилось и разлилось восстание, затопило всё Обдонье, задонские степные края на четыреста вёрст в окружности. Двадцать пять тысяч казаков сели на конь. Десять тысяч пехоты выставили хутора Верхне-Донского округа...».

На прочитанное накладывались рассказы бабушки Сани – о том, как казаки, захватив в нашем селе красноармейцев, повели их вроде в плен, но довели только до края села. И там, в вербах, крутя по кругу конную карусель, молча рубили их шашками. Порубили всех. Страшно было это слушать, не хотелось верить.

А ещё бабушка рассказывала, как потом однажды вечером, таясь, вышел из тех самых верб к нашему двору офицер, совсем мальчишка, пробиравшийся с донских низовьев, где белых уже разбили, «в Россию». Грязный, оборванный, он просил есть. Бабушка, подоив корову, налила ему молока, дала сухарей. Поев, офицер этот плакал. Просил дать ему простую, не военную одежду. Дедушка повёл его в амбар, нашёл что-то подходящее.

Переодевшись, офицер срезал со своего грязного, изорванного кителя обшитые тканью пуговицы и протянул их дедушке: «Это деньги. Возьмите. Бога ради, не выдавайте меня!». Оказалось, что пуговицами были обшитые золотые монеты. Дедушка монеты эти не взял. Сказал, что грех это, от чужой беды добра не наживёшь, только беду. Ночью офицер ушёл. Форму его сожгли – и долго ещё в семье нашей о случае этом не говорили ни слова.

Жили, как говорила бабушка, «сами по себе». Жили трудно, надрываясь в работе и поневоле приучая к бесконечному сельскому труду детей. Работников даже в страду не нанимали, но в коллективизацию всё равно попали под раскулачивание – дескать, богатеи, две пары волов. Правда, «на Севера» не отправили. Забрав дом и скотину, оставили им стоявшую на отшибе сараюшку. Дедушка сложил там печку, утеплил, как смог. Там и жили – многие годы. Там, в этой сараюшке, и вырос мой отец...

Перед войной он отслужил срочную и, не успев демобилизоваться, в летних лагерях где-то около Бреста угодил в самую мясорубку. После ранения попал в плен, бежал, прошёл всю войну: наводчик 78-миллиметрового противотанкового орудия, командир отделения, старшина батареи. Был ещё несколько раз ранен, в теле остались осколки. В сундуке, стоявшем на веранде, хранились его медали. Впрочем, хранились – это громко сказано. Лежали себе во встроенном во всю ширину сундука деревянном ящичке с откидной крышкой (мы называли его сундучком). Там ещё много чего было. Утайкой я с трудом поднимал тяжёлую крышку сундука, подпирал её самодельным деревянным метром, открывал сундучок. Медалей было несколько, но брал я чаще всего одну, с летящими самолетами и идущими в бой танками. «За отвагу». Я прикалывал её, не застегивая булавку, к своей любимой, так похожей на гимнастерку вельветке, бережно гладил неброскую, начавшую выцветать муаровую ленточку.

Отец... Хромовые сапоги с высокими, до блеска начищенными голенищами. Синие брюки-галифе. То ли френч, то ли пиджак такой – строгий, полувоенного покроя.

Высокий. Сильный. По-мужски красивый. Я на него не похож; зато как похож на него мой сын!

Любил ли я отца – тогда, в детстве? Он был строг. То, что он сказал, не обсуждалось, я не мог его ослушаться. Да, не мог...

Рос я живым мальчишкой, затейником-фантазером, много читал, хорошо учился. Сверстники, заспорив, просили: «Скажи, Сашко!». Но были и другие лидеры-вожаки: бедовые, хулиганистые. И чем старше мы становились, тем больше им хотелось взять надо мной верх – хоть в чём-то. Они только ждали случая. И дождались.

Было это в четвертом или пятом классе, в начале осени: после школы договорились всей компанией собраться в Дальних Садах для каких-то важных уличных дел. Один из моих приятелей-соперников, малорослый, но ухватисто-цепкий, с холодными рысьими глазами, предупредил: дело важное, кто не придет, пеняйте на себя. Дома я быстро, бабушка глазом моргнуть не успела, управился с хозяйственными делами, наспех сделал уроки («вечером повторю») и уже шнуровал кеды, как явился неурочно отец, чем-то расстроенный, озабоченный. Спросил недовольно:

– Ты куда?

– К ребятам, в футбол поиграть договорились (может, и в футбол...)

– Никуда сегодня не пойдешь. Дело есть.

Дело было из тех неотложных, что случаются на селе каждый день: докапывали картошку в низах, в самом конце огорода, – того и гляди дожди начнутся, туда и в сапогах потом не влезешь, чернозём.

Я ничего отцу не объяснял, даже не пытался, да и не было смысла: ну договорились, и что? Другого дня не будет? И так каждый день, если за рукав не ухватят, летишь со двора как ошпаренный...

Пацанам объясню, поймут. Как не понять, если у каждого дома корова, телята-овцы, куры-кролики, огород – повседневный хомутик, увесистый. Промелькнула перед глазами ухмылка заклятого дружка-приятеля, его недобрые, будто прицеливающиеся глаза – да что я, забоюсь?

А наутро, в школе – та же ухмылка, те же глаза, подёрнутые серым ледком торжествующей злобы. Дружок этот и объявил мне, сыночку мамину, треплу последнему, бойкот. Нет, слова такого он, наверно, и не знал, не прозвучало оно. Но пацаны, большей частью неловко отводящие глаза, перестали со мной разговаривать. Это называлось «не дружить». Длилось это долго. Так долго, что я успел забыть себя прежнего – весёлого, лёгкого, радующегося каждому новому дню предводителя индейцев всех окрестных верб и тернов. И превратился, если продолжить литературные аналогии, в Робинзона Крузо. Потом, спустя годы, всё улеглось, стёрлось, забылось. Всё образовалось: мы выросли, высветились миры, сложились судьбы. В чём-то случай этот даже пошёл мне на пользу: научил держать удар, вылущил характер. Но мир для меня стал другим. Научившись выживать, я уже не мог просто жить – доверчиво, распахнуто, безоглядно. Они постоянно были где-то рядом, смотревшие в сторону мои бывшие друзья детства. Особенно тот, с холодными рысьими глазами. Но только ли его детская месть (человека того, уже покойного, я давно простил – задолго до его смерти) была всему виной? Я ведь, и верно, дал слово. И не сдержал его. А запомнилось только это: отец не отпустил меня...

Что помнит сын, мой сын, уже взрослый, высокий, сильный, красивый молодой мужчина, живущий давно уже отдельной, порой не во всём понятной мне жизнью – из жизни той, начальной, сердцевинной, общей?

Крохотного, я брал его, плачущего, из кроватки, прижимал к себе бережно-бережно, касался губами, утешал-уговаривал, укачивал; замирал, ощущая на виске его сонное молочное дыхание...

Да, этого он не может помнить; разве что потом, через много-много лет, разорвав непослушными, немеющими руками парусину тяжкого, влекущего в липкую обволакивающую темень сна, он закричит испуганно, всхлипнет – и вспомнит.

И этого он не помнит: я, прижимая к груди его беспомощное, будто бы сломленное тельце, почти ничего не видя, бегу по коридору больницы – где вы, ну кто-нибудь, спасите, спасите его, мой сын умирает! Лицо – не лицо, белое пятно – жены; хмурая гримаса дежурного врача, все выясняющего, выпытывающего, как и что – да скорее же, скорее! Горло пережал спазм, губы спеклись, я ничего не могу сказать – это я, я его отравил! Я купил эту рыбу, эту проклятую копченую ставриду, я принес ее домой – радостный молодой глава семейства, добытчик...

Белый халат, полные женские руки – как медленно, как убийственно медленно набирается шприц! Мне нечем дышать, мне страшно...

Ему, сыну, и не надо этого помнить.

А это?

Ночь.

Август.

Большая Река – тёмная недвижная дорога, густо ссыпанная белым звездным песком. Обрывистый глинистый берег. Под обрывом, на небольшом уступе, застеленном донником-остарцом, спит сын, уже подросток, – такой же, как я в ту переломную для меня пору. Мы приехали на мотоцикле рыбачить на донки, с ночевкой. После полуночи дёрнулся, захлебнулся звонок на ближней; я рванулся, сделал несколько потяжек – а, тут она, есть!

Сын – полусонный, взволнованный, еле сдерживающий дрожь в голосе – он рядом, он говорит мне что-то. Я не слышу, но вдруг понимаю – и вкладываю тугую, таящую тайну леску в его напрягшиеся пальцы. Он тянет такую большую рыбу впервые, да ещё ночью, в темноте – он сам дрожит, как эта звенящая, режущая воду жилка.

Он торопится, сбрасывает выбранную жилку себе под ноги, наступает на неё, но в свете фонарика, зажатого в моей руке – длинная зубчатая тень, она уже совсем близко, у берега – стерлядь, царская рыба! Вот уже, подхваченная подсаком, она, грозя острыми спинными шипами, бьётся на берегу, и сын – настоящий рыбак, отцова кровь! – боясь упустить, хватает её голыми руками...

Теперь он спит – исколовший руки до крови, умаявшийся, счастливый. Скоро утро, отволглый воздух густеет, липнет к лицу, к рукам холодной моросью. Сын ворочается, стараясь вжаться в хранящую тепло короткую куртку, свернуться в комочек. Снимаю телогрейку, укрываю его, озябшего; закутавшись в плащ, сажусь рядом. Как спокойно, как светло на душе! Как тихо...

Мы были сегодня родными, очень близкими – я и сын...

Да, я был сегодня хорошим отцом.

А вчера?

В последние годы жизни отец тяжело болел, не мог дня прожить без эфедрина, задыхался. Помню его в больнице, я приехал его проведать, привез что-то, ну, как обычно, сласти-фрукты. Сидел в нелепом, тесном «дежурном» халате на краешке койки со сбившейся простынёй, смотрел на отца – и не мог говорить. Он, уже слабый, полузадушенный глубокими нутряными хрипами, говорил медленно: «Ну, неделю... Ну, две... Ну, месяц... Все равно ведь, сынок...».

Я не помню, что тогда ответил: жалость выстудила, выжгла своим тягучим холодом все внутри; страшно мне было...

Отец умер утром, на следующий день. Я не простился с ним – а он со мной простился. Он знал. У гроба его я, взрослый мужчина, по мнению многих – жёсткий, неуступчивый, – плакал потерянно, безутешно...

Отец, я не похож на тебя – мы не были близки.

Не были?

А Безыменный яр, вы с соседом, дедом Романом, ранним утром, по росе ещё, идёте вверх по склону балки, уступом, один за другим; позванивают победно свежеотбитые косы, ложится, покорно сходясь в валки, степное разнотравье. Я помню, как ты, пройдя ряд до конца, положил косу, пошел вниз, трогая, как мне показалось, вороша валок. А когда подошел ко мне (лет пять мне было), сидевшему в тени на сложенной вдвое ряднине, в руке у тебя был букетик: стебли земляники с алыми, на каждой белое пятнышко, ягодами. Ты не знаешь: я тогда не стал их есть, увез домой. А может быть, и знаешь...

Я думаю, ты гордился мной – потом, когда я вырос. Да нет, я знаю: ты гордился мной – таким странным, не похожим на тебя, кропающим в тетрадь по ночам стишки, чурающимся обычных, извечных человеческих утех.

Ты советовал мне писать рассказы, «как у Шукшина»: чтобы всё было понятно каждому, чтобы всё было так, как в жизни – помнишь? Ну, вот я и написал рассказ. Не знаю, понравится ли он тебе...

Что помнит сын из того, что, как корни глухую чернозёмную залежь, пронзило, оплело, пленило не знающую пощады тьму, тьму забвения, тьму вечности?

Что он помнит – только ли неуступчивый взгляд странного, не всегда способного понять его человека, вроде бы по случайному стечению обстоятельств ставшего его отцом?

Или вспомнится ему что-то другое?

Бумажные самолетики, которые мы пускали друг другу, с дивана на диван, в нашей дивной, три на четыре, квартире-комнате-вселенной...

Мы не были, как казалось мне, близки с отцом, но почему теперь, через много лет после его смерти, я мучаюсь тоской и виной; почему порой, вроде без всякого повода, вдруг сдавит сердце воспоминание-укор, и высветит взгляд его – не чужой, не сурово-отстраненный, а тихий, тёплый, – и пелена ляжет вдруг на глаза.

И нестерпимо захочется увидеть его, поговорить с ним.

Никому ничего не сказав – или выдумав повод, Господь простит мне, – я еду к нему; могила его не близко. Я прихожу к нему в час неурочный и снова молчу – рыдания комкают голос, не дают говорить. Но он знает, с чем я пришёл.

Он, бессловесный, утешает меня – не словом, любовью своею строгой – тлению теперь уже неподвластной, вечной...

Что помнит сын, мой сын – красивый и сильный, так похожий на своего деда? Счастливый – пусть будет так, я так хочу ему счастья...

Захочет ли он... нет, не так: успеет ли он прийти ко мне – не сейчас, потом, через много горьких лет, как пришел к своему отцу я?

Что помнит сын?..

АНАТОЛИЙ ПОДОЛЬСКИЙ

НЕ ТОБОЙ ПОЛОЖЕНО, НЕ ТЕБЕ И БРАТЬ

«Остановись здесь, прогуляюсь по набережной, подышу немного», – сказал Виктор Васильевич водителю и вышел из мерседеса. Таранов Виктор Васильевич, известный в городе бизнесмен, обычно сам водил машину, ему нравилось управлять современными навороченными седанами и джипами, он ценил их за скорость и комфортность. С водителем он ездил только, когда нужно было отправиться слишком далеко, например, в другой город или в дни, когда он был очень загружен.

Вот и сегодня у него был особенный день: предстояла важная встреча с губернатором. Надо было сосредоточиться и собраться с мыслями. Виктор Васильевич прошёлся по мощённой набережной и остановился, облокотившись на гранитный бруствер, тянувшийся вдоль реки. Как всё изменилось! В детстве здесь у реки они с мальчишками бегали, играя среди кустов, деревьев и густой травы. Тогда здесь не было бетона и гранита. Когда Таранов стал постарше, он любил гулять здесь с Ириной. Вообще, мама Ирины при рождении назвала её Ираидой, но её никто так не называл, а все звали просто Ира, Ирина. Ирина! Где она сейчас? Как сложилась её жизнь? Сколько лет прошло с их последней встречи?

А ведь это была его первая любовь... Ирина была несколько замкнута, не любила рассказывать о своей семье, но Виктор знал, что отца у неё не было, а мать слыла женщиной странной, занималась траволечением, снимала боль прикосновением руки, и к ней часто обращались за помощью местные жители. В городе поговаривали, что она потомственная колдунья, а потому побаивались и сторонились. Виктор же был парнем современным, смелым, не верил ни в бога, ни в черта, и души не чаял

в своей кареглазой Ирине. Но после школы он уехал учиться в Москву, и хотя все каникулы проводил в родном городе, встречи с Ириной становились реже, а когда Виктор ушёл в армию, то и вовсе оборвались.

Таранов, весь погружённый в воспоминания, перевёл взгляд с реки на берег. Ниже по течению был виден его дом с колоннами и башенками. Он строил его в девяностые, когда появились шальные деньги уже не от созданного им кооператива, а от солидной фирмы, которую он возглавлял и учредителем которой являлся. На этом месте раньше стоял «прокурорский» дом. Так он назывался потому, что принадлежал до революции 1917 года семье губернского прокурора Семибратова. Но в революционные времена прокурор с семьёй эмигрировал за границу, и дом использовался советской властью в разных назначениях. Там находилось сначала управление образования, затем библиотека и даже столовая, но со временем дом обветшал, использоваться не мог, а вот мальчишки, начиная с шестидесятых годов, собирались там для своих дел. Дом этот всегда пользовался дурной славой, и много разных слухов ходило о нём в городе. Говорили, что в доме спрятан клад и для того, чтобы его отыскать, стены и подвалы дома были истыканы, исковыряны, внутренние кирпичные стенки и переборки разломаны. В поисках клада в детские годы принимал участие и Виктор Васильевич – тогда просто Витька. Как-то раз, когда он грязный, с поцарапанными о кирпичи руками вернулся домой, мать спросила:

– Ты что – подрался?

– Да нет! Мы клад ищем в прокурорском доме. Говорят, там спрятаны сокровища: драгоценности и золото.

– Ну, найдёшь ты клад и что дальше?

– Пароход куплю и буду на нём по реке всех катать.

– Знаешь, сынок, что я тебе скажу, клад – дело такое: «не тобой положено, не тебе и брать». Не приносят счастья людям клады, а чаще всего влекут разные напасти и неприятности. Даже если найдёшь случайно, просто скажи: «обойдут меня хвори и напасти за версту, не злато видел – бересту», и шагай себе дальше.

– Но почему? – допытывался Витька у матери.

– Да потому, милый, что в таких домах в прошлые времена клады хоронили от чужого глаза и загребастых рук, а поэтому заговоры разные применяли. Может это и выдумки, но лучше не трогать такие сокровища.

И ведь как судьба повернула! Возможно, мать права была. Когда уже успешным бизнесменом он обратился в администрацию города с просьбой выделить участок земли, на котором от прокурорского дома остался лишь полуразрушенный фундамент, ему оформили разрешение с условием, что он приведёт в порядок за свой счёт прилегающий участок набережной. Городская казна в те годы была невелика, и власти привлекали бизнесменов к благоустройству города. Конечно, затраты на превращение заросшего участка вдоль реки в облагороженную гранитом набережную с пешеходными дорожками, скамейками, с фонарями были велики, но место для его будущего дома было идеальное, и Таранов согласился. Как только дом был покрыт крышей, Виктор Васильевич обнёс участок высоким кирпичным забором с большими воротами для автомашин (в том числе, и для строительной техники, ведь

работы ещё продолжались) и двумя калитками, через одну из которых можно было пройти к парадному крыльцу, а через вторую спуститься по ступенькам к реке.

Когда пришла пора прокладывать к дому инженерные сети, то оказалось, что делать эти работы на своём участке Таранов должен за свой счёт. Одна из траншей для труб должна быть прорыта по линии, на которой стояла старая ель. Вообще, на участке было два дерева, которые он так и не убрал: полузасохший дуб недалеко от дома и скукожившаяся от времени или недомоганий ёлка, которая однозначно мешала проведению трубопровода. Ёлку спилили. «А пень выкорчуем, когда траншею будем рыть», – решил практичный Таранов.

В день, когда прибыл экскаватор, Виктор Васильевич был дома и лично наблюдал за работой экскаваторщика, которого все звали – Лютый. У него фамилия была Лютов, поэтому ещё в юности его так прозвали одноклассники, и кличка эта закрепилась навсегда.

Таранов знал Лютого как хорошего специалиста, а потому стал снимать его с производственных объектов, если обстановка позволяла, для того, чтобы во время строительства дома Лютый исполнял нужные земляные работы. Вот и на этот раз Лютый легко управлял огромной махиной, которая черпала большим зубастым ковшом грунт и аккуратно перемещала его за несколько метров. Ковш деловито ухватил пень от ёлки, вырвал его вместе с корнями и приподнял. Неожиданно из ковша вывалился небольшой предмет и ударился о землю. «Стой!» – закричал Таранов и сделал запретный жест, скрестив руки. Лютый вышел из кабины экскаватора, он тоже обратил внимание на странный предмет. Виктор Васильевич и экскаваторщик подошли поближе и первое, что увидели – рассыпанные по земле серебряные монеты с изображением двуглавого орла. Тут же валялся небольшой деревянный сундучок, обитый узкими полосками металла, разломавшийся при ударе о землю. Лютый сначала смотрел на белые от времени монеты, с благородной чернотой-патиной, а затем стал быстро собирать их и лихорадочно рассовывать по карманам. Монеты были тяжелыми и гулко звенели, ударяясь друг о друга. Какое-то время Виктор Васильевич с удивлением смотрел на происходящее, затем пришёл в себя и громко приказал:

– Прекрати! Прекрати, я сказал!

– Виктор Васильевич, надо же собрать. Смотри добра сколько.

– Без тебя соберут. Иди на обед.

Он не стал заставлять Лютого вернуть монеты, постоял ещё несколько минут, когда машинист заглушил экскаватор и ушёл очень быстро, наверное, торопился прикинуть: сколько ему досталось. «Не тобой положено, не тебе и брать», – вспомнил Таранов слова матери, и они почему-то не уходили у него из головы. Затем он пошёл в вагончик-бытовку, куда был временно подключён телефон и позвонил Дерюгину, начальнику милиции города, с которым у него были приятельские отношения. Тот, выслушав Виктора Васильевича, приехал быстро, оперативно оценил обстановку и начал пересчитывать монеты, оказалось 224 штуки.

– Что делать будем? – спросил полковник Таранова.

– Оформляй находку как положено. Вызывай специалистов из финансового управления, музея, кого там ещё нужно? Составляйте акт.

От своей доли, что мне положено, я отказываюсь. Все бумаги, какие нужно, потом подпишу.

– Как скажешь, – как-то нерешительно проговорил Дерюгин, – вольному – воля, а барину – власть.

Через несколько дней Таранов прочитал в областной газете, что в городе был найден клад в количестве 184 серебряных монет и все они переданы государству. «Зажалил 40 монет Дерюгин», – выругался про себя Таранов, но не стал даже звонить начальнику милиции, руки которого оказались загребущими. Он постарался забыть про этот эпизод при строительстве дома, но произошедшие вскоре события напомнили о случившемся.

Не прошло и месяца, как он узнал о странной смерти Лютого. Тот работал на новом объекте, уже не у Таранова. Котлован, который экскаваторщик вырыл накануне, из-за проливного дождя, шедшего всю ночь, заполнился водой. Утром мастер, очень сердитый и растерянный, объяснял, что сейчас подойдёт арендованный кран и рабочие должны укладывать железобетонные блоки в основании фундамента. Сегодня фундамент нужно проложить по всему периметру, а котлован весь в воде. Насоса нет. Что делать?

«Не суетись. Не впервой, – остановил его Лютый. – Иди за бульдозером. Будет тебе фронт работ». Он спровадил нервного мастера и подошёл к котловану посмотреть, как приступить к работе. Лютый знал, как можно осушить котлован в такой ситуации. Надо засыпать при помощи бульдозера его грунтом, а затем экскаватором снова вырыть котлован. Воды уже не будет. Неожиданно край котлована, на котором он стоял, обрушился вниз и Лютый оказался в грязной жиже котлована, высота которого была не меньше трёх метров, а глубина воды никак не меньше человеческого роста. Одним словом, Лютого достали из воды и грязи уже мёртвым.

А спустя несколько дней Таранов встретился по делам с Дерюгиным в ресторане и с удивлением обратил внимание, что тот не пил и практически ничего не ел. «Язва у меня. Недавно обнаружили. Предстоит операция и долгое лечение. С работы, наверное, придётся уходить».

«Не пошли тебе на пользу сорок серебряников», – подумал про себя Таранов.

Вскоре Дерюгин оформил инвалидность, и они больше не встречались...

Виктор Васильевич очнулся от воспоминаний. Сегодня ему назначена аудиенция у губернатора, к которой он долго готовился. Разговор будет о строительстве порта. Когда-то на месте старых причалов кипела жизнь: пришвартовывались пароходы, выгружались баржи, на берегу формировались бригады грузчиков, а на причалах работали киоски, женщины-лоточницы предлагали горячие пирожки и другую выпечку.

Теперь же бывший порт представлял унылое зрелище, где напрочь отсутствовала какая-либо деятельность. В папке, которую Таранов приготовил для губернатора, находился бизнес-план по организации строительства порта с экономическим обоснованием. Если губернатор проникнется идеей и поможет с инвестициями из столицы, выиграет не только Таранов, но и бюджеты области и города. Почва для обстоятельной встречи была подготовлена. Идею строительства порта Вик-

тор Васильевич озвучил губернатору давно, потом появились в прессе несколько статей о необходимости восстановления статуса города как портового, да и население в основном одобрило бы строительство. И вот расчёты закончены, теперь нужна поддержка федеральных структур, кроме того необходимо заинтересовать инвесторов.

Губернатор встретил Таранова довольно дружелюбно. После формального приветствия неожиданно спросил:

– Клады больше не ищешь?

– И вы туда же? – парировал Виктор Васильевич.

– Да шучу я... У нас с тобой есть дела посерьёзнее.

Губернатор тоже подготовился к предметному разговору. Не за горами выборы и ему были нужны проекты, о которых можно было сказать: вот они реальные для города и области дела.

– Ты серьезный бизнесмен, Виктор Васильевич, в политику не лезешь, с властью не конфликтуешь. Пришла пора нам более тесно сотрудничать. На днях еду в Москву, в министерство транспорта. В администрации президента тоже договорился о встрече. Мы уже письма отправили, теперь вот для твоих расчетов сопроводиловку обстоятельную подготовим и будем вопрос решать вплотную. Ну, давай посмотрим на твоё техническое обоснование...

Более часа Таранов объяснял губернатору и его первому заму стратегию строительства порта и отвечал на их вопросы. Всех всё в основном устраивало. Основная задача – инвесторы, так как федеральный бюджет много денег не выделит, а самостоятельно область такой проект не потянет.

Уставший, но воодушевленный Таранов заехал в офис, решил неотложные дела и вечером был у себя дома. Ужинать что-то не хотелось. Он налил в широкий фужер коньячку, выпил и сел в широкое кожаное кресло перед огромным телевизором. Но снова воспоминания одолевали его. И снова образ Ирины увлек его в дела прошлых лет. А ведь была возможность им остаться вместе. Уже будучи женатым человеком, в последний год уходящего века он случайно встретил Ирину в каком-то учреждении. Они договорились встретиться, а потом он убедил её полететь с ним на неделю в Сочи. Это были те самые дни, которые забыть нельзя. Ласковое море, синее небо, уютный номер гостиницы и нежные руки Ирины. Вот оно счастье! Но он такой решительный в бизнесе, не проявлял это качество в личной жизни, и всё осталось по-прежнему. Любовницей Ирина не захотела оставаться, и через какое-то время попросила оставить её в покое. Больше встреч с ней Таранов не искал, а неудержимый темп бизнеса, который стал смыслом его жизни, вскоре сгладил душевный дискомфорт и явную досаду. Да и в семье у него сначала всё было хорошо и благополучно. И теперь – дочка уже замуж вышла, живет отдельно. С женой, правда, не всё так ладно, но развод он не оформлял, наверное, смысла не видел. В городе его знали, он был на виду, принимал участие в благотворительных акциях и даже на какое-то время создал свой именной фонд.

Прошло несколько недель после разговора с губернатором и Виктор Васильевич снова жил жизнью делового человека. Однажды вечером он сидел в своём любимом кресле перед телевизором. Неожиданно раздался звонок домофона. Виктор включил монитор и увидел на экране, что у калитки, выходящей на улицу, стоит женщина.

– Вы что хотели? – спросил он посетительницу.

– Это Ирина. Я хочу поговорить с Виктором Васильевичем.

– Ирина? – воскликнул Таранов – и от изумления несколько промедлил с нажатием кнопки.

Калитка открывалась автоматически, но надо было отпереть ещё входную дверь на крыльце.

– Ирина, здравствуй! – Таранов распахнул перед ней дверь.

– Здравствуй! Мне надо с тобой поговорить. Можем здесь, чтобы не тревожить твоих домашних.

– Жена на курорте. Я один.

Ирина была впервые в доме Виктора Васильевича и была несколько обескуражена просторным помещением первого этажа, который колоннами античного стиля, широкими мраморными ступенями, вкупе с высокими потолками, больше напоминал вестибюль театра или дворца культуры. Даже мебель как-то терялась и казалась меньше, хотя вся была сделана по заказу в Италии.

«Красиво, но как-то холодно от всего этого великолепия», – подумала, осмотревшись, Ирина, а вслух сказала: – Масштабно живешь, Виктор.

– Немного с мрамором переборщили. Да и сами помещения можно было сделать поменьше и, наверное, было бы уютнее. Ну да ладно. Я тебя чаем согрею. А можно и коньяк.

– Нет, коньяк не нужен. Спасибо. А от чая не откажусь.

Хозяин усадил гостью на белый кожаный диван и пошел на кухню, тоже немереных размеров, приготовить чай. Поставил поднос с чашками, вареньем, конфетами на длинный журнальный стол перед Ириной и попытался завязать подобающий разговор, но Ирина отвечала кратко, и Таранов понял, что у неё действительно есть что-то важное.

– Ладно, не буду тебя пытать своими пустыми вопросами. Рассказывай, с чем пришла? Я по-любому рад тебя видеть.

– Больна я, Виктор.

– Нужна помощь?

– Нет. В больницу ложусь, операцию, наверное, будут делать. Только не знаю, поможет ли?

– У тебя же мать от болезней лечила. Не научила тебя что ли? – пробовал пошутить Таранов.

– Научила кое-чему. Только не можем мы сами себе помочь. А мамы больше нет. Да и не занималась она больше знахарством. А пришла потому, что надо предотвратить возможную беду, успеть надо. Не дай бог со мной что случится, никто тогда помочь не сможет.

– Да говори ты толком, не интригуй так.

– Виктор, у тебя во дворе клад – заговоренный, и если, случаем, ты или твои близкие обнаружат его – быть беде.

– Ой, насмешила! С ума вы все посходили что ли с этим кладом. Что было, то найдено, и ты знаешь об этом. В газетах писали. А больше ничего нет. Стены старого дома разломали, фундамент полностью заменили, а в огороде, когда мы семьёй уезжали в отпуск, доморощенные искатели с металлоискателем каждый сантиметр обследовали и землю всю лопатами перекопали. Это после того как серебро было найдено. Так что, увы, я разочарую тебя.

– Нет, Виктор, сокровища эти металлоискателем не найти. Ты вспомни, где серебро обнаружили? Да, под деревом. А почему та ёлка, которой уже нет, и дуб рядом такие хилые? Да потому, что сокровища даже деревьям не дают полноценного роста, корням мешают. У тебя под дубом второй сундук спрятан, с золотом. И пришла я заклятье с него снять. Тогда с тем, кто его найдет, ничего не случится.

– Бред какой-то! Сказки всё это. А ты откуда про это знаешь?

– Я знаю немного, но что знаю – расскажу. Четыре поколения, начиная с прабабки моей Фёклы, хранили эту тайну. Знания свои по ворожбе и знахарству передавались у нас в роду по женской линии. Но всё прекратилось. Моя мама в последние годы ничем подобным не занималась и мне не велела. Да и передавать секреты некому. У меня сын есть, а дочерей нет.

– У тебя сын? Сколько лет? Чем занимается?

– В университет поступил. Первый курс.

– А я всегда сына хотел, но вот не случилось. – Таранов налил себе коньяку, помедлил и выпил. – Хорошо, Допустим, я тебе поверю. А взамен что хочешь? Чтобы я золотом поделился?

– Упаси бог! Нет, нет! Да и тебе не надо бы к такому золоту прикасаться. Пойдем к дубу, я заклятье сниму, а там сам решай, как поступить.

– Чертовщина, да и только, – пробурчал Виктор Васильевич, но вместе с гостьей вышел во двор, а затем отрешенно смотрел как Ирина ходит вокруг дуба, негромко повторяет какие-то фразы и делает нелепые движения руками. Уже темнело и фигура женщины читающей в сумерках то ли молитвы, то ли наборы непонятных слов вносила какую-то нелепицу и наваждение в устоявшуюся жизнь Таранова. Эта жизнь была не всегда правильной с точки зрения морали, часто тернистой, но с понятными для него ориентирами и правилами. И вот на тебе. Фантасмагория, да и только!

...Прошло несколько дней, в течение которых Таранова не отпускали мысли о кладе. То, что рассказала ему Ирина, а она сама знала немного, было явно недостаточно для логического восприятия. Потому приоткроем занавесу событий почти столетней давности.

...Губернский прокурор Семибратов Павел Петрович сидел у себя дома за столом вместе со своим старшим братом Юрием Петровичем, приехавшим из Петербурга. Разговор шёл о переезде их с семьями во Францию. Главные моменты старший брат обозначил в письмах, которые ранее присылал Павлу Петровичу, и основные приготовления были уже сделаны, но осталось не обговоренным одно очень важное обстоятельство.

– Медлить более нельзя, – говорил Юрий Петрович, – в Петербурге совсем не спокойно. Царь от престола отрекся. Виданное ли это дело, чтобы Россия-матушка без царя осталась. Поедем в Ригу, там сядем на пароход и далее – во Францию. Активы наши на счетах и в облигациях я уже перевел в Русский банк в Париже.

– А что делать с золотом и серебром? – тихо, почти шёпотом, спросил Павел Петрович. – Опасно со всем этим ехать.

– Да, не с руки забирать сейчас наследство с собой. И оставить негде, время смутное. Сделаем так: драгоценные украшения женщины наши

на себя наденут и одеждой прикроют. А сундучки с монетами спрячем в доме, а когда смута закончится – вернемся. Только прятать надо в разных местах, серебро – отдельно, золото – отдельно. Да серебра у нас и немного, а вот золота наши дед с прадедом прикопили хорошо.

– Не говори об этом. Не хуже меня знаешь, сколько крови на том золоте.

– Не чистоплюйничай, деньги не пахнут. Тебе, прокурору, как об этом не знать.

– Ладно, спрячем, а если найдет кто?

– Думал я об этом. Феклу, колдунью позовем. Пусть она заклинанья страшные наложит на богатство деда нашего. Она ведь тебя боготворит. Ты же не посадил её в тюрьму, хотя доносы на неё написаны были. И дочка её у тебя в доме прислугой работала.

– Всё равно боязно. А вдруг скажет кому-нибудь?

– Не скажет. Мы её дочь с собой заберем и вернем, если клады целыми сохранятся. Как стемнеет, пошли за колдуньей.

Вечером Фекла выслушала братьев Семибратовых.

– Заклятье наложу, но дочь вам не дам. Я ей свой дар должна передать. И не бойтесь, мне ваше золото ни к чему. Другим живу. Дар мой пропадет, если его себе на выгоду пользовать буду. Если хотите, чтобы чужая рука не прикоснулась к сундукам, в огороде выкопайте две ямы, подальше друг от друга, в одну положите золото, в другую серебро и сразу посадите на эти места дуб и ель. Дуб – на золото, ель – на серебро. Они корнями обовьют ваши сокровища, никто ввек не догадается. А я заклятья прочитаю.

– Ну, Фекла, смотри, если что не так. На вот, возьми за труды свои, – Юрий Петрович протянул ей несколько ассигнаций. – За домом присматривай, ключи тебе оставим. Твоя дочка у нас работала, поэтому скажешь всем, что велели братья следить тебе с ней за домом. А вернемся – забот знать не будете.

Фекла с поклоном взяла деньги.

– Вот, а говорила – другим живешь. Деньги всем нужны.

– Смотря какие деньги, – отвечала Фекла. – Для нужды – это можно, если конечно не красть, а вот для возвеличивания, обогащения или гордыни – брать нельзя.

– Не так ты проста Фекла, да ладно, сделаем всё, как ты сказала, а там – как бог даст...

Фекла слово сдержала, присматривала с дочкой за домом, даже мусор во дворе подметали, пока новая власть дом прокурорский не приватизировала. А Семибратовы как в воду канули. Не было от них никаких известий. И вот точку в этой истории надлежало поставить Ирине, что она и сделала.

Ирина лежала в больнице, в отдельной палате (Таранов постарался, позвонил главному врачу и договорился об индивидуальном уходе). Прошла неделя, но Виктор Васильевич заглянул только один раз – убедиться, что за ней соответствующий уход.

«Не до меня ему сейчас, – подумала Ирина. – Может зря на него такой груз повесила. Сдалось это золото. Но маме обещала. Что теперь? Дело сделано».

Таранов и в самом деле был занят: днем – работой, вечером – попытками как-то осмыслить происходящее с ним в последнее время. А если

и в самом деле под дубом закопан клад с золотом. Это ведь не серебро. Реальное может быть богатство на десятки, а то и сотни миллионов.

Виктор Васильевич святым не был, создавая свой бизнес, особенно в первоначальный период, когда был совсем молодым и рисковым. Тогда всякие методы были в ходу. Ни себя не щадил, ни партнеров, ни конкурентов. Правда, явного криминала формально за ним не было, но грешки откровенные водились.

Вырыть клад, воспользоваться случаем. Многие просто мечтают так обогатиться. А если там ничего нет? Мало ли что предки Ирины могли напутать. Легенды всегда обрастают всякими небылицами.

И Таранов решился. Он бензопилой спилил старый, так и не ставшим могучим дуб, причем пенёк оставил высоким. Лебедка в его хозяйстве была, пользоваться ей он умел, и однажды, ближе к вечеру, самостоятельно, с помощью лебедки он выкорчевал пенёк, оставшийся от дуба.

Много времени это не заняло, но под пеньком ничего не оказалось. Таранов взял лопату и начал углублять образовавшуюся яму, обрубая при этом топором оставшиеся в земле корни. Наконец под лопатой что-то глухо и твёрдо отозвалось. Это были явно не корни. Виктор Васильевич с удвоенной энергией продолжал выгребать грунт и вскоре освободил от земли крышку сундука. Сундук был гораздо больше, чем первый – с серебром. Таранову пришлось хорошо постараться, прежде чем он смог открыть крышку, не доставая сундук целиком. Он знал, что такое оцепенение, но по-настоящему испытал это ощущение впервые. Не надо быть экспертом, чтобы понять: перед ним килограммы золота в старинных российских монетах. Это больше, чем целое состояние.

Виктор Васильевич сел на край вырытой ямы и молча смотрел на открывшееся как в сказке сокровище. Вся его жизнь последних лет состояла в том, чтобы заработать как можно больше. Деньги – вот была основная цель. Ради развития бизнеса он многим жертвовал. Но сейчас, когда казалось, судьба дарит ему то, к чему он всегда стремился, он не испытывал радости. Таранов вдруг вспомнил о той давнишней находке с серебром. Теперь он точно звонить никому не станет и сообщать о случившемся тоже не будет.

Сколько так просидел Таранов, сказать трудно, но вот он решительно поднялся, закрыл крышку сундука и стал забрасывать его землей. Закончив работу, он оттащил подальше пень – «Потом сожгу» – и выровнял место, где только что была яма.

– «Не тобой положено, не тебе и брать» – с какой-то внутренней гордостью вслух произнес Виктор Васильевич и пошёл убирать в кладовку лебедку и инструменты.

Ему стало легко и свободно. Он впервые за несколько дней не был удручен изматывающими мыслями. Таранов стоял под вечерним небом, смотрел на вечные звезды и вдруг почувствовал, что проголодался. После ужина он долго мылся под душем, ощущая, как потоки воды смывают с него невидимую паутину, до сих пор его охватывающую и сдерживающую свободу настоящих внутренних порывов.

Утром, когда Виктор Васильевич проснулся, в окно проливались яркие солнечные лучи. На душе было чисто, мысли были ясными и, самое главное, он был совершенно спокоен. Он знал, что делать дальше.

Поехал в офис, а ближе к обеду – в больницу, к Ирине. Он вошел к ней в палату с цветами. Она улыбнулась и спросила:

– Ну как ты?

– Всё просто замечательно, Ирина. Я всё уже сделал. Тебе не надо больше беспокоиться. А что тебе доктора говорят?

– Уверяют, что всё будет нормально, и просят не бояться операции. А я и не боюсь.

– Скажи, Ирина, а кто отец твоего сына? Какое у него отчество?

– Я знала, что ты догадаешься. Какое отчество? – Викторович! Какое же ещё?

– И ты столько лет молчала! – Таранов взял руку Ирины и прижался к ней губами. – У меня есть сын, что может быть дороже... Расскажи мне о нём. И познакомь нас как можно скорее.

Через час Виктор Васильевич, несколько ошалевший от полученного известия, снова ехал в машине. Раздался звонок сотового телефона. Звонила секретарша.

– Виктор Васильевич, звонили из Московской государственной компании, они заинтересовались вашим проектом по строительству порта. А ещё губернатор вас спрашивал. У него приятные известия по этой же теме.

Таранов остановил машину и опустил боковое стекло. Солнце было в зените и осыпало землю золотом своих лучей.

МИХАИЛ ПОПОВ

СИГНАЛ – КРАСНАЯ РАКЕТА

Стояла гулкая, тягучая тишина. Чтобы убедиться, что не оглох, он простонал. Глотка, нос, уши были забиты песком. Он прокашлялся, с трудом помотал головой, чуя, как из ушных раковин вытекает. Расслышал собственное хриплое дыхание – слух, стало быть, не пропал. Теперь глаза. Открывать их нельзя – он лежал навзничь, и, чтобы очистить глазницы от песка, повернул голову сначала вправо, затем влево, а потом высвободил правую руку и для верности ещё подул на них, подставив к губам ладонь. Глаза были ещё запорошены, ещё являли невнятицу очертаний, но он различил над собой брёвна, вставшие домиком, и догадался, что именно они и спасли его в роковую минуту.

Чтобы выбраться из-под завала, он стал, помогая свободной рукой, поворачиваться на правый бок. Шуршала по плащ-палатке осыпь песка, тяжело отваливались комья глины. Освободилась левая рука. Опираясь на обе, он почти перевернулся на живот, и, чтобы перевести дух, ничком ткнулся в землю. Пахло волглой глиной, сухим песком, но сильнее всего перекисшим тротилом. Помешкав, он опёрся о локоть левой руки, а правой, обдув её, вытер глаза. Теперь можно было наконец осмотреться. И что же он увидел, подняв голову? Танки. Так показалось вначале. Крашенные охрой да углем панцеры он видел прошлой осенью в Подмосковье. Но, сдув последние песчинки и для верности послюнявив уголки глаз, понял, что это экскаваторы и бульдозеры. Не иначе, именно они, выкрашенные причудливо жёлтой краской, откопали его, вскрыв песок и глину на большой площади до самого уреза воды, которая сейчас, ночью, подсвечивалась дальним прожектором.

Подол плащ-палатки застрял в глине. Он с усилием потянул его и вызволил. Правая рука нащупала металл, это, судя по отверстиям, был кожух ППШ. Автомат был забит песком и глиной, он стал на ощупь очищать его, одновременно осматриваясь. А где же катушка с телефонным проводом? Пошарил рукой слева – нет, глазами справа – тоже нет. Возможно, её подхватил кто-то другой, увидев, что он недвижим – ранен, а то и убит?

Где-то здесь, под берегом, был блиндаж командира соседней роты, к нему он и полз, таща связь – таков был приказ командира их седьмой роты старшего лейтенанта Наумова. «Соляная пристань, – ткнул старлей в карту. – Вот здесь». И ведь он дополз до этой пристани, добрался до этого блиндажа, он вдруг ясно вспомнил, словно увидел всё воочию: вот вход в блиндаж, прикрытый куском брезента, он норовит уже метнуться туда, чтобы доложить о прибытии, известить о намечаемой атаке, но тут – столб огня, взрыв, взметнувшиеся брёвна...

Поднявшись на колени, он ощупал себя. Чудовищный снаряд, не иначе, гаубичный, разметал всё в клочья, а его не тронул, всё, похоже, цело. Только какое-то пустотелое, словно ты – сноп, который долго били цепами, такое вдруг из деревенского далека пришло сравнение. И голова кружится, будто спал, да не выспался. Ощупал голову – цела, мимолётно отметил, сколь долгим стал волос, надо стричься. А ушанка? Где ушанка? Ещё раз осмотрелся: вот она. Обрадовался не меньше, чем автомату, надо же – цела, даже звёздочка не отпала. Ну, лады – так-то живём, так-то жить можно!

Теперь надо было решать, что делать дальше. Блиндажа, к которому полз, нет, разбит прямым попаданием – видел собственными глазами, собственной шкурой испытал. Кому докладывать о прибытии, если кругом ни души, даже часовых? Стало быть, что? – надо поворачивать обратно, добираться до своих.

Сказано – сделано. Опираясь на автомат, тяжело разламывая хребет, он поднялся на ноги. С плеч и спины посыпались песок и глина. И сапоги, и ватник, и подштанники – всё было волглое, однако стылости он не чувствовал, словно сам слился с этой волглостью.

Покосившись на воду – это был ориентир, он шагнул влево. Первый шаг дался с трудом, так полонила его непомерная тяжесть. Но солдат бывалый, он знал, что надо сделать второй шаг, третий... А там, как это бывало, втянешься в пеший ход и попрёшь, и попрёшь, куда прикажут отцы-командиры. Пока не падёшь от засмертной усталости либо пули.

Жестяной забор, окружавший песчаное поле, он одолел через рваный пролом, краем сознания отметив, что плащ-палатка зацепилась за острую кромку, но порвалась почему-то без треска. Его больше заинтересовала гофрированная жесть. Он пощупал рваный край её – такой не видал ни на крышах, ни на ограждениях. Вот бы в хозяйство такую...

За забором было темнее. Фонари – откуда здесь фонари? – горели, но свет их скрадывали деревья. Только через полторы-две сотни метров стало светлее. В лучах, исходящих снизу, он увидел кирпичную мельницу – без крыши, без стропил, она напоминала гребень о четырёх зубцах. Там находился НП старшего лейтенанта Наумова.

На минуту он замер, хоронясь в тени. Снизу красная мельница и обломок трубы были окутаны чем-то белым, словно бинтом. Нет, не бинтом, – ночной туман, видать, накатил с реки, только странный

какой-то, тяжёлый. А позади будто облако, но только не округлое, – сверху приплюснутое, будто обрезанное, а по бокам вогнутое, словно экран простыни в их сельском клубе, натянутой гвоздями.

Ускорив шаг, но пригибаясь и держась в тени, он пустился в ту сторону. До мельницы было уже недалеко, по прямой – сквозь туман – один бросок, когда впереди он различил танки. На миг присел, но по округлым силуэтам догадался, что свои, и пустился дальше. Танки стояли тесно в ряд. Опасно стояли. Ближний снарядом накроют, а там и другим хана, если боекомплекты сдетонируют. Они что, не соображают, эти танкёры? И часового не видать.

Держа автомат наизготовку, он приблизился к танкам вплотную. Новенькие, с иголочки, крашенные яркой зеленью. По форме свои, но встречать таких ещё не доводилось. Три танка и самоходка. Во, силища! А дальше сбоку он увидел паровоз. А паровоз-то тут откуда? Разве здесь ветка проложена? Приблизился. Паровоз тоже оказался новенький, а за ним несколько платформ: теплушка, цистерна, на открытых платформах пушки. Всё было диковинно и странно, и он никак не мог взять в толк.

Но самое странное ждало его впереди. В слабых отсветах он увидел угол ближнего дома. Дом был цел. Он хорошо помнил, что тут лежали одни развалины, откуда же взялся этот? Нерешительно приблизившись к дому – уж не блазнится ли? – он даже пощупал его. Целый. Каменный. И стоит. А это что мерцает? В тусклых фонарных отсветах различил мраморную дощечку. Стал читать надпись. И обомлел.

«Улица названа именем
командира 7 роты
42 гвардейского стрелкового полка
13 гвардейской дивизии
старшего лейтенанта
Наумова Ивана Ивановича,
геройски сражавшегося
в Сталинграде.
Погиб 25 ноября 1942 года».

25 ноября... 24-го вечером старлей послал его на задание, приказав наладить связь с соседней ротой. А 25-го... погиб.

Его обнесло – ротный погиб. Ища опоры, он прислонился к стене дома, как к стенке блиндажа. Ротный погиб, а он и не знал. Как же так! Вчера был жив, давал задание: « Передашь: сигнал к атаке – красная ракета. Оставайся там – будешь на связи». И хорошо так посмотрел на прощание: «Я надеюсь на тебя...». А сегодня погиб... Не может быть!

Он оторвался от стены, скосил взгляд на мраморную доску. Может. Вот она – похоронка.

Он представил себе ротного, каким запомнил, уходя на задание. Прокопчённый порохом, тощёй – одни жилы да кости, лицом худой – все щёки выела война, но духа эта сука не сломила. О том ясно твердили глаза! Такие строгие и одновременно ласковые глаза были у отца. Вот за глаза ротного и называли Батей. Что с того, что ему было всего тридцать три. Отец родной. От рядового-окопника вырос до командира роты. На своей шкуре всё испытал, потому бойцов жалел и берёг... А сам, выходит, не убе-

рёгся... «С кем воевать-то теперь? – закашлялся он. – Поставят какого-нибудь подлётыша необстрелянного, наплачешься с ним». И вдруг осёкся.

Настылого и застамелого, его обдало жаром. Доска. Мемориальная доска. И тишина. Стало быть, что? Оборона кончилась? Передний край откатился дальше? Ценой жизни старшего лейтенанта Наумова?

Не в силах одолеть смятение, зыбкую дрожь в коленях, он опустился на землю и прислонился к стене. Неужели выстояли? Неужто одолели? Тут бы радоваться, ликовать. Да не тут-то было. Этим домом начиналась улица имени командира. А он никак не мог этого понять, тем более – принять.

Усталое сердце едва слышно гнало застоялую кровь. И тут наконец тихо-тихо стало приходить осознание самого себя и следом – своего положения.

Это было наследственное. В их роду кто-нибудь непременно впадал в это состояние. Кто накоротке – на неделю-месяц, кто на полгода. Были случаи – и это передавалось из уст в уста – бабка по материнской линии после гибели мужа целый год находилась в летаргическом сне. Их, уроженцев Полтавщины, ещё называли за это «потомками Гоголя». Дескать, Гоголь не умер, когда его хоронили, а впал в летаргический сон, потому и тела в гробу не оказалось, когда вскрыли. Маму Господь миловал. От родства с классиком она открещивалась: «Чи знаю...», словно боялась даже мыслями накликать то загадочное состояние, а о родных ланах, с которых бежала от Петлюры, почти не вспоминала. Отец подтрунивал над ней: начитались твои бабки «Вия», вот и мерещится. А сына, добавлял, это не коснётся, он в нашу породу – в Реутовых. И пояснял, что реут – самый большой вечевой колокол, такой всех бесов отвадит, они на сто вёрст к нему не приблизятся...

Мысль об отце встрепенула его. Отец погиб осенью 41-го года под Смоленском, недалече от родных мест. До Смоленска от Волги было далеко. Мешкать было некогда. «Встать!» – приказал он сам себе.

И вот солдат – не столько плоть, сколько дух, – он двинулся вперёд вдоль улицы своего командира. Шагал тяжело – телесность гнула к земле, но дух не оставлял, крылатя дорогу.

Поперечная улица оказалась перекопана. Окопы? Нет. Канава была аккуратно выбрана ковшом экскаватора, а в ней лежали огромные трубы, видать, водопроводные. Стало быть, восстанавливают. Далеко, выходит, откатился фронт, пока он лежал в забытьи под толщей глины, песка и брёвен.

Он пересёк канаву по мосткам, касаясь плащ-палаткой перилец, двинулся дальше, но вдруг замер. Осветительная ракета. Она то вспыхивала, то гасла, потом опять вспыхивала. Нет, это была не ракета. Он догадался, что это мельтешит световая реклама. Только почему она не по-русски... И песня откуда-то чужая, на чужом языке. Может, это не Сталинград? Или эта часть города ещё не отбита?

Держа наизготовку автомат, он двигался от реки всё дальше и дальше. Так далеко, даже атакуя, они ещё не доходили. Прижатые немцами к Волге, они, гвардейцы генерала Родимцева, держали тут совсем узкую полоску берега.

Неожиданно его вынесло на широкую, ярко освещённую улицу, он даже отпрянул, встав за кусты. Дома были безмолвны, в редких окнах мерцал огонь. Зато вовсю бесновалась реклама. Причём в большинстве

на чужом языке. Он не читал, отмечал глазами, не понимая и не вдумываясь в смысл. BROAD WAY, KERASTARE, PLAZA, SELFUBAR, HILTON, FITNESS LAND...

За ближней стеклянной витриной сверкали хромом и лаком автомобили. Он пригляделся к их маркам, что сверкали на капотах. Ни одной своей – ни АМО, ни ЗИЛа, ни ЗИСа, – одни иностранцы. В госпитале показывали немецкую хронику. Там овчарок натаскивали на детях-узниках. Пасти псов были оскалены, как эти капоты. И ещё одно его зацепило. В витрине магазина отражалось дерево, подле которого он стоял. Дереву было всё равно где и в чём отражаться. А его, солдата, отражения там не было. Даже отражение его противилось этому чуждому надменному блеску.

На углу дома лепилась табличка: «Улица Советская». Как же так? Улица Советская, а вся в чужаках! Разве это порядок!

А ещё повсюду назойливо мелькало SALE. Чего они помешались на сале?! Кругом SALE, SALE, SALE...

Дальше открылось название банка, тут было по-русски. Он попытался прочитать. Но вышло что-то странное: «Банк хомут кредит». «Эко!» – хмыкнул он, сдвигая на затылок ушанку.

Нет, тут что-то не то. Немцы выбиты из города, они вроде ушли, но от своего, видать, не отступили и теперь, не иначе, правят издалека, навязывая свои порядки. И словно в подтверждение догадки из-за угла вырвались на бешеной скорости три мотоциклиста. На головах каски с рожками, на глазах очки, все в чёрной коже. Не иначе эсэсовцы? Не успел он вскинуть автомат, как они унеслись, обдав бензиновым перегаром. В помине остался только пёстрый флаг, развевавшийся на заднике переднего циклера, – немецкая буква F да посерёдке череп...

Очередное слепящее название прочитать не смог. Догадался только, что это ночной клуб. Оттуда доносилась визготень, напоминающая звук немецкой противопехотной мины. Он даже по привычке утянул голову, да одумался. Нет, это не мина – это, видать, такая музыка. На клубном крыльце кучковались качающиеся юнцы. На них была чужая незнакомая форма. И язык был чужой, судя по отдельным отрывистым словам: лузер, драгс, зашквар, бабло, зольды... Судя по речи – не немцы. Может, мадьяры? Их тут много понагнали. Или итальяшки?

Издалека снова раздался треск мотоциклов. Вскоре они очутились в проулке возле клуба.

В свете фар змеино замерцала чёрная кожа. Те же или другие? Да какая разница! Фашисты – есть фашисты!

Сердце солдата, как всегда перед атакой, пыхнуло. Сигнал – красная ракета. Только кто его подаст? Командир убит. На кого надежда? Ясно дело – на себя. «Реутовы – фамилия вечевая». К бою, солдат!

Из проулка донеслась чужая крикливая речь, изображавшая круговую маршевую песню. Её подхватили те, что были на крыльце, они двинулись в проулок. Слепящие фары выхватили кусок надписи: ZONE – «Зона...» – а следом начало: FASHI...

И уже не мешкая, он вскинул автомат.

г.Архангельск

ВЛАДИМИР ПРОНСКИЙ

КТО НА КОГО УЧИЛСЯ

В феврале не стало моего товарища Серёги, с которым дружил более двадцати лет. Пошёл он утром умываться и рухнул. Едва за шестьдесят перевалило, до последнего дня в волейбол играл, что меня, тоже волейболиста, всегда радовало. Я-то немного постарше буду, и не осталось былой прыгучести и координации, а всё равно волейбол – игра на всю жизнь.

Но познакомились мы не на площадке, а в компьютерном отделе. Серёга – бывший офицер, в середине 90-х уволился из армии. Знание технического английского и компьютера помогло ему стать инженером-айтишником. Он имел успех, работая в издательствах и торговых фирмах, к тому же всегда из-за отзывчивого характера был на виду в любом коллективе. Его уважали руководители, коллеги-женщины и даже чёрный кот, которого котёнком однажды подобрал на улице. Кот быстро вырос и стал талисманом отдела. Занимался им в основном Серёга, даже приезжал в выходные, чтобы напоить и покормить, возил на прививки, и никто в этом ему особенно не помогал, правда, время от времени скидывались всем отделом на кошачий корм – дело-то компанейское. Да и сам он был компанейским.

Это и помогло нам подружиться, когда я попросил знакомого помочь сделать вёрстку книги, а тот отправил меня к Серёге. Вскоре по его совету обзавёлся компьютером, а он помог наладить. Предложил денег за работу – отказался, лишь намекнул, что заглянуть в гастроном не возбраняется. С той поры запросто звонил ему, всегда радовавшемуся моим книгам, публикациям, выслушивал замечания о новых сочинениях; иногда он что-то хвалил – в общем, не оставался равнодушным к тому, чем я занимался. И это было особенно приятно.

А так как я тот ещё «чайник», то приходилось частенько обращаться за компьютерной помощью, и он охотно отзывался, говорил шутливо: «О, господин пейсатель! Всегда рад помочь!». От его лёгкой иронии на душе делалось легко и совсем не обидно. Любил он не только литературу: то закатится с женой в Ярославль в тамошний театр на новый спектакль, то начнёт рассказывать о выставке на Крымском валу – и всё ему интересно, везде ему хочется успеть, тем более что дети выросли, жили сами по себе.

Я же, имея такого товарища, совсем обленился, понимая, что не поспеваю за развивающейся техникой, хотя и не особенно стремился поспевать. Не моё это. Проще позвонить Серёге и рассказать о закавыке с компом; используя опцию удалённого доступа, он легко расправлялся с любой «засадой». После этого как не встретиться в чебуречной на Сухаревской, считавшейся лучшей в столице ещё с советских времён. Чебуреки здесь сочные, душистые, их аппетитный аромат растекался по всему скверу на месте дореволюционной толкучки.

Употребляли огненные чебуреки так: двумя ложками зажимался угол чебурека, другой откусывался, а бульон сливался в третью. В общем, объеденье. Трёх чебуреков с бараниной или говядиной вполне хватало пообедать. Можно было по-тихому пропустить рюмочку-другую, а с некоторых пор шкалики с водкой и коньяком продавались вполне легально. Так что мы частобывали с Серёгой на Сухаревской, и оставались довольны этими походами, потому что разъезжались по домам выпившими и сытыми.

Встречались и по не «производственным» делам. Отмечали дни рождения, День защитника Отечества, ВВС, где он служил, да и мой ВДВ – это уж обязательно. Так что достаточно находилось поводов, и мы охотно ими пользовались, а иногда встречались и без повода – просто так.

И вот с Серёгой минувшей зимой попрощались на Хованском, и навсегда сорвалась наша очередная встреча на Сухаревке. Его сослуживцы, зная, что он помогал мне в компьютерных делах, обещали не бросать, говорили, мол, не стесняйся, всегда обращайся, но как-то позвонил им и понял: всё изменилось. Не оказалось у них второго Серёги. И перестал их тревожить.

Жизнь, понятно, продолжалась. Много времени проводил за компом: это и новые рукописи, и почта, и соцсети – дело известное. И с каждым днём комп работал всё медленнее и медленнее. Спросил у сына, что это может значить, а он как всегда: «Потом посмотрю!». Обещать-то обещал, но я-то знал, что это «потом» может растянуться до бесконечности. И от этого делалось обидно, ведь сам-то я при первой его просьбе всё бросал и спешил на помощь. Конечно, не всегда он был таким, а началось это, когда я на пару лет уходил из семьи.

Да, был такой момент, искал семейного счастья на стороне, устав от постоянных придирок жены из-за безденежья. Но ничего не получилось. Да и кому нужен человек с несытными заработками, но у кого они были «сытными» в 90-е. Пришлось вернуться. Кое-как был принят женой, и сын вроде бы первое время радовался, но когда повзрослел, женился, то не сумел до конца простить мой «заскок», хотя напрямую никогда не укорял. Лишь оттаял, как мне казалось, когда устроил его в солидную организацию после университета.

Стал хоть как-то отзываться на житейские просьбы, но недолго – со временем забыл отцовскую заботу, и всё чаще кормил «завтраками». И вот теперь сам разругался с женой и, оставив без внимания сына-подростка, третий месяц жил у нас. Временем располагал, но не располагал душевностью и вниманием к отцу, продолжавшему делать замечания, «учившему жизни». Как-то не выдержал, сказал ему прямо, заведя разговор на общую с ним тему, и он понял, что я имел в виду:

– Всю жизнь что ли будешь, дуться?!

Думал, промолчит, но отозвался грубо и непочтительно:

– Сам виноват!

Задело это меня, чего скрывать, поэтому ответил в тон, неуважительно, как случайному несимпатичному человеку:

– А сам-то чего же сына оставил? Или только за другими замечаешь промахи?

Он хотел что-то сказать, но промолчал, не сумев честно ответить, а врать, видно, не захотел. Ну, хотя бы так.

После этого разговора вспомнил о двоюродном племяннике, год назад перебравшемся из провинции. Его отец, помнится, очень нахваливал сына-компьютерщика, гордился им. Вот, мол, светлая голова, заработал и накопил денег на квартиру. «Представляешь, в Москве теперь живёт, там у вас такие возможности!». И я понял, что парень не промах, если в районном городе, пусть и крупном, сумел хорошо заработать. Попробуй, сруби деньгу, если ты не жуликоватый чиновник. А ведь смог! И было радостно, что у брата такой башковитый сын. И я позвонил Алексею, рассказал о своей проблеме, а он сразу расстроил:

– Дядя Володя, проблем может быть несколько, и сразу не скажешь, отчего именно комп тупит. Как-нибудь подскочу, посмотрю. Вы в Строгино живёте?

– Да, в Строгино...

– Диктуйте адрес! – недолго думая, попросил Алексей. – В ближайшие дни буду. Может, и делов-то на пять минут!

Как не обрадоваться такой отзывчивости?! И я порадовался за племенника. Подумал: «Есть же, есть добрые люди!». С этой мыслью и далее жил, и было приятно, что кто-то о тебе думает, заботится.

Неделя прошла, вторая – позвонил ему. Оказалось, что Алексей помнит обещание, но сейчас очень много работы.

– Подождите ещё немного, дядь Володь, обязательно заскочу.

Прождал две недели, и сил более ждать не осталось, тем более что комп почти перестал работать. Файл PDF объёмом 15 МБ скачивался 14-15 минут. Весь обозлишься, пока дождёшься. Тогда вновь напомнил сыну, не дождавшись помощи от племяша.

– Тебе горит?.. – огрызнулся он.

Всё, деваться некуда, надо «сдаваться» мастерам со стороны. Позвонил в центр ремонта компьютеров. Выслушали там мои стоны и пообещали через два часа прислать мастера.

– Спасибо, буду ждать! – обрадовался я, сообщив адрес.

Мастер прибыл без опоздания: лет тридцати пяти, невысокий, курнос, в очках (умный!), надел бахилы, я ему подал гигиеническую салфетку для рук, и он уселся за комп, но сначала представился:

– Сергей... – а у меня от его имени что-то в груди заломило, сразу вспомнил своего Серёгу.

А новый Сергей пощёлкал мышкой, почитал одну техническую страницу, другую, печально качнул головой, вздохнул:

– Работы много будет... Желательно жёсткий диск заменить. Сколько лет-то машине?

– Да уж лет восемь-девять... А вы все данные сохраните?

– Сохраню, куда же деваться, хотя вы накопили за эти годы ого-го сколько всего.

– И до этого был компьютер, и не один, всё пришлось сюда перенести, чтобы под рукой рукописи и фотографии были.

– А вдруг жёсткий диск сгорит?! Ведь всё пропадёт!

– Что важное, а важное у меня всё, переписал на запасные диски. Вон в углу стопка стоит. Так что обезопасил себя как мог.

– Тогда другое дело. Ну, так что? – задал мастер вопрос и сделал паузу. – Меняем диск!

– Надо так надо. Сколько это будет стоить?

– Около четырёх тысяч, не считая работы. Как раз у меня есть один с собой.

– Вполне согласен. Меняйте, если уж время подошло его менять.

– Но учтите, что будут ещё расходы по переносу и сохранению данных, установке браузеров и прочие – сами понимаете, что бесплатно такие вещи не делаются.

– Надеюсь, цена-то не будет кусаться?

– Всё подъёмно, даже для пенсионеров.

Мастер начал что-то писать на листочке, фотографировать смартфоном, попросил освободить системный блок от окруживших его книг и бумаг, а сам запустил перекачку данных с компьютера на внешний диск. Когда скинул, то спросил о пылесосе:

– Наверняка в компе полно пыли.

– Как ей не быть, если я года три не чистил его.

Принёс я пылесос, подключил, а мастер снял с блока панель, пропылесосил, начал устанавливать диск.

– Как у вас всё ловко получается! – искренне похвалил его, начинавшего по-настоящему нравиться: говорит мягко, уважительно – сын редко когда на такое сподобится.

– Кто на кого учился! – улыбнулся через очки мастер. – Вот вы-то тоже чему-то учились, если все полки заставлены книгами да журналами?!

– Так уж получилось... – отговорился. – Могу подарить книгу на память!

– Спасибо! Я ничего не читаю – некогда...

На какое-то время наш разговор замолк, чтобы поддержать его, я предложил кофе, но гость отказался, достал из рюкзачка бутылочку с водой, сделал глоточек, не позволяя мне фамильярничать. Но всё равно дистанция казалась условной. Было видно, что Сергей сосредоточен, хочет поскорее завершить работу, потому что за окном сгущались июльские сумерки, и мне подумалось: «Вот что значит современный человек – действительно «пашет». Вспомнил племянника. Алексей, наверное, так же «пахал», а иначе как заработать на квартиру в Москве? Всё-таки шустрая ныне молодёжь, хотя так и должно быть. Ког-

да, как не в молодости, зарабатывать на жизнь, и не только. Мой сын так не умеет: ленив, заносчив, укрывается за сплошными отговорками. Вот сколько раз просил его подключить принтер и сканер после установки Windows10 (да, был и ещё вызов мастера, но тот оставил самые неприятные воспоминания)? Сергей не таков: сказал ему об этом, и он радостно отозвался:

– Запросто!

Работа, чувствовалось, подходила к концу, и я попросил вывести ярлыки на рабочий стол, чтобы потом легче ориентироваться.

– Само собой! – уверил он меня, а я старался запомнить привычные обозначения, но выглядевшие по-новому. В общем, дело-то знакомое после стольких лет общения с компом. Это в глубину не удаётся залезть, а в пределах бытового пользователя – легко.

Чем ближе было окончание работы, тем Сергей становился вежливее, видимо, привыкнув ко мне, к тому, что я не очень-то досаждал вопросами, а какие задавал – старался, чтобы они были конкретными и не смешными. И у меня это, кажется, получалось, по крайней мере, Сергей выглядел вполне бодрым, не угнетённым, лишь начал старательно сопеть, когда принялся заполнять квитанцию и открыл калькулятор. После нескольких минут писанины он вздохнул:

– Солидно вы загрузились... На тридцать семь тысяч!..

– На ско-о-ль-ко?! – поперхнулся я.

– Тридцать семь. Всё по прейскуранту! – и сунул мне под нос распечатку мелким кеглем на пяти или шести страницах.

– И распечатка ваша не нужна, и платить я не собираюсь. За такие деньжищи можно новый комп купить со всей конфигурацией!

– Хорошо, как пенсионеру, сделаю скидку на семь тысяч. Вас это должно устроить.

– Ни в коей мере...

– И как быть?

– Посчитать правильно, по совести! Дайте квитанцию!

Я нацепил очки, вгляделся в каракули, вчитываясь в перечень работ и цены. Причём большая часть цен была закрыта печатью. Но кое-что удалось рассмотреть.

– Объясни, – попросил я, – как понимать вот эту строку: «Перенос и сохранение данных». И далее: «Код услуги – 5.3, цена в рублях – 350, кол-во – 3,8», а общая сумма услуги – 13200 рублей? Как можно получить такую сумму, умножив 350 на 3,8? – Мастер мой замялся, а я продолжал: – А эта запись что значит: «Три консультации»?! Причем, по 1500 каждая? Три ярлыка вывести на рабочий стол – равноценно трём консультациям? Да это твоя прямая обязанность! – я невольно перешёл на «ты», потому что не осталось и капли уважения к этому мерзкому человечку, общипанным воробьём умостившемуся на стуле передо мной.

Он даже не покраснел и не извинился, лишь торопливо предложил:

– Тогда я сделаю персональную скидку на 11 тысяч! Это вас устроит?

– Ну, вот, это более или менее приемлемо, – не сразу согласился я, понимая, что не дождёшься никакого иного послабления. Дело же может закончиться скандалом, тем более что в квартире находился сын –

крепкий и увесистый качок. А лишний шум, разбитый нос и полиция меня совершенно не устраивали.

Выложил я 19 тысяч и не удержался, уколол напоследок:

– Ловко у тебя получается?! Ошпарил ценой, а потом почти в два раз скостил её! И как же будешь отчитываться перед своей конторой? Или возьмёшь новую копию бланка и перепишешь квитанцию так, как тебе выгодно? Ты этому учился? Если да, то неправильно учился, не тому, и не думай, что твой поганый опыт всегда будет помогать!

Я мог бесконечно терзать его, утоляя собственное злорадство, но он ничего не ответил, а быстро подхватил рюкзак и, не снимая бахил, выскочил на лестничную площадку, я же плюнул ему вслед и так хлопнул дверью, что, наверное, дом пошатнулся.

В этот вечер я не мог смотреть на комп. Он осточертел, казался ненасытным монстром, и вспомнились мне прежние времена, и Серёга вспомнился, и Сухаревская, и всё-всё остальное. Да-а, как всё поменялось. И дело не в деньгах, а в отношениях. Ведь этот типчик два с лишним часа втирался в доверие, чтобы потом оглушить беспощадным приговором, чтобы я проглотил его «разводку» не поперхнувшись, не сумев и не успев возразить. Вот только не вышло это у него, или почти не вышло, но это меня совсем не радовало, а лишь усиливало униженность. С тяжёлыми мыслями и разбитыми чувствами лёг спать, а сон всё не шёл и не шёл.

– Сколько будешь вертеться-то? – зашипела жена, усилив мою обиду.

А на следующий день позвонил двоюродный брат из Тульской области и скорбно сообщил, что Алексей, возвращаясь из Крыма, разбился на машине, и я сразу представилего успешного сына-компьютерщика, но неожиданно увидел в образе вчерашнего мастера. Из двух людей получился один отвратительный портрет. Понятно, что Алексей не при чём, и ничего не сделал мне плохого, но я ничего не мог с собой поделать. Брат просил приехать на похороны, я неуверенно пообещал, словно заранее отказавшись от поездки:

– Постараюсь, но не факт, что болячки меня отпустят...

После этого даже не сразу сообразил, что поступил неуклюже, постыдно, прежде всего перед самим собой. Понимая, что я неправ, излишне зол и мстителен, тем не менее, ничего не мог с собой поделать.

Кое-как разломавшись после вчерашних переживаний, вспомнил о компе, включил его и вдруг понял, что он вновь «отупел», а самое неприятное в том, что почта работала еле-еле, постоянно зависала и непростительно долго скачивались поступающие со всей России рукописи авторов. Ну, не может такого быть, чтобы вчера всё работало, а за один день всё сломалось. Неужели мастер мог как-то навредить? Я не верил в это. Позвонил в его контору, недовольная женщина сказала сонным голосом, что подобная «тупость» часто случается, и попросила перезагрузить компьютер. Перезагрузил – прежняя история. Сообщил ей об этом, и попросил связаться со вчерашним мастером.

– Он сейчас на вызове, как освободится, позвонит вам.

Ждал до вечера, но так и не дождался обещанного. Никто не позвонил: ни сонная тётка, ни рукодельник. Тишина. Начал обдумывать ситуацию: почему, ну, почему, комп вчера вполне сносно работал

и вдруг опять «отупел»? Решил на всякий случай проверить скорость интернета. Проверил, найдя в интернете нужный сайт, и неприятно удивился: скорости почти не было. Она и прежде-то была бюджетная, для пенсионеров, а теперь стала почти никакой. Я уж было хотел звонить провайдеру, узнать, в чём дело, но тут вернулся с работы сын и отвлёк, начав собирать вещи в дорожную сумку. Собрав, заглянул ко мне, усмехнулся:

– Опять мучаешься?

– Мучаюсь. А тебе что, от этого радостно?

Он подошёл, спросил:

– Ну, и в чём сейчас-то проблема?

– Почта тупит. Еле качает. Хочу провайдеру звонить.

– Погоди. Попробуй перезагрузить роутер.

Отключил я от питания этот самый роутер, подождал пару минут, включил. Сын скомандовал:

– Открывай почту!

Попробовал скачать файл, который перед этим скачивался 15 минут. Теперь же он полыхнул почти мгновенно.

– Ну вот! А ты суетишься, мастеров вызываешь!

– Тебе-то, сколько ни проси, некогда! Можно сказать, из-за тебя столько денег профукал!

– Ладно, пап, не зуди на дорогу.

– Далеко ли собрался?

– К твоему внуку возвращаюсь. Ты же этого хотел?

Я что-то промямлил одобрительное, сын не дослушал и вышел, о чём-то напоследок заговорил в кухне с матерью, которая сегодня со мной почти не общалась, обидевшись на вчерашнюю трату семейных денег, лишь упрекнула, словно никогда не дарил ей цветов, что, мол, на цветы сотню-другую жалею, а какому-то проходимцу отвалил немеряно.

Она в этот день была неприятна мне, а я ей – тем более, но не обижался на её причуды, они были понятны. Более обижало недавнее равнодушие сына, которое надо бы забыть после его сегодняшней конкретной подсказки, которой напоследок решил меня осчастливить, хотя вполне мог это сделать давным-давно. Поэтому и не зачеркнёшь его всегдашнее невнимание, от чего делалось и стыдно, и обидно, и горько до невозможности.

«Ну, почему так происходит? – думал я. – Почему нельзя вовремя сделать небольшое одолжение, помочь отцу в нужный момент? Неужели приятно выслушивать просьбу сто раз и дожидаться какой-то экстремальной ситуации? Служил бы он в армии, где не скажешь командиру «потом» в ответ на его приказ, не избежав наказания, то и к отцу, глядишь, по-иному относился бы. Неужели только из-за страха надо выполнить просьбу, а если его нет, то можно наплевательски относиться к чему угодно?».

Не мог я себе ответить на это, и сын наверняка не ответил бы, потому что мы давно разными стали, из разных поколений. И даже не особенно всколыхнуло его сообщение о внуке – дело житейское, поверхностное – всё ещё сто раз изменится, хотя хорошо, конечно, что жизнь у сына налаживается. Хоть в чём-то плюс. Но разговор-то об ином. Во

времена моей молодости, и не только, было не в тягость помочь другому, тотчас отозваться на просьбу, а нынешние молодые иные. И как же быстро они стали такими, хотя сами не понимают этого. Только нам, тем, кому есть что вспомнить и с чем-то сравнивать, это доступно. А им нет. Они живут по принципу «каждый за себя» – и думают, что так и должно быть. Точнее сказать, не задумываются, принимают это как данность, как постоянную величину, которая всегда была, есть и будет. И от этого становилось ещё страшнее, будто стоишь в этот момент, балансируя, перед бездной.

А если «каждый за себя», то давно надо бы понять, что ни от кого ждать понимания не приходится, тем более от мастера, который и на следующий день не позвонил. Попытался связаться с его офисом, но никто не отозвался, даже сонная тётка. Решил съездить на Красносельскую. В пути погуглил в смартфоне, пытаясь поподробнее узнать, что это за фирма, и оказалось, что она зарегистрирована ровно год назад, имела статус микропредприятия, и значился в ней один человек – учредитель. Такие фирмы работают по «упрощёнке», этим и пользуются ловкие люди, и теперь предприятие наверняка благополучно закрылось. Теперь учредителя надо будет искать под какой-то иной вывеской. «А надо ли пачкаться?» – озадачился я вопросом и решил не искать ветра в поле.

И сразу легче сделалось, вспомнил о своём Серёге, о Сухаревской и изменил маршрут. Через двадцать минут был на месте, заказал два чебурека, взял шкалик коньяку и, устроившись за свободным столиком, помянул друга, незабываемого человека своего поколения. И столько всего вспомнилось хорошего, доброго, светлого. Ведь мы никогда не ссорились, обходились лёгкими шутками – не более, он ни разу не выразился некрасиво о какой-либо женщине, ни об одном сослуживце. Ни разу не ругнулся матом, хотя я иногда не сдерживался, осаживая какого-нибудь охламона.

Первое время его правильность даже настораживала меня, не привыкшего церемониться в суждениях. Казалось, мы были разными – и по характеру, и по занятиям, – но это не мешало найти что-то такое, что сближало. И заслуга в этом, конечно же, не моя. Окончательно расчувствовавшись, я взял ещё шкалик, вздохнул:

– Эх, Серёга-Серёга...

ВАДИМ РУДАКОВ

СОЛНЦЕ В КОНВЕРТЕ

Мы познакомились в зале городского музея. В тот день, закончив съёмки и поставив камеру в сейф, я вышел из телестудии и отправился посмотреть выставку одного знакомого фотографа. Его работы пользовались успехом. Я с трудом пробрался сквозь толпу возбуждённой молодёжи, подмигнул сам себе в зеркало и с удовольствием показал контролёрше пригласительный билет.

Зал экспозиции был превращен в звездолёт. Иллюминаторы, переборки, лес проводов и в довершение – девушки в комбинезонах, стилизованных под скафандры. Эти «космические» дивы разносили бокалы на подносах.

Сдав пальто в гардероб и оказавшись в середине зала, я минут пять стоял и осматривался. Потом, не зная, как быть дальше, я двинулся к первой фотографии и, прихватив с подноса шампанское, стал совмещать приятное с полезным. Вся выставка оказалась актовой. Актом в фотографии называется обнажённая натура. Чаще женская.

На всех снимках я увидел одну и ту же милую леди с тёмными волосами. Она смотрела с фотографий одиноко и, может быть, гордо. Не знаю, каков её характер в жизни, но со стен смотрела одинокая амазонка, знающая цену себе и своему одиночеству. Напротив неё стояли люди – кто в вечернем платье, а кто в старом свитере. Все они пили шампанское, размахивали руками и были довольны.

Никто из знакомых не встретился, и мне оставалось пребывать в одиночестве. Казалось, галерея никогда не закончится. В моих глазах уже рябило от серебристого цвета декораций. Я вошёл в одну из ниш в дальнем углу выставки и уставился на очередной портрет. Фото было

удачным. На фоне водопада дива стояла в полный рост, слегка отвернувшись от меня и держа в левой руке хрустальный шар. Струи воды искривлялись его формой, наполняя хрусталь и словно желая взорваться радужным фонтаном. Из оцепенения меня вывел голос, прошелестевший за спиной:

– Да, он прекрасно чувствует свет. Посмотрите, как у неё светится кожа. Такой кадр стоит многих лет труда.

Я обернулся. Вгляделся в говорящего. Передо мной маячил линялый клетчатый берет, надетый поверх огромных очков. Казалось, что линзы вывернули из телескопа и вставили в оправу. Сквозь них на меня смотрели два блёклых зрачка, бывших в молодости зелёными. Я оглядел его. Одет он был, как многие здесь. Коктейль из свитера, скорее похожего на балахон, бесформенных брюк и почти мёртвых туфель. Этакий творческий клошар, застрявший головой в искусстве.

– А вы что, увлекаетесь фотографированием? – спросил я, устав терпеть неподвижный взгляд.

– Если можно так сказать. Я не увлекаюсь, а уже много лет ничего, кроме фотографий, не делаю. И эта фотография, – указал он пальцем на хрустальный шар, – блестящая, такое получается раз в жизни.

Его резкий тон и беспардонность сразу привели меня в раздражение. Но я, желая повернуться и уйти, остался и спросил:

– Простите, а почему вы считаете, что такое бывает раз в жизни? Я ничего особенного здесь не вижу.

Его реакция меня удивила. Было видно, что он подобрался, как для броска, и сказал:

– Либо вы слишком молоды, либо вы обычная бездарь.

Слово «бездарь» было произнесено просто и обыденно, даже необидно. Он продолжал:

– Как вы считаете, что такое фотография? Ну не молчите, оформите в двух словах, я уверен, что у вас получится.

Я подумал, выдержал паузу и ответил:

– Фотография – это вид искусства, позволяющий получать изображения благодаря способности химических веществ реагировать на свет.

Он помолчал, хмыкнул и сказал:

– Из всей этой белиберды я прощаю вам слово «свет». Остальное можете читать с кафедры захудалого института недоученным дамочкам. Они запишут и, может быть, выучат. Но я не буду вас сильно ругать, видно, что вы молоды и мало знаете. Заходите ко мне в студию. Там и разберёмся, что такое фотография и особенно свет.

Он записал в моём блокноте свой адрес с телефоном и сказал, что будет готов принять меня через неделю. Потом удалился, пересекая зал и шаркая туфлями.

Неделя протекла незаметно, и с ней ещё одна песчинка времени перестала быть моей. В назначенный час я шёл по городу, приближаясь к огромному дому сталинской эпохи. Солнечный свет провожал меня на пятый этаж по широким пролётам квадратной лестничной спирали. Дверь оказалась не на замке. Она отворилась, и я увидел хозяина.

– Проходите и ничему не удивляйтесь. Я здесь живу и работаю, – впустил он меня, сверкая своими очками.

Казалось, что коридор, по которому я шёл, был бесконечным. Мне пришлось протискиваться между стеллажей с колбами, идти мимо незнакомых мне устройств и аппаратов, напоминавших сушилки. Поход завершился моим падением, когда я зацепил ногой коробку. Хозяин помог встать и провёл меня в залу.

Я сел на огромный кожаный диван с валиками и огляделся по сторонам. В дальнем углу на письменном столе стоял древний телевизор «Рекорд». Шпон на его боковых стенках полопался и во многих местах отслоился, поэтому телевизор напоминал спящего квадратного ежа. На левой от меня стене висела пожелтевшая карта мира с прочерченным маршрутом полёта Чкалова, Байдукова и Белякова. Я заметил ещё самовар на шкафу. Его покрывал плотный слой зелёной патины. Кроме одинокого венского стула, ничего из мебели я не обнаружил. Но стены были усыпаны фотографиями в рамках. Они были старые и новые, разных форматов. И каждая из них показалась мне интересной. Фотограф, стоявший молча, минут десять наблюдал за мной, а затем прервал:

– Жильё вы посмотрели, а теперь пошли в лабораторию.

Так потекли долгие дни нашего общения. Он открывал премудрости фотографии, а я помалкивал и слушал, вникая в незнакомый мне мир. Мне было интересно, сколько ему лет, а он отказывался отвечать на вопрос, говоря: «Все там будем». Однако, вглядываясь в его блёклые стариковские глаза, я видел, что ему очень много лет. Может быть, даже сто.

Он был работоспособен и энергичен, но это не могло спрятать его возраст. Я бы сказал точнее: не могло «спрятать» его жизнь. Мои предположения окрепли, когда он, будучи в добром расположении духа, показал мне стеклянный фотонегатив. Посмотрев, я не поверил своим глазам. На фото был изображён вождь мирового пролетариата, стоящий с Дзержинским около авто. Я спросил, кто автор снимка, а он хмыкнул и ушёл в лабораторию печатать.

С того дня я уже другими глазами смотрел на фотографии, висящие в большой комнате. Бури времени последнего века выплеснули на эту стену свои волны, и они застыли и превратились в галерею людских судеб и разных стран. Я нашёл солдат первой мировой, ослепших на Ипре. Там был учёный Попов, держащий в руках грозоотметчик. Я обнаружил Циолковского, сфотографированного со школьниками. И даже Гагарина, одетого в скафандр и рапортующего перед стартом. Многое было там. Если это были его работы (а я уже в этом не сомневался), то как он успел так много? Какими возможностями он обладал, живя в истории и даже творя её?

Однажды мне приснился сон о том, что мастер, колдующий у фотоувеличителя, никто иной как доктор Парацельс, победивший время и до конца дней притворившийся чудаковатым старым фотографом. Квартира его напоминала лабораторию древнего алхимика, в которой решаются задачи и разрешаются вопросы, недоступные профанам и непосвящённым.

Он не учил меня фотографии. Он раскрывал для меня двери реальности, о которой я мог только предполагать. Теперь по прошествии времени я понял, что ни от кого не услышу о фотографии то, что услышал здесь.

– Представьте себе, что в пустоте и холоде движется огромное живое существо, Солнце. Цель его жизни – свет. Этот свет летит во всех

направлениях для того, чтобы отразиться. Понимаете? Отразиться. И когда с ним это случается, рождается новая форма жизни. Я не придумал ей названия, но она есть. Я открыл её, занимаясь своим делом.

Он закашлялся, потом набил трубку и долго молчал.

– Не знаю, поняли вы меня или нет. Мне кажется, что если свет затухает в пространстве и не находит возможности отражения, то он бессмысленно умирает. Человеческие глаза, наверное, созданы Богом для того, чтобы жило Солнце. А фотопластинка – для того, чтобы сохранился окружающий мир, отразившийся в ней.

Я сидел часами в его мире красного света и, прихлёбывая кофе, смотрел, как его полусогнутый силуэт исполняет танец среди ванночек с растворами. Танцуя, он превращал банальности, снятые им на моих глазах, в искусство. В поэзию.

– Работоспособность – основа успеха. Если вы родились работоспособным, то ваша жизнь принадлежит вам. Здоровье и трудолюбие – вот две замечательные вещи, которые мы можем унаследовать от своих родителей, – говаривал он мне, обрезая на станке фотографии.

С того момента, как я встретил его в галерее, я многому научился. Он уже доверял мне печатать некоторые его снимки и даже осторожно похваливал. Я был принужден учить наизусть рецепты реактивов и приучался не выходить из лаборатории на яркий свет. И хотя я уже долгое время работал телеоператором и многое понимал в этой профессии, мироощущение моё стало другим. Свет и тень заговорили со мной. Да, когда я смотрел по сторонам, я слышал непрерывный диалог двух начал. Я много читал об этом, спорил с друзьями в компаниях, но никогда не знал, что есть любовь и борьба света и тени.

Другого сравнения я так и не смог найти. Я видел это в аллее тополей, в городской толпе. Мне виделось это в облаках, облитых закатной акварелью. И я стал искренне верить, что солнце рождает свет для того, чтобы он отражался. По утрам идя на работу, я ощущал его радость, когда оно слепило мои глаза. Вечерами, откопав отцовский фотоувеличитель, я выгонял домашних из ванной комнаты. Я тоже захотел научиться превращать обыденное в прекрасное. Вынимая листок фотобумаги из увеличителя и опуская его в проявитель, я физически ощущал, как на моих глазах соли серебра меняют окраску. Я сам стал одной из частиц, откликающихся всей своей природой на свет. Это было великое волшебство, когда на белой, словно снег, поверхности фотобумаги в сиянии красного светила проступали первые чёрные линии и точки, сливаясь в портрет или пейзаж.

Со мной такого не случалось давно. Когда твой возраст уже ушёл от тридцати лет, когда «сорок» уже звучит как «срок», обретаешь определённую косность и не так шустро увлекаешься новыми вещами, кроме тех, что близки тебе. Я страстно хотел показать своему наставнику собственную серию работ.

Я рассказал ему о своём намерении. Он молчал, курил, снова и снова набивая табаком трубку.

– Я боюсь, что у тебя ничего не выйдет. А если получится, то спустя достаточно долгое время. Не надо отдавать себя тому, что случайно встретил. Случайно встретил, случайно и распрощаешься, – улыбнулся он.

– Но я просто хочу попробовать, – я начал горячиться. – Я же не говорю, что у меня есть желание уйти в это навсегда, мне надо попробовать!

Что человеку легче всего, так это, наверное, орать на других. Ума не надо. Набираешь в лёгкие побольше воздуха, отключаешь сознание и стартуешь. Похмелье гарантировано через десять минут после скандала. Так и у меня. Когда я ехал на свою окраину, сидя в трамвае, то вспоминал, что обозвал его снобом, которому на всё наплевать. А он спокойно меня слушал, не выпуская изо рта трубку. Когда я закончил, он выколотил пепел, налил себе холодного чаю и, размешивая сахар, сказал:

– Ты, парень, просто устал. Красный свет в лаборатории плох для человека. Плюнь на всё и пару недель не появляйся. Отдохни и заходи. Хочешь – с фотографиями, а хочешь – нет, – и ушёл сушить снимки.

Придя домой и глядя на развешанные в ванной негативы, я думал, что человеческая жизнь в основе своей несуразна. Пока находишься в иллюзиях, ощущаешь уверенность и подъём. Но стоит только коснуться реальности, как наступает печаль от простоты бытия и узости коридоров собственной жизни. Оглядываясь вокруг, легко понять, что мир полон несчастья. И мы изо всех сил придумываем себе розовые стёкла, за которыми можно было бы ощущать себя немного сильнее. Что мне сделал плохого этот человек? Ничего. Абсолютно. Делился тем единственным, что у него есть. Вот так. Он прав, пора отдохнуть...

Я плюнул на всё и занялся повседневной жизнью. Хватало проблем на работе. Не убавилось их и дома. Я решил забыть о фотографии до лучших времён. Я согласился с ним. Нечего мутить воду собственной реки. Пора уметь проходить мимо вещей неблизких и вынимающих время из твоей жизни. Не всем дано быть фотографами.

Мои друзья позвали меня в горы. Я взял отпуск за свой счёт и занялся подготовкой. Перспектива удрать из города и попить воду из горных ручьёв захватила меня. Старт планировался через три дня.

В день отъезда, в пять часов утра меня вернул в реальность телефон, стоящий рядом с кроватью.

– Спишь? Прости, что разбудил, – узнал я шелестящий голос своего знакомого. – Я уезжаю. Если нетрудно, зайди ко мне, поможешь собрать вещи. Заодно покажу тебе кое-что напоследок.

Я принял решение. Друзья впали в недоумение, но простили и ушли в поход без меня. В час дня я стоял на пороге его квартиры. Аппаратуры ни в лаборатории, ни в коридоре не было. Он всё продал, а часть отдал детям в кружок. Фотографии лежали, упакованные в ящик, и без них стены сиротливо стеснялись своей наготы.

– Мне пора уезжать, – грустно промолвил он. – Всегда наступает время уйти. И лучше это сделать самому. Я многое успел. А теперь успеваю уехать. Самолёт сегодня. Проводите меня, я буду этому очень рад.

Я попросил извинения за прошлую выходку.

А он повёл меня в лабораторию показать, как он сказал, один интересный эффект. Там было пусто. На полу валялись бумаги, горел красный фонарь. Когда глаза освоились, я увидел чёрный пакет из-под фотобумаги.

– Сейчас вы увидите то, над чем я работал всю жизнь. Держитесь за стену, может быть неожиданный эффект.

Я ухмыльнулся, но все-таки опёрся.

– Комментарии потом, а сейчас смотрите, – сказал старый фотограф и развернул пакет. Он достал оттуда листок фотобумаги. Листок мерцал жёлтым пульсирующим свечением. Во мне появилось беспокойство, переходящее в страх. Свечение перешло в сияние, и комната озарилась вспышкой. Мне показалось, что я посмотрел на сто солнц, такой сильной была вспышка. Почувствовав толчок в грудь, я упал. Запах нашатыря вернул меня к жизни. Я сидел на полу, опираясь спиной о стену.

– Что это было? – спросил я, ощущая черноту в глазах, которая быстро проходила.

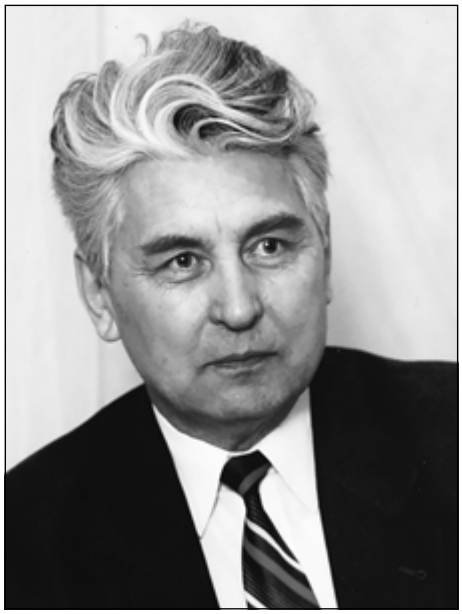
– Та самая форма жизни, которая рождается светом. И вы с ней только что познакомились. Я сам пока плохо всё это понимаю, может, никогда и не пойму. Ничего больше не спрашивайте, пошли пить чай, скоро приедет такси.

Так, уезжая навсегда, он привёл меня в полное замешательство.

(Впоследствии я поделился этой историей с одним серьёзным физиком. Он долго прикидывал, что могло произойти со мной, когда открылся пакет. Но признался, что бессилен. Правда, после бутылки коньяка, принесённой мной, он сказал мне шёпотом, что есть некоторые «неподтверждённые эффекты квантования частиц». После этого мне было отказано в дальнейших расспросах.)

И вот, наконец, аэропорт. Мы сдали багаж и зарегистрировали билет. Когда прощались, я оторвал от своего пальто пуговицу и протянул ему. А он растрогался и минут пять плакал, как ребёнок. Потом достал носовой платок, утёр слёзы и пошёл на посадку. Я думал, что он уже не обернётся, и ошибся. Он повернул голову, последний раз блеснул мне своими очками и исчез из моей жизни навсегда. Поднявшись в бар и выпив кружку пива, я тоже всплакнул, поняв, что мне его будет не хватать...

По прошествии двух лет, на хребте тысячелетия ко мне постучала женщина-почтальон и вручила телеграмму. Мой учитель фотографии писал, что живет у родственников Йозефа Судека, которые его пригласили к себе. Он желал мне удачи и счастья. Больше вестей я не получал. Единственное: не поленился и узнал, что Йозеф Судек – великий чешский фотограф.



АНДРЕЙ РУМЯНЦЕВ

ОТВЕРГНУТЫЙ

В конце деревенской улицы стоял старый осевший домишко за тяжелым и низким заплотом-забором. От этого двора веяло лежалой гнилью, и, когда я проходил мимо, ноги сами сворачивали с утоптанной тропы вдоль черных плах на противоположную сторону. Я боялся взглянуть на маленькие грязные оконца, на скособоченное крыльцо, торчащее поверх заплота, – то ли из страха перед заброшенным, нежилым видом халупы, то ли из опасения увидеть невзначай тяжелый, пристальный взгляд хозяина.

Жил здесь лысый старик, с короткой серебристой щетиной на лице и круглыми черными глазами. Он был деревенским колдуном. Если бы я с пеленок не слышал этого слова «колдун» и разных историй, героем которых был старик, может быть, и дом его не казался бы таким пугающим, а взгляд острых внимательных глаз – таким сердитым.

Собственно, дед – звали его Лукой – жил в избенке не один, а с пасынком Гринькой, но людская молва как-то отделяла чернявого парня от его отчима. Гринька был тонок, высок и девически застенчив. В толчее на клубном крыльце или в уличной ребячьей ватаге он редко подавал голос, норовил спрятаться за чьей-нибудь спиной, с детским удивлением слушая сумбурные выкрики ребят, девичий визг. Преображался Гринька только в дни колядок; тогда взрослые парни одевали его непременно в сарафан или в платье, натолкав под майку грубого тряпья и взбив высокие твердые «груди». Иногда заставляли нацепить под платье широкую нижнюю юбку с густыми оборками, отчего фигура его приобретала невиданные у деревенских девок формы: талия была пугающе тонка, а бедра – неестественно пышны.

Ввалясь с горластой толпой в очередную избенку, Гринька сбрасывал накинутую на плечи курмушку, протискивался вперед, придерживая тонкой рукой козлиную маску на лице, и высоким голосом кричал:

Аль хозяева не рады,
Что явились машкерады?

– Машкерады, машкерады!.. – прыгали у стола, в красноватом свете керосиновой лампы, ребятишки и пялили глазенки на перемазанные углем рогатые головы, вывернутые наизнанку полушубки. Выходили к шумным гостям хозяйка и хозяин, церемонно приглашали коляду в передний угол. Скомороший бестолковый разговор с ними вел Гринька; встряхивая подол, изгибаясь и блестя глазами, он пел:

По деревне мы ходили,
По халупам шарили.
Двадцать девок утащили,
А парней оставили.
Кто-то подхватывал:
Нынче квас и воду пьем,
Завтра по миру пойдем.
Вы подайте, Христа ради,
А то лошадь уведем.

Коляда плясала, сыпала частушки и прибаутки, выторговывала бедное угощение. В иной избе Гриньку узнавали; мужик-хозяин в старых замусоленных штанах и застиранной рубахе, торопливо натянутых после вечерней дремоты, неумело плясал, бережно обняв парня за тонкую ускользающую талию.

Говорили, что после шутовства Гриньке попадало от отчима. Когда была жива Гринькина мать, любившая и холившая сына, Лука никогда не обижал пасынка; но два года назад тетка Параня умерла, и норов старика потерял узду.

Услышав про выходки Луки, моя бабушка оправдывала его:

– Поют да пляшут те, кого любят. А если тебя некому обогреть, поневоле бирюком станешь...

К колдовству Луки бабка относилась недоверчиво и на пугливое мамино: «Што ты, Бог с тобой! Отсушит язык-то...» – безбоязненно отвечала: «У меня от ево запуков вышнее слово есть».

Она отходила к переднему углу, поднимала глаза к иконе Пресвятой Богородицы и трижды крестилась.

В сумерках, оставшись у нас ночевать, она осторожно перешагивала через скудную, тощую постель на полу, где мы, ребятня, спали вповалку, опускалась на колени перед той же иконой и шептала над нашими головами покаянные слова: «Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами отжени от мене, смиренной и окаянной рабы Твоей, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверная, лукавая и хульная помышления от окаяннаго моего сердца и от помраченнаго ума моего. И погаси пламень страстей моих, яко нища есмь и окаянна. И избви мя от многих и лютых воспоминаний, и от всех действ злых освободи мя. Яко благословенна еси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь».

Она долго и кротко отвешивала поклоны перед образом, ласково шепча непонятные слова, мягко крестилась и бесшумно поднималась с колен. И эта ночь, сумрак, нежный лик на иконе, разговор бабушки с Богородицей – все всплывало в памяти, когда называлось имя Луки.

Случалось, к бабусе приходили ее подруги, две-три старушонки, пили чай с черными сухарями или холодной картошкой и нет-нет среди новостей, слухов и предположений вспоминали Луку, его умершую от неизвестной хвори Параню, все больше молодые годы обоих. Я ждал страшных историй, но старушки забывали о колдовстве Луки, словно это было пустяком или возведенной на него напраслиной, или словно колдуны водились в каждом дворе нашей деревни. И по разговорам выходило, что моя бабушка была ближе к Луке, нежели ее подружки, даже чем-то связана с ним.

– Аграфена, – поднимала глаза от блюдца маленькая, вертлявая Агафья Петухова, – а ты признайся-ка теперь-от: дрался твой Яков с ним али токо грозил?

– Почем я знаю, кума? Много ль мужики говорят об этом? Только что одно правда: отвадил он Луку.

– То-то! – скоренько взглядывала на всех Агафья и звучно швыркала из блюдца.

Все эти разговоры – вокруг да около Луки – только распаляли мое любопытство, но не давали ответа на вопрос: да в чем же его колдовство?

* * *

В рождество на крутояре за деревней катались с горы; пацанва, пыхтя, затаскивала на верхотуру самодельные салазки, парни и девки постарше волокли настоящие сани пошевни, украденные на бригадном дворе. Съезжали с горы кучей-малой, падая в сани на бегу, так что из них, летящих вниз, торчали куцые, сбитые на ухо шапчонки, клочкастые, облезлые воротники, подшитые оснеженные валенки. Кто-то, ухватившись за боковину саней, волокся по снегу на согнутых ногах, кто-то подметал санный след спиной. Одежонка у огольцов была мокрая, мерзли до того, что зуб на зуб не попадал, но карабкались на гору снова и снова...

Моя сестра Верка, добравшись вечером до печки, заболела. Среди ночи меня разбудили свет керосинки, шорканье ног и тревожный голос матери. Сестренка лежала уже на кровати, дыша отрывисто и хрипло, беспокойно елозя бледными тонкими руками по скомканному одеялу. Вдруг она неловко, боком сползла со старенького матраца на пол, вскочила и, как слепая, вихляясь и шаря впереди руками, ткнулась в стену, принялась царапать ее, будто хотела вскарабкаться к потолку.

– Неужто менингит? – испуганно спросила мать. Она подхватила девчонку на руки и быстро ощупала ее лоб. – А горит-то, чисто пламя...

Еще одна сестра, шестнадцатилетняя Настя, кормилица семьи, набросив на голые плечи застиранную кофтенку, скользнула в куть, вынесла смоченную водой тряпку, сунула матери. Она торопливо раздула огонь в печи, вырвала клок травы из большого пучка, висевшего у притолоки, заварила настой.

За окнами светало, звезды в квадратах льдистых стекол потерянно мигали, где-то у соседей пропел петух. Мать тронула меня рукой:

– Вставай! Бегите с Митькой к Луке. Попросите заговорной водицы...

– К Луке? – недоверчиво переспросила Настя. – Придумала тоже... Лучше я к бригадиру схожу, коня попрошу да фельдшерицу привезу.

– Кто даст тебе коня в такую рань?

– К председателю пробегу...

– Полно перечить-то! Фельдшерица тоже не сразу облегчит. Пока осмотрит да рецепт выпишет... Опять же гони в райцентр за порошками. Хлопот на день.

– Как знаешь, – махнула рукой Настя. – Вставайте, что ли, Ленька, Митька! Банку пока поищу.

* * *

На крыльце прянул в лицо стылый ветер. Заскрипел розовый от зари снег, с мерзлым звоном лязгнула щеколда ворот. На улице было пустынно, но первые звуки деревенского утра уже улавливались слухом. Сосед шуршал сеном, давая скотине корм, в другом дворе кто-то невидимый скалывал за вереями твердый наст. В проулке, выходящем на лесную дорогу, скрипели полозья саней – какой-то мужик поехал за дровами.

Из труб где тонко, где гуще шел дым, редко в какой избе не топилась печь: разве что бездетные хозяева, не заведшие еще коровы, валялись в постелях, пряча носы под толстыми одеялами в настывшем за ночь жилье. Может быть, и Лука еще не встал – он жил налегке, как постоялец, – и нам с Митькой придется стучать в его черные ветхие ворота. «А мама-то, – думал я, – мама-то знает, что я боюсь его до смерти, вот и дала для храбрости в подмогу Митьку, хитрованка!».

У бригадной сторожки было безлюдно, окно, выходившее на улицу, смотрелось матово, безжизненно, в распахнутые к началу дня ворота просторного двора виднелись темные навесы. Под ними стояли кони, там, в сумраке, стучал задвижками конюх, слепошарый, с бельмом на одном глазу, мужичонко по прозвищу Пентюх. Я знал, что в эту пору он подкладывает в колодины душистое сено.

Подошли к избушке Луки. Как всегда, она выглядела нежилой, даже сугробчик снега, наметенный ветром под покосившийся заплот и потрескавшиеся створки ворот, не был утоптан. Я поднял руку к скобе; сердце мое больно, ошалело застучало, ноги ослабели. Я оглянулся на Митьку, он скукожился, будто ожидая, что его вот-вот ударят.

– Не бойсь! – пересилил я себя и слабо толкнул ледяную калитку.

Во дворе, у низкой, заметенной снегом поленницы, копошился старик в кургузой шубейке. Он обернулся на стук щеколды, поправил сползающие с руки поленья, хрипло спросил:

– Чего вам?

– Верка заболела, – выдавил я. – Мать послала за водицей. – Я вынул из-за пазухи нагревшуюся стеклянную банку.

– Авдотьины, что ль, варнаки? – усмехнулся Лука. – Ну, погодь...

И было непонятно, то ли он угрожает, то ли велит обождать. Мне было холодно держать банку голой рукой, но я не знал, что с нею делать: спрятать обратно или протянуть Луке?

– Старуха-то у вас? – опять прохрипел он. Теперь на его согнутой руке уже лежала высокая охапка дров, он повернулся к нам и пошел

мимо, неподвижно, как слепой, глядя вперед сердитыми глазами. В его хмуром лице, в щетине, серой, как сухая запыленная стерня, в тряпичной шапке, торчащей загнутым ушком вперед, отчего она напоминала шлем с плоским рогом, было что-то опасное. Казалось, что идти за ним – то же, что идти к приготовленной западне.

– У вас старуха-то? – переспросил он, боком влезая на низкое, завалившееся крыльцо.

Хотя у меня было две бабушки, я сразу понял, что Лука спрашивает о бабушке Груне.

– Не... Она и не знает...

В избе стоял затхлый, нежилой дух. Жидкий свет пробивался сквозь грязные стекла маленьких обесшторенных окон, было полутемно, как в подполье. Мало-помалу я разглядел голый шершавый стол, две-три табуретки той же грубой работы, давно не беленую печь с задымленной посудой на ней, клок ветхой, мятой занавески у притолоки. Выделялись, казались чужими здесь узкая кровать, гладко застланная тонкой темной постелью, и старая некрашеная этажерка с горкой книжек. Я удивился: ужели это Лука заправил лежак так рано и так аккуратно? А потом догадался: да это же Гринькина кровать! И этажерка его. Сам он теперь живет в соседнем селе, у тетки. От нее ближе школа, не то, что от нашей деревни – пять верст. А Лука спит, конечно, на печке.

Старик добыл огонь, сдернул с плиты чайник и, наливая в него воду, спросил из сутемени:

– Кака у девки хворь-то?

Я сбивчиво, с заиканиями рассказал о Веркиной болезни.

Лука взял у меня банку, нырнул в темноту запечья и уже не выходил оттуда, не подавал голоса.

Я стоял у дверного косяка, прислонясь к холодному дереву, и пугливо смотрел перед собой. Митька устал и прилепился к грязному порогу, сидел так настороженно, что если бы из-за печки выглянул рогатый черт, то брат выкатился бы за порог в мгновенье ока.

Рогатый черт не появлялся, но непонятные, пугающие звуки доносились из опасной тьмы. Хриплый, сдавленный шёпот; резкое бульканье, похожее на выплеск крови (совсем недавно я слышал это, когда забивали быка); осторожное шуршание, будто кто-то вслепую обшаривает стены. Мнилось бог знает что: то казалось, что сейчас над стенкой печи появится косматая голова, то мерещились хвостатые чертенята, которые вот-вот выскочат к столу и заклубятся, визжа и кусая друг друга, то чудилось, что колдун оседлал метлу и только ждет условленного сигнала, чтобы взлететь. Я нашарил холодную ручку двери, вцепился в нее и уже не выпускал из руки.

Послышался стук стекла о что-то твердое, я вздрогнул и остановил беспокойный взгляд на печи. Там, на плите, с краю, появилась моя банка. Она красновато светилась. Опять я не мог понять, то ли печной огонь, пробиваясь в щелку между кирпичами, пятнал ее своими бликами, то ли в ней плескалось что-то кровавое.

Вышел Лука. Его седые волосы по обе стороны от лысины свалялись, лицо сморщилось, поддевка коробилась на худой груди. Он казался не таким страшным, как раньше, а скорее жалким, слабым, забытым всеми на свете. Но глаза его смотрели жаляще.

– Возьми, што ль, – отрывисто сказал он мне. – Пусть мать побрызгает на девку-то... На восходе и на закате. Ну, што прилип там, бери!

Я двинулся к печи ни живой ни мертвый. Старик посторонился, и меня обдал запах грязной одежды. Точно такой запах приносил с собой нищий Селиверст, часто забредавший в нашу деревню.

– И вот што помни, – прибавил Лука, пока я заматывал банку в тряпицу непослушными, дрожащими руками. – По дороге-то молчите. Ни одного штоб слова, варнаки! Коли вылетит слово – хворь останется.

* * *

Не знал колдун, что этим-то запретом он наложил на меня тяготу, не сравнимую даже со страхом. Едва мы вышли на улицу, уже светлую, почти дневную, язык мой зачесался ужасно. Хотелось сказать что-нибудь Митьке, вроде: «Ну и вонючий же этот старикан!», да просто облегчить словами душу после такого страха – и, видите, нельзя! Запуки это, верно говорила бабушка, колдовские запуки. Но забыть о них было невозможно.

На крыльце бригадной сторожки уже сидели мужики, курили; часто хлопала дверь, и те, что выходили, продолжали разговоры, начатые там, в избушке, – о дровах, которых ждут в колхозной кочегарке, о сене, что нужно подвезти с лесной делянки на ферму, о семенах, ещё не приготовленных к весне. Конюх Пентюх шел по унавоженному, с густыми следами копыт двору и косо глядел под ноги, как бодливый бык с дощечкой на глазах. Рядом семенила Настя в ладном, плотном ватничке и в шалюшке, ястребком наскакивала на Пентюха и выговаривала ему что-то важное и решенное ею. Увидев нас, она осеклась и прытко побежала к нам через просторный двор.

– Ну, – Настя жадно осмотрела меня и уставилась на узелок. – Дал?

Я молчал.

– Не да-а-л, ирод, – по-бабьи растянула сестра.

Я пошарил глазами по грязному снегу, поднял обломанный прутик и потянул Настю к забору, под которым лежал несмятый сугроб.

«Нам нельзя говорить», – нацарапал я на твердой корке сугроба, стер буквы и вывел рядом: «А водицу дал».

– Матерные слова пишешь! – вдруг услышал я злорадный голос Пентюха и обернулся. Конюх стоял среди двора, скособочив голову, и глядел на нас, как всегда, не прямо, а с вывертом. Мужики на крылечке замолчали и тоже смотрели в нашу сторону.

– Врешь! – громко крикнул я, задыхаясь от возмущения. – Глянь: просто слова!

– Я и говорю: матерные слова, – нагло загоготал Пентюх и пошел прочь. На крыльце засмеялись...

Все было испорчено. Я не знал, что делать: бежать за косоглазым конюхом и бросать в него мерзлые комки лошадиного помета или плакать, плакать, проклиная, что так глупо, так быстро попался на его злой навет.

Наверно, лицо мое горело от гнева и обиды, потому что Настя испуганно и жалостно обняла меня и тихонько подтолкнула:

– Ну, ступайте, ступайте! Там извелись, чай...

* * *

В то утро сестра сумела выпросить у бригадира коня и съездила в соседнее село, в медпункт за фельдшером. Трудно сказать, лекарства, выписанные ею, или заговорная водица Луки исцелили Верку, но неделю спустя сестренка уже споро помогала маме по хозяйству. Тревожные дни забывались, а поход к Луке – нет. Зудело в памяти: почему же он спрашивал о бабушке Груне?

Ждать бабусю в гости было невтерпеж, и вечером, перед сном, когда мать, закончив домашние дела, приткнулась к чистому столу, я подступился к ней:

– Лука всё допытывался, не у нас ли «старуха». Какое ему дело до бабушки Груни?

– Выходит, есть дело, – нехотя обронила мама.

– Да какое же дело? – вырвалось у меня. – Какое?

Настя и Митька насторожились. Мы все замолкли, ожидая ответа мамы.

– В молодости он любил её, даже хотел свататься. Да тятька опередил... – мама произнесла это так, будто сообщила какую-то пустяшную деревенскую новость.

Я обмер. И глупо спросил:

– Он уже тогда был колдуном?

– Каким колдуном? Парень как парень.

Насте, как старшей из детей, было грешно не знать бабушкину историю. Она округлила глаза и недоверчиво спросила:

– Правда, што ли?

Мы застыли в ожидании, и наша рассказчица вынуждена была отвечать...

В тот долгий вечер мы узнали историю понятную и загадочную, счастливую и печальную, давно завершившуюся и навек неоконченную. Два парня полюбили одну девицу. Приготовились биться за нее насмерть. Отвергнутому она сказала о своём отказе без вызова, почти ласково. Но остановить мужскую вражду ей было не дано. И в том, что один озлобился, всегда винила себя и молила Бога прежде всего за него...

МИХАИЛ СМИРНОВ

ЛЮДИ-ПТИЦЫ

Алёшка, сидевший на крылечке, потёр красные воспалённые глаза и поёжился, поправляя старую куртку. Казалось, солнце пригревает, а потянет ветерок и сразу знобит. Что ни говори – осень на дворе. Он вздохнул. Вот уж который день не спит. Вроде закроет глаза, а сон не идёт. Всё бабу Шуру вспоминает. К ней привязался, когда родители померли. Баба Шура забрала его к себе. Одна жила. Дед Василий давно пропал. Вышел на двор и исчез. Долго искали, но не нашли. Разное говорили в деревне, будто он с нечистой водится, но чаще дурачком называли, но баба Шура никого не велела слушать. Говорила, что дед Василий хорошим мужиком был. Пусть у него мозги набекрень и со своей чудинкой, но все люди такие же, как дед, и ничем не лучше, а может и похуже, но скрывают это. И обещала, когда Алёшка вырастет, рассказать про него.

Алёшка остался жить с баб Шурой. В школе слабенько учился. Бог ума не дал, как соседи говорили. Учителя махнули рукой, что толку тратить на него время, если ветер в голове гуляет. В одно ухо влетает, а из другого со свистом выскакивает. Сидит на уроках и ворон в небе считает. А бывало по осени, когда птицы собирались в стаи, Алёшка выскакивал из класса и начинал кружить по двору, словно взлететь пытался. Девчонки смеялись и дураком обзывали, а мальчишки нередко лупили его, а он ни на кого не обижался. Он смотрел на всех и улыбался – широко и радостно. Учителя головой качали, мол, бабка Шурка, ты намучаешься с внуком-то. А когда тебя не будет, совсем пропадёт паренёк. И советовали, чтобы сдала его в детдом или в специальный интернат, где такие же живут, как он, а то и похуже. Убогие, одним словом.

А баба Шура хмурилась, и начинала грозить всеми земными и небесными карами за то, что живого человека хотят на погибель отправить и говорила, что костьми ляжет, но не отдаст родного внучка. Пусть мозги набекрень, как у деда Василия, но он же человек – это главное! Как же можно взять и своими руками родную кровиночку в интернат отдать? И грозила скрюченным пальцем...

Баба Шура повезла внука в райцентр, врачам показала. Может, таблетки или микстуру выпишут, чтобы умишка прибавилось. Всего лишь капельку, а больше и не нужно. Жалко внучка, к жизни не приспособлен. Врачи руками развели. Если своего ума нет, чужого не добавишь. Хворобу в башке нашли. Какое-то наследство передалось, как баба Шура всем говорила, а потом смеялась, что богатым будет внук-то, и справки показывала, а что там понаписали врачи, чёрт ногу сломает. Махнёт рукой баба Шура и меленько засмеётся, прикрывая беззубый рот уголком косынки.

А потом пристроила Алёшку в мастерские. Пусть полы подметает да всякие железяки таскает, чем сиднем сидеть дома. Глядишь, копеечку заработает. Какая-никакая, а помощь. Там Алёшке понравилось. Особенно, когда разрешали в кабине посидеть. Вот уж радовался! И Алёшка стал в мастерской пропадать с утра до вечера. Особенно, когда посевная или уборочная, когда каждая пара рук на вес золота, даже руки убогонького. Вернётся домой, усядется за стол, а сам носом клюёт. Не успеет улечься, уже засопел. И почти всегда один и тот же сон, будто баба Шура стоит возле калитки и рукою машет ему, словно подзывает, чтобы поторопился, а сама улыбается и вся светлая-светлая. Родители не снились. Ни разу. Потому что не помнил их. Так, какие-то образы мелькали и всё. И деда Василия не видел, только на фотографии. А баба Шура всегда во сне приходила. Наверное, успевал соскучиться за день. А она жалела его, всё расстраивалась, как он будет жить с птичьими мозгами, если ни к чему не приспособлен. Всё дожидалась, что старшая дочка приедет. Надеялась, что Алёшку к себе заберёт. И не дождалась. Померла. Тихо ушла, незаметно...

Осень на дворе. Пусть солнце не такое яркое и тёплое, а всё же согревает, но ветер прохладный. В теньке сидишь, как задует, аж сразу начинает знобить. Осень, ничего не поделаешь... Вон дедка Ефим выбрался из дома, не стал на крыльце сидеть, а на лавочку подался, где солнца побольше. На улицу вышел, чтобы с баб Шурой попрощаться, в последний путь проводить, а потом на лавочке старые кости погреть, покуда солнышко тёплое. Сидит в зимнем пальто с потёртым и облезшим воротником, в шапке, очки на кончик крупного носа сползли, а он не поправляет. Видать, пригрелся и уснул, притулившись к забору. Сидит старик, посыпохивает...

Алёшка вздохнул и, приложив ладонь к глазам, всмотрелся вдаль. Там желтел густой лес, а опушка покрылась пятнами: где-то зелёные мелькают, в других местах пожухлая трава, а там чернью отдаёт. Издалека донёсся птичий гомон. Алёшка задрал голову, взглянул вверх и не удержался. Вскочил и завертелся на одном месте, размахивая руками, словно крыльями, а сам засвистел, будто с птицами разговаривал и так тоскливо, так больно, словно жаловался, что баб Шура померла, что один остался... Птицы закружились над головой, загомонили, точно за собой звали, а потом скрылись за лесом. Следом за ними потянулась огромная стая. Вон полнеба закрыли. Гомонят и гомонят...

В осенние дни Алёшка места себе не находил. Закружат птицы над головой, и тут же словно душу в кулак сжимают. Непонятная тревога охватывала, тоскливо становилось на душе, как-то неуютно, но в то же время был необъяснимый восторг, и ему хотелось разбежаться, вытянуться в струнку, взмахнуть руками, закричать громко и протяжно, взлететь над деревней и помчаться вслед за птицами...

— Алёшка, ну-ка, прекрати! – крикнула баба Шура и нахмурилась, когда впервые заметила, что он, раскинув руки, мечется на краю высокого обрыва, а над головой кружилась стая птиц. – Отойди от края. Упадёшь – костей не соберёшь. Уйди, пока не отлупила! Весь в деда уродился. Таким же был – мозги набекрень. Узнала про это, да поздно. Замуж выдали, а потом сказали, будто у моего Васьки с головой не в порядке. Вся деревня потешалась, когда он в птицу превращался. – И опять закричала, намахнувшись тряпкой: – Ну-ка, хватит кружиться, живо по заднице надаю. Кыш, кыш отсюда! Ишь, разлетались! Мало, один пропал, так ещё и внука за собой тащите. Летите отсюда, летите... – И тут же повернулась к Алёшке. – Твой дед Василий начинал чудить, когда осень наступала, и птицы в стаи собирались. Он следом за ними рвался. Говорил, что душа мается, места не может найти. Встанет посередь улицы, задерёт бошку и смотрит в небо, где птицы кружат, а сам квохчет, вскрикивает, словно с ними разговаривает. И птицы ниже опускались, тоже криком исходили. Столько было, что белый свет застилали. А твой дед Василий раскинет руки в стороны и начинает кружиться и хлопает себя по бокам, хлопает, словно крыльями, а потом взмахнёт руками, тоненько вскрикнет, словно прощается с ними, и птицы выше поднимались, ещё кружочек делали над двором и улетали. А дед усядется посередь дороги и с тоской глядит вслед. И так до следующей стаи. Пока последние птицы не улетят... А потом пропал. Вышел во двор. Всё на крылечке курил и прислушивался, как птицы летели. Я выглянула – он кружится по улице, руками машет. Позвала, а он не слышит, на небо смотрит, и отовсюду птицы кричали, словно за собой звали. И так мне тоскливо стало на душе, аж в груди защемило. Вышла во двор, гляжу, на крылечке папироски лежат, спички, а деда Василия нет. Думала, может к кому-нить подался. Всё ждала, что вернётся, ан нет, так и пропал, и до сей поры не могут найти. Может птицы забрали с собой, а может рассудок потерял и теперь лежит в какой-нить больнице с решётками и даже имени своего не помнит. Никто не знает, где он, и я – тоже...

И баба Шура посмотрела на тёмное небо...

Алёшка поднялся. Потоптался на крылечке и с неохотой зашлёпал в избу. Сегодня снесли на мазарки бабу Шуру. Она лежала, как принято, три дня в избе, и каждый раз, когда свечи догорали, кто-то из старушек, что сидели возле гробика, неслышно поднимался и менял свечи, зажигая новые и опять присаживались на лавку и горестно покачивая головой.

Это дядька Кондратий смастерил гробик. Небольшой. Лёгонький, как сама бабка Шура. Алёшка хотел помочь ему, но дядька Кондратий прогнал. Велел возле двора сидеть и никуда не уходить. Соседки приходили, обмыли, переодели в смертную одёжку, какую Алёшка вытащил из старого сундука – это давным-давно бабка Шура показала и велела, ежели она преставится, отдать соседям, а они разберутся, что к чему. Так и получилось...

Бабка Шура тихо, неприметно прожила свою жизнь. И ушла так же тихо. Правда, последние дни твердила, как же Алёшка останется один. Он же не знает эту жизнь, не приспособлен к ней, потому что у него своя жизнь, более понятная для него, где чужим не место. Ему легче с птицами разговаривать, чем быть с людьми, которые его прогоняли и смеялись над ним – убогоньким. А если баба Шура помрёт, тогда Алёшка может пропасть без неё, как когда-то исчез дед Василий. Вон уже птицы кружат над двором – его высматривают, как бы с собой ни забрали. И тыкала пальцем в потолок. Расстраивалась.

И в последний день, ближе к вечеру, всё возле Алёшки ходила и печалилась, что один останется на белом свете, и норовила дотронуться до него, по плечу или голове погладить, а он отдёргивался и хмурился. Не нравилось, словно маленького гладит, а он же большой. За окном темно было, когда они собрались спать. Бабка Шура долго сидела на кровати, глядела на него, что-то шептала, а может, молилась, а потом перекрестила его, спящего, и задёрнула занавеску.

Алёшка проснулся утром, в доме тишина, лишь ходики отсчитывали секунды, и запоздалая муха сонно колотилась в окне, а потом притихла. Он поднялся. Вышел на улицу, постоял на крыльце. Не слышно бабки Шуры, зато птицы кружились над двором. На него пикировали и опять взмывали, а на их месте другие появлялись и снова взлетали, а сами криком исходили, словно что-то рассказывали. Алёшка встрепенулся, опять появился какой-то непонятный восторг. Хотелось спуститься во двор, взмахнуть руками, словно крыльями, закричать протяжно и...

И следом навалилась тоска, словно к земле придавила, аж дышать тяжело стало. Он оглянулся. Куры бросились к нему, думали, корм насыплет, а он нахмурился, опять взглянул на небо, махнул рукой птицам, чтобы прочь летели, и скрылся в избе. Зашёл в горницу. Отдёрнул занавеску, где стояла кровать бабы Шуры, и уселся на табуретку, что рядом стояла. Казалось, баба Шура спит. Морщинистые руки на груди сложены, а лицо какое-то светлое и спокойное, а по щеке муха ползала, а она лежала и не прогоняла её. Алёшка посидел возле кровати, несколько раз окликнул бабу Шуру, потом дотронулся до руки и отдёрнул. Холодная она – рука-то...

— Баб, вставай, баб, – забубнил Алёшка и снова дотронулся. – Почему лежишь, а? Дай хлеба...

Но баба Шура не шевелилась.

Алёшка опять завздыхал, закрутил лохматой башкой, не зная, что делать, поддёрнул одеяло, прикрывая бабу Шуру, опасливо прикоснулся к руке и опять отдёрнул, потом поднялся и поплёлся к соседке, к тётке Зине, которая частенько его подкармливала, то яблочко совала, то пряник.

— Это... Тёть... – он сунулся в дверь, и затоптался возле порога. – Это... Бабака не встаёт. Я есть хочу.

И замолчал.

— Как не встаёт? Давно утро, а она... Да неужели померла? – она заметалась по избе. – Я ж вчера с ней говорила. Она всё за тебя тревожилась, да старшую дочку ругала, что не приезжает, а потом взяла молочка, сказала, что кашку потомит в печи и ушла. Как же так, а?

И, прижимая руки ко рту, опять качнула головой.

— Она лежит... – пожимая плечами, повторил Алёшка. – Я проснулся. Подошёл, а она лежит. Холодная. Одеялку поправил. Бабака замёрзла.

Сказал и зябко передёрнул плечами.

— Ой, божечка, беда пришла... – запричитала тётка Зина, рот платком прикрыла и закачала головой, а потом вздрогнула от окрика и засуетилась, повернулась к мужу, который сидел за столом. – Петь, а, Петька, накорми паренька. Чать маковой росинки во рту не было. Налей вчерашних щец. Вкусные – страсть! – она причмокнула, закачала головой, потом подтолкнула Алёшку к столу, а сама подалась к дверям. – Петька, обойди мужиков. Пусть могилку копают. Проследи за ними. Я в правление сбегаю, начальству сообщу, потом бабок покличу и за монашкой зайду. А ты, Алёшка, когда покушаешь, посиди на лавке. Не входи в избу-то, не путайся под ногами – не мужицкое дело покойницей заниматься. Сами управимся, а тебя покличем, когда понадобишься.

Сказала и умчалась, хлопнув дверью.

Алёшка изредка подходил к двери, стоял на веранде, прислушиваясь к тихим голосам, но войти, не решался. Тётка Зина ругать начнёт, ежели заметит. Заскрипела дверь. Вышел дядька Кондратий. Сунул в карман складной метр. Постоял, задумавшись. Потом коряво написал цифры на клочке бумаги, посмотрел на Алёшку, хотел было что-то сказать, но махнул рукой и, надвинув фуражку на глаза, заторопился со двора.

Алёшка подался следом за ним и вернулся, когда его прогнали. Постоял возле двора, посмотрел, как дядька Кондратий захромал, подтягивая ногу с протезом, и размахивал руками, когда оступался. Взглянул на занавешенные окна, а потом уселся на лавку возле забора. И стал ждать, когда его позовут. Он сидел, поглядывая по сторонам, смотрел на старух, которые заходили в избу, а некоторые так и норовили погладить по голове, как делала баба Шура, но Алёшка отдёргивал голову и хмурился. Не любил, когда его гладили, как маленького. Старухи уходили, а он продолжал сидеть.

Услышав гомон птичьей стаи, Алёшка поднимал голову и с тоской посматривал на птиц, которые проносились над головой. Поднимался и, размахивая руками, начинал кружиться на траве, криками подзывая птиц и рассказывая им, что произошло, а они метались над головой, за собой звали. И Алёшке хотелось разбежаться, взмахнуть руками и полететь вслед за птицами. Он бы полетел, да нельзя, как же бабу Шуру оставит одну-одинёшеньку. Алёшка встрепенулся и опять посмотрел на птиц. Баба Шура говорила, что птицы – это души людские. Его ругала, что с ними разговаривает, прочь гнала, а сама вслед ушла. Видать, правду говорила бабака, что души людские – это птицы...

— Врёшь ты, бабака, – отмахнулся Алёшка, когда она опять взялась ругать его, что кружится на краю высокого обрыва, – что птицы – это души. Птички маленькие, а люди вон какие большие. Обманываешь...

Сказал и тут же получил подзатыльник.

— Нельзя так говорить, ежели не знаешь, – баба Шура погрозила пальцем. – Ишь, умник-полоумник выискался! Мне ещё отец твоего деда Василия говорил, что души переселяются в птиц. Ага... Вот каким был человек в жизни, его душа в такую же птицу перебирается. И не спорь со мной, Алёшка, потому что умишка в тебе кот наплакал! Вот, к примеру, взять

плохого человека. Как ты думаешь, в какую птицу попадёт его душа, а? – и бабка, подбоченись, взглянула на Алёшку, который сидел и молчал. – Правильно думаешь – в плохую птицу. Если человек обманывал в жизни, воровал и на других вину перекладывал за дела содеянные, его душа окажется у кукушки или в сороку-воровку переселится. Что смеёшься-то, злыдень! – и она опять намахнулась. – У чёрного человека, душегуба какого, душа попадёт в ворону-падальщицу и будет до скончания веков дохлятиной всякой питаться. Ага... А ежели светлый человек был или, не дай бог, ребёночек помер, а у них-то души всегда чистые, значит тому дорога к светлой птице.

— Ага... – недоверчиво протянул Алёшка. – А куда дядька Еремей попадёт, который всё стучит и стучит большим молотком, аж страшно становится, когда к нему заглянешь. Как же он в птицу залезет? – Он засмеялся, плечики затряслись, а потом затих, задумавшись, и опять спросил: – А наша деревня тоже в птичек заберётся? А куда всякие артисты переселятся, которых по телеку показывают, а?

И Алёшка опять засмеялся, прыгал с пятого на десятое, задавая вопросы.

— Ишь, разговорился! То слово из него не вытянешь, а тут не остановишь. Куда?.. – бабка Шура задумалась, а потом кивнула. – Дык это же... У души дядьки Еремея одна дорога – это птица, которая дятлом зовётся. Ну, ты видел этих дятлов, когда в лес ходили. Вот и Еремей привык по наковальне стучать, а помрёт, душа к дятлу отправится и опять-таки начнёт своим делом заниматься, как при жизни. Деревня, говоришь... Мы же привыкли работать, каждый день землице-матушке в пояс кланяемся. Вот и получается, что переберёмся в грачей. Ты видел грача? Такие важные весною ходят по полям. Тоже кланяются, корм добывают. Наши душеньки к ним отправятся, и опять начнём поклоны отбивать, как при жизни было. Что касаемо артистов... – бабка Шура поджала губы, нахмурила и без того морщинистый лоб, потом сказала: – Одни в соловьёв перебираются, другие в дроздов, в общем, кто куда, а самые знаменитые и голосистые – эти в жаворонков. Ага... Ты, Алёшка, не гляди, что жаворонок – птичка-невеличка, зато её вон как с небес слыхать. Звенит голосочек-то! И людям радость несёт, и к Боженьке поближе. Поэтому и говорю, что у каждого человека своя птица, и у тебя – тоже. Ага...

И утвердительно ткнула пальцем в потолок.

— Баб, а где твоя птичка? – Алёшка долго молчал, видать, старался понять, о чём говорила бабака, потом повторил: – А где она?

И задумчиво поглядел на сухонькую бабу Шуру.

— Моя-то? – усмехнулась баба Шура и поправила платок. – Я стану курочкой Рябой. Яички буду для тебя нести. Ты ж из избы не выйдешь, пока парочку не скушаешь, а с улицы возвернёшься, с пяток можешь умять за один присест, а то и поболе, и глазом не моргнёшь. Наши курочки не успевают нестись для тебя. Хочу или не хочу, а придётся в несушку превращаться, чтобы ты с голодухи не помер.

И тоненько засмеялась.

Вслед за ней рассмеялся Алёшка, представляя баб Шуру несушкой...

Сегодня снесли бабу Шуру на мазарки. Остался лишь небольшой холмик и неуклюжий крест, да ещё веночек и маленькие букетики ярких осенних цветов. Видать, в школьном саду сорвали. Соседки пришли проводить в последний путь бабку Шуру. Поплакали возле могил-

ки, когда её опускали, а Алёшка стоял, смотрел на неё, а потом задирал голову, чтобы взглянуть на стаи птиц и ему хотелось взмахнуть руками, взлететь и помчаться вслед за ними.

С кладбища все отправились в дом бабы Шуры. Тётка Зина с бабками щи сварила и лапшу, кто-то кутью приготовил, а баба Вера кашу принесла. Откуда-то пироги на столе появились. Всё сделали соседи, чтобы проводить бабу Шуру и помянуть её. Недолго сидели за столом. Мужики стопки подняли. Выпили. Алёшка сидел в уголочке. Сгорбился. Глядел, как поминали, как едва слышно разговаривали. Потом стали расходиться. Две соседки остались. Всё убрали, помыли и тоже ушли.

— Алёшка, – дверь распахнулась и появилась тётка Зина. – Слышь, никуда не уходи. Дома сиди или во двор выйди. Я все дела переделаю, а потом за тобой приду. Пока у нас побудешь. Может, твоя тётка приедет. Телеграмму отбили. Ну, а не появится, тогда в интернате станешь жить. У себя не могу оставить. Извиняй!

Она развела руками, поправила платок и ушла.

Алёшка остался один...

Он долго сидел и смотрел в щелку между ставнями, а потом не выдержал, вышел на улицу. Сегодня тепло. Алёшка вздохнул. Взглянул на солнце и прислушался. Яркий день и тишина на улице. Казалось, всё притихло в природе. Лишь берёзки золотом горят, а трава уж пожухла, прижалась к земле, прислонилась – зиму дожидается. Откуда-то донёсся запах дыма. Видать, старую ботву сжигают на огородах. Туманом стелется дымка, скрывая округу. Тишина... Нет, издалека донеслись крики птиц и сразу же душу сжало в кулак, тоска накатила, а вместе с ней непонятный восторг и, едва птицы показались в вышине, опять потянуло за ними и снова захотелось разбежаться, раскинуть руки, взлететь и помчаться вслед за птицами...

Алёшка встрепенулся. Оглянулся на дом. Показалось, баба Шура позвала. Взглянул и тут же поник. А потом закутался в куртку и притих. Солнце яркое, дымка плывёт по огородам, всё призрачно до синевы, а здесь холодно. И птицы покоя не дают. Кружат и кружат над головой. Видать, за собой зовут. А может среди них и душа бабы Шуры. Алёшка задрал голову, стараясь рассмотреть птиц. Вот одна пошла вниз и закружилась над двором, словно присесть хотела, а потом жалобно вскрикнула, и помчалась вслед за стаей...

Поднявшись, Алёшка осмотрелся. Дед Ефим, что напротив живёт, так и сидел возле двора. Видать, пригрелся. Хорошо ему. Задремал... Алёшка зашёл домой. Тишина в доме. Все звуки с улицы приглушены закрытыми ставнями. Тик-так, тик-так – качается маятник на старых часах, что висели в горнице. Алёшке, как казалось, часы всегда здесь висели. Старые. Циферблат уж давно облез да потемнел и цифр на нём не видно, а маятник продолжает качаться, отсчитывая секунды жизни: тик-так, тик-так, тик...

Алёшке нравилось смотреть на маятник. Усядется возле стола, смотрит на него, прислушивается к звукам, и сам качается как маятник. И так сидел до тех пор, пока баба Шура не прогоняла его. А сегодня бабу Шуру закопали, а часы всё тикают и тикают, отсчитывая секунды. И сколько они ещё будут работать – никто не знает и Алёшка – тоже...

Он стоял в дверях горницы, но не проходил. В горнице темно. Лишь редкие лучики солнца пробивались через закрытые ставни. Густой запах воска, тлена, каких-то трав и тянет лекарством. Зеркало завешено, на телевизоре накидка, окна закрыты. Пусто в доме. Лишь на стенах несколько фотографий в рамках – и всё. Да ещё кошка промелькнула, припав к полу, и исчезла на кухоньке, скрывшись на печке. Под полом заскреблась мышь и тут же пробежала кошка. Неслышно скользнула по горнице и опять скрылась. Алёшка медленно подошёл к фотографиям. Баба Шура говорила, что это отец и мать, а Алёшка не помнил родителей. Так, что-то мелькало в голове и тут же исчезало. Он взглянул на фотографию. Отец хмуро и напряженно смотрел перед собой, а мать наоборот, улыбалась. А сегодня бабу Шуру закопали. Нет, её душа с птицами улетела...

Алёшка вышел из горницы. Потоптался на маленькой кухоньке и присел в уголок, где всегда сидел, и прислонился к обшарпанной стене. Опять мелькнула кошка. Муркнула, а потом притихла. Видать, тоже чует, что одни остались. Он скрипнул табуреткой. Взглянул на окно, закрытое ставнями. Сквозь узкую щель пробиваются последние лучи солнца...

Тихо в доме. Изредка осенняя муха зажужжит, забьётся и притихнет. С улицы донеслось мычание коров – это стадо под окнами прошло, а вскоре затихло вдалеке, лишь редкий раз в проулках блеяли овечки, отбившись от стада. Взлаивали собаки лениво так, словно напоминали, что службу свою несут, хозяйское добро стерегут. Протарахтел мотоцикл. Видать, кто-то поехал кататься. Молодёжь собиралась в берёзовой рощице, что стояла на взгорке над рекой. Там собирались. Сидели до первых петухов, ребята показывали свою удаль, гоняя на мотоциклах, а те, кто постарше, парами расходились вдоль речки, находили укромные места и сидели до рассвета...

Он долго сидел на крыльце, дожидаясь, когда тётка Зина придёт. Потом прислушался. Со стороны обрыва донёсся птичий гомон. Алёшка затоптался. Тоскливо стало на душе, и в то же время появился непонятный восторг. И Алёшка не удержался. Неуклюже побежал по меже между огородами. Он бежал, размахивая руками, словно крыльями. В сумерках казалось, будто летит. Алёшка выскочил на обрыв и закружился, раскинув руки. Защёлкал, засвистел, птиц подзывая, потом взглянул ввысь, а небо над ним: яркое, тёмно-синее и бездонное. Опять восторг и захотелось взлететь. Он вытянулся в струнку, взмахнул руками и с обрыва шагнул в небо. Шагнул и закричал: громко, восторженно, и замахал руками, словно крыльями, и полетел. Он летел над деревней, над лесами и полями, над реками и озёрами и отовсюду к нему присоединялись такие же люди-птицы, чьи души в птиц превратились, и они стали подниматься всё выше и выше в синь небесную, навстречу солнцу, и вокруг него был яркий и тёплый свет...

А над деревней опустилась ночь...

ВИКТОР ФРОЛОВ

ВЕТЕРАН

Неожиданное появление секретарши директора в разгар рабочего дня у закутка охраны в проходной удивило его. Не по возрасту надменная девица, всем своим видом выражая недовольство обстоятельством, заставившим спуститься с третьего этажа, где располагались кабинеты заводского руководства, проскрипела с раздражением, глядя поверх его головы:

– Срочно поднимись в приёмную! Звонят из Москвы. И кому-то ты там вдруг понадобился?!

Удивлённо подняв бровки домиком, сказала, как выстрелила, отделяя короткие фразы одну от другой неглубокими вздохами, как это делают запыхавшиеся от быстрой ходьбы или без меры раздражённые люди. Всё-таки любопытство взяло верх над снисходительностью по отношению к едва ли не самому малозначимому работнику предприятия. Часто-часто стуча каблучками по керамическим плиткам пола, барышня засеменила следом, стараясь не отстать и не пропустить какого-нибудь важного эпизода неординарного события.

Однако те несколько скупых фраз, которыми моложавый седоволосый сторож отвечал невидимому собеседнику, разочаровали, ничуть не прояснив ситуацию.

– Ну, хорошо, буду, – бесцветным тоном завершил разговор мужчина, выслушав собеседника, и, недоумённо пожав плечами, положил трубку...

На самом же деле, звонок из Москвы глубоко взволновал его. Звонили из легендарной организации, чьё местоположение на улице, названной в честь советской лётчицы, командовавшей в годы войны авиационным полком дальнего действия, было хорошо ему известно.

– Ну, здравствуй! Надеюсь, узнаёшь начальника? – басил в динамике трубки знакомый голос. – Как ты там у себя в Залужске, мхом ещё не покрылся? Хватит дурака валять, дело для тебя есть. Думаю, за новостями следишь, поэтому догадываешься, где именно предстоит поработать. Так что сворачивайся там, не медля, и завтра с утра будь у меня. Всё, до встречи.

Сознавая, что возражения не принимаются, он, тем не менее, отлучился в обеденный перерыв с поста и, найдя укромное местечко за пределами заводской площадки, у чахлого сквера, что перед фасадом административного корпуса, набрал на клавиатуре мобильника знакомый номер:

– Дело в том, Тихон Евстигнеич, что проживаем мы с женой в заводском общежитии, из которого её после моего сегодняшнего увольнения незамедлительно выселят. Оставлять же Антонину на постое в чужом доме мне бы не хотелось. Есть какие-нибудь варианты?

На московском конце провода натужно засопели, потом проворчали что-то в том плане, что некстати заведённые семьи служат лишь обузой специалистам в определённых областях и головной болью для их командиров. Однако после недолгих раздумий дали указание зайти в городскую администрацию, куда немедленно будут переданы соответствующие распоряжения.

* * *

...Заместитель главы города, ведающий, в том числе, и жилищными проблемами, не старый ещё суетливый человек в дорогом костюме, прикрывающий раннюю лысину прядью зачёсанных с затылка волос, небрежно указал ему на стул, предназначенный просителям.

– И что они там, в столице, себе думают? С горем пополам получаем в своё распоряжение не больше десятка новых квартир в год. А очередников знаете сколько? Нет? Вот и хорошо, что не знаете, а то бы рухнули от изумления.

Ладно, тут вот, кстати, освободилась комната за выбытием жильца. Да, умер дедушка. Одинокий был. Но, сразу хочу предупредить, не хоромы, далеко не хоромы! Чтобы без претензий. А впрочем, пожалуйста, жалуйтесь, другого всё равно ничего нет. По-моему, в качестве временного жилья вполне сойдёт...

Выправив необходимые бумаги, что на удивление, заняло не более часа, он отправился в городскую поликлинику, где супруга работала участковым терапевтом. По дороге подбирал слова, как объяснить Антонине необходимость своего внезапного отъезда. Ведь несколько лет тому назад, вернувшись, можно сказать, что из небытия, он зарочно обещал больше не оставлять её, навсегда покончить с той клятой профессией, которая послужила причиной резких перемен во всём устройстве их, казалось бы, налаженной и стабильной жизни.

И опять слова не сдержал! Что поделаешь, когда-то по собственной воле он выбрал одну из тех немногих сфер деятельности, которые отпускают лишь уходящих в вечность. Не туда ли предстоит ему дорога на этот раз, кто знает. Впрочем, острота дурных предчувствий с годами как-то притупляется, уступая место осмотрительности и твёрдому расчёту. От приобретённого опыта, должно быть...

* * *

Неплохо ориентируясь в хитросплетениях улиц и переулков городка, в котором она провела детские годы, Антонина привела мужа, нагруженного двумя большущими сумками, по названному им адресу к двухэтажному бараку довоенной постройки. Наугад вдавила одну из кнопок многочисленных звонков, бессистемно разбросанных по косяку двери квартиры на первом этаже.

На трель из-за приоткрывшегося проёма высунулась старушечья голова, покрытая, несмотря на тёплую июньскую погоду, серым пуховым платком. Не подавая голоса, женщина вопросительно оглядела незнакомцев, не торопясь впустить.

Отыскав взглядом место почище на деревянном полу, он поставил свою ношу и показал старухе полученный в администрации документ:

– Позвольте войти! Покажите комнату, которая свободна, мы ваши новые соседи!

Скользнув недоверчивым взглядом по бумаге, на которой в сумраке вестибюля она вряд ли смогла разглядеть что-либо, кроме жирно выделявшейся синим цветом печати, старуха, тем не менее, попятилась и освободила пришедшим проход внутрь квартиры.

– Вот она комната, первая от входа, – указала она на фанерную дверь с левой стороны коридора. Тут Фаддеич новопреставленный проживал. Теперь вы, стало быть, ему на смену заселитесь...

* * *

Комната оказалась не такой уж и маленькой – четыре на пять шагов, вытянутая в сторону окна с никогда не мытыми стёклами и шелушащейся краской на переплёте. Узкая железная койка, пара разнокалиберных табуретов, да фанерный двустворчатый шкаф составляли убогий интерьер. По обрывкам тряпья и клочкам бумаги на полу можно было безошибочно судить о произведённом кем-то из соседей доскональном обследовании имущества усопшего.

Сдёрнув на пол с постели мятую простыню, обильно расцвеченную ржавыми пятнами, на которую не покусился и самый небрезгливый обитатель квартиры, он выгреб на неё остатки содержимого шкафа, свернул узлом, вынес на помойку. Туда же отправил и тощий матрац с бесформенной от длительного использования подушкой.

Пока муж расправлялся со стариковским наследством, Антонина разжилась у соседки жестяным ведёрком, тряпкой и, подоткнув юбку, привычно принялась за уборку, начав с заваленного окурками подоконника. Он же, распаковав один из принесённых вьюков, сноровисто застелил постель, потом, взгромоздясь на табурет, показавшийся наиболее надёжным, приладил под потолком небольшой абажур.

Часа не прошло, как комната преобразилась и обрела более или менее обжитой вид. На электроплитке, распространяя аппетитный запах, зашкворчала сковорода с покрывавшимися золотистой корочкой ломтиками картофеля.

Потушив свет, муж и жена, прижавшись друг к другу, молча сидели на прогнувшейся под их весом сетке кровати. В такую минуту слова были бы лишними. Они без дежурных фраз знали о чувствах друг дру-

га. Оба сознавали, что ему предстоит через день-другой перенестись за сотни, а то и за тысячи километров от этого городка, бывшего для неё когда-то родным, подзабытого в столичной суете, а теперь, спустя много лет, негаданно-нежданно принявшего их, переживших множество разлук, встреч, обретений и тяжёлых потерь.

Он, примерно представляя, в каких краях надлежит провести неисчислимое заранее количество дней и ночей, внутренне собирался, сосредотачивался, настораживался, как выходящий на охоту зверь. Она, не утирая набежавшие слезинки, с безысходностью принимала близящуюся разлуку с родным человеком. Бог весть, сколь долгий период одиночества без возможности поделиться с ним наболевшим, написать, позвонить предстоял ей. Даже в эти мгновения, готовясь уже в который раз существовать в постоянном тревожном ожидании, укрепляя себя верой в его благополучное возвращение, она не позволяла взять верх искушению и, вцепившись в мужа, завыть по-бабьи: «Не пущу!», но нашла в себе силы улыбаться сквозь слёзы, напутствуя:

– Я знаю, ты справишься. Ты у меня сильный. Не тревожься за меня, любимый, я тоже всё выдержу. Знай, буду ждать тебя, несмотря ни на что!

Прощание не было долгим. Также молча, не отрывая друг от друга глаз, поужинали. Встав из-за стола, он крепко обнял Антонину, перекинул через плечо ремень сложенной загодя дорожной сумки и, решительно затворив за собой дверь, размеренно зашагал к вокзалу, где уже поджидала пассажиров сияющая окнами ночная электричка...

* * *

Сутки спустя, вырвавшись из пригородной толчеи, по вечернему шоссе в сторону Залужска, не признавая правил движения, мчалась автомашина. Он сидел рядом с водителем, молодым разбитным парнем, отлично знающим своё шоферское дело.

– Извини, Павел, что заставил тебя сойти с маршрута. Только невмоготу мне, понимаешь! Никогда ничего подобного не позволял. Работа – она всегда работа. Уходил спокойно. Возвращался в приподнятом настроении. Теперь тревожно как-то на душе. Кураж, что ли, потерял. Скверно это, особенно в нашем деле, сознаю. Но ничего с собой поделать не могу. Свербит в мозгу, что необходимо ещё раз увидеться с супругой перед отъездом, и всё тут!

– Не переживайте, товарищ полковник! Семь вёрст – бешеной собаке не крюк! Приехал-то я за вами, как что предчувствовал, малость загодя установленного времени. Нагоним в пути. На «точке» вовремя будете.

Прекратив разговор, он прислонился лбом к стеклу и зажмурил глаза. В памяти пронеслись едва не ставшие для него роковыми события предыдущей экспедиции. Предательство человека, которого он многие годы полагал своим другом, гибель товарищей, плен, пытки, затем полтора года подневольного унизительного труда на местного князька без возможности передать весточку близким. Потом удавшийся побег, месяц скитаний впроголодь на чужбине и, наконец, возвращение домой.

Радость от встречи с женой омрачилась известием о похищении неизвестными единственного сына-школьника. Вероятно, то была расплата за его, обагрённый вражеской кровью, побег из неволи. «Те»

подобного самоуправства не прощают! В милиции, куда они с женой обратились с просьбой помочь в поисках пропавшего ребёнка, не то, что намекнули, а прямо так и заявили: «Думать надо было раньше о безопасности семьи, полковник!».

Как в тумане прошли тяжёлые в их жизни полгода в ежеминутном ожидании известий о судьбе сына. Но их не было. Никто не звонил с требованием выкупа. Тогда он и подал рапорт об оставлении службы. Ни на какие уговоры и посулы начальства не поддался. Сказал – как отрезал.

Жить в доме, где всё напоминало об исчезнувшем мальчике, сделалось невмоготу. Они с супругой решили продать квартиру и уехать из города. Куда, долго размышлять не пришлось, да и не было у них на то настроения. Выбрали Залужск, где у Антонины уже не осталось родни, а, значит, не предстояло отвечать на расспросы, принимать соболезнования и ловить на себе сочувственные взгляды. В тяжёлые дни требовалось побыть наедине с бедой, поддерживая друг друга и полагаясь на народную мудрость, будто время – лучший лекарь.

Проблем с трудоустройством на новом месте не возникло. Антонину, как столичного специалиста, да ещё с кандидатской степенью, с готовностью приняли в городскую поликлинику. Ему же, как бывшему офицеру, предложили одну из руководящих должностей в охране завода – градообразующего предприятия городка. Он, однако, отказался, сославшись на полученные ранения и накопленную за годы службы усталость, и оформился простым контролёром. Так-то оно было и лучше: отстоял смену – и вольный казак на трое суток. Как семейному, ему выделили вполне приличную комнату в заводском общежитии.

И вот теперь по его милости разрушалось их устоявшееся на новом месте бытие. Антонина снова остаётся одна. Надолго ли? Кто знает! Ради нестерпимого желания увидеть, ещё раз обнять жену перед командировкой, он позволил себе такое небывалое ранее самовольство: гнать машину за сто вёрст в противоположном от места назначения направлении. Пусть! Он стиснул зубы и открыл глаза. Смеркалось. По ряду примелькавшихся дорожных отметин определил, что подъезжают к Залужску.

* * *

Павел, заручившись заверением пассажира вернуться спустя пять минут, остановил автомобиль в указанном ему месте, за квартал от нового жилища Антонины. К дому решил пройтись пешком, чтобы не смущать его любознательных обитателей. Приближаясь, задумался: сколько раз и в который звонок позвонить? Жильцов много, у каждого свой сигнал, а тревожить чужих людей вечерней порой не хотелось. Решил, что стукнет в окно, благо – дотянуться не проблема.

Подойдя к бараку, увидел: окно комнаты жены, единственное на первом этаже, ярко освещено. Поднялся на цыпочки, подтянувшись за отлив окна, заглянул внутрь. Увиденное не столько удивило, как озадачило: вокруг откуда-то принесённого овального стола сидела масса неведомого ему народа. Странно, никогда жена не была склонна затевать застолья!

Легонько постучал по стеклу костяшками пальцев. Антонина, сидевшая спиной к окну, обернулась, и, узнав мужа, удивлённо всплеснула руками. В чём была, выбежала к нему во двор.

– Да ты что, в одном платье – вечерок-то прохладный!

– Не страшно, не замёрзну, ты ведь рядом! А я решила, уехал уже!

– Неужто так обрадовалась, что отпраздновать впору? – грустно усмехнулся он.

– Как тебе не стыдно такое обо мне подумать! Пойдём к столу! – потянула Антонина мужа за рукав.

– А к месту ли я буду?

– Ну вот, опять ты за своё! Идём, идём! Это соседи настояли. Говорят, положено с новосельем проставляться, чтобы чего дурного не вышло. Станешь тут суеверной с твоей-то службой! Вот и пришлось сообразить на скорую руку. Хорошо, соседка, Таисия Петровна, помогла. Помнишь, та старушка, что нам дверь отперла давеча?

Это «давеча», вероятно, всплывшее из детской памяти жены, вызвало улыбку: «быстро ассимилировалась на новом месте!». С неохотой вслед за Антониной он вошёл в душную комнату. Потоптался у порога, пока супруга усаживалась на прежнее место. Оглядел присутствующих профессиональным взглядом, точно оценивая: откуда может грозить опасность.

Рядом с женой, по правую руку – старушка, верно, та самая Таисия Петровна, снявшая ради праздничка с головы пуховый платок, в котором встречала их днём на пороге. Слева – патлатый подросток, лет четырнадцати, стоит на коленях на стуле вполоборота к Антонине и не сводит с неё восхищённых глаз. Военный неопределённого возраста в форме. Рядом с ним – женщина с немытыми волосами и унылым лицом, вероятно супруга военного. Три старушки, чем-то похожие одна на другую, наверное, любопытством, с которым беззастенчиво разглядывали вошедшего, жались на скамейке. Мужичок с опухшей физиономией, лиловым носом и небритыми скулами. Глядит исподлобья, но нагло. Кудрявый розовощёкий крепыш с самоуверенным видом первого любовника.

Публика, одним словом, не вызвала симпатии, но отступать было непривычно.

– Здорово бывать честной компании! – процедил он сквозь зубы негромко, но внятно. – Вот, уезжаю я на время, а супругу свою оставляю здесь. Признаюсь, с нелёгким сердцем оставляю. Непривычна она к такому коммунальному житью-бытью. Потому, предупреждаю: обидит кто в моё отсутствие, пускай пеняет на себя. Не пощажу! И казнить стану долго, мучительно.

– А сможешь ли? – задорно выпалил розовощёкий неожиданно звонким мальчишечьим голосом, окинув взглядом сухопарого гостя. – Не сдрейфишь?

– Так его, Петька, по-нашенски срезал, – легонько ткнул того в бок костлявым кулаком уважительно и в поддержку алкаш.

Желваки заходили у вошедшего на скулах. Пристально глянув в глаза крепышу, так же тихо, но более весомо ответил:

– А в этом, мил человек, не сомневайся. Вот ты, конечно, ежели и видел когда, то киношную инсценировку того, как с живого человека кожу снимают, вроде как шкуру с барана. Мне-то взаправду довелось глядеть на такое, что и врагу не пожелаю. А вокруг зрители пялятся – добрая сотня старух, стариков, да детей из аула. Не просто наблюдают,

а одобрительными криками раззадоривают палача, в мягких сапогах размеренной кошачьей походкой двигающегося вокруг жертвы с окровавленным ножом в руке...

– А что, смельчаков выручить болезного среди вас, наблюдателей, не нашлось, – прервал кучерявый задиристо.

– То-то и оно, что некому было выручить. Не в фильме дело происходило, не имелось такой возможности.

В глазах у него потемнело от нахлынувших воспоминаний, которые с тех, давно прошедших дней войны, не отпускают, не уходят из ума.

Как лежал он, избитый и спелёнатый по рукам и ногам, привалясь спиной к камню, плача в бессильной злобе и тоске, закрывая глаза, чтобы не видеть, как бандит режет привязанного меж двух деревьев с седыми, точно дорожная пыль, стволами и чахлой, пожухлой от жары листвой, старшину Шелудченко. Почему именно тому выпала страшная участь? Наверное, крепче был сложен, вот и выбрали его, решили покуражиться, свою власть показать, а других устрашить.

Только вышло оно наоборот. Не страх, а ненависть разожгли в его сердце небывалую. Такую, что, кабы освободился, зубами бы грыз всю эту бандитскую свору вместе с отцами их, матерями и детишками лишь за то, что те, пританцовывая и цокая языками, глядели на супостатство и не пресекли его. Не мог он слышать с тех пор гортанной речи, закипала кровь. А когда снились горы, шарил вокруг себя в ночной тьме, искал автомат и с криком просыпался, пугая жену. Эх, как понимал он в такие минуты того танкиста, гвардии полковника[1], которого предала власть суду в угоду трепачам-правозащитникам!

Поняв состояние мужа, поднялась со стула Антонина. Подошла, взяла за руку, усадила на освободившуюся враз скамью. Сама рядом примостилась, склонила голову ему на плечо и гладила по щеке, успокаивая как дитя.

Сообразили тут гости, что лишние они, надо оставить хозяев наедине. Первым поднялся военный, потянул за собой к двери подростка и жёнку, упиравшуюся и с разинутым ртом глядевшую на непонятую ей сцену семейной идиллии:

– Пошли мы, бывайте, хозяева, как говорят, здоровы. Никого мы тут не обижали да и обижать не собираемся!

Следом, шурша длинными юбками, цугом выскользнули за дверь старушки. Сперев под шумок со стола недопитую поллитровку, нетвёрдой походкой удалился пьянчуга. Кучерявый крепыш ссутулился, будто сдувшись, последним скрылся за дверным проёмом.

Но его в эту минуту уже не заботили чужие люди. Рядом находилась та, дороже и ближе которой никого не было у него на свете. Им предстояла разлука. Впереди маячила неизвестность. Дорога, о которой заждавшийся водитель требовательно возвестил клаксоном подъехавшей к дому машины, вела далеко от дома. Оба знали, что обратного пути ему может и не выпасть. Но по русскому обычаю обнялись у порога и, троекратно поцеловавшись, едва слышно пожелали друг другу: «До свидания...».

[1] *Полковник Юрий Буданов был осуждённ к лишению свободы сроком на 10 лет.*

ЕКАТЕРИНА БЛЫНСКАЯ

ВРЕМЯ ЛАСТОЧЕК

Начало

Ночная темнота тут особенная. В ней не бывает беззвучия. Разрываются мелкие сверчки – кузнечики в траве, словно играют пьяную музыку. Далеко лает лиса. Как потерявшийся ребенок, сова подает голос, и он жуток. Стрекотание летучих мышей порой забавляет, пока эта мышь на полном лету не вцепится в волосы.

Уже тишина. Собаки лают разреженно и без энтузиазма. Не в каждом доме держат сторожей: самим на еду не хватает... Людей осталось – раз, два – и обчелся.

Адольф и Дроныч тащат камень. И это не просто камень, это могильная плита с заброшенной части кладбища. Куда они тащат его? Чтобы положить на дорогу. Зачем? Чтобы машины не подъезжали к дому Адольфа и не растаскивали лужу. Могильная плита ложится на траву, гудящую сверчками. Адольф и Дроныч пошли за второй, а то им мало...

...Раньше в Антоново было побольше молодежи, открывали клуб. Двадцать лет назад, в начале двухтысячных, работал завклубом гермафродит Коля П., которого антоновцы ужасно не любили и боялись. Гермафродит он был или кто-то особо одаренный пускал слухи, но после смерти Ромки Олейникова его девчонка Ольга вышла за Колю П. замуж и... родила детей.

Сейчас у Коли, и правда, уже пузо как у бабы, зубов через один. Детки выросли и разъехались. Старик он стал, этот Коля П. А ему чуть за сорок. Мелкие, которые лет с десяти уже отчаянно желали приобщиться к самогону и самокруткам, в клуб залезали

через окна, потому что Коля стоял в дверях и, видя на порожке мелюзгу, расшвыривал их по кустам, как щенят, за шивороты, когда они пытались прорваться к «взрослым», причем любил именно прихватить и кидануть в окно, что было особым шиком для тех, кто приземлялся в крапивные заросли, если окно было открыто. Ну а если закрыто, тогда ой, конечно.

Взрослыми считались девчонки от четырнадцати и парни от пятнадцати. Они приносили с собой лампочку, магнитофон и кассеты. И под слабый ламповый сорокаваттный свет топтались под музло из «Калинова моста» или под саундтрек к фильму «Брат» – ну вы знаете: «А там огромное не-е-бо-о... что видит он в пустоте-е-е...». Потоптавшись на танцах, пары и компании уходили гулять по селу до старинного шлюза под названием БАМ, кто-то хоронился в предбаннике заброшенного фельдшерского пункта, кто-то сидел на лавочках, прибитых к тополям. И обнимались или о чем-то тихо перебалтывались и временами громко смеялись. С пустоши, позади клуба, где еще недавно белели колхозные постройки, раздавался свист. Ребятишки собирались в стаю, чтобы сыграть в карты или побренчать на гитаре. Сейчас ясно: если уходит из села жизнь, первым закрывают клуб. Сразу понятно, что дальше только тишина и развал. Теперь от тех тополей, где были прибиты лавочки для романтических посиделок, остались одни пни. Никто уже не ходит шумными толпами в клуб, не сидит на порожке, схватившись за хмельную голову, не свистит из кустов, сзывая банду курнуть дури или хлебнуть самогона, не стоит грозный Коля П. на ступенях. Не прячутся в заброшенной кинобудке влюбленные ребятишки, не заваливают друг друга на бильярдный стол за старой сценой, на которую годами не ступала ни одна нога из художественной самодеятельности. Не подкатывают к клубу на мотоках распальцованные райцентровские пацаны, уводящие невест у местных ребят.

А потом утром эти мальчики и парни, нагулявшись, шли по росе с отцами и дедами косить отаву, возить навоз, стоговать и копнить, и вертать, и возить сено, и смолить лодки, и кидать сети, и колоть поросей, и резать птицу до позднего вечера. Девки торчали на огородах, сажая, выпалывая, окучивая, обирая ягоду. Варили варенье, колупали косточки, крошили груши и яблоки, лупили подсолнухи, тягали загорелые морды тыкв и рубили сечками для вечно голодной скотины перезревшие кабачки. Чтобы вечером матери отпустили их по своим делам. А прошло-то всего лет шестнадцать, как в клубе в последний раз топтались под домашний «мафон». Кто-то за это время родился и стал юным. И вошел в свое время, но уже другое и не наше. Сейчас в клубе только голосуют. Для этого здание поддерживают в надлежащем состоянии. Белят, красят. Но кинобудку забили досками. И выбросили бильярдный стол и все развороченные кресла. Остались только на обитых краях деревянной сцены надписи, вырезанные перочинными ножичками, надписи из ушедшего двадцатого века. Вместо клуба в эти современные года новенькие молодые посещают куст, где сделали шалаш и скамейку для ловли 4G от мобильного оператора «Мегафон». Пока больше нигде в Антоново сеть не ловит. Это дает некоторую надежду. Но в шалаше никто не знакомится. Там все поглощены интернетом. Даже если парень с девушкой сидят рядом, не факт, что они спросят друг друга, кто есть кто и кто к кому приехал. Остались одни дачники. Они приезжают уже не к бабушкам, а сами к себе. Вот такие вот дела в деревне, мир ее праху.

Да... еще кое-что об Антоново... Есть у оставшихся местных такая интересная традиция, которая пока не умерла... Перед свадьбой парень с девкой едут на плотину и идут к водозаборной яме. Она такая, в принципе, очень огромная, глубокая и страшная, а на дне ужи лежат, как свернутые куски велосипедных резиновых покрышек. Парень говорит:

– Будешь, милая, гулять, скину тебя к едреням в эту яму, никто и не узнает, а там тебя съедят саранча и лягушки.

– Ну и ты гляди, – отвечает суженая, – будешь, милый, гулять, сам сюда придешь и скинешься.

На том они решают делать свадьбу. Как бы яма эта все равно маячит каждому издалека. Да и смысл в том, что во время семейного пути обязательно один куда-то сбрасывает другого. Либо сам сбрасывается... Третьего не дано, а образ пустой бетонной ямы с пресмыкающимися никого не пугает и никого не останавливает. Гуляют все. Скучно.

Так вот порешили и наши, еще незнакомые вам герои. Смерть она ведь всегда ходит с любовью рядом, зачем уж об этом рассуждать! Да что я забегаю вперед на двадцать лет! Надо вернуться. Да рассказать все по порядку... А плотина себе блещет лунными осколочками. Луна золотит рябь. Нежное сентябрьское солнце встает из густой дымовухи подожженной овсяной стерни. Дзобают по яблокам вороны загнутыми, первобытными клювами. Выходит на пахоту старая бабка с сапочкой и колотит мертвые глины, чтобы сделать их живыми. Ох и колотит она их! Ветер дует с кладбища. Там только на одной могиле нет креста. На единственной могиле нет и никогда не будет креста. Он ведь умер сам, никто его туда не звал. А скоро уже не будет и самой могилы. Память народа, как и память природы, коротка.

Глава первая
«Писаный-неписаный воровской закон...»

Дверь, разбухшая от дождя и влаги, плохо поддавалась под мерными ударами плеча Григорьича. Тот выносил ее, умело распределяя свой недюжинный вес, грохотом пугая Нину Васильевну и Лизу. И казалось, что этот неожиданно приобретенный дом не очень-то хочет впускать новых хозяев.

– Бабы! Побежали бы, нашли кого-нить подсобить мне, высадить эту дверь бессовестную... – бубнил Григорьич и снова бился с дубовыми досками.

– Сам справишься! Сам бессовестный! Надо было сначала с дверью разобраться, а потом нас перевозить в дождь! – сердилась Нина Васильевна и поправляла дорогие очки Prada на остром носу.

– Да иди, сядь в машину и сиди! Разговорчивая какая! – кряхтя, отвечал Григорьич.

– А Лизка?

– Лизка! Не сахарная, не растает.

Волосы Лизы намокли и завились от дождя, но она отчего-то не уходила, стояла среди двора и улыбалась отсутствующей улыбкой, словно что воля, что неволя – всё одно. Только Майк, совершенно черный персидский столичный кот, раздирал ее плечо, достав через плотную олимпийку коготками до кожи.

Лиза грустила оттого, что ее увезли в незнакомое место со старой дачи, где было по-родному тепло, где ее всегда ждали друзья, мелкий сосед

Мясушко и бабульки с теплым молоком в жестяных кружках и маковыми булками. Было грустно, будто детство оборвали.

– Вот деятели! – ворчал Григорьич, налегая на злосчастное полотно хорошо сбитых дубовых плах. – Это ж надо так было сделать! На века! Вот, блин, дед Кожушок!

– Никандрыч! – поправила его Нина Васильевна, протирая забрызганные стекла очков о край джинсового плаща. – Какая-то баба сказала, что его звали Никандрыч. Сказала, что «приехал второй Никандрыч, дюже похож». Этот наш Вертолетчик, который дом продавал, наверное, после старого Никандрыча и дверь не поменял. Зачем... Тут скорее дом упадет, а она стоять будет.

– Хоть горшком на-зо-ви-те... – напирал Григорьич, и усы его словно распушались от неравной борьбы со столетним деревом.

– И что, мы теперь не попадем туда, что ли? – спросила, капризно надув губы, Нина Васильевна. – Или соседей все-таки позвать?

Нежилой какое-то время двор за последний год быстро утонул в крапиве, зацветшие мхом крыши полуразваленных соседских сараев зеленели неприятной, тянущей тоской, как бывает обычно в середине жаркого лета: суточный дождь, смена ветра, и уже пахнет осенью, тревожно, что не вернется тепло. Вертолетчик больше не мог приезжать сюда на дачу. Лечил дочку, заболевшую туберкулезом. С трудом он решился на продажу дома. А дочка его вообще ревела белугой в Сумах. В Антоново прошли ее детство и юность. Она тут каждое лето отдыхала.

Но еще только самое начало мая, погоды не было как таковой. Одно смешение ветра, дождей и мокрой молодой листвы и травы.

Пять лет Григорьич с женой и дочерью приезжали на лето в эти края. Точнее, на родину его матери, бабы Наташи. А когда баба Наташа умерла, им остался мазаный домик в Обуховке, где они были полными хозяевами. Но только постоянные разговоры о том, что в Обуховке нет ни леса, ни реки, ни искупаться, ни сходить по грибы, нарушали мирный отдых.

Дом в «неудачной деревне» бросили и, попросив у старшей дочери Ленуси необходимую сумму, купили домик в Антоново.

– Мам... а как я буду ездить к куме, смотреть своего крестника? Ведь до нее теперь километров двадцать пять, не меньше... – чувствуя щекотание в глазах, сказала Лиза и вспомнила, как на днях, еще недели не прошло, они крестили маленького Юрчика в Суджанском храме.

– Ладно ныть. Надо будет – сами приедут. И вообще эти ваши крестины... Кому они нужны, кроме тебя. Ты же понимаешь, что кума твоя сильно мудрая девица. Ты же из Москвы, вот она и захотела, чтобы ты была крестной.

– Теперь мне что, вечно оглядываться, если мы из Москвы? Москва как будто это Америка какая-нибудь. Или Австралия.

– Для них – да! И Америка, и Австралия. Даже я думаю, кума твоя и надеялась...

– Мам! – перебила Нину Васильевну Лиза. – Но Мясушко-то меня честно любит... и Васька говорил, что любит.

– И Мясушко! И Васька! Им просто скучно. Магнитофон Васька крал из хаты, как мы в Харьков ездили? Крал.

– Ну вернул же потом...

– Вернул! Конечно! Японские детали забрал, а насовал туда черт-ти чего.

Лиза зарыла нос в черную шерстку Майка. Ну что же... Был такой случай. Но Ваське тогда было тринадцать... Потом его бабка стыдилась за проделки дурачка-внука, а он еще лез целоваться.

На новом месте предстояло много работы. Побелить расцветающий сад, сделать грядки и посадить картошку, подправить сараюшку для кур. И иногда придется ездить на старую дачу, потому что там-то картошка уже посажена, да еще как... Под плуг, с веселой соседской помощью, с красным борщом и посиделками... Ее тоже нужно будет ехать копать. Много дел. Успеть бы, желательно до осени.

Осенью Лиза должна ехать учиться. Куда она пока сама не знала. После отчисления из театрального училища она не хотела больше в творческий вуз. А учиться было нужно. Девятнадцать лет, каждый год дорог.

Кот мурчал на руках, мяукал и выворачивал голову на все звуки. Все ему было ново. Округлив глаза, он вытягивал шею, мяукал, снова подныривал под волосы хозяйки и пыхтел.

– Ничего, Майкуша, я тоже волнуюсь. Я тоже здесь впервые. Привыкнешь, найдешь себе жену, и не одну... – успокаивала его Лиза.

Внезапно за воротами сильно зашуршало, стукнуло и несколько раз пыхнуло. Это соседская корова, возвращаясь домой, хватила травы под забором новых дачников, наедаясь напоследок. Раздался щелкающий звук, и кот, больно оцарапав Лизу, метнулся вверх, на столбик, поддерживающий виноград, а оттуда – на шиферную крышу веранды. Лиза, почесав шею, дернула тяжелые ворота. Они со скрипом отворились.

Бело-рыжая корова, приподняв голову, мыкнула почти ей в лицо, Лиза, скорее от неожиданности, прижалась к доскам ворот.

– Ты чего, шальнуха... мычишь... топай... топай... – услышала Лиза голос из палисадника.

Она повернула голову на голос, и тут же ее оглушил щелчок. Корова, топнув двумя ногами, резко вывернула от ворот и помчалась на дорогу, подняв хвост.

– Что, теперь и яблок у вас не потыришь... беда какая...

Из палисадника, где усыпанные белыми цветами росли две старые, раскоряченные от времени яблони, вылез незнакомый человек с выгоревшими почти добела волосами. Он тащил за собой плеть, заплетающуюся в густой поросли травы, и к груди прижимал несколько красных тюльпанов с махровыми лепестками.

Лиза заметила, что человек этот, вернее парень, может быть, чуть старше ее. Только на других деревенских, которых она видела до того, он был не похож. Лиза посчитала, что разглядывать его стыдно, и, потупив глаза, ждала, когда он сам заговорит.

– А вы к нам надолго? Дачу купили? А Вертолетчик будет приезжать? Вам работник не нужен? – спросил он Лизу сразу обо всем. Голос его был мягкий, подходящий под его какую-то тонкую, неместную внешность.

– Работник? – переспросила Лиза, потирая оцарапанную шею двумя пальцами, наконец взглядывая на собеседника. – Мы же дачники... думаю, не нужен...

– А вы спросите у вашего батька.

Треск дерева и радостный вопль Нины Васильевны возвестили победу Григорьича над дверью.

– Лизка! Идем, отец дверь открыл!

Лиза наклонила голову и сказала с досадой.

– А вот это... плохо тюльпаны красть в чужом палисаднике.

– Ну, тут никого не было... Да и это я невесте своей... Она ваша соседка. Лелька. Такая вот... бокатая... А больше цветов пока не наросло нигде. А у вас их завал. Гляньте сами. Там этих тульпанов красных хучь могилку засыпь.

– Невесте... – улыбнулась Лиза, – тогда берите, я не жадная, берите, если хотите. Вы что тут, пастух?

– Да, что-то наподобие того.

Лиза кивнула.

– Хорошая профессия, а я боюсь коров. Они большие. Я Лиза. А вас как?

– Меня Глеб.

– Непривычное имя для деревни.

Назвавшийся Глебом вздохнул.

– Да я и не местный. Так, волей случая занесло. Теперь, видно, навсегда... Дзякую за ваши лохматые тульпаны.

Лиза двинула плечами и, молча отвернувшись, толкнула воротину.

Глеб, достав из кармана семечек, поплевал, прислушиваясь, что делается у дачников, и неслышно пошел к дому.

Две подросшие рыже-белые телки лесника бежали ему навстречу, думая еще попастись.

– А н-ну! Недраные, пошли до кордона! – специально погромче крикнул Глеб и так отчаянно завернул плетью, что телки припустились бежать, как сайгаки.

Нина Васильевна уже гудела из пустого дома гулким голосом, который бывает только в необставленном и просторном жилье.

Григорьич возился с вырванным с корнем замком, ковыряя отверткой в ржавой ране личинки.

– Кот-то рванул в хату... – сказал он задумчиво. – А ты треплешься... с кем-то.

– Брось ты свои жаргонизмы, не в хату, а в дом! Мне только что один перец сказал, знаешь что? Дзякую! – усмехнулась Лиза.

– Ну, тут же суржик, чего ты хочешь. Язык такой. Русский с украинским.

– Понятно.

– Иди в хату, – строго сказал Григорьич. – И помни, что ты сама на четверть хохлушка! Да! И волоса заплети, ходишь, как ведьма.

Лиза, пнув обломанный кусок дверного косяка, вошла в старый дом, с сегодняшнего дня ставший им своим.

Снаружи он казался совсем маленьким, а внутри удивил. Две комнаты, как у всех местных традиционных домов, узкая печь-труба, отапливающая пятую, внутреннюю стену, камин в дальней, «вулишной» комнате и плита в «огородной».

В маленькой веранде можно было спать, а еще стояли стол со стульями. В небольшой кладовке – кухонька и даже ванная. Можно там было готовить, а есть уже было негде. Решили есть на веранде, а Лиза собралась там обосноваться.

Между комнатами были двери. Редкость в деревне. Обычно никто не делал дверей в домах. Вешали шторки или портьеры, и все. Никакого личного пространства не полагалось. Только если была подросшая дочка, ей отгораживали в вулишной одно окно шифоньером, и там делалась «каюта». Откуда это слово пришло – с суши в море или с моря на сушу – было непонятно Лизе.

– Отец-то, вот ведь, дверь-то на себя открывалась! – шурша мимо с мешком вещей, хихикала Нина Васильевна.

– Ну, чего, расцвет маразма, – добавила Лиза, оглядывая пустые комнаты и наблюдая за котом, на полусогнутых лапах ожесточенно обнюхивающим плинтусы. – Альцгеймер недалеко.

– Дура! Русские мужики до Альцгеймера не доживают! – бросив среди комнаты мешок, сказала Нина Васильевна.

– Ну Паркинсон...

– Иди, таскай вещи из машины, Паркинсон!..

***

Григорьич был недоволен запущенным двором, странными соседями-новаторами и «забавными идиотами», как он сразу же их назвал, а главное – продавцом дома, усатым Вертолетчиком из Сум, который обещал объявиться на днях и забрать «кое-что свое» со двора.

В результате приехало человек пять местных ребят на грузовике, и стали собирать по двору трубы, лопаты, весла, а главное – они увезли две лодки, с которыми дом якобы продавался, и красивейшую резную деревянную лавку, стоящую в передней комнате, и две тысячи кирпичей для обкладки сруба, и детские переносные легкие качели. Григорьич как раз в этот нехороший час рыбачил. Весь этот переезд к реке был придуман для него. Он ведь яростно мечтал о рыбе, о большой рыбе и раках к пиву, и теперь ходил на надувной лодке с видом, словно управляет парусником «Крузенштерн». Мечта его ловить щук и судаков, просиживая на воде и лениво покуривая, слушая дальние вопли весенней выпи, наконец осуществилась.

Нина Васильевна громко, из-за окон веранды, стыдила прежнего хозяина, а тот даже не вышел из кабины грузовика, пока его товарищи-пособники перетаскивали «его» имущество в кузов, глухо бахая по дну тяжестью лодок и поддонами с кирпичом.

Наконец Нина Васильевна, вся изойдясь недовольством и угрозами, громко включила на магнитофоне Лизы группу «Лесоповал»:

Писаный-неписаный
Воровской закон!
Голова-головушка
Ставится на кон!
Как вода глубокая,
Не достать до дна,
Ах, голова-головушка,
Ты всего одна, –

гласила эта оригинальная укоризна.

Лиза стояла на крылечке и, по отцовскому наущению увязав длинные, бесстыдно-рыжие волосы в узел, наблюдала за здоровенными парнями, таскающими лодки, трубы и поддоны.

Того, что нагло воровал «тульпаны» в палисаднике вчера вечером, среди них не было. И Григорьич не спешил с рыбалки, чтобы переругаться с нечестным Вертолетчиком и его местными друзьями. Одна только Нина Васильевна без утомления полоскала их и их родственников, но несмотря на ее богатую выражениями русскую речь, парни таскали молча и даже попросили у Лизы попить, подмигивая ей на голубом глазу.

Томный вечер, отгромыхав наполненным кузовом грузовика, перетек в чуть слышное потрескивание стрекозиных крыльев, недовольный бубнеж

Нины Васильевны и легкий скрип вторых, оставшихся качелей, на которых сидела Лиза и кот.

Лиза еще не выходила за ворота. Она привыкала ко двору, к новому месту, к дому, в котором запах старого дерева тяжело мешался с плесневой отдушкой.

Она выбрала себе место на веранде, куда затянули старую, подранную котом тахту. Но спать было еще страшновато, окно закрывалось с трудом и только на один кривой шпингалет.

Лиза готова была зареветь от тоски по старой даче, где сейчас наверняка ее соседи Попенок и Мясушко катаются по асфальту на великах до свинарника и обратно, а Василька уныло, втихаря покуривает в ветлах, вспоминая ночные посиделки с покером и «Мафией».

Все было чужим. Но лес, опушенный по краю акациями, не пугал. Он светился белым песком, и от новой реки, мощной, незнакомой и широкой, пахло весенним половодьем даже через бесконечный частокол сосняка.

Глава вторая
Новые люди

Нина Васильевна, Лиза и Григорьич распаковывали коробки, выставляли посуду, трясли подушками и одеялами. Нина Васильевна была довольна. Она уже познакомилась с соседями.

– Там вон, в каменном доме, живет дядька, чуть постарше меня... Максимыч. Фамилия их – Отченаш, только не падай. У них есть две собаки, одна ощенилась, и нам дадут песика Бимку. Максимыча жена – Фая. Она работает в сельсовете главбухом, зря ты назвал их идиотами, хорошие люди. Правда, немного странные... Справа – двое детей и родители, за ними – Шура и ее муж. Ну, потом лес... С лесничкой я еще не говорила. Слева... от Отченашей тоже какие-то дети и за ними тоже трое детей.

– А возраст этих детей, мама? – перебила ее Лиза.

– Ах, от десяти до... до... двадцати... в общем, тебе будет с кем мячик погонять.

– «Феклуша, бросай куклы, иди замуж...» – процитировал Григорьич.

– Сами идите туда, – отмахнулась Лиза и шумно чихнула.

– В зависимости от местности слово «главбух» звучит двусмысленно, – добавил Григорьич. – А он кем работает? Максимыч твой?

– Он ведет хозяйство по новаторской системе.

– Слышал. А что там за система?

– Система экспрессивной экономии. Его жена сажает картошку в лыжах.

– Зачем!

– Чтобы экономить землю в междурядье!

– Это как? – роясь в инструментах, спросил Григорьич. – Где мой молоток, женщины?

– У него работник есть, он не один! – гордо сказала Нина Васильевна, выуживая из дамской сумочки молоток. – Вот твой молоток! Так как это самое важное, я его далеко не убирала!

– Один главбух уже наниматься приходил, – сказала Лиза, еще раз чихнув от пыли. – Молодой совсем. Крал тюльпаны в палисаднике, там и поймала его.

Нина Васильевна, бережно обтирая стеклянную, под хрусталь, конфетницу, фыркнула.

– Я думал, народ уже не нанимается. А ты, со своим чуйством юмора, тут не это самое... Не понимают тут твоих приколов, ясно, Лизка? – сказал Григорьич. – Интеллектуалов ни фига тут нет.

– Но я еще не начинала... – хмыкнула Лиза.

– И не надо! Кушать все хотят, – сказал Григорьич. – Может, нам понадобится работник. Тут дел много. У меня же нет сыночка! А, мать?

– И что? – снова фыркнула Нина Васильевна. – Ты с девками не справишься.

Григорьич ударил молотком по деревяхе, и весь дом, казалось, вздрогнул. Лиза зевнула.

– Я пойду спать.

– Иди лучше к соседям. Там девчонка такая, как ты. Познакомишься.

Лиза вспомнила, как мельком видела толстую маленькую девушку, больше похожую на тетку, идущую до колонки с двумя ведрами.

– А, эта, что ли... невеста...

– Чья? – удивилась Нина Васильевна.

– Этого работника, что к нам приходил...

Григорьич ухмыльнулся.

– А каков... Ишь... Все и разузнал. Вот я сразу сказал! Хитропродуманные они все тут!

– Бабки обуховские мне говорили, что народ тут гнилой. Говорили, что вы там, в вашем Антоново, будете плакать по нам! Да! – поддакнула Нина Васильевна.

Лиза на своей веранде, лениво разобрав еще несколько коробок с вещами и книгами, переоделась в спортивный костюм и вышла за ворота.

Закат размазал красивую багряную краску по небу, недвижные облака бледнели, но не исчезали. Комары тучами клубились в акациях. Где-то вдали, у реки, раздавались странные звуки, словно кто-то опускал трубу в воду и со всей дури дул в нее, извлекая не только бульканье, но и небывалой силы звук. «Выпь... от слова “вопить”», – подумала Лиза.

С кордона, через три дома в сторону леса, где у лесника было большое крепкое хозяйство, мычали голодные телята. У соседей кто-то ругался и гремел ведрами, кидая в них что-то тяжелое, наверное буряки для коров. Все как обычно, только скучно...

***

Утром Лиза проснулась от яркого солнца. Скорее всего, мать и отец уже вышли на огород, а Лизе полагалось поваляться подольше и подумать о своей жизни.

Она погрустила о первом курсе, вспомнив неприятную ситуацию с окончанием своего обучения. Что ж, значит, ей не хватило таланта. И не только это. Целоваться с сокурсником Владом она тоже отказалась.

– А если ты пойдешь работать в кино и тебе нужно будет целоваться и раздеваться? – спросил худрук Тимофей Сергеевич, раздраженно подрагивая отвисшей губой. – Откажешься? Какая ты тогда артистка?

Лиза вспомнила свой стыд и мат, который не смогла вынести, и просто не пришла на генеральный прогон курсовой постановки.

Она даже не пошла забирать документы, так и осталась меж небом и землей, еще не пережив и не осмыслив эту ситуацию.

Хорошо, что мать поняла.

– Да на кой тебе эта сцена! Устрою тебя к себе в налоговую, и будешь работать! – сказала она. – Здоровье дороже.

Оставалось только снова поступить и снова начать учиться. Но в экономический институт на бюджет Лиза не прошла, и теперь ей светило только платное образование. Сестра настаивала на юрфаке.

«Пойду работать...» – почти с отчаяньем и даже слезой думала Лиза, понимая, что очень сильно любит спать и просто ненавидит быстро собираться...

С такими пространными мыслями она услышала чуть слышный шорох по дороге и осторожно, через уже повешенную матерью занавеску, выглянула в маленькое окно. По дороге молодцевато шагал низенький солдатик с кривыми ногами и длинным некрасивым лицом. За спиной болталась потертая спортивная сумка. Он так и чеканил сапогами по белому песку с крапинками гравия.

Лиза чуть было не засмеялась. Это, наверное, тот, из предпоследнего дома... Сын тетки Шкурки и дядьки Дрона. Из армии вернулся... Тут уже ходили некие отрывочные разговоры, что скоро «Лизке будет весело, мой-то жених».

Сморщенная, хоть и молодая еще, тетя Шура, которую Лиза, большая любительница подмечать характеры, окрестила «Шкуркой», так прямо и лезла с дружбами. Эта древняя схема «у вас товар – у нас купец» ей порядком надоела еще в старой деревне, потому что по деревенским меркам Лиза была уже несколько лет на выданье. Бессчетное количество подкатывающих к москвичке женихов Нина Васильевна опытно разогнала.

Лиза вскочила, натянула джинсы и майку и вылетела из комнаты, не заправив кровать.

– Ма-ам! – протяжно крикнула она с крыльца. – Я пойду за водой!

Все равно ее не слышали, занятые переругиванием и рассадой. Она схватила ведро и вынырнула за калитку, успев проводить взглядом некрасивого солдатика. Тот действительно зашел в ворота тетки Шкурки, и теперь из их двора слышались какие-то мифологические причитания бабки и матери.

Лиза профланировала до колодца, лениво набрала полведра и так же лениво пошла назад, прислушиваясь к новому событию у соседей.

***

У ближних соседей Рядых, где жила Лизина ровесница Лелька, с которой Лиза успела уже перекинуться парой слов, праздновали приход из армии старшего сына дядьки Дрона, Мишки Дроныча, гордо называемого теперь Солдатом. Сам виновник торжества уже лыка не вязал, спал в летней кухне, а вот на столе еще все было тепленькое и неразобранное, тетька Людка, мать Лельки, и тетька Шкурка неустанно бегали до колодца, чтобы разводить водой компот.

Лиза наблюдала из-под уличной груши за съезжающимися на мотоциклах и велосипедах гостями, желающими выпить за «дембельнутого».

Прибывшие пропадали во дворе, как в чреве затонувшего корабля, и вываливались оттуда уже с видом кракенов, выжравших все матросское пиво, да и, кажется, закусив матросами.

– Вот кажется мне, шалава она... И вообще эти все... что с одной стороны – новаторы, что с другой – алкоголики. Не то что наши бабушки

в Обуховке, да, Лиз? – рассуждала Нина Васильевна, вышедшая полюбопытствовать за калитку. – А ты тут одна, иди хоть посмотри, кто там.

– Да они все тут кто на рогах, кто на ногах... проходят мимо. Ничего хорошего не проходит.

– А девчонка та, соседка?

– Лелька-то? Да она там, в доме.

– И что, звала тебя?

– Звала. У нее кликуха Борона. И она уже была замужем и развелась.

– А лет-то ей сколько? – удивленно хлопнула себя по животу Нина Васильевна.

– Двадцать будет, как и мне.

– Вот это да! И что? Ну, я тоже первый раз замуж вышла... в девятнадцать, тут много ума не надо. А ты ну так сходи, а то стоишь, как во поле береза.

– Да, именно, – сказала Лиза.

– Иди, иди.

Лиза вздохнула. Ну конечно, сейчас подходящий момент познакомиться со всей молодежью села. Правда, назавтра молодежь и не вспомнит, как ее зовут.

– Пойдешь? Я бутылку водки папкину дам. И там шарлотку возьми. Я еще спеку.

Лиза укоризненно взглянула на мать и надула губы.

– Не дуйся! – схватив ее за голое плечо, сказала Нина Васильевна. – А то подумают, что ты дикая, нелюдимая. Ну надо же дружить!

– Надо... – протянула Лиза, вспоминая мелких друзей. – Они все взрослые! Мам... Не то что мои... обуховцы.

– А ты что! Нашлась тоже, маленькая! Тебе двадцатый год!

– Я хочу быть птичкой, – ответила Лиза, тряхнув распущенными волосами. – Жар-птичкой.

Нарядов здесь у Лизы не было, поэтому она надела длинный материн сарафан и каблуки, чтобы не запутаться в нем, подвела глаза стрелками и нарумянила вечно бледные, незагорающие щеки.

У Лизы была странная внешность, высокий лоб, некрупные черты лица, чуть оттопыренные ушки, которые она скрывала под волосами, тонкие губы и тонкий, немного острый нос, как у матери, но меньше. Лиза дорастила свои огненно-рыжие волосы до пояса, и теперь никто не мог пройти мимо, не посмотрев на нее со смешанными чувствами.

Путаясь в подоле материнского сарафана, с шарлоткой в одной руке и с бутылкой водки в другой, Лиза через уговоры отправилась поздравлять отслужившего.

Ковыляющие ей навстречу родители Лельки и Дроныча гостеприимно затолкали ее во двор.

– Заходь, заходь, девка, – сказала чернявенькая мать Лельки, удачно накрашенная под испанку.

– Да я просто поздравить... – робко ответила Лиза.

– Ну, давай, давай! Там ваш батька сказал, вам надо ощекатурить веранду и обложить плиткой камин! Я могу! Я плиточница! – и глаза испанской матери загорелись, и блеснули ее золотые зубы.

– Наверное... – неуверенно произнесла Лиза. – Надо...

И, разувшись в сенцах, Лиза вошла в хату. Хата была выбеленная, с печью в пятой стене, с деревянными полами, резными лавками, огром-

ным столом посередине и... невероятных размеров телевизором, который транслировал сериал «Земля любви» во все горло.

– Заходи-и! – крикнул брат Лельки Андрей, которого она также видела один раз, мельком. – Выпей, пока есть что! А то придут Горемыкины с Белопольскими и все выпьют!

– Да я особо-то и не пью... – соврала Лиза, но ей уже налили в зацапанный стопарь.

– Пей! – скомандовал лохматый отец Лельки, дядя Женя Рядых, и ударил Лизу по плечу ладошкой.

– Это ж практически мой брат! – вещала Лелька откуда-то с высоты, разнося тарелки. – Мы же вместе выросли! Мы же родня! Братушка! А!

Молодой дембель Дроныч не слышал ее слов, он спал в кухне, уютно подложив руку под щеку, уже больше не знающую уставного бритья.

Лиза выдохнула и выпила. Горячий глоток прошел через все тело, оказавшись внезапно в каждом его уголке, пожег, защекотал, и где-то внутри стало тепло.

– Ну, как тебе наша херша? – укатывалась Лелька, разнося куски курицы на блюде. – Не бойся, не на кирзе! Не вштырит!

Лиза неподвижно сидела, обозревая исподлобья гостей, человек десять-двенадцать, в основном молодых парней и нестарых мужиков, но у всех были такие непростые лица, а у большинства такая дремучая и синяя щетина, что нельзя было понять их возраст. Девок было меньше, они все смотрели на Лизу с осторожностью и немного даже с вызовом.

Лиза уткнулась в тарелку с салатом, пытаясь поймать накромсанную капусту, потому что все остальное выглядело очень не по-свойски. Какой-то воняющий потом парень, подняв перед ней заросшую подмышку, перехватил словно бы летающую над столом бутылку и, громко двинув стул, отчего Лиза подскочила, бодро налил в ее граненый стакан чего-то светло-желтого.

– Пей! А я Сергей! Зови меня Сергей! – и чмокнул губами воздух. – Давай-ка с тобою выпьем на этот, будершафт.

– На брудершафт. Но только потом целуются обязательно. Троекратно. А от вас несет алкоголем, – ответила Лиза бесстрашно.

– Ладно... я вижу, что ты не дура. Ясно уже.

Лиза кивнула несколько раз, обреченно толкнула вилкой картошку и поняла, что пора линять.

– Ты с Москвы, кукла? – спросил Сергей, отхрущивая от редиски красную голову. – Учишься?

– Школу закончила.

– И что, прям девять классов?

Лиза взглянула на Сергея бледными глазами.

– Нет, двенадцать. У нас в Москве позакрывали все школы-девятилетки. Теперь только двенадцатилетнее обучение, а потом ты сразу в президенты идешь.

Сергей развел руки и скосил глаза, силясь уловить ход мысли, но ход мысли никак не ловился.

Он что-то хотел еще спросить, но Лиза выпалила:

– Мой папа прокурор, если что – обращайтесь. Он вас всегда посадит.

Теперь в глазах курносого Сергея отобразился вопрос и недоумение.

– А в клуб пойдешь со мной? – спросил он трогательно.

– В клуб? Нет. Не пойду.

– А почему?

– Потому что я не танцую.

– А! Ты не умеешь? Я тя научу! – и Сергей, подтаскивая стул поближе, плеснул в стакан еще чего-то прозрачного.

Лиза точно поняла, что ей уже пора, ловко вывернулась из-за стола и побежала прочь, на воздух, почуяв муть в горле.

Она вскочила в свои босоножки, сделала, приподняв сарафан, несколько прыжков по двору, к распахнутой калитке, как ей неожиданно перерезал путь стройный светловолосый парень в майке, полубрезентовых, словно рабочих, штанах и сапогах. Он залихватски курил, дымя папиросой, и, увидев Лизу, расставил руки.

– О-о-о... мадам... уже падают листья... – сказал он и шагнул вправо и влево, стараясь ее пропустить, но она тоже шагнула и вправо и влево, толкнулась о его фактурное плечо с сильно накаченным бицепсом и, стукнувшись о верею, выбежала прочь, пряча глаза и краснея через пудру.

Узнав того, кто воровал цветы в палисаднике, Глеба, Лиза совсем смешалась. Ей резко захотелось в Москву.

Глеб с минуту постоял во дворе, соображая, что за девка, и крикнул в разверстую пасть дома:

– Лель, а Лель! А что это за краля проскочила мимо меня?

– Иди сюда, Горемыкин! Иди, черт с рогами! Я тебя заобниму!

И парень нырнул в тяжелый мрак хаты, не выпуская папиросу изо рта.

Глава третья
«Ты красивая»

Лиза лежала на тахте, вытянув руки. Она натянула треники и кофту, но не могла согреться. Странно красивое для этого места лицо Глеба стояло у нее перед глазами, папироска так и пыхала в ослепительных зубах.

Зачем она это выпила, думалось ей. Мерзко. Ничем не заешь. Мать сварила ей кофе, но в глазах все равно тошнило.

– Они такие, да... местные-то. Гляди, больше не пей с ними.

– В Обуховке с нашими бабушками и с мелкими было безопаснее. И там никто не пил. Даже ладно, пили, но я же в этом не участвовала! Я представляю, как у них тут в клубе. Наверное, похищают, – простонала Лиза, поднимая хмельную голову. – Максимум, что было страшного, это когда моя кума гуляла, и ее хахаль подкатил к нам с парнями... Я сразу сделала вид, что я мелкая и мне пора домой, и мы ушли.

– Не вздумай ходить. А то как завезут на мотоциклах... изнасилуют и бросят в Сейм.

– Я хочу домой, в Москву. Они тут все такие страшные... Представь себе, два самых страшных – это брат Лельки, такой краснорожий, да и солдатик, тоже его можно на огороде ставить. Нет, тот, что мне наливал, вроде бы еще ничего, курносенький...

В ворота постучали. Лиза вскочила.

– Мам... если эти...

– Лежи, лежи... я скажу, что ты заболела.

– Мам... ну что сразу: заболела. Нет, я сама скажу.

И Лиза, поднявшись и охнув, пошла открывать.

За воротами покачивался тот самый блондинистый Глеб с висящей на нем совершенно туманной Лелькой, похожей на одетого во взрослую одежду резинового немецкого пупса в полный человеческий рост.

Глеб проговорил, чуть заплетаясь. Вид его был наглым и одновременно каким-то интригующим:

– Привет, соседка... не хочешь с нами пройтись? Покажем тебе пляж... наш...

– Иди ты! – засмеялась Лелька. – Лизк, правда, мы пойдем до Шубышкина, там надо кое-что взять. Идем? Не! Мы могли бы поехать на велосипеде!

– На медведе! С кручи – вниз! – фыркнул Глеб и по-свойски отвел с Лелькиного узкого лба прядь замусоленных волос.

Лиза пожала плечами.

– Я маме скажу... и куртку возьму.

Она медленно закрыла калитку, со всех ног бросилась домой, сорвала с вешалки куртку и вернулась, крикнув матери, что ушла гулять. Когда Нина Васильевна выглянула следом, Лиза уже шла далеко, у леса, в сторону села, блистая в закатном солнце своим золоченым шлемом наполовину спрятанных под толстовку волос, а рядом, раскачиваясь каравеллой, тащилась Лелька и какой-то стройный парень в сапогах.

– Вот... молодежь. Пять минут назад как помирала, – вздохнула Нина Васильевна.

***

Лелька и Глеб повели ее по лесной тропинке. Хрустели под ногами шишки, Глеб отшвыривал виноградных улиток и отводил ветви колючей акации. Май подходил к середине холодным, каждый день дул протяжный ветер, несущий запахи пробуждающейся земли и воды. В лесу Лиза была только один раз, с родителями, да и то не вышла из машины. Теперь лес казался другим. Они шли друг за другом, Лелька, Лиза и заключающий, Глеб. Глеб же в странном восторге рассказывал Лизе о деревне, что недаром сюда до революции собрали всех душегубов и проституток – вот такое вышло Антоново. Теперь все их потомки почем зря ведут здесь развратную и бражную жизнь, и это круто.

– Я это где только не слышала... – кивнула Лиза. – Вот, например, еще говорят, что, когда бухнет атомный взрыв, все сдохнут. Останутся только куряне и москвичи. Потому что мы все поголовно сволочи и паразиты. Правда, я не знаю, почему и куряне тоже?

Лелька смеялась, у нее был хороший, звонкий голос.

Втроем они вышли на берег. Там на них без страха пошли привязанные за прутки маленькие черно-белые козлята, и Лиза кинулась ласкаться и обниматься с ними, вдруг осознав, что самогон все еще гуляет по организму. Глеб смотрел на это умиленно, и казалось, что он сейчас неминуемо заплачет.

– Я всегда думала, вот почему козлята любят детей, а дети козлят?! И почему коз называют женскими именами, а коров нет? Почему? Коза – так сразу... Катька, Машка... Лизка... – строго сказала Лелька, сложив руки на толстой груди и убийственно глядя на Лизу и козленка.

Лиза пощекотала козленка за ушками.

– Потому что козьим молоком выкармливают лялек! Дура. Коза – это как женщина... ну не совсем, конечно... – толкнул ее в бок Глеб.

Но его забавляла эта новенькая девчонка. Вся какая-то не такая.

С высокого берега открывался вид на остров со шпильком, выбитым коровами до песка. И на самих коров, рыже-бурое стадо которых рассеялось

по острову. На той стороне Сейма лежал луг, который иначе как «светлыя дали» нельзя было назвать, не вспомнив Гоголя с его описаниями роскошеств малороссийской природы. Дали были бесконечны, а справа, скобкой леса, с песочного цвета полем посередине, вырастала из долинной черты Меловая гора. Место дикое и пленительное, откуда временами можно было рукой, с дерева, потрогать облака. Слева Сейм делал петли, тек дикими меандрами, первобытно изгибался и обнимал речушками, озерками, затонами свою пойменную землю, данную древним ледником ему в полное владение. Справа ровная набережная улица глядела окошками хат на закат, а под берегом лежали рыбы лодок, иные перевернутые вверх доньями, иные стоящие на воде. Стада гусей и уток будили воду у берегов. На противоположной стороне – тростник, растущий только на притоке Сейма, на Гончарке: тростник, которым крыли хаты в один присест, хранил в себе белых цапель и лебедей, вальдшнепов, выпей и редких желтозобых пеликанов.

Ветер растрепал Лизе волосы, и они, поднявшись, превратились в пожар над ее головой, да еще закатное солнце добавило им золота. Глеб отвернулся от этого видения, от тонких губ Лизы, приоткрытых от созерцания красоты, от ее покатого лба и какого-то невероятного профиля, который он видел только в учебнике истории за шестой класс, в разделе итальянского Возрождения. По всем признакам Лиза пришла откуда-то из космоса, чтобы погубить его грешную душу и унести ее с собой.

Леля, заметив, как Глеб вылупился на Лизу, потянула его дальше.

– Идем за бухарестом-то.

– Идем, – эхом ответил Глеб. – А ты заметила, что она нашей масти? Рыже-белая...

– Дурак! – криво усмехнулась Лелька. – Совсем кукушечку стрёс, девку с коровой сравниваешь.

Глеб обнял ее за плечо, сунул руку в карман, и они пошли дальше. За ними пошла не очень трезвая Лиза.

Дойдя до Шубышкиной хаты, Глеб уже все понял для себя. Он пропал и теперь будет пробовать как-то противостоять или... гибнуть.

Лиза впервые оказалась в хате под соломой и с земляными полами. Некоторые окна были забиты досками для тепла. Майский ветер гулял по нищенской обстановке. По полу лазил самый младший головастый шубышонок, трехлетний Пашка. Отец и мать семейства пили за столом непонятное зелье из пластиковой бутылки.

– Спробуй, только выгнали, – предложил хрипатый и усатый Шубышкин. – И кто это у нас?

Леля мотнула головой.

– Это москвичи, в хате у Вертолетчика теперь живут. А это их дочка. Я за нее в ответе, пить она не пьет.

– Знаем, на хлеб мажет... – сказала Ирка, мать семейства, красивая, короткостриженая, но пропитая блондинка. – Давай, сэма-то хряпни.

Лиза покачала головой, Ирка вздохнула и потрусила в дальнюю комнатушку. Пашка что-то ел под столом, обсасывая пальцы. Лиза нагнулась и, вытащив у него изо рта чинарик, обтерла ему рот тыльной стороной ладони. Глеб толкнул ногой колченогий табурет.

– Картоху посадили? – спросил он Шубышкина.

– Хто на, садили ее они или нет... У нас вон... Павлуха только с Иркой вернулся с больницы... Филокок какой-то завелся.

– Так что с огородом-то? Прийти помочь? – спросил Глеб деловито.

– Ну приди, посади ведра три. С этими, с Дашкой и Лешкой, они пособят.

Глеб кивнул.

– Лады.

Когда они вышли, Лелька прижимала к себе хершу самогона, как ребенка.

– Это кто – Дашка и Лешка? – спросила Лиза Глеба.

– Это его старшие. Дашке – шесть, Лешке – восемь.

Лиза загрустила.

– Слухай, а пошли до Карамета сходим, твой же батя рыбу хотел! – вдруг как будто бы вспомнил Глеб и, схватив Лизу за локоть, потащил на набережную.

Они шли по песчаной тропке, а ветер начинал реветь. Со стороны Сейма накатывалась синева. Моросил дождь. Хата Карамета стояла на пригорке, и в открытые ворота залетал гусиный пух. На берегу грязной лужи устало переругивались индоутки.

У Карамета в выходные и праздники все время тусовались рыбнадзоровцы, которые сами били рыбу электроудочками и таскали ее переметами. А после продавали дачникам.

На этот раз у Карамета рыбы не оказалось. Он вышел на стук Глеба, пожал плечами и вернулся в хату.

Он вообще был странный человек. За убийство жены и грабеж отсидел двадцать пять лет. За это время его сын вырос в детском доме и вернулся назад, устроился в ментовку и теперь лепил себе на речном обрыве дачу. А отца простил за глупость. Ведь мать пила беспробудно. Ну и изменяла с кем попало.

Глеб рассказал это Лизе. Она таких историй слышала море еще в Обуховке от местных бабушек. Но что-то их было уже больно много.

Дождь прекратился, тревожное небо отошло, а Лиза устала. Она села на обочину передохнуть. Глеб сел рядом.

Он был нетрезв и разговорчив. Но говорил складно. Только в какой-то момент сказал, придвинувшись поближе:

– Ты красивая, – и, удивляясь собственной наглости, поцеловал Лизу в щеку.

Лиза смутилась и встала, посмотрев на него немного свысока, но и извиняюще.

– Ты не просто красивая, а очень и очень... – подперев рукой голову, сказал Глеб, щурясь на Лизу. – Ты как огонек. Есть такой цветок... купавка... болотный лютик. Ты такая же.

Лиза пошла вперед. Он догнал, но уже не приближался.

У Шубышкиных забрали Лельку, изрядно накидавшуюся за время их отсутствия.

Дойдя до своего дома, Глеб и Лелька, поглядывающая на Лизу уже не очень ласково, попрощались и отчалили пить дальше.

Правда, на прощанье Глеб взял Лизу за руку и снова неожиданно поцеловал ее. Лиза вырвала руку. Ей показалось, что этот Глеб Горемыкин смеется над ней, и она убежала в свою комнату в смятенных чувствах.

Глава четвертая
Наймы

Утренние заботы по устройству быта перешли в дневные, и весь день почему-то Лиза думала о том, что здесь, в прежде незнакомом и неродном

месте, становится хорошо. Она несколько раз выходила со двора, видела круглоголового Отченаша в арабском платке, очень странного пятидесятилетнего дядьку. Видела щенка, которого он пообещал им дать для охраны. Щенок веселился и кусал Отченаша за ноги, а тот взбрыкивал, что выглядело очень забавно для мужчины его возраста. Потом Отченаш заговорил с ней о политике, сально глядя маленькими черными глазками. Одет он был в рубашку, застегнутую на все пуговки, как американский амиш, и в черные штаны, заправленные в самые дешевые галоши. Напротив его дома незнакомые ребята, тоже иногда во время отдыха поглядывающие на Лизу, вырубали ясени для установки одонков для будущих стогов. Лиза договорилась брать у жены Отченаша молоко и прогулялась дальше, до шумного двора дядьки Мешкова. Мешковы растили троих детей, два веселых сына, Степку и Макса, и старшую красавицу дочь Ульяну. Ульяна жила в отдельной комнате, за перегородкой, была гладкой и круглобокой девушкой и заканчивала девятый класс.

Мешковы пили все выходные, дети их еще ходили в школу, каникулы пока не начались. За Мешковыми на дороге играл маленький мальчик с торчащим ежиком волос такого же цвета, как у Глеба, в одних желтых шортиках и босой. Он копал яму на дороге. Лизе показалось, что нужно познакомиться с ним.

– Привет, – сказала она, присаживаясь, чтобы быть к мальчику поближе.

Мальчик исподлобья глянул на нее и хмыкнул. Под носом его, сурово натертым кулачком, было грязно и мокро.

– Ну скажи, я вот Лиза, а ты?

Мальчик нехорошо улыбнулся, поднял с дороги увесистый камушек и бросил в Лизу. Лиза отшатнулась, но все равно камень угодил ей прямо в лоб. Лиза встала.

– А вот так делать нельзя! – сказала она, оглянувшись, не увидал ли кто.

– Яська, – ответил мальчик.

– Очень приятно, Яська. А я Елизавета. Для тебя Борисовна. Так что хорошо, что познакомились. Приходи, конфету дам.

Лиза быстро пошла домой смотреть, что осталось на лбу, а Яська обратно сел на дорогу и продолжил копать.

***

Вечером на лавочке у Лелькиного двора собрались девки. Лиза внезапно познакомилась с младшей сестрой Глеба, Маринкой. Сестра не уступала брату, хоть ей и было всего четырнадцать. Такая же поджарая и стройная, как мальчишка громкая, с огромными песочно-зелеными глазами, как у ящерицы, с короткой стрижкой и усиленной жестикуляцией. Ее лучшая подруга Любка Ватрушка, маленькая, полная и улыбчивая девчонка с челкой, хохотала на всю улицу. Лизе даже стало удивительно, что она сможет дружить с девчонками, ведь в Обуховке она была одна: кума с сестрой жили на соседней улице, через пастбище, и уже невестились, Лиза приезжала к ним редко, особенно теперь, когда кума вышла замуж и родила. Но пока кума не родила, они трое не особенно и дружили, так, только общались на девичьи темы.

Майские жуки-хрущи с тихим стуком падали на жестяную крышу летней кухни, роилась мошкара. Дроныч, еще не остывший от похмелья, травил байки про армейку, Лелька в обнимку с ним сидела на вытертой дождями до пепельно-серого цвета скамейке и улыбалась. Маринка и Ватрушка, сидя

на корточках, терли, как опасно стало теперь на селе. Лиза, сложив руки, слушала и радовалась наступившему теплу и хоть какому-то развлечению.

– А мы едем, а тут кореневский непонятный кто с горы на мотоцикле и прямо к нам... Девки, а поехали кататься. Кататься, ага! Вон как завезут на базу, в баню, хрена с два убежишь. Вот было... же, да Лель? А этот вон! Старый хрыч Максимыч Отченаш! Он же нас постоянно зовет в гости! Типа, чаем хочет напоить.

– А что, не чаем? – заржала Лелька.

– Знаем его чай, – подхватила Ватрушка, и на ее маленьком вздернутом носу от смеха появились частые складочки.

– Нет, она ж из Москвы, ей-то что бояться! Ее все бояться будут! – поддакнула Лелька. – Это мы тут от кобелей не отобьемся.

– Вот Серега Пухов, вон он уже про тебя спрашивал, – крикнула Маринка. – А шо, и парень хороший... богатый... с мотоком...

– Он подарил мне зажигалку! – добавила Ватрушка.

Лиза сидела, улыбаясь. Глеб неожиданно появился из леса. На нем была светло-бесцветная майка и серые штаны. Он прямиком направился к лавочке.

– Маринка! Иди, мать тебя зовет! – бросил он резко.

– Да не гони ты!

– Вали, говорю, овца! Она на поезд опаздывает, а ты тут сидишь! Или возьми Яська и вернешься.

Маринка, прошипев что-то матерное, подхватив Ватрушку, потрусила домой.

«Ага, – подумала Лиза, – значит, этот полудурочный мальчик-камнеброс их братец?»

– Че ты приперся, а? – спросила Лелька. – Чего надо? Пьяный, опять нажрался?

– Не богуй. Я не к тебе пришел.

И Глеб упал на лавку и положил голову на колени Лизе, толкнув с другого конца Дроныча с Лелькой. Те, едва не упав, что-то промычали и ушли во двор. Глеб подхватил Лизину руку, приподнятую в замешательстве от его наглости, и сунул себе под майку.

– О, холодная. Как лапка саранчи. Или лапка лягушки. Все, не трогайте меня, я так буду лежать, – сказал Глеб и закрыл глаза.

Лиза не знала, то ли столкнуть его, то ли, наоборот, придержать. Лелька выскочила уже без Дроныча из калитки, держась за столбик. На ее круглом раскрасневшемся лице была написана плохо сдерживаемая злоба.

– Эй ты! Уйди от нее! – заорала Лелька. – Хватит под хатой торчать!

Лиза в недоумении посмотрела на нее.

– Да ладно, пусть полежит, – сказала она и почему-то положила вторую руку на соломенные, изжелта-выгоревшие волосы Глеба. В самом деле, не держать же ее на весу. – И почему все разбежались?

Лелька, онемев, еще постояла, пытаясь порассуждать о наглости местных хлопцев и понимая, что Глеб не где-нибудь, а под ее двором, на ее лавочке «кадрит Москву», ушла, пыхая, как уличный мартовский кот. Глеб, сложив руки, словно покойник, и закинув ногу на ногу, не двигался с места. Лиза, опустив на секунду глаза, скользнула по его рыжеватым ресницам, и снова что-то дрогнуло в ней.

– Вы знаете... – сказала она осторожно, – что ваш брат... или кто он там вам... меня сегодня чуть не убил.

– А! – промычал Глеб. – Да, есть такое...

– И как это понимать? И вот еще... вы брали молоко у Отченаша? Хорошее?

Глеб улыбнулся, не открывая глаз.

– Разводят. Не бери.

Через пару минут вышла мать Лельки, хлобыстнув калиткой.

– А ну-ка ты, хлопец, вали от дивчины. Эта дивчина не для тебя! – торжественно сказала она, подняв черные брови.

Глеб мгновенно поднялся.

– А, так? Вчера замуж звали, а сегодня... все, да? Вали-и... – передразнил ее Глеб.

– Кто тебя звал! В какой замуж! Нашелся тут! Зять – ни дать ни взять.

Лиза, воспользовавшись моментом, хоть и некрасивым, просочилась к себе.

Немного поругавшись, скорее для красного словца, Глеб погреб к дому. Лиза, подглядывая в окошко, ощутила, как в глубине тела что-то дрожит и пульсирует, словно непокой, пришедший неожиданно на смену ее ровной жизни, теперь заполнил собой пустоту. Словно маленький взрыв потряс ее. Она побежала к отцу, делавшему будку для маленького щенка Бима.

– Пап, а нам нужен работник? – спросила она.

– По-хорошему – да, с тебя помощи как с козла молока. А что? – хитро улыбнулся Григорьич в пушистые усы.

– Тут предлагает один. Спрашивал.

– Ну увидишь, гони его ко мне, я тут соображу, как и что с ним делать.

Лиза поцеловала отца в небритую щеку и побежала смотреть Бима. Завтра он должен был переехать от Отченаша, от своей матери, черной овчарки Руты, к ним на постоянное местожительство.

***

На другое утро Нина Васильевна и Лиза, прогуливаясь, завернули на почту, позвонить Ленусе и ее мужу Мишуне.

– А что у тебя голосок такой загадочный? – спросила Ленуся, она снова сидела дома, дожидаясь Мишуню из командировки.

– Просто так, – заурчала в трубку Лиза, – тут же село... все слушают... очень внимательно нас. Тут есть странный чувак с фамилией Отченаш.

– Пипец!

– Да и вообще... много людей разных. Тут много молодежи.

– А! Ну ладно, ладно... поняла... Твоя стихия! Деревня! Тебе только в этом колхозе жить!

– Ничего ты не поняла... – выдохнула Лиза. – Передаю трубку маме.

Нина Васильевна все положенные пятнадцать минут рассказывала старшей дочери про рыбу, дождь, сено, дом, соседей... Лиза вышла ждать ее на «центер», где из центровых зданий желтело свежевыкрашенное одноэтажное здание сельпо; привалившись к липам, догнивал фельдшерский пункт и еще держался крепкий синий домик почты. Лиза принялась, отчего-то волнуясь, рвать огромные пуховки одуванчиков, слушая дальние гудки мотоциклистов, собирающихся возле клуба, и визг девок... Интересно, ходит этот Глеб в клуб?

Но Глеба там не было. Он с похмелья болел и лежал в углу своего свистящего сквозняком дома, привязав на голову капустный лист. На-

завтра он собирался идти наниматься к москвичам и страшно боялся, что ему откажут.

***

Утром он встал не так рано, около восьми. Лиза, конечно, в это время еще спала, безучастная ко всем проблемам. Глеб, чисто выбритый, наодеколоненный каким-то ярым «Шипром», в чистой рабочей одежде и даже причесанный, стоял под яблоней около палисадника и поглядывал на часы. Вот ударило восемь, и он, услышав негромкий звон посуды, стукнул в затвор.

Тяжело подошла Нина Васильевна, отперла. На гладком и толстом лице ее выразилась приветная улыбка. Глебу она сразу понравилась.

– Добра дня вам в хату, – выдавил Глеб, поправляя воротничок.

– Здравствуйте.

– Мне сказали, что у вас можно поработать.

– Да, можно... но это к мужу... Борис! – позвала Нина Васильевна, поправляя фартук. – Заходите, песик у нас еще щенок. Не укусит.

Песик, напротив, скакал и ласкался к Глебу. Тот схватил его в объятия.

– Бимка, ах ты стервец такой, тоже к москвичам переехал, да? Ну, теперь тебя тут откормят хоть.

Ушастый Бимка лизал Глебу лицо.

– Это ж я его спас... у Отченаша сука ощенилась, Рута... да вы видели ее... семь щенков было... вот одного я отбил, домой его брал... выкормил... потом, когда он такой красавец стал, ну какой же ты красавец вырос... всем стал нужен, да?

Бим, словно поддакивая, погавкивал и радовался, подрагивая палевой шкурой, и вместе с хвостом от радости заносило его задние лапы. Нина Васильевна хотела спросить, кто же еще переехал к москвичам, но не посмела. Тут уже подошел Григорьич. Огромный мужик с бородой и очень щербатыми зубами. С прищуром и подозрением он протянул руку. Глеб поздоровался.

– Однако... – хмыкнул Григорьич на твердое рукопожатие Глеба, словно оценив его. – Я Борис Григорьевич. И что ты умеешь?

Нина Васильевна отошла, оставив их вдвоем.

– Все умею.

– Нет, так не говорят... Ты скажи, можно я покажу свои... ну, навыки, а вы посмотрите и решите, нужен я вам или нет?

Глеб улыбнулся.

– Можно Машку за ляжку и козу на возу, а у нас так не пойдет. Вы говорите, что вам надо, и я все сделаю.

– А! Так ты еще и поговорить... ну, хорошо... Ты договорись тогда с кем-нибудь... барашка мне.

– Ярку или барана?

– Да что той ярки... давай барашка. Хорошего только. Молодого.

– К коему часу вам того барана?

– Ну... чем быстрее, тем лучше.

Глеб с улыбкой вышел со двора. Дело выгорело, будет он с работой.

***

Ночью Глеб, экипировавшись во все черное, пошел на овчарню за барашком. Повязав голову серой рубахой, с засученными рукавами и босой,

чтобы не издавать звуков, Глеб переметнулся через изгородь. Где-то в селе залаяли собаки. В сторожке светилось окно. Сторож спал, наработавшись в колхозных сараях. Глеб еще днем к нему приходил с хорошим таким путячим самогоном, от которого его самого можно было вынести, как барана.

Отара спала, перебекиваясь между собой, словно считала: ты здесь? первый, первый, я второй, и я здесь. Второй... я третий... Старый алабай Яша умер в зиму, и сторож, хоть и не был доволен тем, что у него постоянно пропадают барашки, не спешил брать нового. Ему было жалко на свои деньги кормить огромного пса, а колхоз не выделял на это дело никаких средств... Словом, то, что колхоз лишался периодически голов скота, сторожу было наплевать. Да и тише было без собаки. Радовало это и Глеба.

Тишина висела над яром. Плотина поблескивала водным зеркалом, похожим с высокого берега своей формой на вареник. Рыба плескалась в теплоте лунной дорожки. Глеб, оглядывая пушистые камни овец, неслышно, словно жук-плавунец, под вздохи стада нашел барана покрупнее у самой изгороди, и достал из-за спины мешок. Баран странно себя вел, он смотрел одним глазом, но не двигался.

– Т-с-с... – шепнул Глеб, – я убью тебя не больно, – и, вытянув начищенный до серебряного блеска штык-нож, ударил единственно верным ударом в шею. Баран вздохнул, и ноги его медленно поехали из-под свалявшихся боков в разные стороны. Глеб подождал пару минут, пока кровь перестанет биться струей, быстро перекинул барана на плечо, перепутав ему ноги и перевалив его через изгородь, насунул ему мешок на голову и шею, чтобы запах крови не разбудил стадо. За скирдой его ждала невидимая в темноте, смирная лошадка Рёва. Бросив барана через ее спину, Глеб прыгнул следом и неслышно погнал лошадь за плотину, на бетонные плиты, чтобы обескровить еще теплого барана в безопасности и тишине.

***

Вечером за Лизой приехали местные на мотоциклах...

– Лизка, выходи! – крикнул Серега Пухов, самый высокий и симпатичный кудрявый парень, что наливал ей у Лельки.

Лиза вышла. Приехавших было трое.

– Поехали гулять... – сказал Пухов, которому Лиза нравилась, но он боялся один подходить к ней.

– А то ты засиделась тут... Клуб-то работает пока... а вот закроет его Коляныч, и так и не узнаешь, что да как, – поддакнул худой и длинный Корявый.

– Нет, не пойду... Поздно... – сказала Лиза, подергивая плечами.

– Ну, чего поздно, мы тебя батьке вернем в целости и сохранности... – не унимался Сергей.

– Не пойду, – повторила Лиза.

– Чего?

– Не хочу гулять...

– Ну ладно, не хочу... гуляешь же! Чего там! – вставил самый младший парень, Кочеток, приглядевший Лизу еще пару дней назад, когда резал ясени у Отченаша.

– Тебе-то что... – отмахнулась Лиза. – И вообще, я же сказала, что не езжу и не гуляю ни с кем... Езжайте, возьмите других.

Со двора вышла Лелька, услыхав журчание мотоциклов.

– О, Борона, уговори ее гулять! – крикнул ей Сергей. – Чего она не ходит с девками-то, не ездит в клуб...

– Шо ей ездить, к ней же Глеб ходит, – отозвалась Лелька.

– Да ну, ладно заливать! – засмеялся Кочеток, и Корявый как-то мерзко заржал, сразу окинув Лизу жалостным взглядом.

– А, ну если Горемыкин, то тогда мы перед этим фраером пасуем... Он у нас же... тут самый главный этот...

– По бабам! – прыснул Кочеток. – Ой, ты извини... но как же так... А мы не знали...

Лиза хотела провалиться сквозь землю. Она побледнела через веснушки до серого цвета и, сверкнув глазами, сказала:

– Езжайте, и нечего тут грохотать своими мотоциклами!

От такой наглости Сергей вскинул свой и без того чуть вздернутый девчачий нос.

– Ладно! Мы поедем! Но если твой Глебка нам встретится, мы ему бока оботрем, уж извини...

– Он не мой! Вон его невеста, – вспыхнула Лиза и, ударив дверью, заперла двор.

– А, мы и здесь не в курсах! Вот те парочка, гусь да гагарочка! – и ребята снова заржали.

Все трое прыгнули на свои мотоциклы, подняли рев, и через минуту только пыль над дорогой напоминала об их щекотливом предложении.

Лелька как ни в чем не бывало стояла у воротины и, ковыряя землю пяткой, ждала корову из стада. Ей было обидно и страшно, что Лиза переманит всех ее женихов.

– Сучка... – выругалась Лиза, заходя на веранду. – Только бы мне насолить!

Глава пятая
«Не невеста»

На другой день Лелька прибежала к Лизе, зачем-то сильно икая и прищуриваясь.

– Ну что, заслал сватов к тебе этот змей? – спросил Григорьич, впуская соседку.

Возмущенная мать Лельки, обкладывая в их доме камин, как только не поливала Глеба. В основном ее удивило, что он сделал предложение Лельке, даже не влюбившись, да и что это за пара! Глеб Горемыкин был гол как сокол. А разве Лельке такой бы подошел?

– Да там! Мамка меня взамуж не пускает... А Лизка где? – прыснула смехом Лелька.

– Ну так когда на свадьбе будем гулять?

– Да какая свадьба, дядь Борь! Одни портки на хозяйстве, да и хозяйство-то... – засмеялась Лелька, пока Лиза выходила к ней, обувая тапки.

Лиза, понимая, что нужно сделать как можно более равнодушный вид, сказала вскользь:

– Я уже думала твоей подружкой быть.

– А, дружкой? Нет, передумала я. Ну ладно, пошли. Пошли, говорю!

Лелька с сильным нетерпением схватила Лизу за руку и потащила по улице к пустырю, где Глеб косил молодую траву.

– Мы вчера так надрались, что я не знаю, как он на работу пошел. А все хочу его увидеть, одной как-то сказать не могу, ты постой со мной. Я же ему не говорила, что я замуж не пойду. А мать... ей моего первого брака хватит. Говорит, обсохни от одного, а потом другого бери! Но на самом деле мне нужно торопиться! Я ж не буду вечно молодой и красивой!

– А что ему ты собиралась сказать? – переспросила Лиза.

– Ну, чтоб больше не приходил пока. Он же, ну, мать моя против, короче.

– Против чего?

– Против свадьбы! – Лелька опустила голубые глаза, яркие, как цветки цикория.

– Почему?

– Ну почему! Потому! Просто против. И я еще думаю.

– А что думать-то? Любишь... выходи замуж. Все просто, – сказала Лиза, приостанавливаясь.

– Да кого там любить! – пыхнула Лелька и засмеялась прокуренными зубами.

– А... тогда другое дело... – замялась Лиза. – Ну, к нам вечером приходи на шашлык, отец баранины купил.

Лелька исподлобья глянула на Лизу.

– Баранины? Я не ем баранину.

– Даже плов?

– Вообще не ем. Тем более... этих баранов, – Лелька не договорила, а прибавила шагу короткими толстыми ножками.

Лиза и Лелька быстро пошли по зеленой траве прирезка, которую впереди ловко убирал косой Глеб. Его голый торс, будто сделанный из рыжеватого мрамора, без единой складки, и повязанная банданой из рубашки голова, повернутая чуть набок, виднелись издали.

Лиза остановилась, наблюдая, как Лелька подбежала, и Глеб, увидев ее, перестал косить, как он ей что-то сказал, как она что-то сказала, потом она замахнулась на него, он отвел ее руку, засмеялся, повернулся и неожиданно заметил Лизу на краю прирезка.

– Эй, иди сюда! – крикнул он ей. – Поди-ка!

Лелька, подпрыгнув, что-то провизжала Глебу и побежала на Лизу, но мимо, горячо дыша перегаром. Лиза и Глеб остались одни на огороде. Лиза попробовала тоже уйти, но Глеб крикнул:

– Ну, ты! Дивчина! Куда! Погодь мени!

И, куда-то исчезнув на минуту, появился из кустов уже рядом с ней, протягивая ей ладонь.

Сейчас Лиза хорошо его разглядела. Он был трезв. Узкие глаза и прямой взгляд, красивое тонкое лицо, без всяких изъянов, наполненное каким-то неподвластным ей знанием, лицо, на которое можно смотреть вечно. Обветренные губы, словно выписанные, такие же четкие, как у его сестры Маринки. Они с Маринкой были очень похожи, несмотря на разницу лет.

Глеб протянул крепкую, но тонкую руку с раскрытой ладонью, на которой лежало что-то розовое и чуть живое, с лапками.

– Тоже уйдешь? – серьезно спросил Глеб, но его глаза лучились. – Смотри, это тхорь... маленький.

– А что такое тхорь? – спросила Лиза, разглядывая маленькое и розовое. – Хорек? Это малыш хорька?

Наверное, она стала совсем похожа на ребенка, открыла рот и смотрела, закусив язык, как на твердой ладони чуть движется неизвестное существо. И, взяв малыша двумя пальцами, переложила себе в ладонь. Глеб кашлянул в руку, обняв косу.

– Что будешь делать с этой коростой? Эта короста вырастет и начнет высасывать у курчат мозги. Мамку я перерубил косой... а он на краю гнезда лежал...

Лиза взглянула на Глеба.

– Вы тут бессердечные люди в деревне живете...

– Да подохнет он без мамки...

Лиза вздохнула.

– Зачем тогда вы мне его дали подержать?

Глеб пожал плечами.

– Да не зачем... Просто хотел посмотреть... что ты скажешь.

– И что, теперь вы с Лелькой не помиритесь?

– Я с ней не ссорился... – равнодушно сказал Глеб, оглядывая полотно косы. – Вот пусть она теперь сама думает... Ладно. Мне надо работать, а то отава уже сухая, и так ее особо не зацепишь... А тут уж и роса сошла.

Лиза так и стояла с раскрытой ладонью.

– Спасибо за барашка, – сказала она, понимая, что кругом стало слишком тихо, только птицы пели как оглашенные.

– Да, я же теперь ваш работник... – улыбнулся Глеб уголком рта.

– Это что у вас тут, крепостное право? – усмехнулась Лиза, сдвинув тонкие выгоревшие брови.

– Да обыдное дело. У Отченаша я работаю, в колхозе пособляю, а остальное время у меня холостое.

– Не надорветесь с такой работой?

– Нет... куда мне... если не работать, начинаешь всякое думать, а это плохо много думать. Задумаешься... страшно...

– Что страшного, что человек думает? Разве не надо?

– Эх, дивчина, откуда ты только свалилась...

Лиза кивнула и пошла с прирезка на тропинку, к дому, поглядывая на младенца-хорька, который за время их разговора перестал дышать. Лиза, поискав глазами, нашла муравьиную кучку, носком шлепанца разрыла ямку и, положив сверху зверька, провела рукой, прикрывая его землей.

Она сейчас думала о стольких вещах сразу, что не успела пожалеть ни хорька, ни его маму, лежащую теперь где-то на меже... Лизе было тепло и спокойно, но по-новому, не как обычно. Это тепло, наверное, называлось счастьем. Глеб тоже был доволен. Он теперь хорошо посмотрел на новую соседку вблизи, и она его чем-то удивила.

***

Но эта встреча на прирезке и ссора с Лелькой все-таки не давала ему покоя. На неделю он пропал на пастбище, работая без смены, чтобы ему дали двухнедельный отпуск, и тем временем наступила жара. Лелька уехала к брату Андрею в райцентр клеить обои в новой квартире. Лиза без нее скучала, хоть, конечно, и радовалась. А вот Глеб словно выдохнул без этой Лельки. Временами Глеб замирал и смотрел в одну точку, словно не наблюдал кречетов, летающих над дальней пашней, не видел пятна буро-белых коров, далеко отбредшего бычка Мишку, протяжно гудящего в знойном оводняке.

Казалось, что с того дня, как он увидел Лизу, сидящую на скамейке у Лелькиного дома, перестало существовать все вокруг, кроме нее. И только она шла на ум, и только в мыслях о ней, о ее царапинке на шее, о ее покусанных комарами коленках, о ее завитых в тугие мягкие кольца вспотевших за ушами волосах он хотел думать. Порою эти думы доводили его до того исступления, когда хотелось кинуться в ледяной колодец, но их не было, таких ледяных, что могли бы его остудить. А теплая вода реки еще больше будила спящую тоску, пахла первобытной водяной травой, гиблой верхоплавкой, и никакая сила не могла удержать от парения в тяжелой мути неожиданно напавшей тоски...

Глеб закуривал «Приму», пускал колечки в серебряные мглистые листья низко склоненных ив и думал лишь о том, сколько он сможет сдержаться. Не погибнет ли совсем с этим новым чувством. До вечера, пока на выпасе его менял Борька Гапал, Глеб думал о том, что теперь только сырая земля спасет его от мук. Ведь ему ничего не светит. Лиза не может быть его. Она появилась тут на погибель его сердцу. А еще раз они приходили кататься на коне, Лелька, замудренная, молчаливая, и Лиза, тонкая, розовая и яркая. Он смотрел, как Рёва везет Лельку, болтал ерунду, и Лиза улыбалась на его слова... Потом он подтягивал веревочное стремя для Лизы и ставил ее маленькую ножку с прозрачными ноготками в железную скобу. Он дотрагивался до нее нечаянно, потом они с Лелькой смотрели, как она скачет вдоль протоки и волосы ей падают на спину и будто бы хлопают по лопаткам. Как крылья, как есть золотые крылья. Вот бы их потрогать.

– Давай лучше осенью... там мать передумает, все как-то разрулится уже... – говорила Лелька, полулежа на его курточке и играя зажигалкой. Глеб смотрел на Рёву, несущую Лизу, и у него кружилась голова.

– Вы больше не приходите с ней. Вообще не ходите сюда, бык у меня подрос, он такой дурак, оторвется, запорет... Он же вас не знает...

Потом они уходили, и Лиза, как и Лелька, махнула ему рукой, блеснув глазами, в которых желтого было больше, чем зеленого. Вся она, чистая, рассыпающаяся на снопы искр, и плавала, и прыгала перед его глазами, и он ничем не мог прогнать видение, понимая отчаянно, что он как трава, а она как цветок над этой травой. И трава и цветок могут расти из одной земли, но смешаются они вместе, только умерев. И отчасти он был прав.

Вечером, разогнав коров по концам села, он садился на Рёву и ехал к реке. Но даже там постоянно встречал Лизу. В тот последний день работы на пастбище он снова приехал на Гончарку. Лелька и Лиза гонялись на лодке за плывущим ужом. Лелька в полосатом халате нависала над водой, а Лиза, неуклюже и неумело орудуя веслом, пыталась нагнать ужа, который лавировал меж блюдец лилейника и пытался уплыть.

– Глуши его, глуши! – верещала Лиза своим детским и звонким голосом, от которого у Глеба в голове мутилось.

Лелька, погрубее, верещала тоже. Лиза, с мокрыми волосами, облепившими ее спину, со спавшей лямкой купальника, в намокшей юбке, смеялась, пока не увидели подъехавшего к Гончарке Глеба. Тот соскочил с Рёвы, стащил с нее самодельное седло с культяпыми стременами и бросил его на мокрый песок около лодок.

– Веселитесь? – спросил Глеб важно, скидывая курточку и пытаясь сделать лицо посерьезнее. – Конечно, что вам еще робить!

Лелька, бросив весло в лодку, махнула Лизе.

– О, выискался, черт с рогами! Кадриться пришел. Иди, плавай туда.

И указала на кусты поодаль. Лиза гребла к берегу, тоже пытаясь держать спину ровно, не смотреть в сторону Глеба и помалкивать. Она волновалась. Сердце ее стучало в ушах.

– У тебя конь дурак! Он сейчас прядаться начнет! – крикнула Лелька и выхватила весло у Лизы.

– Ну вообще-то это лошадь! И не тронет она тебя. На красивых девок не прядается, только на страшных, – засмеялся Глеб и одним движением заскочил на спину Рёвы. Та коротко заржала и стала осторожно входить в воду, хоть и сгорала от нетерпения выкупаться после жаркого дня. Рука Глеба несколько раз прошла по рыжей шерсти Рёвы. Лиза это заметила и отвернулась. Она выпрыгнула из лодки, и юбка ее надулась колоколом вокруг колен.

– Все, идем домой... – сказала она Лельке. – Мамка моя волнуется.

Глеб и Рёва были уже на середине реки. Лелька вытянула лодку и завозилась с цепью.

– Чертова лодка... замок потеряла... слушай... я сейчас сбегаю домой за замком, а ты посторожи, чтоб никто не спер.

– Беги, посторожу, только недолго, а то темнеет.

– Вот и я о том. Нельзя ее без привязки оставлять. Упрут.

И Лелька недоверчиво кивнула в сторону Глеба.

– Ты с этим не болтай. Он знаешь какой?

– Какой...

– Ты его не знаешь! – вздохнула Лелька горько.

Мелькая голыми ногами, она ловко поднялась по берегу и, выкрутив полу халатика, побежала к тропинке.

Глеб и Рёва плыли рядом, отфыркиваясь от воды. Лиза села в лодку и, поддернув юбку, опустила ноги в воду, казавшуюся теперь теплой. Глеб вышел на берег. Он так и плавал в своих штанах, которые сейчас прилипли к телу. Лиза снова отвела взгляд и, вздохнув, спросила:

– А на тот берег можно выйти? Там нет тины? – в голосе ее звучала беззаботность.

– Можно... – прыгая на одной ноге, ответил Глеб. – Если доплывешь.

– Да разве это далеко?

– Ну, так... прилично.

– А ты плаваешь?

– Шо мне там одному делать? Если б с кем-то...

И Глеб хитро подмигнул Лизе. Лиза смешалась.

– Нет, я туда не пловец. Я не доплыву.

– Я тебя спасу, если тонуть начнешь, – сказал Глеб, перестав прыгать.

– Вряд ли ты меня спасешь, – сказала Лиза и отвернула голову, подумав: «Скорее, наоборот».

– Вряд ли спасу? Или вряд ли потонешь? – Глеб похлопал Рёву по шее. – За фиг тогда спрашиваешь?

Лиза плюхнула ногами по воде.

– Просто так, интересно.

Глеб снова улыбнулся и, поймав морду Рёвы, чмокнул ее в нос.

– Ах ты моя басечка родная... идем отдыхать...

Напялив на мокрое тело потрепанную «полевую» клетчатую рубашку, Глеб махнул Лизе, уводя Рёву с накинутым седлом.

– Лелька еще подумает чего, скажи, что я ушел... скажи, что спать поехал. Завтра в полчетвертого вставать, а уже десятый час, пока управлюсь.

Лиза удивленно спросила:

– А ты ей обо всем докладываешь?!

Глеб остановился, согнал с шеи комара и ответил лениво:

– Ну нет... тем более она же не жена мне.

– Но невеста же, – глухо сказала Лиза, глядя на серебряную от сумерек воду.

Глеб, накинув седло на Рёву, прыгнул на ее крутую спину.

– Не невеста, и давно, – ответил он коротко.

Стукнув голыми пятками лошадь, он разогнал ее с места в галоп и полетел по краю берега в сторону парома.

Лиза почувствовала, как неведомая тяжесть скользнула с души и, заулыбавшись, переметнула волосы на грудь, чтобы выжать их от воды.

Лелька прибежала, пыхтя.

– Чего, поехал? – кивнула она в сторону парома. – Че сказал?

– Передал, что спать поехал.

– Опять? Ну вот, блин... жених называется... спит да работает, а больше ничего.

– И не жених он тебе, – еле слышно сказала Лиза.

Лелька молча опустила голову, насупив брови.

– И тебе не жених, – буркнула она, но Лиза услышала.

Домой они возвращались уже в полной темноте. В домике Глеба окна уже не светились, все спали. У забора валялся страшный велосипедик Яськи с ободранной рамой.

– Конь педальный, – проворчала Лелька, глянув на окно его веранды. – Дрыхнет.

Лиза молча прошла мимо, но тоже бросила взгляд на его окно. Как там, внутри? Бедность и убожество? Окна, закрытые газетами... перелатанная жестяная крыша с обшелушенной краской...

Лелька сухо попрощалась и пошла до ворот. Лиза скрипнула калиткой, и, перед тем как зайти, притулилась головой к шершавой доске ворот, чтобы принять обыкновенный вид и согнать волнение, охватившее ее. Теперь и ей было не уснуть. Да еще выслушивай мать за позднее возвращение с реки...

Глава шестая
Взрослые дети

Глеб не верил тому, что начнется его долгожданная работа у Бориса Григорьича. Тоскливые дни на пастбище тянулись, как смола, но все-таки не дали ему покоя и также не добавили ничего разумного в голову. Лиза поклеила обои на веранде, обустроила себе уголок для посиделок и перезнакомилась с местными ребятами. Только с Ульяной Мешковой, надутой пятнадцатилетней красавицей, постоянно сидящей дома и слушающей «Агату Кристи», сразу не заладилось.

Зато Степка и Макс оказались куда более общительными. Для начала они попросили у Лизы велосипед, чтобы покататься. Лиза выкатила свой роскошный новенький велик, купленный, как говорила мать, «за доллары» на рынке у Площади Гагарина. Но увы, через день и через два велик не вернулся. На гневный вопрос, где он, десятилетний Степка

только пожал плечами и сказал, что дал покататься Максу, а Макс просто вздохнул.

– Обули...

– Что значит «обули»! – вскричала Лиза.

– Ну, его взял Андрюха Хлусов погонять. Лелька тоже просила. Они обещали рыбы вам привезти.

– А! – догадалась она. – Ясен пень! Ну, где рыба, где велик? Где эта Лелька с Хлусовым?

– Да гдей-то ни есть... – ответил Макс раздраженно и ушел подстригать коню копыта.

В этой фразе был весь смысл существования местных товарищей. Лелька грустно и пьяно вернулась. Огромный Хлусов, раздавливая алюминиевую конструкцию, прикатил на велике Лизы, но на ободах, а не на колесах.

– Ну, иди, забери велик, – сказала Нина Васильевна. – Или что, оставишь этим?

– Нет уж! – расстроилась Лиза. – Мне он теперь такой не нужен!

На другой день, идя в магазин и проходя мимо Мешковых, Лиза увидела, как ее перевернутый вверх ногами велик стоит перед их домом, и Степка красит его в красный цвет вонючей краской.

– Ты зачем мой велик красишь? – воскликнула Лиза, роняя сумку на землю.

– Почему твой? Это мой! – нагло сказал симпатичный и уже хриплый от раннего курения Степан.

– Ну как это: мой!

– Нет! Ты что! Твой был черный, а мой красный!

Лиза, кажется, начала что-то понимать.

– Ну и наглые вы! – прошипела она и пошла мимо.

Нет, конечно, это обстоятельство скоро было забыто.

Вместе с этими отчаюгами Лиза убегала от кабанистых собак Отченаша, вместе с ними она форсировала Сейм на трех связанных дощечках, вместе с ними она ныкалась в кустах мыльнянки, играя в прятки на велосипедах. Обуховские друзья, оставленные где-то там, уже почти не вспоминались.

Глеб видел ее в окружении мелких. Он любовался ею, пробегающей мимо него всего в нескольких шагах.

Однажды он загнал Маринку, Ватрушку и Лизу в воду на Гончарке и не выпускал их оттуда, притапливая. Маринка выбежала в камышах, Ватрушка поплыла к Сейму, а Лиза сидела в воде, пока не замерзла.

– Ну, выпусти меня, дурак! – сказала Лиза, дрожа и понимая, что стала ужасно некультурной. – Я же заболею!

– А ты меня поцелуй!

– Тогда я поплыву! – пригрозила Лиза, ушла по дну в камыши, незаметно вынырнула и убежала.

Любил Глеб прикалывать девок.

Мелкие его уважали и любили, и всё больше – за его безотказность в помощи.

С утра до ночи Макс и Степка были заняты по хозяйству, пока их отчим и мать работали у арендатора. Отчима часто вышибали с работы за пьяное рыло. Матери было проще, она, еще красивая редкой мягкой красотой, походкой и кудрями, почему-то всегда удерживалась на работе. Ну, конечно, она помогала соседу Отченашу, пока его Фаина Самуиловна была на работе. Например, прибиралась в доме.

Лиза освоилась к июню и вполне стала своей. Знала всех на своем «конце», на своей веселой лесной улице.

***

Степка пришел к ней среди дня, держа на руках маленького песика Джека. Джек всегда клубком бегал за ним, пушистый и веселый. Теперь он лежал на руках Степки и не двигался, прикусив язычок.

Лиза высунулась в окно.

– Ты чего?

Степка плакал. Сам не очень выше Джека, белобрысый и загорелый до густой коричневы, он выглядел жалко.

– Лиз, а нельзя Джека никак оживить? – спросил он. – Он еще теплый.

Лиза вздохнула и вышла.

– Что случилось?

– Ульянкину кошку покусал. Ульянка набила градусников и ему в еду... Он долго сдыхал. Я вот думаю, все ли цело у него внутри? Нельзя ли его потискать, чтоб он ожил?

Лиза молча вернулась во двор, взяла в сарае лопату.

– Идем, похороним. Думаю, у него нет ничего целого внутри. А сестра твоя сука.

– Нет, ты что! – испугался Степка. – Она очень хорошая, но ведь он же ее кошку покусал!

Лиза, насупившись, нашла место в лесу, где земля была помягче, выкопала ямку, и Степка, обливаясь слезами и подбирая сопли, положил туда Джека.

– Поэтому я и не дружу с девочками, – объяснила Лиза.

***

Глеб плевал в сторону местных нравов. Пьяные дамы и девушки постоянно подкатывали к нему, но он старался не падать ниже плинтуса и сбегал на работу.

– Ты бы женился... – приговаривала его мать и смотрела на него с печалью, достойной кисти живописца.

Мать с красивым именем Аделина совсем высохла от своей болезни. Глеб не хотел думать, что ей осталось недолго.

Яська присматривала Маринка, за брата он был спокоен, но не был спокоен за отчима Адольфа Брониславовича Белопольского, или проще Адоля, сына полицая, все повадки которого вели его к дурным поступкам. Этот ненавистный Горемыкиным упырь вообще не знал ни дна ни покрышки. Он тиранил всех вокруг. Маленький, кудрявый, усатый, как участник ансамбля «Сябры», в вечной тельняшке с накачанными сильными руками и обычно босиком, Адоль обладал очень скверным характером. Он бил всех, пока Глеба не было дома. Мать вечно скрывала, но, подросши, Маринка с матюками все чаще лезла ее защитить. А мать только жалобно пищала и прикрывалась своими худосочными ручонками. Доставалось Маринке. Правда, она привыкла сразу орать басом, и Адоль, сообразив, что соседи прибегут с вопросами, хоть никто и не прибегал, ибо с одной стороны была пустошка с нежилым срубом, уходил, разбив все, что мог разбить. Глеб, мучимый вечным противостоянием и ревностью, умолял мать уехать.

– Куда я уеду... – плакала она, поправляя некогда прекрасные золотые волосы, как у Глеба, – куда, мой мальчик? У нас ведь сын...

Яська рос таким же вредным, как отец. Вовсю манипулировал любящим его братом, который ему в принципе годился в отцы. Для того чтобы нянчиться с ним, Маринка тоже бросила школу в шестом классе. Никто и не возражал, чтобы она туда не ходила.

Глава седьмая
Бешеная Вишня

Глебу исполнилось двадцать лет двадцать пятого июня. Двадцать лет для сельского парня – это уже возраст. Это уже даже не молодость. Никто отныне и никогда не назовет его молодым. Теперь он зрелый. Он вырос. Он знал, что ему скоро придется жениться. Так было положено, и не им, а полагалось в этом селе.

Глеб превратился за последний год во взрослого парня. Даже взгляд у него был сильно мудрый и совсем не детский. Впрочем, этому способствовала сама жизнь.

Решено было отметить его юбилей пьянкой, раз уж больше ничего не оставалось. Проработав на обширных огородах Отченаша неделю, Глеб сумел скопить сто пятьдесят рублей на три херши самогона. За телятиной он съездил к арендатору Лыченкову под село Гордеевка. Одного теленка можно было взять, никто не заметил.

Пока Лелька со своей матерью разделывали и мариновали мясо, Глеб набрался смелости и пошел к Лизе. Открыла Нина Васильевна с ручным календарем в руках.

– А, это ты! Ну послушай, как у вас тут сажают по Луне? – спросила она Глеба.

Тот заинтересованно взглянул в календарь.

– Вы эту тюфту не читайте, тетенька. У нас садят по-другому...

– Как? Вот мы садили...

– А мы как... берем самого старого деда и, сняв ему штаны, садим его на межу. Если у него жопа на отмерзает, то надо скорее сажать, значит, земля теплая.

Нина Васильевна поджала губы и взблеснула взглядом через очки.

– Ну ты, парубок! Что за словечки!

– Извините, был неправ. А где вашенская дочка?

– А вон она, в акациях у Максимыча Отченашева сидит с гитарой.

Глеб вздрогнул.

– А с кем она сидит? С мелюзгой?

– Нет, почему, с сыном лесника! – гордо сказала Нина Васильевна.

Глеб вылупил глаза и заметил из акации бренчание струн и тихий разговор, перерываемый смехом.

– Он... же... совсем мелкий...

– Они только познакомились.

Глеб, бросив Нину Васильевну, чуть ли не побежал в акации.

Сын лесника, Вовчик, симпатичный конопатый и голубоглазый паренек лет пятнадцати, узнав от мелких, что приехала новая соседка, пришел знакомиться. Он приволок гитару и попросил Лизу настроить ее. Светлые ресницы, аккуратные веснушки, взволнованный голос его понравились Лизе.

– А ты умеешь играть? – спросил он, закусив губу и глядя ей в вырез рубашки.

– Умею... И настроить могу.

– Научи меня... играть, – сказал таинственно Вовчик, и тут в акации вломился Глеб.

Он не просто вломился, он вломился на Отченашевой лошади Вишне, которая переломала сучья халабуды, любовно построенной мелкими Мешковыми для карточных посиделок.

– Эй, – крикнул Вовчик, – Горемыкин! Отвали!

– Я те отвалю! Пошел вон! – рыкнул на него Глеб.

Лиза, схватившись за гитару, замерла перед лошадью.

– Елизавета, а я вот лошадь взял... Хотите прокатиться?

Вовчик быстро пошел домой, ругаясь и чуть не плача, ибо он был смятен.

– Хочу, давай свою лошадь, – сказала Лиза.

Глеб слез. Лиза передала ему гитару.

– Подержи гитару... Эх ты... Кузнечик... Скачешь? На мелких? Да?

Она запрыгнула на лошадь без труда, благо ходила в Москве в секцию верховой езды в Нескучном саду.

– Дай-ка мне теперь гитару, – сказала Лиза, – надо ее Владимиру вернуть.

Глебу так хотелось рассобачить эту чертову гитару о землю, но он, опустив голову, дал ее Лизе.

– А вы за что держаться будете? – спросил он.

– Я буду, буду, – ответила Лиза и сжала бока Вишни острыми коленками. – Я умею держаться!

Правда, спортивные нейлоновые штаны скользили, и она едва держалась без седла, но нельзя было не проучить этого нахального Глеба.

Лиза, выехав на дорогу, ударила Вишню пятками, та припустила, будто слепая, вперед.

Лиза догнала Вовчика у Шкуркиной хаты и остановила Вишню. Та скривила морду под трензелем. Вовчик, покраснев, взял гитару.

– Послушай, я прокачусь на лошади... и ты давай, хочешь?

Туман из глаз Вовчика выветрился. Он расцвел как маков цвет.

– Хочу!

– Вернешься к моему дому, ага? И не обижайся на этого Горемыкина.

– Ага! Ты пока прокатись, а я домой гитару занесу! – и Вовчик, схватив гитару, побежал на кордон.

Вишня слыла норовистой лошадкой. Лиза с шиком пронеслась мимо Глеба, стоящего у железных ворот Отченаша, и, чтобы Вишня не остановилась, несколько раз ударила ее со всей силы прутком по ушам.

Вишне, как и любой другой лошадке, это не понравилось. Она рванула вперед. Лиза, испугавшись, догадалась, что Вишня понесла.

И Вишня, действительно, храпя и задыхаясь, полетела в сторону берега. Поминая, что там обрыв, Лиза уже думала, как ловчее соскочить.

Но соскочить не получалось, Вишня неслась со скоростью света, и Лиза, вцепившись в косматую гриву, только старалась напрягать коленки, чтобы удержаться на ее спине. Хорошо еще, что лошадка не брыкалась и не дыбилась. Иначе падение было бы обеспечено выдохшейся Лизе.

Наконец, проскакав над кручей, своенравная Вишня, не слушаясь трензеля, повернула домой, устав, и снова ускорилась. Правда, теперь ее бег был осознанным, она спешила к себе.

Глеб уже хотел бежать за Рёвой, чтобы нагнать Вишню, но та с воинственным топотом и перекошенной от узды пастью возвращалась.

Лизу подкидывало на ее спине, как куклу, волосы ее лисьим хвостом вились позади.

Глеб выбежал вперед, и, схватив Вишню и одновременно Лизу, которая свалилась на него, остановил обеих.

Вовчик сидел под палисадником на корточках, озадаченный и грустный. Он, видимо, что-то услышал от Глеба, пока Вишня мотала Лизу по улицам Антоново. Вишня была в крайнем возбуждении.

– Иди, катайся, ты же хотел! – крикнул Глеб.

Вовчик поматерился. Он еще не очень хорошо знал Глеба, потому и позволял себе попетушиться.

– Что ты орешь, как не в себя, обморок ты бледный! Иди, говорю, садись и ехай! – ответил Глеб, треская по воздуху разгоряченной плетью.

Лиза, отдуваясь и превозмогая боль в ногах, растирала голеностоп.

– Бешеная какая-то! Не катайся! Понесла меня, дура ненормальная!

Глеб, лукаво улыбаясь, указал Вовчику на спину Вишни.

– Ты же хотел кататься? Иди, катись! Или что, ссыканул?

Вовчик на нетвердых ногах подошел и залез на Вишню. Та, очень нехотя, пошла.

Лиза не успела и слова сказать, как Глебова плеть, сделав в воздухе несколько змеистых движений, разразилась целой руладой хлопков. Перепуганная Вишня рванула.

– Он же убьется! – вскрикнула Лиза и бросила перепуганный взгляд на Глеба.

– Ах, как мало пройдено дорог, как много сделано ошибок! – сказал Глеб, издеваясь. – Ничего, зато ему урок.

– Какой урок?

– Он знает какой.

– Что ты ему сказал, Горемыкин!

Пролетев до конца улицы, Вишня повернула, и уже топот копыт ее приближался. Она не собиралась никого катать. Ей на самом деле страшно не нравились эти «покатушки». Вишня летела домой, напуганный Вовчик сидел на ней как влитой, но никак не ожидал, что Вишня на полном ходу повернет и сломя голову побежит в ворота. А она так и сделала! Все бы ничего, если бы у железных ворот не было приваренной сверху поперечной металлической перекладины. Но она была, и бедный Вовчик ее не увидел.

Вишня влетела во двор, со всей силы ударив своего незадачливого всадника об эту перекладину лбом. Тот, сделав кувырок назад, упал на траву. Лиза подбежала к нему. Вовчик, не теряя лица, попытался встать.

На красивом его лбу вздувалась бордовая полоса. Сам он побелел, как стена. Он тряхнул головой и упал на Лизу.

– Вот, блин горелый, неожиданно-то как... – сказал Глеб и зашел во двор звать Фаину Самуиловну. И запирать разгулявшуюся Вишню.

Через несколько минут Вовчик был перевязан Лизой и Фаиной Самуиловной и, обняв Лизу за шею, шатаясь, пошел домой. Лиза сдала его отцу и приказала ему лежать пару дней. И даже поцеловала его поверх перевязи, отчего Вовчик растаял и завыл одновременно.

Разгневанная на Глеба Лиза вернулась домой.

Глеб, покуривая и прищурившись, стоял на дороге и стругал огромным ножом колок.

– Ну, жив злочинец? – спросил он Лизу. – Это он приходил... пожениха́ться до тебя? Теперь уже не придет.

– Какое твое дело! – взвизгнула Лиза и, не остановившись, вбежала во двор.

Глеб еще постоял, посмеиваясь про себя о чем-то приятном. Лиза высунула голову из окна веранды.

– Чего ты тут стоишь? Горемыкин! Иди домой! Наделал уже дел, чуть не убил мальчика!

– Да я хотел пригласить вас на день рожденье, а вы...

– У кого день рождения?

– У меня.

– А! И что будет? – оживилась Лиза, мгновенно забыв о Вовчике.

– Гужбан и балабас.

– Идите одни и гужбаньте.

Ветер выволок Лизины волосы за окно. Глеб сморгнул.

– Без вас наш праздник будет... как-то не очень... я бы сказал... невесел, что ли... И мы потом пойдем купаться, пойдете с нами?..

Лиза, помолчав немного, решила.

– Не знаю. Я подумаю.

Но на самом деле она, конечно же, собралась идти и уже перебирала в уме, что бы такое ей надеть, чтоб все упали.

И, спрятавшись в окно, Лиза побежала к шкафчику.

Нина Васильевна пришла с огорода. Лиза собиралась, хотя уже стемнело. Нарядиться не получилось. Все наряды остались в Москве. И вечер. И комары. И трава резуха. Лиза натянула треники, зеленую футболку и прихватила свою толстовку.

– Ты куда? Уже темно.

– Пройдусь с ребятами недалеко...

– Не боишься?

– Нет. У меня теперь есть охранник. Глеб Горемыкин. Похоже, он мой телохранитель.

– А! Вот оно что! – рассмеялась Нина Васильевна. – Ну ладно... отец там на реке, можете вместе вернуться.

За Лизой зашли Лелька с Дронычем, Андрей Рядых и Глеб.

– Маринка уже спит, – сказал Глеб. – Мы взрослой компанией. Без секелявок.

Лиза пожала плечами, застегнула толстовку и положила руку на предложенный локоть Андрея. Глеб сделал вид, что ничего не произошло, зато Андрей прямо лучился.

Глеб, выбритый и благоухающий через самогон, шел впереди. Через несколько минут они были у реки. Лелька чему-то хохотала, Глеб предложил купаться. Вода была почти горячая. Не было слышно ни плеска, ни птичьего крика. Все разделись до трусов, кроме Лизы.

– А ты поплывешь одетая? – спросил Глеб.

– У меня нет купальника.

– Ну плыви без купальника, один хрен – темно и тебя не видно.

Лиза стащила одежду.

Ребята уже зашли в воду и плыли вперед. Один Глеб стоял на берегу. Лиза физически почувствовала его взгляд на себе, пока, прикрыв грудь волосами, заходила в воду.

– Твою же мать... – шепотом выругался Глеб, идя за ней следом.

Они плыли рядом. Впереди звонко бултыхали ногами Лелька, Андрей и Дроныч.

На том берегу пришлось продираться через заросли кувшинок. Все вышли. Одна Лиза не стала выходить. Она сидела в воде, пока ребята не отдохнули, и смотрела на звездное небо. Глеб сидел на берегу, чуть выше нее.

– Мне сегодня двадцать лет... – сказал он отсутствующе.

– Хорошо... – вздохнула Лиза. – Лучший возраст...

– Что тут хорошего... старость скоро... – вздохнул Дроныч, зевая.

Чего девки не любили,
пока был я молодой,
А нынче мое личико
Зарастает бородой, –

пропела Лелька, поглядывая на Глеба. Все засмеялись, кроме Лизы. Она жалела, что их было так много. Больше двух... ее и Глеба.

Глава восьмая
«Как мальчишка»

Не только постоянное присутствие Лельки рядом отравляло новорожденное чувство Глеба и Лизы. Часто он, сам еще того не понимая, был чудовищно прямолинеен. Например, кося клевер на огороде Отченаша, он взял и запросто попросил Маринку сходить за Лизой.

Лиза стаскивала бурьян с грядок, закрутив волосы на затылке в корзинку. Маринка прискакала по грядкам.

– Лизунчик! Иди к нему! Он зовет!

Лиза бросила кучку бурьяна, утерла лоб запястьем и вздохнула.

– Ну, Марина, скажи... что он хочет?

– Я откуда знаю!

– Он ведет себя как мальчишка, – собирая бурьян, продолжила Лиза, – настоящий мальчишка.

– Что ты! Он мужчина! – сделав круглые глаза, отозвалась Маринка. – У него знаешь сколько девок было? А одна его девка, Ленка, в райцентре, этак и сказала: «Приходи всегда ко мне! Я тебя буду ждать всегда».

– А! – хмыкнула Лиза. – Так? Ну что ж... тогда я ему, пожалуй, устрою последнюю любовь. Будет знать!

Маринка была похожа на цаплю, высокая, худенькая, с алыми губами на белом, как алебастр, лице, в топике и очень коротких шортах – она частенько вводила в грешные мысли старого Отченаша.

– Ну, иди к нему! – повторила Маринка.

– Знаешь, только между нами... Он ни разу еще даже не взял меня за руку, – призналась Лиза. – И я не понимаю, зачем ему нужна вся эта... маета. Я же вижу, что он... ко мне неравнодушен.

– Спокойняк! Я решу эту проблему! – усмехнулась хитро Маринка. – Он же мой брат! Все будет пучком! Скоро взбесится!

Лиза замотала головой.

– Нет, нет! Я не хочу, чтобы началась... ревность. Лелька уже себя накрутила.

– Не будет никакой ревности! Не ссы!

– Да я... мне-то, собственно, все равно! Просто интересно знать! – нашлась Лиза. – Я не буду вешаться ему на шею. Так и скажи ему! Нет! Ничего не говори. Лучше не надо пока.

Лиза улыбнулась своим мыслям, докидав бурьян в кучу, пошла за Маринкой на межу. Там Маринка направилась на свой огород, где привязала за ногу вечно убегающего Яська.

Глеб косил неподалеку. Коса с жужжанием сносила алые головы кормового клевера. Пчелы кружились над ним с сердитым жужжанием. Лиза остановилась на меже, между огородами, найдя куст смородины, набрала полную горсть и пошла до Глеба, неся крупные ягоды и прижимая их к тельняшке.

Глеб увидел ее и замер. Он подошел, утирая пот краем повязанной на голову рубахи.

– А, все-таки пришла... Я просто думал, тебе скучно... вдруг ты скучаешь... Я подумал, что ты сегодня захочешь сбегать в лес, до бугра. Хочешь?

Лиза удивленно смотрела на него с нескрываемым интересом. Что он хочет? Зачем ему в лес, с ней? И что? Он что, неужели не испугается? Возьмет ее за руку?

Лиза протянула Глебу руку со смородиной. Он подошел, встромив косу в землю. Придержав руку Лизы своей ладонью, он наклонился и взял смородиновую ягоду ртом.

– Спасибо. Я с утра маковой росинки еще не пил, а тут целая жменя...

И он продолжил собирать смородину с Лизиной ладони, пока не съел ее всю. И не поцеловал туда же. Лизу как током ударило. Она дернула руку.

– Распусти свои волосы, тебе больше идет с распущенными, – сказал Глеб и одним движением вытащил заколку из короны на Лизиной голове. Глеб проморгался, вздохнул и, положив заколку себе в карман штанов, вернулся к своей косе.

Лиза хотела крикнуть что-то типа «не рано ли еще мне указывать», но убежала почти сразу же. Ее жгло неодолимое желание поцеловать его. Но он должен был первый этого захотеть, только так!

***

После заката, набегавшись с ребятами, Лиза села на лавочке у дома ждать, когда придут Маринка и Лелька. Они пришли с полными карманами сушеных яблок и расселись на траве. Лёлька была в синем спортивном костюме. Видимо-таки, решила тоже побегать по лесу.

Солнце зашло за край леса, что-то захрустело там, и на опушку возле дома Отченаша вышел быстрым шагом Глеб с каким-то кульком в руках.

Лиза, сложив руки, смотрела на него. Едва сдерживаясь, чтобы не начать волноваться и краснеть.

Он раскрутил рубашку, и оттуда клубком выпал огромный еж.

– Ловил я его, ловил... – запыхавшись и закуривая, сказал Глеб.

– Прямо чудо какое-то! – съязвила Лелька. – Ежиков не видали!

И вдруг Маринка, сидящая на траве между Лизой и Лелькой, брякнула:

– Глеб, а тебе Лелька нравится?

Глеб перебежал глазами с Маринки на Лельку и обратно.

– Нет! – сказал он, краснея.

– А Лизка?

– Нет! – повторил Глеб и плюнул. – А что, у нас сегодня вечер откровений или чего другого? Может, духов вызовем? Спросим, а сколько я

раз буду замужем, и сколько у меня будет парней? А детей? А сколько сотрясений моего тупого мозга?

Маринка надулась.

Лиза погладила ежа, взяла его в руки и отнесла во двор поить молоком. Пока она тыкала его рыльцем в блюдце, разговор на улице продолжался. Лелька гнала полную пургу о том, что «некоторые» мешают личной жизни других людей, влезая в их отношения.

Лиза послушала и вернулась назад.

– Ну, наигралась? – улыбнулся Глеб. – Теперь побежим до бугра?

Маринка сщурила нос:

– Я не побегу, ну вас, делать вам нечего!

– И я не побегу, – неожиданно сказала Лиза. – У меня кроссовок нет, одни туфли и шлепки...

– Я побегу! – подняв руку, вскрикнула Лелька и вспыхнула круглым лицом. – Я побегу!

Глеб бросил рубашку на лавку, обреченно глянул на Лизу.

– Ладно, побегли!

Он и Лелька скрылись в лесу. Маринка кивнула в их сторону.

– Вот проститутка! Он вообще-то хотел с тобой бежать. Между прочим, это я устроила!

– Ну и пусть, – ответила Лиза, и губы ее дрогнули от плохо скрываемой обиды. – Зато ясно, что будет... Мог бы отказаться, не бежать.

Лиза еще постояла, они поболтали с Маринкой о погоде, о парнях и Ульянке, которая стала все реже выходить гулять.

– Она стопроцентно полезет до него. Он же не мальчик, ты его так не называй! – зачем-то сказала Маринка, задумчиво глядя в лес, проглотивший брата и Лельку. – На него все девки лезут, потому что он у меня красавчик. Правда ведь?

Лиза сдвинула брови.

– Мне пофигу. Кузнечик-перебежчик. Мальчишка.

Нина Васильевна позвала ужинать, и Лиза с негодованием ушла, так и не дождавшись бегунов.

Глава девятая

Потерянная неизвестная

Маринке нравился Андрей, брат Лельки. Хотя, глядя на него, можно было сделать легкое оценочное суждение о настоящем облике атомной войны. Страшнее парня придумать нельзя было. Но его не парила морда лица, потому что при ужасной красноте, с щелками таких же голубых глаз, как у сестры, с перебитым в армейских драках носом у него была просто «обалденская» фигура, как выражалась Маринка. Да, и молодость, конечно, этому гнусавому типу еще добавляла баллов...

– Ай, какие у него плечи... а какая задница... – приговаривала Маринка.

Знали о пагубной страсти Маринки пацаны Мешковы. Они постоянно дразнили ее и Андрея. Но Лиза со скуки придумала иное...

Она подговорила Степку быть письмоводителем, а сама с Чубайсом, Корявым, Максом и почтаркиными детьми взялась за сочинение легенды. Они писали короткие записки и носили их Маринке.

Инкогниту,
Ни это я, ни то.
И ты сперва еще придумай кто,
Я так тебя люблю,
Что лишь молю,
Открой мне душу девичью свою!

Подпись решили сделать соответствующую: «Самому Наилудшему». И специально насыпали ошибок, чтобы ни придраться!

Записка скручивалась в трубочку и кидалась в бутылку из-под пива, а уж их в лесу, напротив Лельки, валялось море.

Послав две записки, Лиза ждала реакции. Маринка прибежала к ней незамедлительно с пылающими щеками.

– Это он! Он! Это точно он! – верещала она.

– Ну, наверное, он стесняется! Напиши ему ответ.

– Да как! Я не умею двух слов связать.

– Давай я тебе помогу...

И Лиза стала пособницей Маринкиного самоутверждения.

Мой бог, когда ты только взглянешь –
До сердца самого достанешь.
Не знаешь ты, как я люблю
И изнутри очень горю.
Потерянная неизвестная обнадежена и духовно к тебе обнажена!

– Это шикардос просто! – пищала Маринка.

Лиза поднимала брови и, обуреваемая любопытством, написала записок впрок и на любой поворот любовной истории.

– Атас! Ты гений! – прижимая листочки к груди, взбрызгивала слезой Маринка.

Бутылки перекидывались во двор Максом и Степкой. Правда, как оказалось, бутылки с записками довольно скоро нашел дядька Женька Рядых. Видимо, выпивая вместе с Адолем, старшие обсудили этот вопрос и решили, что это проделки проказницы-москвички. Дядька Женька даже принес Григорьичу одну такую бутылку.

– У нас тут грамотных нема, поэтому нечего дуру валять! – сказал он.

Вызвали Лизу допросить про стихи. Григорьич метнулся к комоду и сразу же нашел в Лизиной синей тетрадке кипу этих самых любовных эпистол.

– Стихи хорошие, так за душу и берут! Но вот... не понимаю я твоей любви к Андрею!

– Не-ет! Не пара она ему! Легкомысленное существо! И на паперть его выведет! – сдавливая смех, ругался Григорьич.

Лиза рассмеялась на это так, что Нине Васильевне пришлось фыркнуть на нее водой из сифона.

На другое утро прибежала Маринка.

– Ах вот как, так ты мне соперница?!

Лиза снова смеялась, чуть не до обморока.

После этого случая выяснилось, что, оказывается, да – Андрей влюблен был в Лизу. К счастью, буквально через неделю после этого случая он нашел работу на стройке в райцентре и уехал...

Тогда все и выдохнули.

Особенно выдохнул Глеб, которому каждый человек, отсвечивающий случайным взглядом на Лизу, уже казался потенциальным соперником.

Глава десятая
Васькина беда

Самое противное было то, что в старой деревне все еще гостил у бабушки Васька. И он грозился приезжать и навещать Лизу.

Как-то в самом начале июля Лиза с Лелькой и Маринкой, перевернув лодку, устроили на Гончарке великое потопление. Накануне они пытались свалить копну сена напротив Отченаша, но не смогли и должны были хоть чем-то навредить ему. Сначала они пытались выдрать кусок арматуры из бетона, чтобы незаметно пустить лодку старого похотливца ко дну. Потом, когда ничего не вышло, с психами и приговорами Маринка побежала за топором домой, с Яськой на закорках.

Яська мог по малолетству сдать сестру и подельниц, поэтому она оставила его на веранде матери, страдающей с бодуна, и незаметно убежала.

Девки по сумеркам продолжили работу, разбили обухом топора цепь и, выгнав лодку на середину Сейма, торжественно затопили ее, сделав несколько разрубов в дне. Это уже было не просто вредное мероприятие, а акт отмщения за то, что проклятый старик постоянно пытался пригласить девок «на чай», когда Самуиловна была на работе. Но только для Ватрушки чай закончился не очень приятно. Когда Отченаш стал носиться за ней по гостиной и пытался стащить с нее трусы, она бросила в окно первую попавшуюся под руку бутылку и разбила стекло.

Мать ее тоже беспробудно пила, мало того, сама постоянно давала Отченашу, поэтому, когда он нажаловался, что Ватрушка разбила окно, мать долго лупасила дочку мухобойкой.

– Он же кто! Он же Отченаш, а ты сопля! Ему поверят, а тебе нет! Сучка!

В общем, лодку утопили.

С берега это видел один из местных парней, бобыль Мореман. Когда девки плыли топить лодку, он свистнул им с берега. Правда, совсем не предостерегал, одобрял.

После неудачного обесчещивания Ватрушки Мореман пришел к ее матери с новыми кроссовками для невесты, свататься.

– Да ей же четырнадцать! А ты лысый! – крякнула жирная тетя Лариса. – Иди, чтоб мои глаза тебя не видели! Жоних!

Правда, кроссовки взяла.

Мореман был хоть и похож на престарелого гнома, но еще не разменял и четвертый десяток. Однако, по местным меркам, был стариком.

Перед теткой Ларисой стояла тогда дилемма – больше обижаться на предложение Моремана или на приставание Отченаша.

Когда, утопив лодку, Лиза, Маринка и Лелька довольные шли домой, мимо проехал Григорьич. Он привез Ваську.

У Лизы упало сердце.

Навстречу ехал на Рёве Глеб. Он козырнул Григорьичу и заметил незнакомого мордатого парня в машине. Он подъехал к Лизе, нервно постукивая плетью, сложенной вчетверо по голенищу сапога.

– Это что опять за сурло там сидит? – спросил он у Лизы как собственник.

Маринка потянула озирающуюся на них Лельку домой.

Лиза подняла на него глаза.

– Это мой друг Вася, росли вместе.

– А! Вот как! Росли, значит! А зачем Григорьич его приволок?

– Наверное, встретил его на дороге. Он, наверное, шел ко мне, а что?

– Ничего! – обиженно произнес Глеб. – Я заеду через час... Выходи, пойдем купаться.

– С кем? – похолодела Лиза.

– Ни с кем! Сейчас я повечеряю, и поедем. Ты и я.

Лиза опустила голову.

– Мамка меня не пустит, – сказала она.

– Пустит! Еще как пустит.

Лиза побежала домой. У ворот стоял Васька и, понурившись, ждал, когда Григорьич разгрузит комбикорм из багажника.

Лиза с вызовом бросила ему:

– Мог бы и помочь... или тебе тяжело?

Васька пожал покатыми плечами, которые года два назад нравились Лизе, а теперь весь вид разбаржевшего Васьки бесил.

– Ну а шо, килограмм пятьдесят, я ж разве подниму!

Лиза прошла мимо него в дом, на веранду. Васька постучался следом.

– Можно?

Прибежала с огорода Нина Васильевна, ее укусила мошка, и теперь она, зажмурив глаз, искала лекарство на кухне. Услышав голос с веранды, она вошла.

– Василька! Привет! А ты к нам? Покупаться? Переночуешь? Как бабушка?

«Переночуешь?» – в ужасе переспросила глазами Лиза, вскинув на мать недоуменный взгляд.

– А что обратно ехать... уже темнеет скоро, – противно улыбнулся Васька и поправил челку-скобочку.

Лиза просочилась через мать, зашла в кухню, лихорадочно думая, как быть, и загремела тарелками.

Григорьич, ополоснувшись в душе, кряхтя, пришел ужинать. Сели вчетвером.

Нина Васильевна хорошо относилась к Ваське, тренируя свое христианское терпение и благочестие. За то, что он лазал в их обуховскую хату за Лизаветиным магнитофоном, она простила его, хоть и ненавидела.

– Лизаветка тут устроилась хорошо, – жуя сосиску, сказал Васька, – друзей завела...

– Завела, ох завела... – кивнул Григорьич...

– Старый друг лучше новых двух! Правда, Лиза? – спросила мать.

Лиза быстро поела. Мать и отец попили чаю и ушли в комнату. Нина Васильевна, выглянув в притворенную дверь, выдала распоряжение:

– Вася, ты спи на веранде, а Лиза со мной!

И исчезла.

– Запалили каганец, полягали спаты... – хихикнул Васька нервно. – А может мне с тобой залечь?

– Дурак. Кинулся, когда всё простыло.

Лиза мучительно допивала чай. Васька смотрел на нее сокрушенно.

– И что, мне больше не приезжать, Лиз? Я думал, ты рада будешь.

– Чего я должна радоваться? Как будто мы год не виделись. Да еще ночью... Зачем ты так поздно-то?

– Ну, полтора месяца уже тебя не видел.

– И что?

Тут с потемневшей улицы свистнули, Лиза вытянула шею.

– Я сейчас, – залепетала она.

Она быстро пробежала мимо Васьки, который хотел поймать ее за талию, но ему этого сделать не удалось.

За воротами, в темноте, тихо посапывала Рёва. Глеб сидел верхом, сливающийся с темнотой.

– А где ваш хахаль?! – спросил он.

– Я сейчас... – ответила Лиза сокрушенно.

Лиза вообще не понимала, как выкрутиться из этой ситуации. Ей хотелось купаться, она боялась мать и боялась Ваську. Лиза прошла в дом.

– Мам, Васька не будет ночевать. Он поедет домой на десять сорок.

– Да ты что, он же маленький в такое время на поезде!

– Да что тут, одна остановка, семь минут! А к девушке в ночь тащиться... не маленький?

Григорьич сказал громко:

– Ладно, пусть едет! Я только уже выпил и хочу спать.

– Мы с Глебом проводим его до переезда, – отрезала Лиза.

Нина Васильевна что-то хотела сказать, но Григорьич цыкнул на нее. Лиза, получив утвердительный ответ отца, вернулась на веранду. Васька сидел на табуретке какой-то жалкий и грустный.

– Мы же с тобой дружили... – промямлил он еле слышно, водя пальцем по скатерти. – Ты же целовалась даже со мной... один раз...

Лиза вскинула подбородок.

– И что теперь... Да, дружили... и дружим. Но не устраивай мне здесь сцен! Это смешно. Идем, мы проводим тебя до переезда. Нехорошо, человек ждет...

– А я что, не человек? – задрожав голосом, сказал Васька, поднялся и, грубо схватив Лизу поперек талии, прижал ее к дверному косяку. – Я, значит... все?

Лиза увидела перед собой его смешное, еще мальчишеское лицо с круглым носом, с круглым ртом, с еле заметной золотистой щетинкой. Васька поставил ногу между ее коленок и держал, а он был сильный.

– Вот я захочу и поцелую тебя еще раз...

В доме послышались шаги, Васька отпустил Лизу.

– Не надо меня провожать. Я уже понял, что ты с этим чуваком закрутила. И ладно, крути.

Лиза, пытаясь успокоиться и не заплакать, поправляла волосы.

– Конец, Васька, – упавшим голосом сказала она. – Ты этим перечеркнул даже хорошие мои воспоминания. Идем, мне надо выключить свет.

Васька обулся в коридоре, пока Лиза ждала, вышел, не попрощавшись с Григорьичем и Ниной Васильевной, стукнувшись о дверь, гулко сбежал по крыльцу, шумно стукнул калиткой. Лиза вышла за ним, к Глебу, но Васька уже шел в сторону переезда. Наверное, он плакал.

– Обиделся? – глухо спросил Глеб, отмирая и отделяясь от темноты.

Рёва стрекотнула ушками. Лиза протянула ей зеленое яблоко, прихваченное со стола, и лошадь захрустела им.

– Маленький. Глупый совсем. Шестнадцать лет ребенку.

– Обуховский, да? Видел его на пастбище как-то. Он тоже в очередь пас. Дебил настоящий. Я его просил стадо отогнать, а он лег и вырубился. Мы едем купаться?

Лиза, вздохнув, поежилась.

– А не холодно?

– Не замерзнешь!

Глеб спрыгнул с Рёвы, набросил на седло свою фуфайку и помог Лизе забраться. Сам пошел рядом, держа лошадь за уздечку.

Река радовала теплотой и безмолвием. Хотя бы сейчас никого не было вокруг. Не скакали эти мелкие, не пробегали любопытные девки, не следили за каждым движением старики с кручи, якобы приглядывающие за козлятами и утками. Снимая Лизу с лошади, Глеб крепко обхватил ее за талию, там, где недавно только держали Васькины вредные ладони. Лизе стало горячо и хорошо. Глеб разделся и быстро зашел в воду. Лиза заметила, что одежду он скинул всю, и ей стало не по себе. Луны не было, темнота не давала ничего увидеть, и вместо реки чернел длинный змеистый провал, от которого поднимался туман.

– Отвернись. И не отсвечивай тут своим торсом, – сказала Лиза и, скинув одежду в чужую лодку, зашла в воду, прикрывшись руками.

Они доплыли до острова, немного полежали на отмели и, услышав гуляющую рыбу, решили возвращаться.

– Ты знаешь, – сказал Глеб, одеваясь, – эта нехорошая девочка... лезла до меня на бугре.

Лиза усмехнулась.

– Она затем и побежала, видно не договорили вы с ней.

– Да, не договорили, – отозвался Глеб. – И не будем.

Дождавшись, когда Лиза оденется, он подошел к ней и, набросив ей на плечи фуфайку, взял за руку и прижал ее к груди. Грудь его была голой, без волос и почти мальчишеской, да еще холодной от реки. Лиза накинула капюшон толстовки на влажные волосы, но все равно ей было холодно. Глеб подышал ей на руки.

– Я сдержался, я не стану больше с ней... – сказал он тихо, – бегать. А уж глядеть не стану совсем. Там все равно ничего не выглядишь.

Лиза ждала, что он ее поцелует, что как-то приблизится, но он, дождавшись молча, пока ее руки не станут теплыми, отпустил ее, отвязал Рёву и, поднимая Лизу, улыбнулся.

Глава одиннадцатая

Песок и мел

На днях купили алюминиевый катер. Пригнали его из-за третьего поворота реки, с Юрасово, через затон. Григорьич млел от счастья. Три дня не мог нарыбачиться. Постоянно брал с собой то Нину Васильевну, то еще и Лизу, которая терпеть не могла сидеть среди реки в комарятнике и отбивать себе коленки.

– А! Вот если бы твои знакомые тебя позвали, тогда бы ты радовалась!

Лиза грустила.

Утром она ходила на Пески вместе с Лелькой. Лелька постоянно таскала ее за собой, и Лизе казалось, что Лелька вот-вот сдаст ее кому-то на погибель. Но не идти не могла, потому что ей хотелось видеть Глеба. Просто видеть его.

Им встретился Серега Пухов на велосипеде.

– А! Елизавета! – гаркнул он, соскочил с велика и кинулся к Лизе. Стащив с нее соломенную шляпу, Пухов напялил ее на себя, а Лизу попытался поцеловать.

– Да иди ты нахрен! – крикнула Лелька.

Лиза недоуменно глядела на Пухова, отодвинувшись от его довольно симпатичного лица.

– Так что, будешь со мной гулять или тебе надо еще подумать? – спросил Пухов, выглядывая одним глазом из-под шляпы.

Лелька смеялась в сторонке, Лиза убийственно смотрела на Серегу, думая, как ему лучше наподдать. Чтоб сразу он окуклился или чтобы покашлял.

– Я тебе уже сказала... отвали!

– А я думал, ты передумала!

– С какого перепугу я должна передумать?

– Ну, ты же... – и Пухов подошел ближе, выпятив грудь. – У Лельки... отбила жениха, а так нельзя.

Лелька превратилась в слух.

– Я никого не отбивала. Это исключено, – покраснев, сказала Лиза и, вырвавшись, пошла быстрым шагом к Пескам.

Пухов сел на велик. Что-то сказал Лельке и покрутил педали дальше, вопя какую-то песню. Лелька догнала Лизу.

– Вопрос такой! – задыхаясь, сказала она. – На кой мне этот козел! Он же козел! Ты просто не знаешь!

Лиза резко остановилась.

– Этого нельзя утверждать. Тем более, что вы тоже меня не знаете. А я могу точно так же оказаться... кем угодно.

И пошла дальше молча.

Пески, берег маленькой протоки, находились недалеко от колхозных сараев, грустно разваливающихся после девяносто второго года, года, уничтожившего колхоз «Красный ленинец». Колхоз существовал теперь в сильно усеченном варианте, но и он был обречен. Земли сдавались арендаторам, выводились в собственное пользование председателем через странную полузаконную схему местной администрации, и уже председатель развел на них свои мелкие хозяйства и складывал себе в карман доход от них.

К счастью, народ еще не настолько обнищал, чтобы не держать хозяйство. У каждого имелись корова, телята, свиньи. Были лошади, если в семье был парень-помощник. На этих парнях держалась заготовка кормов для скота. Но если не было парня или семья сильно пила, то тут речи о хозяйстве не было. В лучшем случае такие семьи побирались по соседям, помогали за еду и за семена другим и работали на поденной или наемной работе. Так работал отчим Глеба, Адольф Белопольский, когда его выгнали из колхоза за пьянку. Так работали многие, кто еще не получал долгожданной пенсии. На пенсии можно было жить и пить. Не спивались только старики, у которых еще оставались старая закалка, мало возможностей и умение жить в аскетических условиях. Молодежь старалась ухватить побольше, уезжала, бежала прочь, только окончив школу, чтобы через несколько лет частью своей, неустроенной, побитой, лишенной надежды жить иначе, вернуться и устроиться к арендаторам или на лесоповал. Глеба не питала никакая надежда даже бежать. Мать сильно болела, вдобавок иногда пила. Маленький Яська еще не ходил в школу, Маринка выросла в красавицу, и нужно было защищать ее от постоянных поползновений ухажеров и беспардонных охотников еще несколько лет, пока она не выйдет замуж.

Глеб хотел рассказать Лизе, как и почему он бросил школу. Но не мог. Он помнил, как пришел в седьмой класс. Как приехавшая из Косы-Слободки его бабушка, аккуратная, красивая и нестарая женщина с прической и маникюром, купила ему «цивильный» костюм и новые туфли. И каким он вернулся домой? Хождение в школу, когда у тебя дома вечные драки, голод и беременная несчастная мать, было бы преступлением. Глеб не смог на это пойти. Как только бабка уехала в Одессу, он бросил школу.

Работа приносила ему покой и деньги. На все лето он устраивался пасти «людских» коров и с каждого двора получал по несколько рублей. Иногда, когда нарисовывалась более денежная работа, он брал в смену Бориса Гапала, своего верного друга. Сироту и главу семьи. Гапал тоже настрадался в жизни. Несколько лет назад мать убила топором отца, разрубив ему голову на пороге. За битье и пьянку. Ее посадили на восемь лет, младшую сестру забрали в интернат, шестнадцатилетний Борис остался с бабкой и тремя младшими детьми. Бабка умерла через год. Борис начал пить, ему светила армия, но в армии, как водилось, подобных ему отправляли только в стройбаты. Словом, Борис нехотя ждал армию и пытался как-то выжить со своими малолетками, чтобы их не забрали в интернат тоже. Но к счастью, места в ближних интернатах не было, и опека не очень-то проверяла здесь, кто как живет. В основном о парнях вспоминали во время призывов. А про девок и речи не было. Многие убегали, многие выходили замуж. Ранние браки охотно приветствовались, чтобы скорее сбыть молодежь.

Глеб спал, положив руку под щеку. Сегодня он умаялся оттого, что ночью выяснял отношения с Адолем, а потом, не ложась, собрался и ушел на Пески. Лиза и Лелька подошли тихо, чтоб не разбудить его. Стадо смирно паслось невдалеке, Рёва щипала траву в холодке под ветлами, на самом берегу. Собака Кукла сидела рядом, выгрызая блох, и на отход коров бежала с заливистым лаем возвращать их. Но на людей она не гавкала, Лельку знала хорошо, поэтому только завиляла хвостом, облизываясь. Лиза подошла к Глебу, закрыв солнце. Она скинула шлепки и положила в его руку свою стопу. Тот схватил ее за палец и вскочил. Лиза со смехом рухнула на траву. Глеб спросонку не понял, что происходит, потряс головой и увидел перед собой Лельку и Лизу, которую все еще держал за ногу.

– Черт! Вы ошалели совсем! – крикнул Глеб на них, разворачивая плеть. – Я сейчас вас пугой!

Лиза и Лелька, визжа, побежали к речке, кинулись в одежде в воду и поплыли к маленькому песчаному островку. Лелька вернулась, а Лиза вышла на берег. На островке не росло деревьев, но она была мокрая насквозь. Глеб вылупился на Лизу, хоть Лелька подошла и, бесстыдно оголив толстое тело, выжималась прямо с ним рядом.

– Я тебе пожрать принесла. Будешь?

– Не буду, – отмахнулся Глеб. – Сама ешь.

– А раньше носила – ел. Теперь и аппетит потерял? Втюрился?

– Что?

– Втюрился, говорю. Ничего, она скоро свалит в свою Москву, все пойдет как и раньше.

«Сомневаюсь я, что “как и раньше”. Уже невозможно», – подумал он.

Глеб молча наблюдал, как Лиза, облепленная волосами, в короткой майке и шортах, томно ходит по острову туда и сюда, туда и сюда...

– Будете кататься? – спросил Глеб. – Поезжай, коров заверни. Сможешь?

Лелька, выкрутив одежду, хмыкнула и полезла на Рёву. Лиза, увидав с островка, что Лелька отъехала, щучкой нырнула в воду и вынырнула только у берега. Она подошла в мокрой одежде, не скрывающей ничего.

– Вон, поскакал мешок с дустом, – указал на Лельку Глеб плеткой с оплетенной бычьей кожей рукоятью.

– Ага, – улыбнувшись и выжимая волосы, сказала Лиза. – Ты такой красноречивый.

Глеб завалился на траву, закрыл рубахой лицо и проворчал:

– Да и ты такая же...

Лиза пожала плечами.

– Нет, не такая. И ты знаешь...

Лелька вернулась потная и раскрасневшаяся. Лиза немного покаталась, попрыгала через бревно, что также не понравилось Рёве, и та встала на дыбки. Но Лиза удержалась. Увидев это, Глеб хмыкнул:

– Я думал, что я тут один укротитель лошадей, но ни хрена, не один. Явилась еще одна укротительница. Девочка – Титановое Колено.

Лельке нравилось, что Глеб ревнует. Лелька знала, что скандалы всегда заканчиваются приятно. Во всяком случае, больше страсти!

Глава двенадцатая
Меловая гора

На реке, зеркально отражающей облака, не было ни души. Маринка валялась на корме катера, опустив обе руки в воду. Глеб греб, поглядывая на Лизу, сидящую напротив него на узкой скамейке, поперек борта.

Мотор так и не купили, шли на веслах. Глеб старался плыть мерно и ровно, не особенно тревожа гладь реки, с медленным донным течением.

– А что там вообще, на этой Меловой горе? – спросила она. – Я давно о ней слышала, что там красота... Но мы даже не знали, что тут так здорово. Отец как-то даже не думал переезжать. И вот сподобился...

– Всему свое время, – ответил Глеб, налегая на весла. – Приехали, значит, так тому и быть.

– Ну, так там мел, что ли?

– Да, мел. И чертовы пальцы.

– Что это?

– Чертовы пальцы! – проснулась Маринка.

– Да я поняла, а что эти чертовы пальцы делают?

– Это когда молнии ударяют... в том месте они потом нарождаются, – сказала Маринка.

– Это раковины моллюсков. Ископаемых, короче... – кивнул Глеб. – А эти дуры, которые верят в ведьм и черта, думают, что от молнии.

Лиза засмеялась и, закрывшись от солнца рукой, легла на лавочку. Улыбка сразу же сползла с лица Глеба. Он серьезно окинул взглядом Лизу, упавшие на влажное дно катера волосы, на ее тонкую талию, которую он спорил сам с собою обхватить двумя ладонями, и округлые лодыжки, на одной из которых болтался маленький серебряный бубенчик на цепочке. При каждом шаге Лизы он звенел, и Глеб уже ловил себя на мысли, что звук бубенчика пройдет только с его последним вздохом, потому что он обозначал снова и снова видеть ее.

Маринка выла тихую песню и не обращала на них никакого внимания. Глеб прищуривался и напрасно отворачивал от Лизы лицо.

Лиза поводила то ногой, то рукой, поворачивалась к нему спиной и забрасывала свою распущенную гриву наперед. Глеб, глядя на все эти тревожные манипуляции, таял и становился мягким, как воск. Его только мучила мысль, что делать со всем этим бессовестным богатством, ему случайно перепавшим, как быть с ним? Как его сохранить, не то чтобы просто подержать в руках, обжечься и отдернуть пальцы.

Вода плескалась в алюминиевый борт катера. Маринка подвывала.

– Ну, хватит, надо где-то искупаться, – скомандовала Лиза, прервав эти снулые звуки.

Глеб ухмыльнулся своим мыслям.

– К острову причалим. И Марина пойдет гулять.

– Чего это я пойду гулять! – гаркнула Маринка, словно проснувшись. – Одна, что ли? А если меня волки съедят?

– Ну и пусть съедят, – настойчиво сказал Глеб и погреб к берегу. – Все равно Марина пойдет гулять, за орехами.

– Нет еще орехов!

– Завязь посмотришь!

Приискав пологое место, Глеб вытянул катер на песок, спрыгнул и подал Лизе руку, со страхом прикоснувшись к ней.

Лиза спрыгнула на берег, одернула юбку и нахлобучила на голову свою дурацкую соломенную шляпу.

– Ты знаешь, как вас, городских, всегда отличить от местных? – спросил Глеб.

– Как? – спросила Лиза.

– Вы ходите в шляпах и думаете, что все вам обязаны подавать ручку.

– Ну да, конечно, у меня на лбу прямо написано: подайте, кто-нибудь, ручку!

Глеб засмеялся. Крепкие зубы его блеснули, и Лиза даже поймала себя на мысли, что он так неотделимо вписывается в эту природу, реку, лес и песчаный берег. Глеб склонился и, вырвав из воды лилию, бросил Лизе.

– Вот, засуши, – сказал он. – Память будет.

Лиза улыбнулась, но, заглянув в лилию и обнаружив, что она кишит мелкими паучками, завизжала и откинула ее на дно катера. Глеб снова засмеялся, Маринка громко ржала, катаясь по берегу.

– Прекрасное соседствует с ужасным. Цветы как женщины. Никогда не знаешь, какой черт сидит в девке, – съязвил Глеб, – а ты думаешь, что все красивое и белое...

Лиза поджала губы.

– Вы думаете, что я такая вся городская, а я езжу в деревню уже пять лет! Мы же в приличном селе жили, прежде чем сюда перебраться. В ваши эти... дебри.

– Видал я ваше приличное село. Там и дороги нет... Одни бабки, да еще их дураковатые внуки.

Глеб, привязывая катер, бросил надменно:

– Небось, скажешь, что у тебя там и женихов тьма осталась? Понял я уже, что тьма.

– Тьма! – сказала Лиза. – Любой был бы счастлив!

Глеб осекся, понимая, что слишком много говорит.

Они пошли по острову вперед, путаясь в высокой первобытной траве. Небо стало затягиваться тучами, солнце в тумане висело пышным комом, спутанное волокнами облаков.

– Надо тут остановиться. Покупаться... и поесть, – сказал Глеб.

Он стащил с плеча рюкзак, больше похожий на солдатский вещмешок, вытряхнул оттуда плащ, топор и котелок.

Маринка побежала к берегу за водой. Глеб сунул в руки Лизе пакет с картошкой.

– Иди, намой, а я дров приготовлю.

Через полчаса котелок кипел, дыша паром от вареной картошки. Глеб нарезал на колене лук и, плеснув масла из пузырька, перетолок картошку ножом.

– На, пища наших богов, – сказал он и протянул Лизе котелок.

Маринка, вытянувшись, спала на домотканом половичке, прихваченном из дома.

– А какие ваши боги?

– Наши боги – нищие. Они едят только цибулю да картошку.

Глеб наткнул на нож кусочек картошки и передал Лизе. Она откусила. Он наколол и себе.

– С ножа есть нельзя, злым будешь, – сказала она, пережевывая картошку.

– Я и так злой. Не ведаю жалости. А нож этот... мое продолжение... Мой Тема. Так я его называю. Его мать – Тьма. А я ему брат. Так что бойся меня.

– А ты, стало быть... тоже сын тьмы?

– Иногда, – ответил Глеб и лег на траву.

– Так ты следи за собой, будь осторожен!

Он посмотрел, как Лиза ест, аккуратно накалывая картошку, оставил Маринке на дне котелка и сам проглотил один кусочек.

– А ты почему не ешь? – спросила Лиза.

– Я должен быть легким. Поэтому.

– А... это обязательно быть легким?

– Для меня – да.

Глеб все больше задерживал взгляд на Лизе, на ее тонкой фигуре, на волосах, цвет которых напоминал только что скачанный из рамок подсолнуховый мед.

Лиза начала расстегиваться и выбралась из своей длинной юбки. Глеб уже видел ее в купальнике и без купальника. Но все равно старался не поворачивать головы. Сейчас розовая ребристая полоса от резинки юбки осталась на ее белой коже, и Глеб почувствовал напряжение сердца, как оно ударило несколько раз сильнее, чем обычно. Лиза вошла в воду, отразившись в ней до колен и, подобрав волосы, прыгнула вперед, обдав Глеба искрами полуденной воды.

Глеб смотрел, шебурша палкой в костре, как она купается. Неловко плавает, как-то слишком коротко забрасывая локотки вперед, переворачивается и ложится на воду, раскинув руки. Он отвернулся.

– Чертова кукла... доведет до греха... скажи ты мне, на что я ей вперся такой... – беседовал он с костром и не получал ответа.

И тут краем глаза Глеб заметил, что водная гладь пуста. Он вскочил, подбежал к берегу.

– Лиз! Лиза, где ты! Хватит шкодить!

Никто не отвечал. Тишина реки и шелест тростника, сопение Маринки и урчание вьюрков, перелетающих с места на место.

– Лизавета! – позвал Глеб, но и на той стороне реки молчаливые дубы, спустившие корни в воду, не ответили ему.

Глеб быстро скинул нож и, как был, спрыгнул в воду рыбкой, разбежавшись с лежащей над водой ветлы. Он нырнул у одного берега и вынырнул у другого, где плакали ивы и дубы глухой тенью накрывали реку.

– Лиза! – позвал он, с отчаянием оборачиваясь, и снова нырнул, погружаясь в туманную зелень воды. Вынырнув, он увидел, как Лиза сидит на куске старого дерева и болтает ногой в прозрачной воде. Волосы ее мокрыми струями раскинулись по плечам и спине.

– Твою же за ногу! – выругался Глеб, хватаясь за мокрый корень дерева и выбираясь на сушу. – Я думал, ты утонула.

– А я люблю пугать людей. Они тогда становятся настоящие, как они есть.

– А ты не думаешь, что они, например, могут... могут умереть от ужаса?

Глеб стащил мокрые штаны и выжимал их. Лиза отвернулась, чертя ногой на воде какие-то знаки.

– Спрашивал про женихов, а у самого, небось, невест куча.

Глеб усмехнулся.

– Померяемся, что ли?

– Да нет, какой смысл?

С того берега протяжно закричала проснувшаяся Маринка...

– Люди-и! Где вы можете быть! Зачем вы меня бросили!

– Мы тут! Сейчас приплывем! – откликнулся Глеб и добавил: – А ты больше так не шути. Не буду больше спасать.

Он спустился в воду, подняв свернутые штаны над головой и загребая одной рукой.

Лиза вздохнула, посмотрела на его тонкую, сильную, всю в мышцах, спину и поплыла следом.

Маринка уже ждала их, жуя сигарету у костра. Когда Глеб ступил на песок, Маринка быстро плюнула в костер окурок и отошла.

– Курила, лярва? – спросил Глеб ласково. – Доешь картоху.

– А ты что делал? Лизунчика своего спасал?

– Не твое поросячье дело.

– Уй ты тю-тю-тю... – скривилась Маринка.

Глеб несильно пихнул ее ногой в спину. Та отпрыгнула и засмеялась на всю реку. Лиза, выжав купальник в кустах, уже одетая вышла к костру.

Глава тринадцатая
Призрак белой лошади

Почти каждый день, когда не пас коров, Глеб приходил работать у москвичей. Для него это был отдых.

Григорьич брал косу-восьмиручку и пытался косить, но она, встромившись в землю из-за его высокого роста, требовала переделать захват.

– Дайте, дядя, мне, – говорил Глеб и справлялся ловчее и скорее. Так было во всем, что он делал.

Лиза смотрела на него из-за занавески и думала о вечере, о ночи. Снова пойдут гулять до плотины, потрогать «душу реки», как они называли воду на скользких, поросших тиной плитах. Там можно было поймать и

потрогать течение, а потом переплести пальцы и с поцелуями нырнуть ко дну, купаясь среди звезд, которые не выбирали, река им или небо служат полотном. Поцелуи... когда они будут, и будут ли? На следующей неделе должны были приехать Ленусь с Мишуней. Они точно испортят это все. Им все не понравится.

Глеб частенько подмигивал Лизе и хитро жевал папиросу. Временами между работой он выходил из ворот, она выбегала, как будто не к нему, и Глеб доставал ей из-за пазухи розу, заранее втайне сорванную с куста, или засушенного громадного мотылька, или горсть смородины.

Как-то Лиза, прихватив корзинку, бегала по лесу с Маринкой, Ватрушкой и ребятами. Они скакали через окопы. Тут откуда-то вышел Глеб. Он пошел прямо к пестрой толпе, которая побежала к нему. Мальчишки – за «прикурить», Маринка и Ватрушка – просто пообниматься.

Глеб покружил девок, отсыпал ребятам табака, и те сразу же передрались, пока делили газетный лист. Лиза стояла поодаль, ходила, вроде бы ища грибы, и Глеб приблизился, оглядываясь на ребят.

– Жених и невеста! – крикнул самый маленький, любимец Лизы, Степка Мешков.

– Заткнись, шишкин бобрик! – махнул ему по кепке брат Макс. – Еще раз скажешь, мордой об сосну тебя.

– Об сосну, об сосну! – заревели ребята, падая на мох и смеясь.

Маринка и Ватрушка тоже заржали, как две молодые лошадки, и отвернулись. Глеб остановил Лизу у сосны, перегородив ей путь рукой.

– Дети же смотрят... расскажут... – пожурила его Лиза, – что ты творишь...

– Сейчас возьму и поцелую тебя при всех...

– А-а-а... вот ты как... Сначала догони.

Глеб намотал на палец длинный локон Лизы, выбившийся из-под косынки, и отпустил. Тот упал ей на грудь, и Лиза вздрогнула, побежала. Глеб побежал за ней. Она, смеясь, перепрыгивала через окопы, неслась вперед, откинув корзинку, и вдруг, перескочив самый большой окоп, охнула и села, поджав ногу.

– Что, подвернула? – задыхаясь, бросился к ней Глеб. – От меня еще никто не убегал. Зачем пыталась?

Лиза не могла сказать ни слова от боли. Наступить на ногу тоже не могла. Компания ребят и девчонки уже ушли по тропинке к селу, выходить из леса, и она с Глебом была теперь наедине.

Глеб поднял ее на руки легко, как куклу, и понес по отлогой стороне окопа на песчаную полосу.

По полосе они шли, как казалось Лизе, бесконечно. Когда он вынес ее прямо напротив дома, нога опухла, но Лизе пришлось пройтись несколько метров. Глеб кинулся к ней домой, выскочил Григорьич с бинтом, но Глеб отобрал его.

– Я виноват... бегали по окопам... Допрыгались.

Он, поставив ногу Лизы на свое колено, встал на другое и начал осторожно бинтовать. Григорьич махнул рукой и скрылся во дворе. Лиза, опустив руки и тихонько, жалобно попискивая, глядела на Глеба, не отрываясь, так, что он, подняв голову, встретил ее взгляд, полный и боли, и вполне теперь понятного ему томления и нежности.

– Ну что ты смотришь на меня так... – сказал Глеб, улыбаясь немного и заканчивая бинтовать Лизину лодыжку. – Не смотри. Не надо так смотреть. Я все понимаю, мабуть, не божевильный зовсем.

– Я, наверное, тяжелая... для тебя...

– Своя ноша не тянет, – ответил Глеб. – Взялся за гуж... не говори, что не дюж...

– Как ты это уже понял? – вскинула плечами Лиза. – Этого нельзя так сразу понять.

– Я... наверное, умный... немножко.

Он встал, отряхнул колено и помог Лизе дойти до крыльца. Там она попрыгала уже сама, а на крыльце, остановившись, шепнула ему:

– Я до завтра отлежусь и снова буду бегать.

– Бегай сколько хочешь... бешеная белка... – ответил Глеб с улыбкой.

Лиза потащилась в постель, сохраняя эту улыбку в голове как лучшее, что видела сегодня.

***

Они сидели в лесу, напротив дома Лизы. Ребята пекли картошку и жарили плотву на прутьях.

Глеб, Степан, Макс, рыжий Перепеленок по кличке Чубайс, Блондинка и Шнурок, дети почтарки, сегодня были «чисто мужской» компанией. Дрались, бесились, играли в двадцать одно и покер. Макс рассказывал, как застал сестру дома с парнем.

– И что ты сделал? – спросила Лиза. – Рассказал родителям?

– Нет... я просто услышал, что они там у нее за загородкой кровать ломают... и вышел. Вообще было стремно. И не знал, что делать.

– А батька твой Лельку в апреле побил, челюсть ей вывихнул, якобы ему привиделось, что она твою Ульяну плохому учит, – усмехнулся Глеб. – А Ульяна эта... всем и каждому.

Макс сокрушенно вздохнул.

– И чего эту Ульяну учить... она и так все уже знает, пока мать с отцом на работе...

– А ну, сдавай, чамарный! – крикнул рыжий Чубайс, пихнув Макса ногой в рваной кроссовке.

Лиза сидела с перебинтованной ногой и смотрела на костер.

– Мамка говорит, что от меня костром все время пахнет.

– Пусть говорит. Моя тоже говорит, – сказал Глеб.

Ребята побесились и, заметив через деревья пьяного в дугу Андрюху Хлусова на телеге, побежали его чморить, насели на телегу и, хоть Андрей и махал руками и сбрасывал их, они налетали обратно. Стукоток обитых жестью колес, и визг, и матерки мелких слышались до конца улицы. Так мелкие, без вопросов, удалились вместе с телегой и ее незадачливым возницей.

Лиза и Глеб остались совсем одни. В окнах их домов, хорошо видных отсюда, горел свет. Но после погас. Лиза сидела рядом с Глебом, и он не знал, как хоть немного приблизиться к ней. Он снова залип, видимо потому, что хмель не гулял в крови. Наконец он придвинулся, накинув Лизе на плечи свою теплую фуфайку, пропахшую табаком. Лиза положила голову ему на плечо. Он сполз с бревна, и ее голова оказалась у него на коленях. Он гладил Лизу по лбу, по вискам, по макушке, перебирая ее волосы. В Лизе что-то будто бы напряглось и зажужжало непереносимо и потаенно.

– У тебя в Москве, наверное, пруд пруди женихов, да? – спросил Глеб грустно. – Так, да?

– Нет... пока училась, влюблялась... но не любила. Был один, классный такой парень, светленький... Его сильно любила... полгода, а потом влюбилась в другого. Но тот другой разбил мне сердце, – ответила Лиза, глядя на пламя. – А ты? Влюблен в свою невесту?

– Да что ты... глупость какая... Да у нас ничего не было.

– Как это не было? И ты что, жениться хотел?

– Хотел да перехотел. Спьяну просто. Мать ее мне сказала, что я нищий. И я решил не жениться.

– Это все мелочи.

– Нет, не мелочи.

– А ты... был влюблен?

– Был... в одноклассницу... Она тоже неместная, из города на Неве. Ее, не знаю, наверное, судьба сюда занесла. Как-то долго ее не видел после школы, а потом пас и увидел, что она рисует на этом... на мольберте перед речкой. Подъехал, пошли... обнялись...

– С ней? Что же было у вас? – задумалась Лиза.

– Все было. Молчи. Смотри, как пламя ест дерево. Выгрызает по всем его волокнам... Как будто у него есть зубы. Ты любишь смотреть на пламя? Оно такое... как ты. Ты тоже, кажется, можешь уничтожить. И родить.

– Мы позавчера, когда ты ездил в райцентр по делам... в клуб с мелкими ходили.

– И что, не увезли тебя оттуда на мотоке? – напрягся Глеб.

– Нет. Мы ж прежде побежали играть в прятки в заброшенный коровник. Там я в какой-то навоз влезла... Главное, мы со Степаном засели и сидим, все такие бегают, носятся, орут... и вдруг затихли, к клубу подались, наверное, искали, искали нас и забили. И мы сидели и... знаешь что...

– Что?

– Мы вдруг увидели призрак белой лошади с цепью на шее.

– Да ладно... – удивленно произнес Глеб. – Мабуть, живая была? Вам не привиделось?

– Да... Степка чуть в штаны со страха не наделал, как вцепился в меня... и пищит...

– И? Что ваша лошадь...

– Походила и утупала. Она там, похоже, живет. Запертая, что ли?..

Глеб вздохнул и разворошил Лизе волосы.

– Слухай, моя любопытная дивчина, ты только не говори про ту лошадь никому... и клянись мне сейчас, а не то...

Лиза засмеялась.

– Глупо, да? Новый век на носу, а мы в призраков верим. Белая же, с цепью... Идет на нас, а у меня по спине мурашки. Много там было раньше коров?

– Полторы тыщи. Это что! В соседнем колхозе было три-четыре. А ты, дурашка ты, эта лошадь, она просто оторвалась, надо ее завтра покрепче привязать.

Лиза примолкла, соображая.

– Ты что, это ты?

– Тебе не надо знать, за это садят.

– Ну не говори тогда...

Глеб покачал головой. В выходные за лошадью должна была приехать коневозка из Курска... а до тех пор она прекрасно исполняла обязанности призрака.

– Ты украл, да? – не унималась Лиза.
– А что если бы и украл, то что?
– Ну, это же... уголовно наказуемо! А денег тебе дадут?
– Денег... какие деньги, я же не за деньги... Просто это клево... и опасно... и еще... человек хороший попросил.

Лиза снова смолкла и несколько минут молчала, чтобы справиться с волнением, но вдруг Глеб наклонился и поцеловал ее в лоб, чуть касаясь. Она вздохнула и привстала. Он лег рядом, и его рука медленно поползла ей в волосы, приближая новый поцелуй, уже более смелый.

Он скользнул по шее и по щеке, и наконец тронул поцелуем губы. Лиза ждала этого, но теперь не знала, что делать.

Так он и целовал ее, пока костер не потух и по углям не побежали синие судороги замирающего жара. Нина Васильевна и Григорьич знали, что она с Глебом палит костер за деревьями, но так утомились за день, что заснули, не дождавшись.

Глава четырнадцатая
Старая дева

За ужином Лиза сидела притихшая и сутулая. Она ела машинально, почти не чувствуя вкуса еды, не думая ни о чем, кроме будущего вечера. Ленусь снова подкалывала сестру целый день деревней и деревенскими, что невозможно тут жить с коровами и свиньями, но, видно, такая у нее, Лизы, судьба, недаром мать ее назвала как корову.

– Как козу. Коров женскими именами не называют, – язвительно поправила сестру Лиза.

– Ничего! Ты сама скоро станешь как местная корова, – сказала Ленусь, опрокидывая стопку.

Мишуня макал шашлык в сметану и ел. Он много ел, особенно покурив травки. Живот его свешивался на ремень, и Лиза не любила есть с ним за одним столом. Сегодня вечером Мишуня обещал устроить вечерние чтения во дворе, и все готовились к этому редчайшему событию, которое напоминало пролет кометы.

– А ты своего лоха пригласишь? Он, небось, книжек в глаза не видел? – спросила Ленусь, осторожно пережевывая новыми винирами кусочек мяса.

– Он не лох, – буркнула Лиза, – и не мой к тому же, мы просто дружим с его сестрой.

– Ну да, заливай мне, – кивнул пьяненький Григорьич. – Не верь ты этой козе, у нее аж в глазах плывет, когда он во дворе работает.

Все засмеялись и дружно зачокались. Лиза встала, поблагодарила за еду и пошла в комнату на диван. С веранды ее на время выселили сестра с мужем. Они спали там. Лиза отвернулась к стене, стараясь не заплакать и ковыряя пальцем ковер с котятами, висящий на стене. В темноте ее никто не видел и не слышал. Ее и так мало видели и слышали в семье, потому что она была гораздо спокойнее взрывной Ленуси.

Еще несколько раз смеялись на веранде, наконец Мишуня шумно рыгнул, Ленусь что-то сказала и хлопнула дверью, заходя в комнату.

– Эх, старая моя ты дева... – вздохнула она, проходя мимо дивана с притихшей Лизой, у которой от этих слов все похолодело внутри, но она

притворилась, что спит. – Ничего... как-нибудь найдем тебе нормальный вариант.

Ленусь взяла куртку себе и тулупчик Мишуне и шумно вышла обратно во двор. Они гостили всего два дня, а Лиза уже вся извелась. Ленусь и Мишуня не терпели деревенского быта и собирались завтра уезжать, чему Лиза в душе чрезвычайно радовалась. Ленусь с утра до вечера «пыталась загорать» на дворе под хрюканье свиней, и выглядело это комично. Постоянно во двор забегали соседи. Тетька Людка обкладывала плиткой камин, тетька Шурка просила на бутылку или приходила к Нине Васильевне «попить чаю», заскакивала посплетничать разносящая почту почтарька Любочка, маленькая, замужняя, некрасивая женщина, влюбленная в молодого лесника и имеющая с ним тайную связь.

Все это раздражало Ленусь, как и вечный ор мелких под двором, зовущих Лизку играть в двадцать одно или подкидного. Это была слишком шумная и живая деревня. К тому же слишком вонючая, как выразилась Ленусь, потому что тогда в каждом доме еще вели хозяйство. Даже Нина Васильевна и Григорьич завели свиней. Правда, свинки только третий месяц жили в домике, а Нине Васильевне уже надоело с ними возиться.

Как стемнело, на дворе повесили пару керосиновых фонарей, а пока Нина Васильевна гремела посудой, звенела приборами, Мишуня, вооружившись кальяном, который развела Ленусь, начал читать «Похождения бравого солдата Швейка». Мать натужно смеялась, Григорьич ржал раскатистым, противным и высоким смехом.

«Наверное, я такая же, как они, ничем не отличаюсь. Какая я артистка, я дрянь. Я стала грубой и косноязычной. Я теряю себя», – думала Лиза и вытирала слезы, бежавшие из глаз. Но, услышав легкий стук в окно веранды, даже через комнату, она встала, накинула олимпийку и вышла на крыльцо. Мишуня, не переставая читать, потягивал кальян. Длинная, белолицая и красивая, как модель, Ленусь, сидя на качелях, пила пиво из высокого бокала. Мать суетилась за столом, нарезая огурцы и хлеб.

– Мам, я прогуляюсь с Глебом... – спросила Лиза, подойдя к матери.

Нина Васильевна вздохнула.

– Может, не надо, пока Ленусь тут... А то она тебя зашпыняет.

– Плевать, – буркнула Лиза, – отобьюсь.

– Ну иди, только не очень долго... – вздохнула Нина Васильевна. – Ты долго с ним гуляешь.

– Мы просто ходим. В лесу ходим, дышим. Болтаем... – отозвалась Лиза.

– Болтаем, – передразнила ее мать. – Ладно...

Лиза, больше ни с кем не прощаясь, выбежала за ворота.

– Привет лоху! – крикнула Ленусь в спину Лизе.

– Я таких не знаю! – огрызнулась Лиза и хлопнула дверью.

Мишуня не останавливал чтение.

– Ты чего такая? – спросил Глеб, подходя из мрака. – Плакала?

– Идем, идем, – сказала Лиза быстро. – Идем купаться.

– Ночь же...

– Ну и что... пусть ночь...

Глеб стащил с себя курточку, от которой пахло табаком и немного сеном. За спиной его что-то висело.

– Накинь-ка... – сказал он. – Я еще плащ прихватил, посидеть чтобы.

Лиза надела курточку, и они пошли прочь от двора.

Луна светила позади, и Лиза видела две одинаковые тени на дороге, свою и Глеба. Только ее тень была длинноволосой, а его – подстриженная, и от этого равенства теней Лизе захотелось смеяться.

Ведь если тени равны, то и люди тоже...

Глеб все еще боялся брать Лизу за руку в деревне, но, когда они оказались на повороте к реке, на заросшей ольхой дороге, он цепко схватил ее локоть и пополз вниз, к горячей ладошке, целуя ее запястье.

– У тебя горячие руки, – сказал он в пустоту ночи, – ветер поднялся, идем от реки.

– Нет, я не вернусь, пока они не заснут, – сказала Лиза с обидой. – Пусть заснут. Идем в лес... Лучше бы мне вообще жить в лесу.

– В лес нельзя. Там опасно во время ветра. Сучки падают.

– Пойдем тогда укроемся от ветра и где-нибудь пересидим.

– Пойдем, – вздохнул Глеб, – если больше некуда. Мои тоже все дома...

И он, прихватив ее за локоть, метнулся к кустам.

– В кусты? – вскрикнула Лиза от неожиданности.

– Да, а чем тебе кусты не дом? – сказал Глеб.

Лиза нервно засмеялась. Ей было стыдно и обидно, но больнее было за слова Ленусь, она вспоминала их с горечью, перебивавшей стыд.

В кусте ветер был не слышен. Он шумел где-то за пределами, обходя его, как шатер. Глеб что-то перебросил через плечо и развернул плащ, в котором пас коров.

– Вот тут мы точно дома, – сказал он и, усевшись на ветки, увлек за собой Лизу.

Ее лицо оказалось совсем рядом, и Глеб замер на мгновение. Лиза впервые была так близко, вся, он вдохнул ее тепло и, отпрянув, набросил на верхние ветки плащ, раскинув его жестковатые крылья вокруг.

Под плащом почти сразу же стало жарко.

– Скажи мне, сколько тебе лет? И если не столько, сколько на самом деле, ты пойдешь к себе домой, а я к себе... – сказал Глеб шепотом, поправляя волосы Лизы за ухо.

– Двадцать, – ответила она глухо, я же... уже два года отучилась в театральном... Меня отчислили... за профнепригодность. Так сказали...

Глеб улыбнулся.

– Я бы не сказал... ты хорошая артистка... или как вас там еще называть... врешь ты классно.

– Хорошая... но я отказалась целоваться со своим партнером... он мне не нравился... не нравился, и точка...

– А... добре, панночка... – добавил Глеб. – Вполне разумное объяснение. А я думал, что ты только школу окончила.

– Нет, ты ошибся, – прошептала Лиза, беря его лицо в ладони.

Она дрожала так, словно замерзла и не могла согреться, но это был не холод, а наоборот – жар.

– Глеб... поцелуй меня, как позавчера... сюда поцелуй... – шепнула она прямо в ухо Глебу и поднесла его руку к шее.

Ветер гремел какой-то далекой жестью, бился о борта плаща, и куст будто бы гудел от напруги.

Лиза водила руками по голой груди Глеба и вдруг стала развязывать завязки его штанов, беспокойно перебирая пальцами. Глеб схватил ее за руки.

– Что ты делаешь... зачем...

– Я хочу потрогать...

– Зачем тебе... не шали!

– Хочу...

Глеб, не в силах сопротивляться, помог с завязками и опустил голову ей на плечо, предавшись жаркому любопытству.

– У меня в голове закипело, – тихо сказал он.

– И хорошо... – ответила Лиза.

– Хорошо-то хорошо... только... опасно. Или тебе все равно, что опасно?

Лиза тихо смеялась, целовала его, прикусывая вместе с веревочкой от крестика кожу над ключицей и будто бы ждала чего-то. Глеб сосредоточенно молчал и тоже улыбался.

Наконец Лиза соскользнула с его коленей.

– Давай побудем здесь еще.

Глеб завязывался накрепко.

– Нет, идем. Ты шкода, шкодница. Я начинаю тебя бояться.

– А себя не боишься?

– Боюсь, конечно. Поэтому нам надо идти домой.

– Еще рано, мои не уснули.

– Идем ко мне, на сено. Хотя... нет... не треба так...

Лиза застегнула рубашку с выражением растерянности на лице.

– Ты думаешь, я не готова, да?

– Я не готов.

– Я не нравлюсь тебе, ну, как женщина?

Глеб снова притянул ее к себе.

– Слушай, женщина... Ты так прекрасна, что солнце перед тобой становится на колени. Но я не встану. Так, трохи опущусь...

– Встанешь... – шепнула Лиза и больно укусила его за подбородок.

– Ты не женщина, ты лодка с пьяными матросами. Твой парус красного цвета, я видел такой в детстве. Его несет без его воли прямо на камни. И тебя несет на камни. А матросы твои пьяные, да, они перепились и потеряли весла.

– Я... просто я... не могу по-другому... – жалко сказала Лиза. – Я плохая, да?

– Нет, ты просто прешь на камни, – ответил Глеб. – Или подумай о своем пути, или разбейся к черту.

Он снова схватил ее в объятия и сжал так, что где-то в ребрах Лизы хрустнуло, и легкий стон вырвался из ее груди.

– Ты хочешь так, сейчас? – спросил Глеб. – Я ведь тебя не пожалею, ты меня не знаешь, совсем-совсем. Потом ты будешь плакать, говорить, что я плохой, что... обидел тебя. Потом ты мне все припомнишь, а что останется мне? Не обращать внимания?

Лиза замотала головой.

– Нет... нет... не буду плакать... Но ладно... хотя бы проводи меня домой, – сказала она. – Или не провожай, как хочешь.

Когда они вышли из куста, ветер уже утих. Он щекотал тонкие ветви ольхи и временами набрасывался на тростник, издавая шумный шорох, похожий на неразборчивую непрестанную молитву.

Доведя Лизу до Отченаша, Глеб еще раз прижал ее к себе. Отсюда был виден слабый свет в окнах его домика.

– Что бы тебе ни говорили обо мне, не верь, – прошептал он, погладив ее по щеке. – Мне не верь, никому не верь. Верь только себе. Нам уже поздно думать. Раньше надо было думать.

– А я не хочу думать, – прислонилась к его груди Лиза. – Я хочу, чтобы все шло и шло.

***

Погостив еще два дня, Ленусь и Мишуня уехали. Брезгливо дергая ногами, Ленусь так и не заставила себя залезть в воду и проплыть, когда подошла к реке.

– Фу, тут гуси понасирали! – сдвигая бровки, завизжала она, увидев, как на нее тучно идет белое гогочущее стадо.

– Д-да... это тебе не Ямайка и не Тай... – поддакивал Мишуня.

Они как-то совсем быстро собрались, расстроив родителей, но обрадовав Лизу, захватили корзину раков, которых им рано утром наловил Глеб, ползая на шпильке пузом по дну.

Мишуня бросил на стол на веранде три стодолларовые купюры и сказал обыкновенным своим сиплым голосом:

– Вот, погуляете тут...

Словом, нужно было покупать дрова, корма для поросят и кур, Григорьич временно был безработным и свободным, а Нине Васильевне оставалось ждать пять лет до пенсии. Они полностью зависели от доброты и денежной помощи Ленуси и Мишуни. Теперь и Лиза неожиданно должна была сесть им на шею или идти работать... Только поэтому она старалась не ругаться с сестрой, сносила ее уколы и упреки, понимая, что Ленусе, конечно, нет ничего сложного помогать им, потому что денег у них куры не клюют. Хотя любые долги нужно отдавать. Вот тут и вопрос – чем отдавать... покорностью и любовью или завистью и злобой. Но в отношении Ленуси и Мишуни чувства смешивались.

Весь следующий день Борис Григорьич и Глеб провели в разъездах. Они ездили в лесхоз заказывать лес на гараж, таскали с разрушенных колхозных сараев трубы для виноградного навеса, к вечеру нашли подходящий чугунный уголок и вкапывали его на берегу, чтобы привязывать катер. Лиза полола морковь и лук, изнемогая от жары.

Приходили мальчишки, но не дозвались ее. На грядке Лизе грезился вчерашний ветреный вечер, ее новые ощущения, ее страхи смешивались с гордостью, и вообще в голове собрался такой борщ, что она к полудню легла спать и спала до четырех вечера. Мать ее не будила. Тихо кормила поросят, тихо рубила кабачки и даже успела сбегать в лес за грибами колосовиками. Грибы, с намусоленными росой шляпками, рассыпались по холмам, их было так много, что Нина Васильевна еле тащилась с огромной корзиной и все краснела от своей мерцательной аритмии.

Пока Нина Васильевна бегала по лесу, а мужчины занимались работой, Лизе снилось что-то неожиданно-приятное – солнце, шишки под ногами, радуги и большие пушистые птицы с синим оперением.

Глава пятнадцатая
Стонущее дерево

Месяц висел совсем низко над ветвями сосен, а Глеб повел Лизу к тому месту, которое присмотрел еще несколько недель назад. Там никто не ходил и не прыгал, кроме диких козуль, лис и белок. Маринка и Ва-

трушка пару лет назад палили здесь костер в траве, у противопожарной полосы, но все равно устроили пожар. Тушили всей улицей. До сих пор обугленные, метра на два от земли, сосны чернели меж живых сестренок. Словно сам лес вырастил эти густые кущи для какой-то тайны. Словно хотел слепить ненадолго свою судьбу с чьей-то человеческой. И не все равно было лесу, кто сюда придет и что оставит. Он глядел деревьями и шумел ветвями и хвойными лапами, словно неравнодушно и внимательно глядел. До реки отсюда было недалеко, но ее отделяли от леса низкие заросли шипастой акации. И не нужна была сегодня им река.

В лесу было так тихо, что их шаги, хруст шишек и хвои отзывались далеко кругом. Месяц, будто приколотый, стоял на месте.

Лиза села на бревно. Глеб бросил фуфайку на землю и принялся возиться с костром.

– А картошку будем печь? – спросила Лиза, вздрагивая от странного ощущения. Ее будто обступили и теснили со всех сторон деревья.

– Страшно в лесу? Боишься? Не бойся, тут нет никого. Звери нас давно услышали и ушли подальше в кущери.

– Не боюсь. Я в лесу так далеко, ночью, в первый раз, – призналась Лиза.

И тут с высоты скрипнуло дерево, раз и еще раз. Оно застонало от ветра, и Лиза вскочила.

– Ну чего ты, это же дерево... – успокоил ее Глеб. – Дерево! Не будем мы тебя обижать...

Лиза села обратно, и через несколько минут веселые пятнышки света заплясали, стремясь ввысь оторваться от костра. Глеб сидел рядом и курил, потирая голову двумя пальцами, свободными от папиросы. Лиза молчала, думая, что еще нужно сказать сейчас, когда уже слова потеряли всякий смысл и вес. Наконец Глеб обернулся к ней и стрельнул окурком в глубину искр.

– Знаешь, что хотел сказать тебе? – начал он неровным голосом, за который Лизе стало стыдно. Она скользнула взглядом по его спокойному лицу, по глазам, цвета которых не было видно в темноте, в них отражался только огонь. Или, может быть, сейчас они не могли быть другими.

– Ты мне стала очень дорога. Дороже всего на свете, – продолжил Глеб без волнения. – Кохана... Если я чем и спасаюсь, сейчас и теперь, то только думая о тебе. И потом буду думать, когда... в общем, потом. Всегда. И не мечтай, что я перестану.

Лиза улыбнулась уголками губ. Дыхание ее сбилось, и она задышала часто-часто.

– Я вполне себе представляю, что такое может с нами случиться там, далеко. И мне как бы все равно? Но я не жалею себя.

– Это бывает... – сказала Лиза. – Если ты... только вообще кого-то умеешь жалеть.

Глеб толкнул палкой костер.

– Привстань. Жарко.

Лиза приподнялась, поправила на плечах фуфайку, пока Глеб пинком не откатил назад дерево и не потянул ее за рукав, отсесть от разгоревшегося костра. Он, не говоря ни слова, почти уронил ее на хвою, стаскивая джинсы, пытаясь двумя руками уложить Лизу так, как ему было удобно. Лиза молчала, поджав к груди руки, как дохлая птичка, судорожно хватала воздух полуоткрытым ртом. Наконец она почувство-

вала на своей шее горячее дыхание, влажность поцелуя за ухом, потом на груди, сухие ладони за спиной, на лопатках – щелчок расстегнутого лифчика, звук распавшейся надвое молнии, и уже небо, засыпанное низкими звездами, стало метаться вверху вместе с ней, вместе с верхушками сосен.

– Прости меня, я уже не могу... – прошептал Глеб, оторвавшись от ее губ и что-то перехватив где-то внизу, быстро забросил ее ногу себе за спину и толкнулся вперед и так закрывал ее от света и комаров своим телом.

Лиза зажмурилась и только еще сильнее обхватила его коленями, чтобы он не передумал.

– Ты готов... готов... – прошипела она ему в ухо, – не бойся, давай...

Он еще несколькими движениями протащил ее по расстеленной фуфайке, подхватил к себе и, дрогнув как подстреленный, упал ей на грудь головой.

– Что я сделал, что я сделал... – шептал Глеб. – Ты же девочка... а я дурак... я дурак...

И поцеловал ее в глаза, и в лоб, со страшным отчаянием и трясясь, как от лихорадки.

Лиза обняла его за шею, почувствовав, что волосы его взмокли от пота и на лбу – мелкая россыпь соленых капелек. Ее трясло, но остановить эту нервную тряску она не могла.

– Не бойся, не бойся, Кузнечик, не бойся... целуй меня... еще целуй.

Глеб замотал головой, обнял ее лицо ладонями, словно пытался повиниться.

– Как я не смог понять, что ты и целоваться-то не умеешь, дубина я... А ты... со-вра-ти-тель-ница...

И встал, быстро застегивая джинсы и рубашку. Лизе сразу стало холодно, она привстала и завозилась с одеждой.

Одевшись, Лиза принялась выбирать из волос хвоинки. Внутри все дрожало от адреналина, и казалось, что незнакомый жар сейчас разорвет изнутри. Хвоинки кололись, руки не поддавались.

Глеб наломал сухих веток и бросил их в костер. Искры пыхнули снопом и растаяли в темноте.

– Я же... тебя люблю... иначе бы... не смогла... – сказала Лиза.

Глеб встряхнул фуфайку и накинул ее на плечи Лизе.

– Да... конечно... – задумчиво произнес он. – Но может быть, ты просто очень смелая... или дурная...

Лиза закрыла глаза. В них все еще качалось тревожное небо в мигающих звездах, и дерево снова застонало в клубах дыма, поднявшегося от костра.

Глеб сел рядом, и она положила ему голову на плечо.

– Спасибо тебе, Кузнечик...

– За что?

– Ты спас меня...

– Да от чего?

– От всего... от меня, от страшного... это ты подарил мне... что-то хорошее.

Глеб прижал ее к себе.

– Это ты подарила. А я дурак, а ты девочка...

Месяц ушел за горы облаков, и стало темнее. Костер постепенно задыхался дымом, блек и таял, пока на горизонте серой полосой не разлился серый свет зари.

Лиза пришла домой уже под утро. Ей было спокойно и хорошо до того, что она тихо пробралась на веранду, съев ужин, заботливо оставленный матерью на столе, легла под одеяло, ощупала себя с ног до головы, выбросила из волос еще несколько хвоинок и заметила на себе новый запах, которого прежде не знала. Он был чужим и новым, таким же новым было и тянущее ощущение в животе. Лиза свернулась под одеялом, к ней пришел кот и лег на подушку, вытянув все четыре лапы. Он еще долго смотрел в окно на перемигивание теней и, вздохнув, наконец положил круглую голову на пушистый ковер хозяйкиных волос.

Глава шестнадцатая
Неудачные свинки

В престольный праздник решили резать поросят. Нина Васильевна долго терзалась мыслями, около трех дней, и поняла, что она не готова растить их дальше.

– Лучше я заведу побольше курочек! А то свинки как дети, к ним привыкаешь! – сказала она Григорьичу. – Да и неудачные эти попались! Никак не растут!

Решено было начать в семь утра, но с самого ранья Григорьич принял на грудь и ждал Глеба, сидя за столом, под грушей.

Груша уже сбрасывала плоды, и порой Григорьич получал по голове и плечам жиденькие удары от переспевших грушек, мелких и кислых.

– Ну, и не закусишь с вами... мать вашу... – ругался Григорьич, искоса поглядывая на нож, лежащий перед ним.

Он оборачивался к загончику, где весело похрюкивали свинки Машка и Васька.

– Давайте, давайте... дышите еще пока, – приговаривал Григорьич и наливал себе новую муху водки.

Нина Васильевна подошла к столу с полным подносом жареных кусков сазана. Рыбу с вечера принесли Андрей Хлусов и Борька Гапал. Зарабатывали себе на самогон, трясли чужие сети.

– О... набрался уже, – вздохнула Нина Васильевна.

– Дак престол же! Надо и выпить! А зачем именно сегодня колоть свиней мы договорились? – прорычал Григорьич.

– Не хочешь – не коли. Пусть растут! Пусть они нас съедят! Посмотри, сколько они жрут! А уборки? А сколько от них го... навоза! Фу, да и какой навоз! Я бы никогда не подумала, что свиньи так воняют! А почему сегодня? Ты же сам решил, что на свежину Отченашева пригласишь. Или забыл?

– Сейчас прямо и заколем...

Наверное, в деревне этой прежде и были некие особенные правила не колоть свиней в праздники, но Григорьич их не знал и знать не хотел. Он был упертым, и если решил бить сегодня, то должен был сегодня, и непременно.

Он встал, растер громадные ладони, покидал ножик из руки в руку, «хакнул» еще водки, плюнул под стол и зашел в загончик.

Довольная Машка, увидев хозяина, рванулась к нему тыкаться в сапоги пятачком, как обычно.

– Мать! – позвал Григорьич. – Прибери Васятку – сначала ее.

Нина Васильевна, притащив ухват, оттолкала Ваську за огородку, и Григорьич остался с Машкой один на один. Он взял в руки нож, но Машка снова кинулась к нему бодать мысок, и Григорьич, раскинув руки, замер и захныкал.

– Ах ты же моя... кровинка... Как же я так буду...

– Нечего со свиньей говорить! Бей ее скорее! А если не умеешь, я Глебку крикну, – рыдая, сказала Нина Васильевна с крыльца. – Развезло его, а?

– Да что, я совсем хренорукий, свинью не завалю! – воскликнул победоносно Григорьич и кинулся на Машку, чтобы схватить ее поперек туловища.

Машка, быстро сообразив, что от нее хотят, стала бегать по загончику и визжать, но без отчаяния, а с каким-то задушевно приятным покриком.

– Да она думает, что ты играешь с ней! – добавила Нина Васильевна. – Вали ее навзничь!

– Да как! Она ж вырывается!

– Нет, она должна тебе лечь и распоясаться, черт ты старый!

– А то как же! Кто ее кормил, растил... как, понимаешь... родную дочь...

Григорьич поскальзывался, поднимался, падал и снова вставал. Наконец ему удалось схватить Машку за заднюю лапу.

– Господи, помоги! – перекрестилась Нина Васильевна, и ее как ветром сдуло с крыльца в хату.

Григорьич ударил. Машка вырвалась и побежала с ножом в груди, истошно визжа. Григорьич изъюлился и, прыгнув на Машку, вытянул нож и снова ударил, схватив ее за ухо. Машка, испугавшись еще больше, прыгнула на него, потом, отскочив, побежала на огородку. Думая, что все уже кончено, Нина Васильевна высунулась из-за двери с менторским советом:

– Да смотри, чтоб Васька не испугался! – крикнула она, потрясая петрушкой. Она как раз заправляла суп, но забыла о нем напрочь.

Григорьич вымазался в поросячьей крови, навозе и грязи. Он, покачиваясь и расставив руки, снова шел на Машку, а та, уже тупее тыкаясь пятачком в сетку, визжала жалобно и беззащитно.

Григорьич снова ударил. Но то ли полтораста грамм помешали ему утвердить руку, то ли ему было жалко и страшно, но неубиваемая Машка уже невыносимо громко кричала.

– Ну что ты творишь, дурак! – заругалась Нина Васильевна. – Руки у тебя не из того места растут, свиней ему бить!

Григорьич, схватив Машку за ногу, ездил за ней по жиже загона и, казалось, был обречен.

Глеб в это время перескочил через калитку, молча подошел к загону, открыл его, перекинул Машку на спину и одним движением обездвижил ее. Машка в последний раз взвизгнула, несколько раз дернулась и застыла. Григорьич сплюнул грязь.

– О, профессионал.

– Второго колоть? – спросил Глеб коротко.

Григорьич кивнул.

Глеб ногой откинул загородку, отделяющую его от Васьки, и через минуту тот, коротко взвизгнув, также замер.

Глеб вышел из загончика. Он обтер штык-нож о тряпицу и загнал его за ремень.

– Хряка задержали... Надо было раньше с ним... а девку зря так, Григорьич...

Григорьич на мяклых ногах вышел следом.

– Ну ты же у нас многознающий, а я-то что... Я еще до армии на хуторе своем свиней бил. А потом... город... милиция...

– Нет, дядя Боря... Надо сначала колоть, а потом пить.

– Поговори мне еще!

– Ну... ладно, дядя Боря. Больше так не делай.

– Ишь, выискался стервец.

– На это я так скажу, дядя Боря: не можешь срать, не мучай жопу.

Григорьич качнул головой.

– Да... да... правильно все сказал... Да ты не собирайся, погоди... разделывать будем.

– У меня нож для разделки дома. Я схожу.

– Мать! Поставь четвертину-то хоть! – крикнул Григорьич.

Глеб вышел со двора и столкнулся с Лизой. Пока резали свиней, она вылезла через окно и пережидала в лесу в одной пижаме. В ее взлохмаченном и беспокойно-недовольном виде было много милого.

– А... привет, – бросил Глеб, подавляя в себе чувство прикоснуться к Лизе хоть пальцем.

– Всё? – вздохнула она.

– Всё. А чего ты испугалась? Ваш папаша всю свинью изрезал.

– Вот поэтому я и смылась в лес. Они так кричали!

– Как же ты хочешь быть деревенской, если боишься?

– А я не хочу быть деревенской! – фыркнула Лиза с презрением.

Глеб смерил ее взглядом.

– Да ну! А я думал, что хочешь...

И замолк. Крылья носа его раздувались. Лиза тоже сдвинула бровки, как заклинатель змей, и молчала. Глеб сплюнул и пошел, ничего не сказав, домой за ножом.

***

– Наливай, дядя Боря!

– Ты ж не пьешь.

– Сегодня пью. – Глеб скосил глаза на Лизу, сидящую в углу с чашкой чая. Лиза сжала губы.

Григорьич налил, Глеб выпил.

– Щас-ка мы будем варить головизну и делать этот... – перебирая слова, сказал Григорьич. – Ну, который из головы-то...

– Зельц, – поправил его Глеб.

– Да! Сальтисон! Э-э-э... это у вас зельц, а у нас – сальтисон.

– Фиолетово, – сказал Глеб, налил сам себе и выпил не морщась.

Григорьич, хмыкнув, закусил куском свежезажаренного мяса. Глеб есть не стал, занюхал рукавом и снова налил.

– Ну, за всех здоровье, быть добру, – сказал Григорьич.

– Добре, – отозвался Глеб.

– Хорошо мы проработали, Глебка.

– Будьмо... – и Глеб, подмигнув Лизе, выпил еще.

Лиза, закусив губу, вскочила и выбежала в другую комнату, плеснув чаем из чашки на коврик.

– Лиза, иди свежины поешь! – позвала ей вслед Нина Васильевна.

– Я трупы не ем! Я ее с детства знала! – крикнула Лиза в ответ.

Глеб и Григорьич хором засмеялись.

– Ишь какая хрупкая! Тонкая душевная организация! Понял? – скривился Григорьич.

– Понял, – уже дрогнув рукой, ответил Глеб, закусывая луковицей.

– И ты смотри мне...

– Что смотреть?

– Осторожно с ней, того-сего, – и Григорьич поводил ладонью в воздухе.

Глеб помрачнел. Ему показалось, что краска заливает его лицо горячей волной.

– Что вы имеете в виду?

– Ну, против я не намерен, а если что... и пришибить могу.

– Вы зачем это, дядя Боря, так порешили свинью... – выдохнул Глеб.

– А хотел и порезал. Моя свинья, – проблеял Григорьич.

Глеб налил.

– И мне плесни, – сказал Григорьич скрипуче.

– Вам уже много будет.

Григорьич вдруг переменил лицо:

– А ну я сам знаю. Лей. Щенок.

Глеб плеснул в стопку последнее, что было в пузатой белой бутылке.

– А это вы зря. Мужчину нельзя называть щенком. Потому что мужчина может обидеться.

– Да! Только не загоняй мне тут. Мущщина.

Глеб встал.

– Приятного аппетита, мне пора итить.

– Куда, куда... – протянул Григорьич, – а ну, сядь-ка... А как ты его... и-и-е-е... Можешь, умеешь... практикуешь...

Глеб кивнул Нине Васильевне, сидящей молча на другом конце стола и наблюдающей весь разговор, и вышел.

– А свежины-то своим, вот, возьми! – Нина Васильевна вскочила и побежала следом.

Глеб остановил ее в сенцах.

– Нет, благодарю вас.

– Как же... помог же ты нам – и резал, и разделал...

– Не едят они. Постуют.

– Как постуют? Что сейчас за пост?

– Вечный пост, Нина Васильевна, – приглаживая влажные от домового тепла волосы, ответил Глеб. – По религиозным убеждениям. Ну и привыкнуть бояться. А то как-то в последнее время они стали хорошо жрать с вашей доброты. Боюсь, привыкнут, и потом я полягу тут, как соломенное чучелко на огороде.

Глеб толкнул калитку и вышел. Он шел до дому медленно. Лиза догнала его.

– Извини папку. Он дурак, когда пьяный...

– Я заметил.

– Ты... я... что-то не так сказала?

– Ты все не так сказала.

Лиза нахмурилась.

– Извини меня.

– Нет. Я должен подумать.

– О чем?
– Как быть дальше.
– Но у нас же все хорошо...
– Хорошо? Ты называешь это хорошо? – Глеб, оглянувшись, нет ли кого-нибудь, подтащил ее к себе за рукав джинсовки и обнял чересчур сильно, так, что Лиза негромко вскрикнула.
– Пусти...
– Да? Уверена?
– Пусти меня! Кузнечик! Отпусти!
Глеб хотел поцеловать Лизу, но она вывернулась.
– От тебя... самогоном несет! И еще чем-то гадким...
– Да, конечно, я же колол ваших свиней. Мяса заработал.
Лиза отдувалась и часто дышала.
– Завтра поговорим.
– Завтра так завтра, панна Лизунчик!
– Не называй меня так! – крикнула Лиза и топнула ногой, сама от себя того не ожидая.
Глеб презрительно бросил ей через плечо.
– А вы, панна Лизунчик, не топайте на меня ножкой.
Она хотела что-то ответить, но не посмела и побрела домой.

Глава семнадцатая
Дом пана Белопольского

Дома у Белопольских спали. После вчерашнего скандала на столе валялись осколки бутылки и стаканов. Адоль воевал с матерью за полтинник, чтобы сходить на набережную к Шубышкиным за самогоном. Мать в результате ушла в пять утра из дому по грибы и до сих пор не вернулась. Завернула, видимо, с грибами к куме Любаньке и, скорее всего, осталась там ночевать. Адоля тоже не было. Пил с Хлусовым. Значит, надолго. Маринка и Яська спали вместе на одной кровати, согревая друг друга под драным, побитым молью ватным одеялом.
Глеб убрал осколки, смел на руки куски хлеба и объедков, чтобы не разбудить младших, отнес Яську на печь и укрыл покрывалом.
Почему бы не позвать сюда Лизу? Наверняка она такого не видела и не увидит. А тут сразу все решится. И дальнейшая судьба их отношений. Глеб упал на скрипучую кровать, сразу провалившись в тяжелые мысли. Темно и страшно. Этот дом, этот быт, эта неумытая бедность, это тяжелое нищенство.
И никакой труд не поможет, потому что все, что Глеб добывает, расходится на прокорм этой пестрой семейки.
Зачем в этом аду такое чувство, кому оно нужно?
Он никогда больше не попадет домой, не увидит море, не наденет синюю курточку с золотыми якорями на воротничке. Дед больше не поднимет его на плечо, чтобы он посмотрел на корабли в порту. Огромные белые корабли и морские баржи, груженные кубиками разноцветных контейнеров. Оттуда можно было бы убежать. Спрятаться и убежать в другой мир, в другую страну. А отсюда бежать некуда. Все реже прорывается его лучшее, слоями набрасывается на душу плохое. Скоро ничего белого не будет видно через сажу и смолу, которая так плохо смывается...

Глеб встал, вспомнив, что нужно идти точить штык-нож, что назавтра и у Отченаша работа.

Штык-нож от винтовки «Маузер» – это было все, что осталось от деда. Сточенный, трофейный, старый... Глеб украл его у бабки из сундука, когда они собрали вещи для переезда из Слободки. Мать думала, что будет приезжать в Одессу каждое лето с новым мужем. Привозить детей на море. Но вот уже семь лет они были прикованы к этой дикой стороне. Жених по объявлению оказался совсем не таким славным, как писал в длинных красивых письмах. Может быть, это вовсе не он их писал?

Бабка приехала только дважды. Первый раз она выдержала неделю, когда родился Яська. И второй раз она привезла денег, чтобы они могли бежать. Глеб тогда должен был идти в седьмой класс. Но мать обреченно вздохнула и отказалась бежать. Ей было стыдно бежать. Она разом сломала под корень несколько жизней из-за этой своей новой судьбы, теперь, заболев от вечного недоедания, тоски и отчаяния, у нее просто не было сил изменить обстоятельства.

Глеб заставил себя подняться, в сенцах обмыл лицо из ведра. Соскочив с крылечка, вошел в низкий, обмазанный кизяком сарай и достал с полки оселок.

Гладя лезвие ножа по шершавому камню, он улыбался, но на глазах его то и дело появлялись капли слез, которым он не мог дать никакую волю.

Вдруг в ворота стукнули. Глеб напрягся и, отложив оселок на место, взялся за рукоятку ножа. Если это Адоль, он точно его убьет и прикопает. И тогда...

Нет, это стук робкий.

Глеб побежал через двор к калитке, загребая галошами. Рванул хилую дверку.

Лиза в голубой, длинной, клетчатой рубашке, с заколотой на макушке косой и пакетом стояла у калитки.

– Ты чего здесь?

Лиза смутилась, стала мять пакет.

– Да я... принесла Яське игрушки... тут перебирала у себя...

– Тебе самой скоро рожать, а ты чужим детям раздаешь... – грубо ответил Глеб, не пуская ее в калитку.

– Да уж, конечно, скоро... и он мне... не чужой, он твой брат...

Глеб забегал глазами, не зная как быть. Пустить? Пусть увидит?

– Ладно... этого козла дома нет, мать тоже не вернется сегодня... заходи.

Лиза вошла в темный двор, украшенный только яблоней, растущей посреди него.

– Мне завтра работать, я немного занят был... – объяснил Глеб свою взлохмаченность.

– А сейчас?

– Сейчас я тоже занят, но если ты хочешь, то зайди. А то на улице комары.

Лиза поднялась по полуразваленному крыльцу и вошла в сенцы. На веранде была устроена кухня. Стоял стол и плитка.

В доме сопела Маринка, разметавшись на кровати, и белая Яськина ручка живописно свисала с печки.

Глеб втолкнул ее в переднюю комнату, где спал один, когда к нему не подселяли мелких. Лиза сперва опешила от бедного быта этого дома, который осветил низкий фонарь из окон, от ободранных стен, грязных

половиков и отсутствия межкомнатных дверей и вообще какого-либо личного пространства.

Глеб зажег свет. Маленькую лампу у печки.

– Вот, теперь можешь сделать свои первые выводы, – сказал он отрывисто и сел, вытянув босые ноги, на половичок, у стены.

– Вот у нас стол, стулки, в городней хате спят мамка, Маринка и Яська... а я тут, в вулишной.

– Чего? – переспросила Лиза, стоя посреди комнаты.

– Ну, окна задней комнаты выходят в огород. А окна передней комнаты, выходят на улицу, – объяснил Глеб.

– А... поняла... вы тут с вашим суржиком...

Лиза, стараясь не подать никакого вида, бросила пакет и, потоптавшись и оглядевшись, не нашла ничего другого, как сесть Глебу на колени.

Глеб развел руки.

– А... так ты не только смелая, но еще и глупая, да? Все-таки я был прав!

– Почему? – спросила Лиза и поцеловала его в лоб, обвивая руками за шею.

– Потому что ты и сейчас со мной и будто не видишь ничего, да?

Лиза отпрянула назад.

– Я же сказала, что люблю... или ты думаешь, что я испугаюсь твоей квартиры, то есть... это меня должно как-то отвратить? Все мы одинаковые, когда голые. Любят не за все это. Любят другое.

Лиза дотронулась до губ Глеба полуоткрытыми губами.

– Я сделал глупость, не надо было мне тебя так близко подпускать... – отвернулся он в сторону, и в свете лампы его волосы стали ярко-золотого цвета и сам он стал будто живее.

– Ты три дня не приходил.

– Мне надо вообще исчезнуть за то, что я сделал, дурак.

– Но я буду плакать.

– Уедешь в свою Москву...

– Останусь с тобой.

Глеб замер и грубо схватил Лизу за запястье.

– Ты маленькая и злая, и не ответишь за то, что сейчас несешь. Я буду отвечать, слышишь?!

– Слышу. Я отвечу. Все всегда отвечают. И я отвечу. А как – никому не известно!

Глеб раздергал клубок волос на Лизиной голове, и они осыпались ей на спину. Он снова вдыхал ее запах, прижимал к своей голой груди ее грудь, маленькую и горячую, а сам словно был не здесь, а в другом мире, может быть лучшем.

– Ты неправильно... двигаешься... – задыхаясь, сказал он, надо вот так, а ты... не умеешь, расслабься... слушай меня... – и Глеб, схватив Лизу под выпирающие ребра, приподнимал и опускал ее, пока она, широко открыв глаза, не пискнула и не запрокинула голову, и легкие судороги не побежали по ее телу. Тогда Глеб отпустил ее вдруг потяжелевшее и мягкое тело на половичок.

– Девочка... – сказал Глеб шепотом, – немедленно иди домой... иначе... я не...

Но Лиза, тяжело дыша и поводя глазами, словно готовилась потерять сознание, села на полу, поджав ноги, как была – в расстегнутой рубашке

и юбке. Глеб застегнул ее, поднял на руки и вынес из дома. У калитки они снова переплелись руками, и Глеб чуть не упал, зацепившись за лавочку в темноте. Оторвав от себя Лизу, он шепнул ей в ухо:

– Мамка твоя знает?

– Нет.

– Не говори никому, ничего никому не говори... Хочешь сказать, скажи речке, скажи песку, скажи дереву... но людям не надо. Люди не поймут.

Лиза кивнула, махнула рукой и, оступаясь и тихо смеясь, быстро исчезла в темноте. Глеб услышал, как она ударила затвором своих ворот и, накопав в кармане папиросу, откинулся на деревянный настил ворот.

– Или наказание за что-то... или... черт его возьми... – сказал он и пошел в дом, закуривая.

Маринка, скрипнув сеткой кровати, приподняла лохматую голову:

– Трахаетесь? Я мамке расскажу.

– Убью, – сказал Глеб Маринке. – Только слово скажешь. Убью и закопаю в береге.

Маринка хмыкнула и натянула на голову одеяло.

***

Передав через Маринку записку, которую та спешно же прочитала и обсудила с Ватрушкой, Лиза ждала Глеба вечером на карьере.

Ласточки уже обустраивали гнезда в теплом песке. Пахло смолой и хвоей, от реки доносился свежий ветерок, но он не охлаждал Лизу. Глеб быстро шел по краю обрыва в сапогах, одетый как бандит, с ремнем и неизменным штык-ножом на бедре.

Он подошел к Лизе и, прежде чем она успела сказать ему что-то, толкнул ее с края карьера в песок, в одну из вымытых дождями ложбин, скрытых под корнями сосен. У Лизы сбилось дыхание. Глеб прижал ее к разломанному надвое корню дерева и, схватив за обе руки выше головы, сказал спокойно и без раздражения:

– Я, кохана, уже хотел было злиться на тебя, но не буду... – и, перевернув Лизу, задышал ей в завитый от влажности затылок.

Лиза уперлась лбом в ствол сосны и обхватила его, чтобы не упасть.

Песок мерно ссыпался струйками на ее спину и волосы, ласточки испуганно свиристели, подняв переполох от незваных гостей, а Глеб все никак не отпускал Лизу, пока ее рука, держащаяся за шелудивую кору, не задрожала, как брошенная тетива. Глеб схватил ее на руки, и они спрятались в ложбине, облепленные песком и хвоей.

Лиза обнимала его и что-то непонятно шептала, птичьим языком – то ли слова, то ли междометия, слившиеся в тяжелую жаркую речь.

Глеб целовал ей голову, руки и плечи, стянув майку и забросив ее куда-то на дно песчаной норы, и снова и снова, уже дав себе волю и право, говорил что-то, не слушая Лизиных слов.

Прошло около часа или чуть больше, когда они успокоились и лежали рядом без всякого движения. По груди Лизы ползли муравьи, и Глеб ловил их, давил и смеялся. Он дышал в ее волосы глубоко и сладко, думая о том, что все ее причуды прекрасны, и с ними он готов жить всю жизнь. Смиряясь и воюя, а потом снова разводя на пустом месте искры...

«Я же знаю, что так не будет длиться вечно. Все это провалится куда-то...» – думал он упоенно.

– Мокрый песок... мне надо идти домой или сушиться у костра... – шептала Лиза. – Я грязная, надо на речку...

– Ты знаешь, как заканчивается даже самый красивый роман... Вот этой самой грязью. Иногда хуже... – сказал Глеб, вздохнув. – Я, пока был мелкий, читал очень много. У нас в Слободке была такая хорошая библиотека... и библиотекарша... тоже... А мне было двенадцать лет... Я начитался...

– Саранча и лягушки?.. – закрыла ему рот ладонью Лиза.

– Что «саранча и лягушки»? – тяжело дыша, улыбался Глеб, отводя ее ладонь.

– Я их боюсь...

– Я их всех прогоню, кохана.

– Прогони их всех, Кузнечик.

Лиза смотрела, как ловко он зажигает костер от сигареты, как греет ее замерзшие ноги, как укрывает от прохлады вечера своей одеждой, и удивление брало: откуда в нем такое?

– Мой дед был моряком, капитаном. Он был очень уважаемым человеком, краснофлотцем. Когда он умер, палили из винтовок, на корабле, где он служил... а я мелкий был, мне лет семь было, Маринка только родилась. Мы стояли на пристани, и мать везла ее в коляске на панихиду... И я тоже поднял пистолетик, у меня был, и пальнул пистоном вверх. Она, мать, размахнулась – и как даст мне в ухо... Тогда кончилось мое детство. Все сразу кончилось.

– А отец?

– Что тот отец... я его вообще не помню, дыра в памяти вместо него. Как корова языком слизала. Помню только, что мне идти в школу, а я на молочную кухню бегу и тащу коробки с питанием... а потом за уроки. И так вился, падал уже... Мать тогда была красивая, ей-то было всего двадцать четыре года, когда родилась Маринка, я очень ранний. Совсем то есть... Помню, как мы шли, а мать... у нее глаза же, видела, да? Это не те глаза, что сейчас. А те глаза были во все небо... так на нее смотрели мужики. И нашла же она упырка этого, ну как?..

– Да никто не знает, что нас ждет... – задумчиво сказала Лиза, подставляя к костру голые пятки, уже огрубевшие от хождения босиком.

– Ты похожа на мою тогдашнюю маму. Резкая ты.

– О, вот этого не надо только...

– Я о хорошем. В тебе есть какая-то сила, которая... заставляет хотеть того, чего хочешь ты.

– Это у всех нас есть.

– Не у всех, уж я-то знаю.

– Ты дитя природы.

– Я? – улыбнулся Глеб. – Как хорошо это звучит... Нет, это ты дитя природы. Лес и река – это твои родители, смотри, как они к тебе ластятся... в лесу сразу становится тихо, как ты туда входишь, потому что ты идешь в лес не вредить, ты идешь сюда, как в храм...

И Глеб, склонившись, поцеловал Лизины ноги. Она отдернулась от него, но особенно вырваться не получилось, потому что он уже дошел до коленок и начал щекотать ее за пятки.

Лиза уронила голову на сырой мох.

– Я хочу быть с тобой... – шепнул Глеб ей в самое ухо, – бери меня, даже если я умру, и ешь мое сердце.

– Я не питаюсь мертвыми сердцами, мне нужны живые... – отвечала Лиза, отводя с его лица светлую прядь. – И одного хватит.

Глава восемнадцатая
Столбовая луна

Пока Сейм нагрелся, но не зацвел, пришла пора ловить раков.

Борька Гапал, с дурацкой кудрявой паклей на голове и носом, свернутым немного набок, Солдат и Андрюха, Лелькин брат, постоянно торчали на пляже, напротив шпилька. Приезжали дачники, и сразу же им предлагалась теплая, свежепойманная рыба и раки. Ну, собственно, и грибы.

Пьющие бабы, которые не ходили на буряки и вообще не работали, бегали по грибы, продавали их дачникам. Некоторые торговали молоком и всякими творогами, ягодами и яблоками. На этот счет ничего нельзя было добыть матери Глеба. Она ездила в колхоз пуроться, сама видом не лучше этих буряков. Глеб тоже не мог, подобно отчиму, беспробудно пить и оставить семью без пропитания. Он в любой свободный час что-то добывал.

Глеб пришел домой мокрый от реки, он так и нырял за раками и лазал по низкому берегу притоки с кимлей, треугольной сетью на распорках, чтобы продать рыбы мурманчанам или питерцам. Он потратил на это занятие весь вечер после пастьбы и так упластался, что едва стоял на ногах, но, уже уходя с берега, ему встретился Григорьич.

– А! Глебка! А ну, идем порыбачим!

Глеб вздохнул. Помог столкнуть катер в воду и погреб.

– Только недолго... мне б домой... уже надо, – сказал он, чувствуя, что у Григорьича так и свербит что-то ему сказать.

На середине реки, за шпильком острова, примотали катер за металлический крюк, торчащий из воды.

Голавль шел плохо, Григорьич несколько раз бросил блесну.

– Ни хера! – злился он, раскатисто вскрикивая над студнем отуманенной воды. Громадные толстолобики так и перевертывались совсем близко, в лататье, издавая весельный стук лопастями хвостов. Глеб курил, радуясь короткому отдыху, но стал уже замерзать в тонкой рубашке и, сев на нос, поджал ноги.

– Вы меня потащили... а я не рыбак... – извиняющимся голосом проговорил он, словно пытаясь сгладить напряжение, вдруг возникшее в катере.

– Поговорить хотел, – не глядя на него, бросил Григорьич, поправляя бейсболку, и добавил кислым голосом: – О Лизаветке.

– Луна-то столбовая, клева не будет, – кивнул Глеб.

– Нет! Ты мне тут про луну не заливай! Я уже и так все понял. Разве я не отец? Отец! Я все понял... ну и что? Что вы собираетесь делать?

Глеб задрожал внутри и бросил окурок в воду.

– Ну, отвечай, что? У тебя же ничего нет! Ты кто? Ты – никто. Думаешь, всю жизнь в наймах проработать? Да? Так ей не надо этого. Ей нужна хорошая жизнь, как у старшей сестры, вон она замужем за новым русским. И нам помогает... и сама... А ты что? Ты чем нам поможешь? Голь же ты перекатная...

Глеб молча потянулся за второй папиросой. Пытаясь не дрожать руками, зажег спичку и затянулся. Григорьич продолжал.

– Вот представь себе такую ситуацию. Вот вы догулялись. Она принесла в подоле. И что я буду делать? Она с пузом, ты с хером собачьим. Сесть к нам на шею? Нет, не получится. Кто вас повезет? Я? Тебе Москва нужна? Нет у нас той Москвы. Тебя мы к себе в квартиру не возьмем. Она себе найдет нового русского... нормального, упакованного мужика, и ты разве сам этого не видишь? Она же... ну я не знаю... цветок!

Глеба начало потрясывать еще больше. Он чуть не застучал зубами. Григорьич при этом разговоре делал руками жесты, хлопал себя по коленкам и чуть не утопил спиннинг. Голос его стал чужим, и все доверие Глеба к нему мгновенно растаяло.

– Чего ж вы тогда ваш этот цветок сюда привезли? – выдавил наконец Глеб. – На погибель, от этих? На нее уже весь райцентр спорит. Кому она достанется. И Серёга Пухов первый!

– Я сказал! – повысил голос Григорьич. – Сказал! Хватит этого мне вашего цирка с конями. Спорят они! Расставайтесь потихоньку, чтоб мне к осени ее спокойно отвезти домой! Без истерик ваших. Тишком-нышком, и разойдетесь. И не мутите мне воду!

– Странный вы мужчина, Борис Григорьич! Вроде как взрослый, а предлагаете что? Петлю на шею или камень с омутком? Вы ей предложите. Она вас... она вам скажет... разнесет, что щепы не соберешь. Она уже взрослая, и не надо ей заглядывать под юбку, что там с ее подолом. Это ее подол. Ей решать.

Григорьич глянул поверх очков.

– Что? Это ты зачем мне сказал? Ты чего из себя строишь? Я отец. А ты кто? Лох деревенский! Правильно Ленусь сказала, собирает она таких лохов, как ты!

Глеб молча встал в катере, бросил пустую пачку «Примы» на дно и, стащив с себя сапоги, перекинулся в ночную воду.

– Эй! Ты что! – испугался Григорьич, хватаясь за борт. – Глебка! Я же пошутил! Глебка! Эй!

Григорьич успокоился, только услыхав в тумане, охватившем реку, тяжкий тихий звук удаляющегося Глеба. Услышал, как он выходит из воды, как хрустит палками у берега, поднимаясь на кручу.

– Глебка! Завтра пахать огород! – протяжно крикнул Григорьич, понимая, что наговорил зря, обматюкал себя с ног до головы и, свернув спиннинг, сел на весла.

***

Глеб не мог спать. Хоть он привык к коротким часам сна, но сейчас никак не мог сомкнуть взгляд. Мокрая одежда высохла на нем нескоро, но он не думал о ней. Впервые ему хотелось закончить все одним рывком. Вон и слега подходящая, и веревка вон, которой он сбатовывает Рёву на выпасе.

– И все кончится сразу. Сразу и навсегда, – сказал он. – Со мной слишком сложно, я сложный. Я не для этого мира и не для того. Я вообще ни для какого мира. Я никто.

Он слушал, как в загородке вздыхает собака, как коты идут мягкими лапами по шиферному забору, как подошла и залаяла лиса в ближних деревьях, и шаги, и шелест травы. То возвращался Григорьич.

Глеб, вместо того чтобы думать дальше, закопался в сено и заплакал. Он бы напился, но не мог. Все спали, и всё в доме выпили еще накануне.

Лиза тоже не спала. Она слышала, как вернулся отец. Как он ругался с матерью, долго и нудно что-то доказывая ей, эхал, охал, матерился. Стучал кулаком об стол, а потом затих, громко ударил дверью и ушел спать.

За ним пришла и Нина Васильевна. Она легла, и они оба мгновенно захрапели. Что-то было не то в этом разговоре. Лиза напряглась. Она хотела вылезти в окно и побежать, обнять Глеба.

Теплая ночь стрекотала кузнечиками и звала к себе.

Лиза знала, что Глеб и Григорьич были вместе на реке, но, видно, повздорили о чем-то. Но разве можно было представить разлад между ними?

Глава девятнадцатая
Борозда

Горькое утро наступило и для Глеба.

Он сходил за конем к деду Купочке, приготовил плуг и шлеи, запряг коня и через прирезок Отченаша, где весело блистала ляжками окучивающая картошку Лелька, вышел в огород Бориса Григорьича.

Лелька махнула ему и снова отвернулась в бурьян. Обиду она ему не простила. Шаландалась с мужиками на баню, в бывший пионерлагерь, неделями ездила с заготовщиками пух-пера, в общем, вела обычную свою шалавью жизнь. А могла бы принять предложение Глеба и сейчас сидеть невестой, ждать осенин. Но Глеб был счастлив, что Лелька отвалила и хотя бы не пишет ему записки.

Было полседьмого утра. Солнце блистало с востока, вызолачивая и травы в полной спелости, и стену недалекого леса, живописно раскинувшегося вдоль крайнего огорода. Еще парила земля, и ее легкое дыхание, скомканное в блистающие облака, уже уходило в горизонт грядами. Птицы перепархивали с высоких цветов мальвы на цветы коровяка и, раскачиваясь, срывались с треском и писком и летели дальше, играясь.

Глеб смотрел на покой села, на дальнее кладбище, обозначенное сорокаметровой посадкой тополей, которое так и называлось «Тополя», на колхозный заброшенный сад, где кормились яблоками теперь только кабаны и косули, и стена боли поднималась в его душе. До сих пор он умел лишь работать, а сейчас еще что-то другое вошло лезвием между заботой и тяжбой и раздвигает для себя его плоть и его душу, чтобы проникать насквозь, посадить на иглу или крюк как жука бронзовку, предназначенного для скорма рыбе.

Жизнь теперь казалась ему рыбой, для которой его приготовили. Да что там приготовили – родили, вырастили. И теперь отдадут в жадное жерло.

Глеб погладил коня по опавшей спине, поглядел на его сбитые в кровь ноги, облепленные оводами. Время работы всегда для сельских лошадей самое страшное. Как он с такой болью в изъеденных ногах идет еще работать? Покорно принимая удары от леворуких и неумелых господ из Москвы, возомнивших себя вольными землепашцами...

– Пробачь мени, Малыш, я не буду тебя бить и не дам никому тебя в работу... Сам буду пуроться...

Малыш грустно вырывал из утолканной земли стебли осота и жевал их без всякого удовольствия.

Прибежал опухший Григорьич.

– Мать борща наварила, после поедим.

Глеб сурово наряжал коня в многочисленные ремни, шлейки и подпруги.

– Я буду сам! – скомандовал Григорьич и завязал платок на голове.

– Старый конь борозды не портит. Глубоко даете. Вот вам тут я заложил на нужную глубину, – и Глеб равнодушно указал рукой на тяжелые колесики плуга.

– Ну должен же я научиться!

– Учиться вам уже поздно... этому знанию с детства приучают.

Григорьич плюнул в сторону и выхватил у Глеба ручку.

– А ну! В сторону!

Глеб отдал с усмешкой.

Конь стоял.

– А ну-ка, пошел! – рванул Григорьич и вонзил зуб плуга, наклонив колеса, в ломти черной, как уголь, земли.

Конь дернул и, переступая ногами, пошел, открыв почти беззубую пасть и почти сразу от натуги выгнув язык.

– Давай, давай, дохляк! – кидал плугом Григорьич. – Ишь, еле живой!

Конь шел, тяжело переступая, слишком медленно, чтобы это могло радовать Григорьича.

– Да что за херовина! Почему он тащится!

Наконец конь, тяжело фыркнув, пошел бегом, а Григорьич еле поспел за кидающимся направо и налево плугом, вырванным из земли.

Григорьич бросил ручки и побежал во двор за черенком от лопаты. Он вернулся скоро и приготовился уже огреть коня, но Глеб, увидав, что Малыш низко опустил голову и захрапел, поводя фиолетовым взглядом, кинулся к Григорьичу, подпрыгнул до его занесенной в ударе руки и вырвал черенок.

– Да вас самих надо... отмудохать по первое число! – злобно вскричал он.

После забросил палку в заросли марабейки, красной алычи, и сам взялся за ручку, поворотив коня по меже в начало пахоты.

Малыш, чуя добрую и опытную руку, пошел, загрузнув побитыми копытами в мягкой рыхлости почвы. Григорьич, уперев руки в бока, стоял и смотрел, как Глеб, ловко попрыгивая, почти бежит за плугом.

– Вот цыганское отродье!.. И все у него так ладно выходит, за что ни возьмется... Небось, в детстве говно ел, не иначе.

***

Борщ хлебали молча. Лиза бегала с приборами, приносила хлеб и сметану, чеснок и резала луковичные головы на неумело толстые ломти.

– Вот знаете, когда мы хотим украсть коня... то выбираем в скирде ему дом. Чтоб помещался. И там передерживаем день, два, а потом продаем...

– Цыганва, точно, – с восторгом и уже добрый сказал Григорьич.

– Да! – весело добавил Глеб. – «Спрячь за высоким забором девчонку, выкраду вместе с забором...»

Григорьич сокрушенно налил по сто и опер голову о ладонь.

– Знаешь, а хороший ты пацан... извини, что я так-то...

Глеб, улыбнувшись, взялся за стопку.

– Сказанного не воротишь, сделанного не вернешь.

Он выпил стопку и от усталости, горечи и тяжелых дум сразу опьянел.

– Закуси... – предложила Нина Васильевна.

– Нет, я первую не закусываю.

Лиза смотрела из-за дверного косяка как просватанная невеста, и в ней поднималась буря негодования.

***

После обеда Глеб вышел из-за стола на ватных ногах. За воротами его окликнула Лелька.

– Привет! – крикнула она, подбегая. – Что, нажрался у москвичей? А говорил, что пить бросил.

– Нажрался, – согласился Глеб. – Шоб меня гриц взял... да... иди-ка сюда.

Он ухватил Лельку за жирное плечо и, подтянув к себе, поцеловал в губы.

– Глебка, вернись ты назад... – промямлила она. – Ты же наш... наш...

Глеб отпустил ее.

– Нет. Не сладко. Иди к черту.

И, ссутулившись, оступаясь, пошел домой.

***

Утром на нем лица не было. Он перескочил через ворота, когда все еще спали, и принялся полоскать косу оселком.

Глеб уже привык, что москвичи долго спят. Но это не мешало ему приходить и начинать какую-нибудь работу. На звук вышла Лиза; сложив руки под грудью, она выглядела чужой.

– Что, кохана, скажешь мне... – пуская дым, спросил Глеб, глядя на обитое жестью косье, а на нее вовсе не глядя.

– Ты дурак смешной.

– Что ты дуешься? Что я пил? Да, я пил! И что?

– Я не дуюсь, – произнесла Лиза убийственно-равнодушно.

– Так ты надуешься размером с корову и лопнешь.

– Дурак.

– Что? Что-то не так делаю?

– Ты все не так делаешь.

– И что я должен делать? Что должен делать... работник, чтобы панночка была довольна? Что еще?

– Подумать об мне и сделать что-нибудь.

– Что? – взбеленяясь от глупого перебрасывания словами, взглянул на Лизу Глеб.

– Поехать в Москву, учиться, работать.

– Кем?

– Ну...

– Ты подумай, кем я там буду, в вашей долбаной Москве.

Глеб откинул косу и, подойдя к крыльцу, положил руки на перила, а голову – на руки, приблизившись к Лизе.

– Ты же женщина, должна за мной, как ниточка за иголкой. А нет? Нет? В Толпино мне предлагают работу. Председатель дом дает, я буду работать. А ты будешь дома... родишь мне сына.

– Сына? Какого сына? Я только поступила учиться... – сказала Лиза и покраснела. Глеб сник и опустил глаза.

– Ты же не сможешь жить без меня, – он отошел к будке Бима и, поймав его, почесал щенку теплый бок.

Лиза ударила по теплому месту, где только что лежали руки Глеба...

– Не тебе решать, как мне жить и смогу ли я!

***

Через Маринку он передал короткую записку: «В десять на карьере».

Что такое и как случается, что она бежит к нему?

Луна путается в ветвях. Тьма и тишина. Лес хрустит.

Его нет и возле ямы, и возле ложбинки у края карьера. Она быстро идет по самому краю, где сосны цепляются за жизнь корнями. И все равно падают вниз.

И вот он идет ей навстречу так же быстро, объятием сминает ее шаг, перехватывает ее в талии и сжимает, разрывая пуговки рубашки, притискивает к сосне, и все сильнее его поцелуи, все шумнее он дышит, и сосна трясет хвоей, и вдали, за карьером тает голубая полоса вечера, обращая время в ночь.

Глава двадцатая
Чертовы ути

Когда во всю неохватную широту правого берега Сейма, еще похожего на девственную степь с буераками и ярами, с балками и логами, с кривыми сопками и муравьиным кучками, загорался вечерний свет, на Сейм выплывали рыбаки. Кто-то уходил на утлых лодках в сторону Юрасово, в затоны, в тишину зеленых вод, где под берегом тянулись сети, привязанные в укромных местах, чтобы вездесущий катер Рыбнадзора ничего не заметил. Кто-то, приякорившись среди реки, бросал удочки или спиннинги, треща катушками, чмокал квоком в затоне, куда из зимовальной ямы выходили на звук трехпудовые сомы.

Жизнь на реке начиналась еще ранним утром, когда выхухоли, ужики, бобры, норки и другие твари плескались и радовались спокойствию, а человек еще спал. Позже, к вечеру, наступал апофеоз человека. Раколовы, водолазы с острогами, рыбаки, надзор, старики с куканами, подростки с удочками и сачками, бабы с бельем причаливали к берегу.

Праздных отдыхающих не было никого, не пришло их время. Время труда и заботы еще наполняло смыслом село. Редкие машины проезжали по дорогам, в выходные в лес валили грибники. Дети, взрослые, старики вытаптывали сухие пологи бора. Отработав в огороде, или на свекле, или в еще полуживом колхозе, или у арендаторов, местные жители отдыхали древним собирательством, охотой и рыбалкой. Правда, охота теперь стала удовольствием избранных, но избранные, несмотря на охотничьи билеты, били все, что было им сподручно. Во время гусепролета, например, можно было выйти в ночи во двор и сделать несколько выстрелов. Обязательно сверху падал гусь, а то и два. Птицы было много. Лес хрустел кабанами, заходившими в ближние огороды и сжиравшими падалицу яблок, груш и слив.

Григорьич любил рыбалку, покой и тишину. Несмотря на тот случай, когда Глеб был им обижен, с Григорьича сошла неприязнь. Он понимал ценность Глеба-работника. Он все равно после целого дня возни со строящимся гаражом позвал его с собой, и на закате они вышли на катере в Гончарку, приток Сейма в самом конце села.

Они смирно сидели на лодке, почти не разговаривая, думая каждый о своем, а Глеб еще и о Лизаветиных взбрыках, как вдруг раздалось кряканье в самых камышах.

– Глебка, там никак утка... у тебя где подсачик... щас дичь принесем... – забеспокоился Григорьич и легонько гребанул веслом.

Глеб присел у борта, вглядываясь в сутемки.

– Грешным делом, это утка с утятами, – прошипел он. – Дикая, выводок.

– Так какого же! Лови их! – тихонько проговорил Григорьич.

– Идите вы! Лови! А вдруг это чужа утка!

– Давай, давай, я буду лодкой править, а ты лови!

И Глеб со смехом полез на нос катера.

Григорьич своим сдержанным голосом напугал утку так, что она, выскочив из камышей, принялась метаться по Гончарке вместе с выводком, в котором насчитывалось, наверное, штук двадцать утят. Глеб наседал сверху с сачком, а Григорьич, ревя водой, греб, маневрируя по спокойной глади и творя настоящую древнеримскую навмахию, где противником алюминиевого многорукого гладиатора была бедная утка с бедными двухдневным детьми.

Перелопатив и взмутив воду до дна, переломав тростник и перервав стебли лилий в мелкие тряпки, они наконец прижали утку к берегу, переловили сачком утят, закрыли их в брезентовой сумке и, довольные, побежали домой.

– Ма-ать! – издалека ревел Григорьич, подбегая с веслами. Следом шел Глеб, оттирая кровь с лица, исцарапанного речным рогозом.

– Утка, дичь! У нас теперь будут свои утки!

Нина Васильевна всплеснула руками, выскочила напуганная Лиза.

– Ой, ну зачем? – крикнула она, увидав в подсачике сжавшихся в сумке в кучку утят и шипящую утку, распушенную чуть ли не до размеров индюка. – Вот оно надо!

Глеб стоял в стороне, унимая кровь виноградным листом. Лиза, заметив кровь у него на лице, побежала в комнату за ватой и «Левомеколем».

Пока Григорьич бегал по двору, ища утке новый домик, а Нина Васильевна густо поливала его словами, только с сомнением могущими называться комплиментами, Лиза и Глеб успели побыть вместе минут двадцать, посмотреть друг на друга с отчаянным волнением, которое переросло в такое неодолимое влечение, что Лиза случайно уронила и потеряла в темноте «Левомеколь», и в результате рана на щеке Глеба так и осталась необработанной, но зато он успел ее несколько раз поцеловать, прижав к груди.

– Лизка! Где тебя носит! Тащи фанеру из сарая! Да там, затыкнута за граблями! – грохотал Григорьич.

– Мужчину украшают шрамы... – шепнула Лиза, и Глеб тихонько пошел домой, чтобы сделать вид, что его давно уже нет во дворе под виноградом.

С утками провозились до полночи, устраивали им загончик, натянули сетку от котов, поставили еды, а наутро решено было даже вырыть маленький прудок и носить им ряску с Гончарки.

Но утро оказалось недобрым. Кто-то с раннего ранья начал сносить ворота матюгами и ударами.

– Ах вы ж клятые дытыны! Еб вашу Москву, вашу богову мать, шоб вас перетряхнуло, ах вы ж злочинцы и фулиганы!

Утка в загородке истошно закрякала.

Всклокоченный Григорьич выпрыгнул на крыльцо.

– Шо такое? Кто горит?

– Я те погорю! К черту на сковороду тебя, короста! – раздалось с улицы.

Григорьич, разъярившись, вышел нечесаный и в одних портках.

Перед ним стоял сильно помятый дед Купочка в заломанной древней кепке, в пинжаке на голое тело и мешковатых штанах, заправленных

в живописные носки. На ногах его поблескивали рассветным солнцем огромные галоши.

– Ну що, основался тут, щоб хозяйских утей воровать? Що, голодный, дать тебе на харчи? – ненавистно проговорил беззубый Купочка, сжав узловатые пальцы в кулаки, которые, видно, в молодости были вполне себе в ходу.

– Глебка сказал, что это бесхозные ути! Дикие! – нашелся Григорьич.

– Дикия! Нет туточки на реке диких! Мои утка с утенятами! Супротив меня же пасутся на раске, а спать идут домой! Ушат ты дырявой! Лысому черту тыя на рога! Ка зна, що делаешь!

Вполне сообразив, что нравы местных крестьян, хоть и прошло достаточно лет со времен, когда тут селились казаки, не особо изменились, Григорьич козырнул и извинился.

– Дед, прости, был не прав. Не знал.

– Энтот полоз тебе нагонит с три ведра! – сказал дед, утирая трясущиеся от гнева оттянутые годами губы.

– Горемыкин-то?

– Ён! Исчо тот полоз клятущщий!

Григорьич, тяжко вздыхая, посадил утку с хозяйством в садок, претерпев щипки и шипение, стыдясь, как ребенок, и налив деду на пропой души чекушку, еще раз извинился и пошел досыпать.

Кто, вот кто донес деду, как они вчера у шпилька охотились? Вот кого за язык потянули? Или это позорище наблюдали все рыбаки на речке?

– Э-эх... дяревня... – вздохнул Григорьич еще раз и через миг уснул.

Нина Васильевна, прослушав и просмотрев эту сцену с веранды, где чистила грибы, тихонько сидела у стола и боялась ухохотаться и разбудить Лизу.

Глава двадцать первая
Гыч

Глеб спал на сеновале целое лето. Там его никто не трогал. Приходящий теплым Адоль, всегда с ревом гоняющий домашних, не особенно любил по пьяни связываться с Глебом. Тот мог его запросто заломать и огреть чем-нибудь, их силы были равны. Когда же Глеб был в поле или на работе, Адоль мог разойтись и побить всех разом. Правда, он потом шкирился по хатам, пока гнев Глеба достать его и поколотить не стихал. Словом, Горемыкиным и пану Адольфу Белопольскому всегда было чем заняться на досуге. Поэтому огород они особенно, кроме чахлой редиски и сухоперого лука да несчастной, изнывающей без полива капусты с рыхлыми листами, изожранными личинками гусениц и похожими на развешенные зеленые уши, «паны Белопольские» не садили и хозяйства не держали. Да и кому держать. Глеб вечно в наймах, Маринка нянькой при Яське, а мать, постоянно больная, лазает на коленках в буряках, полет колхозное добро за мешок сахара. А тут еще если Адоль вспоминал свою родословную – сразу пиши пропало. Он же был из княжеского роду, куда там ему работать!

Потом они перегонят сахар, заработанный заморенной Аделиной Ивановной, на самогон и продадут, поэтому мешок сахара – тоже вложение в дело семьи. Такой жизни, параллельной Лизиной – чистой и сытой,

несколько изнеженной и блаженно-беззаботной, Глеб не хотел своей коханке. Он стал думать об этом слишком поздно, когда колесо страсти уже навернуло его на обод.

Теперь оставалось только ждать разумной развязки этого смертельно затянутого узла.

Ему казалось, что вокруг говорят только о нем и о Лизе. Что, когда он выходит пасти, отщелкивая бичом дом за домом, принимая коров и телок в стадо, все хозяйки только и шушукаются об одном. Сердце его клокотало от негодования, но вместе с тем и тянущая тоска время от времени смешивалась с его глубоким и тревожным биением.

Он любил, когда дождило. Под капюшоном брезентового плаща он мог спрятать лицо и подумать о своем.

***

В самую жару из стада бежал бычок Мишка. За ним подались три коровы. Они ушли в лес на острые травы, а Глеб дежурил без подпаска и не мог немедленно завернуть их. Он оставил коров, распутал Рёву, млевшую в теплой луже у речушки, и погнал в лес.

Его неприятности начались почти сразу. Рёва припала на ногу, коровы с бычком мычали в лесу от напавших на них оводов, но выйти не могли, припершись в самый ветровал.

Глеб, жалея Рёву, слез, сбегал за гнедой лошадкой Вишней и погнал обратно в лес, где оставил Рёву и уморенных жарой коров. Плеская своей громогласной шелепугой, он выгнал из лесу коров и Мишку, набил их орешником по бокам и поехал обратно, сам весь изрезанный и исполосованный ветками и травой. Вдобавок он потерял сумку с едой, просто забыв ее на сучке.

До вечера он бродил по лугу, выискивая для Рёвы травку, чтоб приложить к стесанной бабке. Он разодрал свою тельняшку и замотал лоскутом рану на ноге лошади, чтобы кровососы не разъели ее еще больше.

Придя домой, он застал совершенно заплаканную мать и молчаливую Маринку в углу.

– Что? Опять. Этот упырь?

– Опять, – пискнула Маринка, – боговал тут... мать стукнул... и меня вот... – и она показала красную полосу на лбу, под волосами.

– Убью! – сказал Глеб и побежал на сеновал за штык-ножом.

Но мать, словно чувствуя дурное, спрятала в доме все ножи, молотки и топоры. Глеб, пробежав по селу, не нашел Адоля. Тот хорошо спрятался. Глеб поматерился и совершенно без сил пошел домой.

На дороге, напротив своего дома, стояла Лиза. Она чесала волосы расческой, и они, подволакиваемые ветерком, горели золотым медом. Глеб остановился как перед явлением святого огня, и ему впервые в жизни захотелось перекреститься. Он тряхнул головой и, повернув ко двору, пулей побежал к ведру, стоящему у крыльца. Опрокинув его на голову, он еще несколько минут сидел на корточках, обтекая, тяжко дыша, жмурясь и ругаясь, а капли, сначала мелко и дробно, а потом тяжело и гулко падали на дно пустого ведра, пока он с грохотом не отбросил его ногой и, совершенно упав духом, плечами и вообще всем своим существом, не пошел спать на колючее сено.

Любить ее было невыносимо, но не любить казалось теперь еще страшнее.

***

К концу августа на обуховском огороде в старой деревне выросла не полотая все лето картошка. Еще не проданный домик тоже звал его навестить. Там прошло несколько последних лет Лизы, когда она росла и расцветала на глазах, превращаясь из нескладного подростка в девушку, вполне понимающую свою красоту. Там, в старом доме, вымазанном красной глиной и выбеленном известью, до сих пор оставались Лизины вещи, которые ей все лето хотелось забрать, но отец никак не мог преодолеть двадцать километров между новым местом жительства и старой, фактически брошенной маленькой и теплой родиной.

Кума тоже не появлялась. Она, видно, совсем закрутилась с малышом, да к тому же была беременна вторым. Лиза иногда думала, как это, что у них за мир там, замужем? И ей становилось страшно и грустно.

Пора было косить «гыч», как его тут называли. На самом деле это была высохшая картофельная ботва. Обуховские радовались, как дети, что приехали Григорьич и Лиза, да еще с «яким-то гарнэньким хлопчиком». Как Лиза ни старалась поменьше показываться на глаза бабушкам, через полчаса прибежали все кто мог повидаться, как будто не видели ее не три месяца, а три года. Пришел и обиженный Васька, за лето сильно заматеревший и даже еще немного пополневший. На подбородке у него виднелась смешная, мягкая и редкая щетинка. Лиза пощекотала его по подбородку.

– Ну вот, уже броюсь... – покраснел Васька и отвел ее руку. – Я к тебе как-то еще приеду...

Он смерил Лизу взглядом, сунув руки в карманы штанов, и выдавил:

– Какая ты стала... фифа...

Лиза пожала плечами.

– Да ладно, можешь не приезжать.

Васька метнулся домой и принес Лизе тряпочный мешочек.

– Это вот... я был в Ялте, подарок тебе. Возьми... – промычал Васька, увидал Глеба и выпрямил большие плечи. Он был похож на великовозрастного теленка. Лиза открыла мешочек и увидела браслетик из искусственной бирюзы.

– А, камень любви! – сказала она, вспомнив, как мать носилась со своей настоящей бирюзой в колечках и сережках.

– Типа того, – густо краснея, сказал Васька.

– Раньше надо было думать... – ответила Лиза, пряча браслетик в мешочек, а мешочек – в карман толстовки.

– А это кто еще... у нас? Тот самый? – спросил он с вызовом, глядя, как Глеб таскает из открытого багажника пустые мешки и, присвистывая, поглядывает на Лизу с кривой усмешкой.

Лицо Васьки вытянулось и помрачнело. Он захлопал длинными ресницами, как любой недоросток, еще плохо справляясь с крупным и неоднозначным чувством.

– Это наш... работник Глебка. Он будет помогать косить, – нагло сказала Лиза, будто плюнула ему в лицо.

– Ясно, – крякнул Васька. – Поэтому «можешь не приезжать», да?

Лиза, будто извиняясь, улыбнулась.

Васька, потоптавшись у двора, ушел отчего-то очень озабоченный, сославшись на головную боль, а Лиза несколько минут посидела с его бабкой и пошла домой.

Глеб точил косу во дворе.

– Как ты в этих кустах жила, коханка, это же кущери настоящие, – подмигнул он Лизе.

– Да, теперь все здесь уже не такое... – вздохнула Лиза.

И тут, как назло, прибежал еще один древний ее воздыхатель. Тринадцатилетний мальчишка по прозванию Мясушко, младший брат кумы. Мясушком назвал его Григорьич за то, что на свадьбе сестры он метал мясо как подорванный, и на вопрос: «А картошку почему не ешь?», ответил: «А я только мясушко люблю!».

Вот так он и стал из Шурки Мясушком.

Мальчик рос красивым. И джентльменом. Ему не с кем было играть, а Лиза иногда даже делала с ним уроки. Старшая сестра металась по женихам, пока не наметала себе живот и не вышла замуж. У Лизы не было никаких подобных интересов. Ей нравилось сидеть с Мясушком за учебниками и учить его считать яблоки и кирпичи. Он, узнав, что приехала Лиза, кинулся без всяких церемоний обниматься к ней, чуть не плача от радости, что увидел ее, и они ушли в дом, оставив Глеба одного.

Пока Григорьич бегал здороваться по соседям, пока он искал себе компанию вечером съездить на плотину порыбачить карасей, Глеб выкосил весь гыч. Он был весь глянцевый от пота. Повязав на лоб свернутую рубашку, опустил на шею подол, как житель пустыни, и с косой наперевес шел по меже, лениво кусая подобранное в садике белобокое яблоко. Дойдя до соседа Архерея, он зацепился с ним языками, и они стали трепаться обо всем на свете. О межени, о дожде, о ссаном лете, о цвялом сене, о помидорах и гарбузах. Потом он помог Архерею поймать гусака в ячмене, отклепал косу на его камне, наточил ему все ножи и снискал даже глечик молока из рук Архереевой супруги бабы Кати.

– Ой, – щебетала она, – откуда ж ты такой ладненький и добренький... хлопчик...

– Антоновский я, – отвечал Глеб, блеснув белозубой улыбочкой.

После он пошел до другой соседской бабы, горбатой Юли, где помог ей стащить на хату табак и расстелить его там. Ее внук Васька в это время лежал в своей комнате и грустил о потерянной надежде на Елизавету. Баба Юля дала Глебу кусок вишневого пирога, и тот понес его Лизе. Открыв дверь, он увидел, что Лиза спит на полу, на красном ватном одеяле, подсунув под голову фуфайку, а рядом, голова к голове, обняв ее косу, спит Мясушко, как верная собака. Лиза так спит, как будто она фарфоровая и расписная куколка, но рядом лежит этот маленький подлец в шортах и майке, видимо притворяясь, чтобы во сне ее полапать!

Глеб сдвинул брови и надкусил пирог. Он тихонько притворил дверь и ушел в берег выкупаться в прудке. Пот с него лил градом.

Охладившись, он все же решил, что Мясушко слишком мелкий, чтобы ревновать к нему Лизу. Но Лиза его женщина, его, Глеба, так какого черта ее касается даже этот мелкий чамар? Глеб копнул ведро картошки, вымыл ее у журавля и принес на крыльцо. Прибежал Григорьич.

– О, а это самое... – начал он рассеянно.

– Все кончил. Идите гуляйте, пока Нина Васильевна вас не видит... Когда вам еще погулять да выпить? – сказал Глеб, вытрушивая картошку из рубашки. – Елизавета пожарит нам картошки.

– А! Ну я пошел к Романычу, там у него дела какие-то... это самое... – суетливо затараторил Григорьич. – Но очень надо, давно не видались, надо просто вот так...

– Идите, идите... приходите только исть. Если вас там не накормят.

Григорьич, прихватив из машины купленную по дороге бутылку водки, потрусил к старику Романычу.

«Сейчас загляну: если он там... выкину за шиворот», – подумал Глеб про мелкого воздыхателя.

Он заглянул. Лиза сидела, сложив ноги уголком, и смотрела в маленькую книжечку. Она уютно напевала и водила концом косы по ладони. От этого зрелища Глебу стало нехорошо, он прислонился к стенке.

– Спать где будем? – спросил он чуть хрипло.

– Вы там... а я тут, на полу... – не глядя на него, ответила Лиза.

– А... ну иди я тебя хоть поцелую, – шепнул Глеб с надеждой.

Лиза мотнула косой.

– Иди, там поработай... там работы куча...

У Глеба перехватило дыхание.

– Слушай, голуба... И ты иди-ка почисти картошки и пожарь ее.

Лиза метнула рассеянный взгляд.

– Картошку? Хорошо... Только дай мне ножик и воды принеси.

– Сама принеси, – рассердился Глеб и, хлопнув дверью, ушел на огород искать себе дела.

Лиза около двух часов возилась с картошкой. Пришел нетрезвый Григорьич.

– Эх, дочка, чего картошку не дожарила? Сырая картошка!

Лиза с обидой вскинула подбородок.

– Я впервые в жизни это делала, пап!

Глеб прыснул смехом.

– Вот дела, как телка родила...

Лиза взбешенно вскочила и убежала в дом.

Еще около часа Григорьич и Глеб о чем-то болтали, громко и смачно смеялись, о чем-то спорили, наконец по-стариковски откашлявшись и отплевавшись, Григорьич пришел в переднюю комнату и завалился на диван. Глеб тихо зашел и еще сидел у стола, подвязывал плетку под свечой.

Лиза не спала. Натянув одеяло по самые брови, она судорожно дышала и ждала. А вдруг он сейчас зайдет, а там Григорьич...

Но тут с улицы позвал мужской голос. Григорьич, загремев диваном, встал.

– Эх-ма, наверное, Жека... – трогательно произнес Григорьич. – Там же барана сегодня резали...

– Идите, дядь Борь, я сам сейчас отрублюсь.

Григорьич вышел.

Лиза замерла. Из-за окошек доносились голоса Григорьича и соседа дядьки Жеки. Они удалялись...

Кто-то ударил засовом ворот. Потом зашелестел ключами.

Дверь в комнату приоткрылась, скрипнув едва слышно.

Лиза выглянула из-под одеяла. Глеб медленно раздевался в темноте. Только свет фонаря с улицы выхватывал его гладкое тело из тьмы.

– Тебе не странно, что мы уже месяц встречаемся, а еще ни разу не встречались в постели? Я даже не знаю, какая ты в постели, – сказал он, и от этих слов Лизе стало горячо.

– Думаю, что странно. Зато мы ведем экзотическую жизнь, – сказала она.

– Да... эти наши встречи не каждому даны... а вот этот мелкий... в следующий раз... пусть топит, пока при памяти. А то загоню его в воду и напиться не дам.

– Это смешно! Он же мальчик! Да и к тому же ты распугал всех кавалеров, а ради чего?

Глеб, склонившись, одним движением сорвал с Лизы одеяло.

– Ого! Да ты тут в чем мать родила! – как будто бы удивившись, сказал он.

И Глеб, набросив на голову одеяло, пополз к Лизе, зачем-то остановившись на полпути.

– И для кого мы разделись, кохана? – спросил он, выныривая у самых ее глаз...

– Ревность – чувство людей недалеких. Мясушку я вырастила...

– И выкормила... – прошептал Глеб, зарываясь в волосы Лизы. – Ты лучшая мать всех мясушек... во всех окрестных селах.

– Трепешься... много... – сказала Лиза, схватив его за волосы, но не больно, а стараясь еще сильнее прильнуть.

...Григорьич, вернувшись в ночи, ничего не заметил. А если и заметил, что на матрасе в передней комнате пусто, то виду не подал.

Глава двадцать вторая
Вдвоем

В первых числах августа им пришлось остаться вдвоем на два дня. Они остались.

Излишне говорить, что оба надолго не покидали постель. Лиза заперла двери, зашторила все окна и не включала свет ни днем, ни ночью. Вечером Глеб, покачиваясь и улыбаясь чему-то очень своему, опасаясь, что Лелька притащится в гости, тихо выходил во двор покормить кур и Бима. Лиза в этих кормлениях не участвовала. Она подогревала еду, оставленную матерью в холодильнике, бесшумно, на цыпочках, шелестя гривой, ставила чайник, хрустела крекерами в глубине и темноте дома. Глеб возвращался, и они снова теряли счет времени, теряли белый свет, ночную тишину, осторожность, волю, правду, головы и сердца.

Все останавливалось в мире, как перед болевым порогом, когда хочешь и не можешь потерять сознание. Лиза училась быть новой – и медленной, как улитка, и быстрой, как ласка. Глеб учил ее этому. Не уставая и не теряя ни минуты времени, данного им на откуп.

Она понимала, что потом пройдут дни, месяцы, годы, возможно десятилетия, не останется ничего, время сотрет все, но, глядя на ямку над ключицей, глядя на коленную чашечку, на запястье, на виски, на шею, на себя всю, она будет памятью тела помнить эти часы. Что там дальше, было уже не важно. Не важно – кто она и кто он. Но, просыпаясь ночью, зажигая свечу от зажигалки, видя утомленного Глеба, спящего навзничь, как мертвый, Лиза хотела только одного, чтобы он отпечатался навек в ее глазах таким, каким она знает его сейчас. И она бросилась в омут, трогала его, целовала, гладила, терзала, и ей не было стыдно и страшно.

– А вдруг... будет маленький... – с волнением задыхался Глеб, снова разводя ее руки, чтобы хоть что-то успеть сказать.

– Не будет!

– Сначала нам надо пожениться... – шептал Глеб.

– Какой ты глупый! О чем ты сейчас думаешь? Думай обо мне. Смотри на меня.

И она укладывала его ладони себе на грудь, словно созданную для них и только для них, словно она была вылита по форме для его рук, приносящих смерть и восславляющих жизнь.

Он, не думая, не мысля, предался этому жадному огню и уже сам не надеялся выйти из него живым. Пусть все будет так, пусть свершится невозможное, но только пусть оно свершится.

– Вот Пенелопа ждала Одиссея столько лет... Ждала его из тумана. И ты дождешься меня из тумана, – шептала Лиза, торопясь обнимать его, но уже без сил.

– Одиссей, насколько я помню, был царь... А я кто? Я пепел... я есть, и меня нет... надеюсь, наша разлука не будет длиться столько... – отвечал Глеб.

Им, казалось, не хватит дыхания жить друг без друга.

Лизе в эту единственную ночь между двумя днями приснился сон. Подошла незнакомая длинноволосая девушка, не она ли сама... и взяла ее руку, перевернув ладонью вверх, и читала по линиям.

– Чем ты быстрее откажешься от него, тем лучше. Потому что он твоя беда.

Лиза очнулась от Лелькиных петухов, перебирая эти нехорошие слова в голове, и даже записала их в тетрадочку. В пять утра солнце уже поднялось над лесом. Мать с отцом должны были приехать сегодня.

– Глеб... открой глаза. Мы потеряли счет времени, – улыбаясь и выпрастываясь из своих запутанных волос, сказала Лиза, и тут же он схватил ее в руки и бросил в подушки, не пуская своим телом встать.

– Нет, нет... я готов... готов... – шепнул он спросонку.

– Что ты готов, к чему...

Глеб раскинул руки.

– Умереть. И ты умирай вместе со мной. Лучше не надо больше жить.

Лиза вскочила с постели, натянула сарафан и села заплетаться.

– Мавка, – сказал Глеб. – Ты просто мавка, коханка. Я, наверное, уже умер и попал в рай. А тебе домовой косицу сплел.

Лиза толкнула его голой пяткой.

– Тогда пора воскреснуть. Не надо больше...

– Дай поблаговать...

– Не дам. Надо идти за водой.

Лиза взяла ведро и вышла на свет. Солнце еще не согрело землю и не извело в небо росу.

Лиза, чтобы побыстрей проснуться, пошла босиком до колодца. Она старалась не шуметь ведром, опускала его тихо, но шум вала все равно далеко улетал в чистой пустоте утра. Из леса на дорогу Гапал выгнал телят и коров лесника, проехал Вовчик-лесничонок, осторожно кивнув Лизе. За ним прошел Гапал с пугой.

Со двора Дроныча и от Рядых вышли коровы и заспанные хозяйки, Шурка-Шкурка и тетка Людка с испанским лицом. Лиза несла ведро, но на полпути от колодца, напротив дома Лельки, Глеб перехватил его. Он был без рубашки, в одних джинсах. Лиза оглянулась. Обе соседки, опустив глаза, подглядывали, шумно балаболя на хозяйственные темы. Но как только Глеб перенял ведро у Лизы, увидав это, они скрылись за

воротами. Глеб притянул Лизу к себе и с долгим поцелуем прижался к ней, вороша ее только что заплетенную косу.

Лиза уронила ведро. Опомнившись, она отскочила от Глеба.

– Здаров! – крикнул подошедший Гапал, потирая красные глаза. – Как ваше ничего?! Где нонче пасти, братка?

– С пивом потянет! Гони сегодня под Обуховку и пусти их на то пастбище, где я был во второк, чтоб они собрали там всю траву. А то есть там один... потерпевший... пасун, мать его... Пусть его бабы нахлобучат за то, что коровы придут порожние, – отозвался Глеб и, подняв ведро, пошел до колодца.

Гапал, посвистывая, махнул Лизе. Та, обхватив озябшие плечи, стояла у двора.

***

Следом за Гапалом Глеб пошел запрягать Рёву. День обещал быть жарким. С утра уже жарило солнце. Рёва без настроения ржала тоненько и противно. Глеб посмотрел на нее и вздохнул.

– Ах ты, курва, рыготна стала? Где же ты скрестилась, сукина дочь?

Действительно, бока Рёвы красноречиво раздулись. Глеб приложил к ее шкуре голову и сразу же отпрянул.

– Вот ты курва... еще и двоятами понесла... Как же я с тобою теперь буду обращаться?

Он задал Рёве овса и, приготовив воды, пошел до деда Тесленко за конем Градом. Град был очень строптивым конем. Глеб это знал. Но умел усмирить и Града. Не было такого коня или лошади в принципе, которую он не мог бы приручить к себе. То ли какое он слово знал, как думали другие, то ли просто брал терпением и жестокой выездкой. Тем не менее, Град даже обрадовался побегать на лугу.

Глава двадцать третья
Полконя

Но это было только начало утра. Накануне Борька Гапал ударил бычка Мишку по бочине цепью. И привязал его к стене выгона, чтоб не убежал. Тот оставался у летнего загона привязанным все дни, потому что Борька заметил, как он пытается огулять телок. Да и бабы, приходившие на середнюю дойку, стали замечать, что Мишка-де вырос и сильно возмужал, чем угрожает их молодым телочкам, пасшимся вместе с коровами в одном стаде. К сожалению, да, Мишка вырос и стал взрослым. Это раньше он был забавным теленком с томными глазами, с шерстяной вихрастой полосой на хребте, что говорило его будущем нраве. Хвост тоже всегда стоял дугой, что и дало ему возможность пережить юность и остаться племенным для стада. Но теперь Мишка оброс новой шерстью, приобрел косматый горбик и полный ярой, молодой силы взгляд. Он стал большим, и его уже нельзя было просто напугать, он сам выбрал себе хозяина, и этим хозяином был не обидник Борька, а Глеб Горемыкин. Мишка хорошо запомнил Борькину цепь, хоть и что ему цепь: ерунда, колыхалка. А вот что-то в голове его коротнуло.

Глеб, проезжая мимо на Граде, внимательно оглядел Мишку. Мишка, сопя, опустил голову и оглушительно замычал, жалуясь.

– Опять накосячил, огульник чертов? Накосячил – сиди на цепи. Бил тебя Борис? Прально бил. Надо головой думать, а ты все ешь в нее...

Глеб шлепнул Мишку по покатому крупу плеткой, скорее опять же ласково, чем больно. Но видимо, тот был уже со вчерашнего дня задумчив и подозрителен. Глеб погнал старого Града меж ямок и холмиков на пастбище. Град плохо ходил под седлом. Приучая к седлу коней, Глеб их сперва гонял до потери пульса, а потом у него были свои методы доказать более сильному животному, что человек – его царь, но царь не злой, а лучший. Это никак не было связано с наказаниями, поэтому все животные, которые доверяли Глебу, никогда не были на него обижены. Мишка стал исключением.

Когда Глеб удалился с его глаз, он двумя рывками вырвал цепь из полусгнившего дерева, сломал третьим рывком загон, поцарапал гвоздями грудь и пошел в стадо. Гапал пас пешим, Глеб объезжал на рысях пастбище, чтобы оттеснить коров на обуховскую траву, и так отдалился от Антоново на приличное расстояние. Он хотел отомстить обуховским за Лизу. А вышло все наоборот. Он знал, где есть полынные латки среди трав, и коровы, набираясь полыни, потом дают горькое молоко, а хозяйки ругаются. Поэтому приходилось с этим что-то делать, устраивать длинные перегоны через речку, через валы заброшенной железной дороги к чистой, «едомой» траве.

Обуховское стадо, потесненное антоновским, выгнало супостатушек-коров на полынные латки к ликованию Глеба. Но сам он тоже был в этой части луга нечасто, а она вся изобиловала прорезями буераков и словно отделяла этими хитрыми стремами один кусок пастбища от другого.

Град плохо знал местность. Но Рёва больше не годилась для томительной работы на пастбище. И вот, миновав гряду вала разобранной когда-то железки-одноколейки, Глеб заметил издалека, что в стадо бежит Мишка. Бежит не радостно, а с каким-то иным интересом. Град тоже это заметил и, зафырчав, стал рваться. Глеб достал плеть, чтобы ударить Мишку, если что и напугать его. Но тут Град встал на дыбки, скаканул вперед и понес по полю, закусив трензель. Глеб не смог отобрать трензель у Града, он отдался скачке, понимая, что старый конь быстро выдохнется. Но незнакомая местность таила для Града много препятствий. И он не знал, что луг весь в кочках.

Мишка бежал наперерез.

«Неужели... задумал его остановить», – мелькнуло у Глеба в голове.

Град забежал в высокую резуху на берег реки. Со стороны пастбища отзывался Гапал разрядом бича, Глеб понял, что он перенял коров на себя. Глеб еще раз дернул трензель, надеясь вырвать его из зубов Града. И тут что-то невыносимо мощное, как чугунный шар, ударило сбоку, и Глеб выскочил из седла в болотную траву, которая смягчила удар.

Град дико заржал. Что-то завозилось, засопело, и послышался удаляющийся топот. Глеб лежал какое-то время, зажмурившись. Через топот истошно ржал Град, и травяная поросль шелестела и шептала вокруг него. Глеб, тряся ушибленной головой, поднялся. Перед глазами ехал луг, небо с рваными облачками, кущери и кочки, пух летел от взбитой травы. Глеб на шатких ногах подошел к Граду. Тот лежал на боку и ржал, болтая ногами. Из распоротого бока его ползли разноцветные кишки.

– Твою богомать! – выругался Глеб. – Мишка, Мишка, бес проклятый!

Глеб почувствовал, как кровь отходит от его лица. Он не понимал еще боли удара, но, видя перед собой смертельно раненного дурачка-Града, чувствовал, что сердце его как будто стало мягким. Он расстегнул ножны и вынул своего Тёму, так он называл штык-нож.

– Б...ская жизнь... – плюнул Глеб на сторону и, обойдя Града, зашел со спины и навалился на него, перехватывая нож покрепче.

***

Мишка был наказан вечным сажением на семиметровую цепь. Теперь Глеб сам приковал его.

Дед Тесленко чуть не бил Глеба дрыном, тот еле убежал, чтоб не связываться. Договорились, что мясо приедет к деду немедленно, как только виновник смерти Града справится с этим делом. Надо было искать телегу, чтобы вывезти Града с пастбища, коровы не любили крови.

Гапал пас до вечера, Глеб, после падения еще не успевший понять, что у него болит, поспешил на набережную договориться с ребятами о телеге, чтобы Град, ставший просто мясом, не пропал. Договорился, чтобы как можно быстрее они приехали забрать коня. Все это имело смысл делать в первый час гибели Града. Иначе дед Тесленко ни за что не простил бы Глебу такую потерю.

Глеб, раздевшись, разделывал Града прямо на траве. От павшего Града до речки было недалеко, но Глеб не мог принести себе воды. Он был в крови с ног до головы. Не такое это простое дело – разделать старого коня, к тому же он был один, а надо было еще закопать внутренности и снятую шкуру. Иногда Глеб, подавляя тошноту, выходил из травы, глубоко дышал, оглядывал пастбище и своих красно-коричневых зорек и милок, замечал плащ Гапала и, немного успокоившись, что коровы под присмотром, возвращался к топорику и ножу.

– Зачем, зачем я в такую даль заперся... Не сиделось мне на Песках... – ругал себя Глеб.

Слепни и оводы тучей вились над его маленьким бранным полем. После бессонных дней и ночей Глеб чувствовал в голове нарастающую тяжесть. Ему даже казалось, что он, освободившись, просто уснет, нет, даже отрубится на сутки, если не больше, лишь бы сошла усталость. И вот, тяжело дыша, в рубиновых от крови перчатках на руках Глеб сложил мясо на чистой траве и пошел к реке. Предстояло еще выкопать яму.

Глеб упал в воду, сразу же сделав ее красной, оттолкнулся от дна и лег на пересыпь, стирая с себя песком лошадиную кровь. Он не любил связываться с кониной, слишком много сил отнимали эти операции, но тут еще навалилось чувство вины, хоть он и понимал, что виноват не он. Он и сам Град только жертвы чьего-то небрежения. Да и понятно чьего. Но не злиться же на Гапала...

Отмыв кровь, Глеб заметил, что три пальца на правой ноге его покраснели и опухли. Он дотронулся до них, и боль, набирая обороты, пошла вверх по кости. Глеб застонал и ударил по воде ладонью. Он замер и несколько минут ждал, когда боль уйдет. Прибрежные камыши шелестели сухими лезвиями. Вороны, почуяв мертвое, осторожно каркали между собой над ивами, шумно скребя воздух крыльями, летели к бедным останкам Града. Вороны здесь были настоящие, старики красавцы размером с крупного петуха. Глеб приподнялся на руках, оглядывая себя.

– Какая мне теперь работа... – прошептал он. – Ах ты ж, божевильный ты Мишка... А я, в косую меня строчку... не доглядел...

– Кузнечик... – дохнуло с берега поверх его ругани, – что случилось?..

Глеб сглотнул, не оборачиваясь. Ему хотелось зарыться в песок к чертям собачьим, как личинке ручейника...

– Уйди! – сказал он громко. – Как тебя сюда принесло!

– Куз... Я тебя искала на Песках...

– Уйди до дому! Николы мне!

– Борька сказал... Я на Вишне... я каталась, а вас там не было, и я... по следам поехала... А что тут у вас...

– Иди и не подходь ко мне, пробачь, коханка... я... не могу сейчас.

Лиза, постояв на берегу, успела разглядеть на голой спине Глеба широкую красную полосу, идущую наискосок, почти от самой шеи вниз. Он пока не заметил этого.

– У тебя на спине рана, ты упал? – спросила Лиза, наступая в воду.

Глеб вздохнул, вымыл лицо и встал, но, сразу опершись на колено, согнулся. Все внутри задрожало от боли в ноге. Он нашел в себе силы пойти к берегу, правда, хромая. Лиза не уходила. Она впервые видела его страдающим от чего-то, сквозь загар проступала бледность. Губы Глеба тоже дрожали.

Он взглянул чужим взглядом на нее, на ее красиво убранные в две косички волосы, на черный с белыми цветами сарафан с широкими, вечно спадающими лямками. За ветлу была привязана неугомонная Вишня. Но, глядя, он не видел, не осознавал от изнеможения, а Лиза даже на четверть не могла понять его состояния.

– Где твоя одежда? – спросила Лиза строго, и от этого Глеб чуть не зарылся в землю.

– Слушай! – сказал он, прихрамывая по траве к кровавому пятну, оставшемуся от его постыдной работы. – Сбегай до Борьки. Срочно. Позови его сюда, а сама возьми пугу и последи с часик за коровами. Они Вишню знают. И тебя вроде бы тоже... Они не разбегутся, тут некуда.

– А ты...

– А я убился.

Лиза вскрикнула.

– Не блажи, беги до Борьки. Надо, чтобы он побежал за телегой, я договорился...

Лиза заплакала, но слабый голос Глеба напугал ее так, что слезы мгновенно просохли. Она побежала к Вишне, подняв сарафан, и иногда оглядывалась назад, остановившись, как мать, потерявшая в зарослях своего олененка, и, запрыгнув в седло, погнала к Гапалу.

***

Ах, как забавно получилось тогда с этим разнесчастным Градом!

Отцову телегу давал Серега Пухов, добрый человек. Он и приехал с Корявым и Кочетом забрать мясо. Глеб был уже полуживой. Он помог погрузить на чистое сено злосчастную конину и приказал ехать прямо к деду Тесленко, а сам, едва доволочившись до Бориса и Лизы, подогнавшим стадо к Пескам, упал под дерево и заснул. Лиза уехала домой, отдав пугу Борису.

Справлялась с коровами она неплохо потому лишь, что в прежние годы пасла с Васькой, в очередь. За его двор. И страх перед ними сразу прошел,

как случились непредвиденные обстоятельства. Только тогда она пасла пешей, а тут на лошади...

Она уехала, думая, как бы Глеб не сломал себе что-нибудь...

Глеб спал, завернувшись в плащ, и казалось, что он проспит так несколько суток. Выехав на асфальт, Пухов со товарищи встретили армянских строителей-шабашников на пазике, которые уже третий месяц делали ремонт в старом здании школы.

– А! – нашелся Пухов. – Хотите парной свежины?

Армяне радостно дали им денег и выпивки и, отгрузив себе полконя, погнали дальше веселые. Пухов хитро улыбался. Корявый ржал. Только Кочет как-то въяве представил, что будет с ним, если Горемыкин узнает правду. Конкретно – кого он пришибет первым и кого протащит за конем, привязав за какую-нибудь очень нужную часть тела.

– Ребят, может... на надо... – мямлил Кочет, пока разговорчивый Пухов считал деньги, сидя на телеге.

Но Пухов, размахнувшись, треснул ему оплеуху. По оконцовке деду привезли только полконя.

– А где... где... ешшо! – заорал дед, хватая грабли.

– Это ты у Горемыкина спроси! Пропил и пьяный на Песках валяется! – крикнул Пухов, отъезжая.

Дед, пожевав цигарку, решил не идти на Пески. Уже смеркалось. Но Глеба пообещал не то что убить, а уж покалечить точно.

Глава двадцать четвертая
«Любовь, что ли?»

Неделю Глеб и Лиза виделись два раза по несколько минут. Она приходила к нему, совсем немного болтала с ним через окно и, увлекаемая набегавшими соседями, вскоре исчезала. Зайти в дом к Белопольским ей было стыдно.

После нехорошего происшествия с падением и пропитым супостатами мясом у Глеба было чувство, что весь мир на него ополчился. Даже Гапал, по своей глупости... Прибегала Лелька с протертой смородиной, суетилась в доме, пока Глеб отлеживался с забинтованной ногой. У него не было сил даже выгнать ее.

Мать постоянно шарилась по соседям, а Яська умучил Маринку. Не давал ей шагу без него ступить. Его нужно было регулярно чем-то кормить, и Глебу так или иначе приходилось вставать и готовить для младших.

Но лето постепенно убывало. Река согрелась и заплыла рощами кошуры, и на мутной поверхности в штиль колебалась пленка пыльцы, через которую выплескивала белобокая рыбка и падала, извернувшись назад, сделав полный жизни и счастья кульбит.

Глеб и Лиза оба понимали, что вот так безразлично выдернуть неделю, как мережку, из этого плотного полотна невыносимо. Нельзя терять золотые дни. И Глеб поднялся. По своему состоянию он понял, что сломал два или три ребра и два пальца на правой ноге. По ночам страшно болела спина и грудь, так, что если и засыпал, то от усталости.

Но вот ему стало лучше, и, наконец, они с Лизой поплыли в затон, где можно было скрыться от вездесущих глаз местных. Там, в тишине, под треск стрекозиных крылышек Глеб целовал ее, и спокойная река плескала о гулкий алюминий обшивки катера. Лизе казалось, что это лето

вечно, и оно никогда не пройдет. Она даже не заметила, что лилии перестали высовывать из воды белые пышные головки, что вылетели аистята и стало втрое больше ласточек над рекой. Мать и отец занимались домом, садом и огородом. Лиза изредка помогала полоть, ходила за водой, брела в магазин, непременно заворачивая в лес напротив дома Глеба, когда видела, как он сидит у колонки под молодой вишней и что-то чинит. Он выбегал на ее потаенный свист и, схватив ее за руку, тащил в подшерсток леса. Они могли сидеть часами и просто смотреть друг на друга. Иногда заходили за моховые, словно бархатные холмы, в глубину, где высились настоящие корабельные деревья, ровные и прямые и поэтому приговоренные к скорой вырубке. Глеб садился на мох, а Лиза – в его ногах, и они смотрели друг на друга бесконечно долго, так долго, что и сосны, и небо с обрывками облачков, и шум ветра становились им своим миром, недалеким от мира людей.

– Я раньше боялся леса, а потом пообвык. Лес – это стихия. В нем ты и никто и его часть, он будет, когда нас не будет. Вот от нас не останется ничего, а он так же будет пахнуть смолой и хвоей, подогретой солнцем... – говорил Глеб, заклиная Лизу растворяться в лесной колыбели.

И она вглядывалась в его тинистые, озерные, русалочьи глаза, зеленоцветные, как стеклышки разных битых бутылок, коричных, изумрудных, салатовых... Смотрела на его губы с красиво прорезанным рисунком, чуть округлым к уголкам рта и оттого в вечной полуулыбке. Нос, тонкий и прямой, слишком изысканный для местных жителей... И наконец, Лиза гладила его волосы, соломенные и местами почти белые от солнца, немного волнистые на макушке.

А он целовал свежее, еще полное юностью и белизной лицо, глядя в Лизины желтоватые глаза, и на тонкие губы, словно нарисованные полутенью. В нем не отзывалось ничего, кроме горечи и отчаяния, когда он пытался представить, что же будет, когда закончится лето. Они оба не хотели думать об этом.

– Я думаю, – сказал он однажды, когда они сидели с лесу, – что полетят белые мухи, и ты оставишь меня...

– Я не оставлю тебя, пока буду дышать, – тыкаясь в его грудь шептала Лиза, – а если и уеду, то вернусь... Только будь сильным и жди меня.

– Боюсь, что придется выбирать одно из двух. Быть сильным... или ждать тебя... У меня не будет сил больше ни на что.

Как-то они шли по лесу за руки и встретили возвращающегося из райцентра дядьку Женьку Рядых, отца Лельки. Лиза поздно бросила руку Глеба.

– О-о-о... да у вас любовь, что ли? – присвистнул хмельной дядька Женька.

Глеб ничего не сказал, Лиза застыла на краю зеленой лужи, поправляя лямку сарафана, кивнув, пока старый Рядых проехал домой «обрадовать» неслучившуюся невесту.

– Ну все, теперь все будут знать, – сказал Глеб, сплюнув. – Этот разнесет, как сорока на хвосте.

Лиза покраснела.

– Может... забудет?

– Да для них каждый наш чох – это событие.

Другой раз, когда они сидели, обнявшись, под деревом, в глубине леса мимо пробежала Ирка Шубышкина с двумя шубышатами.

– Чей-то вы расселись... Обнимаетесь тут! А ну вас кабан какой увидит? – усмехнулась она, отводя будто бы немного завистливый взгляд. Глеб погрозил ей пальцем, и Ирка убежала.

В конце концов, они потеряли всякую осторожность, не в силах уже сдерживать чувств. Смешались медь и золото, и они сплелись, казалось, навечно, чтобы искрить во все стороны, ослепляя других и не понимая своей обреченности.

Приходя работать к москвичам, Глеб приносил цветы. Он рвал их целыми кустами, бесконечно и утром, когда проезжал на заре мимо, занимая коров в стадо, ударив бичом у двора, чтобы Лиза услышала сквозь сон его привет, и перекидывал букет для нее...

– Лизунчик! Твой Кузнечик едет... – вздыхала Нина Васильевна. – Красавчик, а? Ох, бедный красавчик...

Он был слишком сильно не похож на тех местных с прической «реснички» и акающим говорком, которые так выводили Лизу из себя простотой и грубостью нравов. В Глебе было много редкого. И воспитание, и удаль, и отчаяние, и какая-то невыразимая словами хрупкая красота, скрытая в его жилистом ловком теле, и трогательность, и характер, который сразу чувствовался, но был Лизе пока еще непонятен. Пока его не было рядом, Лиза бегала с соседскими ребятами по лесу, купалась и каталась на велосипеде. Она снова становилась птичкой. Но Глеб до того добавлял в ее взгляд томности, что с его приходом все птичьи свойства слетали напрочь.

***

Казалось, все становится на свои места. К Лельке забегал Борька Гапал, тоже носил цветы и подженивался. Слухи и сплетни, самые всевозможные, носились по селу. Маринка и Ватрушка подглядывали и подслушивали, но никого это не волновало. Ребята тоже перестали подъезжать к дому Лизы. Все уже знали, что она «занята» и что не стоит даже пытаться отбить ее у Горемыкина. Он хоть и молод, но своего не отдаст.

Где-то еще в июне Нина Васильевна познакомилась с дачниками, жившими у самого кордона, они редко куда-то, кроме реки, ходили, но тучная женщина Лариса с мужской стрижкой и шумным внуком Арсением иногда заходила выпить чаю. Теперь эти дачники уехали и оставили Нине Васильевне ключик от дома, чтобы за ним был присмотр.

Ключик с красной ленточкой, как из сказки о Синей Бороде, висел в связке над входной дверью. И иногда стал исчезать.

Как-то вечером Григорьич застал Нину Васильевну плачущей. Она шелудила горох, и слезы текли по окраинам ее крылатого острого носа.

– Чего ты, мать? – спросил он удивленно.

– Лизавета-то... совсем наша выросла... Смотри, уже и парня завела. А ты хоть знаешь, что она с ним... гуляет?

Григорьич понуро сел на табурет.

– Знаю. И что теперь, мать? Дите выросло, надо понимать... Они сейчас умные, может, не принесет в подоле...

– Умные! Жалко!!! – с подвыванием продолжила Нина Васильевна. – Растишь их, растишь, а они потом...

– Ночная кукушка дневную перекукует, мать... – вздохнул Григорьич. – Успокойся, сама такой была.

Нина Васильевна хотела что-то возразить, но, утерев слезы, глубоко задумалась и даже улыбнулась кокетливой улыбкой.

– Да... да... лучше и не вспоминать. Лучше не вспоминать!

***

Ключи временами пропадали с гвоздика в коридоре, и Нина Васильевна только могла предположить, куда они деваются каждую ночь.

К концу августа ночи стали прохладнее. Глеб мог в любых условиях зажечь костер, но он иногда уже не спасал от лесного холода. В доме было намного теплее, тем более им странным образом поручили изредка протапливать его.

И они протапливали, а пока огонь, раздуваемый тягой, гудел и бесновался в печи, Глеб и Лиза могли хотя бы лежать под одеялом на диване.

– А ты знаешь, мама и папа купили этот мебельный... эм... гарнитур, когда я родилась. Это мы его тете Ларисе отдали сюда. Этот диван помнит, как я с него падала. Вниз головой, когда была годовалой...

Глеб улыбался.

– Ты пропахла костром, как Жанна д'Арк... твоя мать заподозрит, что мы тут...

– Дивное сравнение, – отзывалась Лиза, – ты как всегда бьешь словом наотмашь.

Сколько километров прошли руки Глеба по телу Лизы в те прохладные ночи, они устали считать. Но через несколько дней вылетели последние ласточки, и стало совсем тревожно.

Глава двадцать пятая
Прощание

Прощаться Глеб не хотел, он думал чистосердечно, что по прошествии нескольких дней Лиза вернется и случится чудо. Это чудо заключалось бы в том, что она, поживя немного в Москве, без него, вдруг разочаруется во всех сразу и приедет назад. Но Москва большой город. Он для Глеба был туманен, как комаровский луг после третьего Спаса... Нельзя было ничего знать наперед.

Также он сильно удивился, когда в райцентре на базаре его встретил военком, поцокал языком и сказал:

– Глеб Горемыкин, а вот про тебя мы и забыли... Ну, ничего! От армии и от любви человек никуль не денется!

Забывали и других. Детей всяких местных шишек и не только, но и всех, кто засылал в откуп свинью или быка по местному обычаю. У Горемыкина не было своей свиньи или быка. Тем более, даже если б они и были, он бы лучше отслужил.

После этой нежданной встречи Глеб поник окончательно. Если до того он ярохвостился и строил планы, то теперь все больше думал и не предвидел... ничего. Если его и заберут в армейку, то весенним призывом, не иначе как... а что там будет, кому известно?

***

Походы в лес прекратились внезапно. Они прервались одними переговорами с Ленусью по телефону.

– Пусть приезжает, хватит там быкам хвосты крутить! Учиться надо! Вы тоже, доделаете дела и вернетесь! – кричала Ленусь в трубку, и почтарька Любанька внимательно слушала, чтобы доложить всем новости.

Нина Васильевна поникла. Она только завела кур и подросших гусят, на огороде еще стояли огромные вилки капусты, поеденные по краям бабочкой, яблони грузли шафранными, багряными, малиновыми сортовыми яблоками. Что и говорить – сад Вертолетчик посадил славный!

И что же? А как бросить Бима? Как бросить недостроенный сарай – мужики кроют крышу, варят металлоконструкцию под виноград...

Сейчас нельзя было еще ехать... да! А картошка на обуховском огороде!

– Ленусь, тогда пусть приедет отец, привезет Лизку... и назад. Мы будем тут до холодов, а потом приедем... – сказала Нина Васильевна робко.

При разговоре с крикливой Ленусь на нее всегда нападала робость.

– Ладно! Тогда с отцом мы передадим денег! А то вы там, наверное, все потратили!

Нина Васильевна кивала. С деньгами было трудно. Время было тяжелое. Григорьич, оказавшийся никому не нужным военным прокурором в отставке, временами устраивался на работу в охрану или водителем, но на работе долго не удерживался. Нина Васильевна, понимая в душе, что так некрасиво жить за счет дочери и богатого зятя, покорно сносила обиды от Ленуси, но все-таки брала деньги и не спешила оторвать от себя мужа, чтобы послать его искать работу.

– Я не могу позволить, чтобы такой человек разносил газеты! – гордо говорила Нина Васильевна.

Сама она устала работать в налоговой инспекции и считала, что теперь может и отдохнуть.

***

Лиза в отчаянье собрала вещи в рюкзак и перед отъездом ходила сама не своя. Глеб зашел вечером, чтобы проститься покороче, но они пошли на плотину зачем-то потрогать воду с плит.

Для Лизы это еще летом было ритуалом: трогать воду и слышать, как она по всей ширине реки шумит, падая в воронки, и разбивается всклянь, образуя бело-желтую пену. Теперь они шли к реке молча. Глеб не знал, что говорить. На него весть об отъезде обвалилась, как стена рухнувшего дома.

Вокруг не было ни души. Фонарей в селе насчитывалось только три, и они прошли под светом всех трех, по всем улицам.

Позади осталась лесная Боровка, береговая Маниловка, Середовка, Корчаковка, Бессаловка и Слободка, и уже шумела шлюз-плотина под названием БАМ. Старый мельничный пруд, примыкающий к Сейму и реке Ломовой двумя боками, давно уже не отражал колесо мельницы, которую разобрали еще до войны. Теперь в его тухлой ряске плавала только луна.

– А мельники все колдуны... Они могли наслать на тебя сухоту или чесотку... – сказал задумчиво Глеб, кивнув на лунный косарик.

– Да... а тебе, я так понимаю, только и надо того. Чтобы мы стали Петром и Февронией наших дней и умерли в один день, а после еще переползли в один гроб.

– Я такую тюфту не слыхал, – отмахнулся Глеб. – Книжки не мое, ты знаешь. Я перестал читать в тринадцать, когда бросил школу и первый раз украл коня из вишневского колхоза.

Лиза улыбнулась с чуть заметной горечью.

– Что завтра делать будешь?

– Працу.
– Пасти?
– Да. Идем реку трогать.

Глеб взял Лизу за руку, и они пошли по бетонным плитам, служащим дорогой к БАМу.

От реки уже заметно несло холодом. Прелые листья, упитанные дождями, пахли как отваренные яблочные шкурки, а днем они так же выглядели, устилая передний полог леса.

Все враз стало ярким и светоносным, даже малые кусты бересклета жарко загорелись в лесу оранжевыми букетами, а как хорош был орешник с совершенной теплой желтизной овальных листиков с усиками на концах...

Глеб сел на камень и совсем потух.

– Что мы будем делать? Что я буду делать? Как я буду теперь жить?

Река прибавила воды и теперь тихо проходила шлюз, урча водоворотами.

Лиза потерянно глядела на вышедшую из ветел луну.

– Хоть топись... – вздохнул Глеб и, поймав Лизу за руку, притянул к себе. Она набросила вторую руку ему на плечо.

Глаза его отблескивали. Лицо в темноте потеряло цвет и выглядело как мраморное, оглаженное резцом скульптора.

– Жди меня, Кузнечик, – шепнула Лиза со слезами.

– Больше ничего не остается, коханка.

– Да, больше ничего...

Они сидели неподвижно, пока обоих не пробрал холод.

Медленно бредя домой рядом с Глебом, Лиза задержалась под фонарем. Легкие пушинки кружились в белом кругу отсвета. Сталкивались и вились, не имея пути и цели. Словно боясь земли и уже отвыкнув от неба.

– Белые мухи... – сказал Глеб, прислоняясь к фонарю. – Так им и время пришло...

***

Григорьич и Нина Васильевна любили вставать в муторную, тяжкую рань и ехать на Москву, когда голова еще удерживала сон, а все тело вынуждено было встряхнуться и ползти куда-то.

Лиза не спала до утра, потом закрыла глаза в тумане бессонницы и провалилась в смутный, короткий сон, наполненный посторонними звуками домашнего быта. Шорохом сумок, топаньем ног, скрипом и хлопками дверей... во всем этом плыла она, и Глеб по Гончарке на лодке, да, они плыли через заросли, каких там не было, но будут, она тогда этого не знала, и приплывали в чужое место, где среди облаков реяла паутина, а у солнца не было сил подняться в полдень.

«Ты отучишься, станешь адвокатом, откроешь свою контору, увидишь мир, найдешь себе крутого парня, не черт знает что...».

– Черт знает что! – бубнил Григорьич, вынося вещи. Лиза спала одетой, с рюкзаком у головы.

Она машинально встала и пошла в облаке перепутанных вчера Глебом волос, пахнущих им, его папиросами, чистить зубы и умываться под ледяной водой уличного рукомоя. Так же машинально она влезла в машину, забросила рюкзак на заднее сиденье и решила, что нужно еще раз взглянуть на улицу. Улица выгибалась серпом, но отчетливо были видны крыши домов вдоль леса и их окна, глядящие на восточную сторону. Все

дома здесь были повернуты к реке, на восток, и входы были с востока. Это была удивительная традиция старых поселенцев строиться на старом месте по обычаю дедов. Поэтому в виде улиц и их планировке не было несогласия и разрозненности. Все было четко и обыденно, как у всех, разве что тот, кто был более работящим, крыл крышу железом, а то и черепицей, что значило: на века. Народ победнее крыл тростником и соломой, мазал хаты глиной, перемешанной с лошадиным навозом, и полы не стлал, а набивал глину. До сих пор таких домов оставалось два на селе, в одном из них жили Шубышкины. Так Лиза прощалась с улицей, потому что, когда она вернется в другой раз, уже не будет той Лизы, которой она сюда приехала.

Глеб вышел со двора в тумане, он тоже не спал. Он оделся, умылся, кинул в торбу хлеб, три варенные в мундире картошки и луковицу. Повесив на плечо волочащуюся по земле плеть, пихнул калитку. Остановился, достал из кармана куртки папиросу и постучал ей по ладони. Провода вдоль улицы натужно трещали, гудели, свиристели, захлебываясь тысячами маленьких птичек. Это вылетели ласточки, и теперь в восторге жизни и тепла поют и пищат как могут, лишь бы петь и пищать. Оповещая весь мир о том, что они подросли, встали на крыло и теперь готовы хоть в Египет...

«Вот и всё... – подумал Глеб, – больше и жить незачем». Но, услыхав шум заводящейся машины, дрогнул. Он сел у колонки, чтобы не упасть внезапно от странного ощущения уходящей из-под ног земли. Из-за поворота хорошо виднелся дом Лизы, вот и кто-то вышел на дорогу, она... блеснула своей золотомедной чешуей и стоит, смотрит в его сторону, бросив руки. Глеб выпустил облачко дыма, и среди этого дыма и видение, и выехавшая машина, и сама его надежда растаяли почти сразу. Он посмотрел туда, где была она, но ее больше не было. Глеб обмер и, пока догоревшая сигарета не обожгла ему пальцы, не мог подняться со скамейки.

Но улица просыпалась, и ему нужно было идти туда, мимо их двора, чтобы забрать корову лесника, и корову тетки Шкурки, и Лелькину корову тоже... Глеб встал и поднял плеть, вспоминая их вчерашний разговор.

Нет, это еще была не осень, и прощались они всего на несколько дней. Но лилии уже закрылись и пошли ко дну свернутыми комочками, похожими на зеленые фиги. Накануне он нашел ее бусики в лесу, собрал их на леску, маленькие и большие клубочки лунного камня, но все равно их не хватило, может потерянные бусины растащили сороки или сойки. Когда Лиза их покупала, тетка в магазине сказала, что лунный камень «на взаимную любовь».

Когда она потеряла их в лесу? Глеб отдал ей бусики в последний вечер, до того несколько дней хранил их у себя во внутреннем кармане. Он доставал их на пастбище, смотрел на солнце через них и думал, что они счастливее его, что прикасаются к ее шее каждый день и каждую ночь. Отдал их Лизе, и та благодарно улыбнулась ему.

– Поехали со мной?.. – спросила она как бы между прочим.

– Не могу.

– Почему, не хочешь? Я все придумала... мы с тобой будем жить у нас... пока... у нас есть где жить.

– Глупая, у меня даже паспорта нет.

– Как... нет паспорта? – оторопела Лиза.

– Нет, и все дела.

– Почему – нет?

– Не сделали.
– Но ты же уже сам мог себе сделать...
– Мать у меня так и есть гражданка Украины. Когда мы уезжали, мне было двенадцать, через два года я бросил школу и пошел работать к арендатору.
– Что ты делал в четырнадцать лет... у арендатора?
– Неважно, – отмахнулся Глеб.
– Но... паспорт!
– К ляду паспорт.
– Но ты же без паспорта не человек, не гражданин...
Глеб засмеялся.
– А! Вот ты как заговорила, коханка!
Лиза опустила глаза.
– Может, это и сложно, но нет невозможного... я поеду, узнаю...
– Ты скатайся, коханочка, скатайся до Москвы.
– Хохол ты, мазныца...
– А ты дутая кацапка.
Лиза обняла Глеба.
– Я прошу тебя ждать...
Глеб поцеловал ее в полузакрытые глаза.
– Ты слышала, кто-то говорил, что расстояние убивает маленькую любовь и укрепляет большую... этим, вроде как, все сказано, можно теперь проверить.
– Ты умный, ты можешь учиться и быть человеком.
– Больше не могу, – ответил Глеб.
Они обнялись, прижимаясь друг к другу. На веранде не было двери, и в любую минуту мог войти кто-то из родителей. Глеб стащил Лизу на пол, чтобы не скрипеть и не шуметь рассохшейся тахтой.
– А если зайдут... – шепнула Лиза, поехав глазами, – что ты делаешь...
– Пофиг, пусть заходят...
Лиза хотела бы, чтоб он остался до утра, но он не мог. Это было бы открытым неуважением, да и наглостью, впрочем которую уже все и так оценили. Перед рассветом они расстались у калитки.

Глава двадцать шестая
В Москве

Лиза плохо умела притворяться. Она считала это преступлением против самой себя. Увы, приходилось идти на это преступление, чтобы избежать вопросов и ковыряния в душе. Она никого не впускала в душу, никогда не жаловалась и не ныла. Всегда доверяя в лучшем случае только бумаге, где могла написать что-то скрытое и тайное. В других случаях у нее не было собеседника. Наедине и с радостью, и с болью она сумела выработать четкое мнение не только о себе, но и обо всех других. И мнение это не колебалось с приходом новых авторитетов, значений, успехов или достижений. Нет, на Лизу нельзя было влиять. Она пропускала через себя любое влияние, как песок пропускает воду, а мусор и шелуху сбрасывала. Но не в этот раз, когда она оказалась лицом к лицу со взрослой жизнью. Теперь она должна была решать, и не что-нибудь, а решать судьбу человека. И ей не было радостно погубить кого-то. Ужас охватывал ее от мысли, что эта недоразвитая взрослость, когда ты вырос телом,

но в сущности еще остаешься дочерью своих родителей, в закрепощении семьи, без средств, на дневном отделении вуза, которому теперь придется отдать четыре года жизни... Лиза зарывалась лицом в подушку, и все, что могла придумать, – это казнить себя за то, что где-то там остался прирученный человек, верный ей до последнего вздоха, который будет умирать с ее именем, но, кажется, не отдаст ее никому. Эта печальная мысль была и приятна, и страшна. Рыцарь, маленький принц, парень, продолжением руки которого является двадцатисантиметровый нож. Ее прекрасный парень.

В Москве Ленусь потащила ее в салон. Оттуда Лиза вышла похорошевшей, убранной, ухоженной девушкой. Ей накрасили ногти на ногах и руках, подкоротили посеченные концы волос и высветлили пару прядей на макушке. Ленусь одела ее в хорошем дорогом магазине, чтоб Лиза ехала поступать в презентабельном виде, а не как «сельская шалашовка с гнездом на голове». Лиза поехала в центр, на Никольскую, на собеседование. Она шла по черной брусчатке Красной площади и смотрела на свои накрашенные ногти на ногах. Нет, не может быть, чтобы это было с ней. Как далек теперь тот мир, где она колола ноги о шишки, убегая от муравьев. Сейчас она могла учиться только в коммерческом вузе. Из-за ее нерасторопности и оторванности от реальной жизни к учебе Лиза относилась несерьезно. Сдав документы и побеседовав с администратором, она витиевато поехала домой, чтобы как можно дольше погулять по городу, где не была несколько месяцев.

В квартире никого не было. Духота стен стесняла ее после вольного лета, но радость все-таки снова забила ключом. Развернув проспект, данный в институте, Лиза пробежала глазами текст. Обучение начинается с первого октября, значит, она поедет назад. Туда, в свой лес, к своей реке, к своей свободе.

Отец пришел из магазина стройматериалов с новой электропилой.

– Ну чего, панчежка, как успехи? – спросил он.

– Я еду с тобой! Еду! Учеба только через две недели, что сидеть тут!

– Отлично. Но я послезавтра только еду. Побудешь тут денек сама?

– Побуду! – кивнула Лиза.

Тем более что Ленусь купила ей компьютер. CELERON 3 на базе «Пентиума». С сорока гигабайтами памяти! Лиза еще зимой сопротивлялась против этой мучительной компьютеризации, но теперь для учебы компьютер был необходим. Входили в жизнь интернет с карточками по пять и десять минут, почтовый клиент «Бэт!» и чатики. Начиналась новая эра, и Лиза села со всем этим разбираться, пока никого не было дома.

Отец поехал в Бирюлево проведать приболевшего брата. Лиза сидела, тупо уставившись в монитор, и рисовала в формате БМП картинку Меловой горы. Она не понимала ровно ничего в документах «Офис», в создании презентаций и настройке интернета.

Зазвонил телефон. Наверное, это Глеб, это Глеб!

– Привет, заяц! – сказал на той стороне давно забытый голос. Это звонил Филька, в которого она была влюблена, когда училась в театральном. Тогда он ее не замечал... Особенно не замечал, а так, конечно, целовал до синевы. Было однажды на репетиции. Закрутились в занавес, целуясь, оборвали его и рухнули...

– Привет, – почему-то неожиданно для себя обрадовалась Лиза, – ты можешь ко мне зайти, у меня тут компьютер... завелся!

– А!!! Наконец-то! И ты к нам! Приду и «Винамп» принесу, музон слушать.

– Ну, неси, а то я же вообще ничего не понимаю, а мне надо разобраться... что и как... А то я потом уеду до октября, приеду прямо впритык к учебе.

– К какой учебе?

– Ну я поступила на следователя...

– О боже, моя милая зая! Ты себя решила загубить! – застонал Филька.

– Да, верное слово, – улыбнулась Лиза. – Но хотя бы будет интересно... странгуляционная борозда... компрессионная асфиксия...

– И что, как? Сейчас прийти?

– Сейчас уже ночь почти, – оглянулась на сиреневый цвет неба Лиза.

– А какая, на фиг, разница?

– Ну приезжай... – уверенно произнесла Лиза, – давай сейчас. Завтра, может, некогда будет.

Филька жил недалеко, на одну станцию метро ближе к центру, но у него была машина, и он быстро приехал, потому что пробки еще не начались и дороги были относительно свободны. Лиза открыла дверь, и на нее упал куст белых роз, она за ними даже не сразу увидела Фильку. Тот за какие-то месяцы как-то вырос и возмужал. И почему-то позвонил ведь ей... И отчего-то же поймал ее дома...

– Мне твоя сестра сказала, что ты сегодня приедешь, – сказал Филька. – Я же звонил пару недель назад.

Филька был уже совсем чужим, но вместе с тем родным. Высокий, огромный, правда тоже светловолосый, как Глеб, но вьющаяся длинноволосая прическа делала его похожим на рослую деваху. Филька не хотел стричься, поэтому ходил, как бабай, в джинсах на голое тело и в драных футболках, чтобы выглядеть побрутальней. Но его лицо с округлыми щеками и курносым носом, чайные грустные глаза и припухшие губы все равно выдавали его совсем еще юный возраст.

Лиза повела его в комнату и показала сложенной ладонью на чудо техники.

– Вот. Смотри... Видишь, какая я стала современная? Победил меня прогресс.

– Ого! – воскликнул Филька, чуть сутулясь от своего роста. Он содрал с себя футболку и кинул ее на кровать Лизы.

Лиза вздрогнула.

– Жарко у тебя, – сказал Филька, ногой поддернув под себя крутящееся компьютерное кресло, и как настоящий профи уселся к клавиатуре, быстро защелкав по ней большими, белыми, как снег, пальцами. На его спине красовалась свеженабитая татуха в виде двух дерущихся уроборосов.

– Ой... какая у тебя татуха... – прошептала Лиза. – Можно потрогать?

Филька повел плечами и замер над клавиатурой.

– Да, но осторожно. Укусят.

– Я не боюсь... пусть кусают, – Лиза провела пальцем по петлям змеиных хвостов.

Филька дал Лизе посмотреть и потрогать его спину.

– Твои-то где?

– Батька... отец... уехал к брату.

– Что ты делала там... в своем колхозе? Сестрица твоя тут так уж прям на эту тему веселилась... Говорила, что ты любишь экзотические места. Но... по-моему, это не экзотика, ваша деревня. Или... как?

– Ну как сказать... там было очень круто. Я многому научилась.

– Ага... – протянул Филька, прикрывая глаза. – Вот что!.. И как твое лето прошло?

Лиза улыбнулась и убрала руки.

– Мое лето еще не прошло, – сказала она.

Филька толкнулся ногой и развернулся к ней, схватив ее за талию.

– Вот я посмотрю, что ты теперь будешь говорить.

На Лизу внезапно напал страх. Такой страх, как будто она сейчас стоит перед стеной огня и нужно войти, обязательно нужно, хоть и горячо, так горячо, что ресницы уже горят.

Филька встал, забросил Лизу себе на живот и, пройдя несколько шагов, повалил ее на кровать.

– Мир сошел с ума, и мы вместе с ним, – сказал он и быстро стащил с себя джинсы, и быстро высвободил Лизу от лишних деталей одежды.

– Что... что ты делаешь, я же... компьютер, зачем... уйди, Филька... а как же...

– Фигня! Ты же сама... этого... хотела... – и Филька зажал Лизе рот своей нежной ладонью, не знающей ни косы, ни топора, ни ножа с рукоятью, обернутой полоской бычьей кожи.

***

Да, вот она, пустота всего. Блаженная пустота. Есть же пустота космоса... Вот она. Из колонок орал Кобейн. Филька сидел перед компьютером и настраивал программы, ловко шуруя пальчиками по клавиатуре. Лиза же лежала ничком на подушке, как утонувшая Офелия, запутавшись в своих вспотевших волосах, и не могла пошевелиться от стыда и боли.

Сегодня она знает, что такое предательство. Еще и это знает. А сколько впереди еще такого, чего она с ужасом узнает? Или без ужаса. Или с холодным сердцем. Филька сидел голый, курил «Житан», красиво сбрасывая пепел в экзотическую ракушку, которую Ленусь привезла с Ямайки. В ней, наверное, до этого момента жил океан. Везде живет океан, пока туда впервые не сбросят пепел... Лиза лежала молча, прикрывшись только волосами.

– Ты красивая, зайка. Да ты и была... А сейчас стала еще лучше. И что я раньше тебя не опрокинул... – говорил Филька своим бархатным голосом, проникающим во все глубины и даже за.

Лиза молчала.

– Конечно, целоваться ты не умеешь, но это фигня! Чего ты грустишь?

– Я не грущу, я думаю...

– Хорошо тебе? Да, я вижу, что хорошо... сейчас станет еще лучше.

И Филька нырнул под одеяло и остановился где-то посередине, так и не перенырнув его.

***

Глеб чувствовал, что в нем что-то горит, не сгорая, даже пылает, и не останавливается. То ли это был какой-то зов через километры, просьба, мольба, то ли горячечный экстаз, горькое колдовство. Сейчас до утреннего света не доживет, сейчас он вылетит в трубу. Нет ничего, кроме нее.

Ни света, ни тени, ни листвы, уже блистающей всеми оттенками плюсовой температуры.

Горе. Ему горе, выше всех облаков. Он и там не вздохнет. Он обнимал старую подушку, лежал, свернувшись клубком, бил кулаком в стенку буфета и стесал себе все костяшки. А прошла только одна ночь и один день. Прошли только сутки, но может, отпустит?

И через расстояние Лиза виделась ему, как комета, уходящая за горизонт. Да, она есть, но ее не видно уже, и она была там, за горизонтом, захлебываясь московской ночью, пила с Филькой водку с колой. И Григорьич в своем Бирюлево не ехал ее спасать, потому что тер с братом про деревню, про дом, про поросят и рассказывал про то, как он с работником воровал уток.

***

Второй день в Москве, проводив Фильку в совершенном смятении, Лиза провела с сестрой. Они ходили играть в бильярд, в боулинг, в аэрохоккей. Притащилась подруга сестры с парнем Алешей. И все трое зависли в кафе при клубе. Подруга сестры много шутила на скабрезные темы, Ленусь все время ее останавливала, но, выпив немного, стала тоже открыто подкалывать Лизу.

– Вот наша Лиза, любит экзотов... Всяких подбирает. Чем страшнее, тем лучше.

– Неправда, – попыталась оправдаться Лиза, – никого я не люблю.

– А тебе важен размер, да? – спросил Алеша и внимательно посмотрел на Лизу.

Лиза покраснела.

– Уж конечно. А этот, как его... твой лох! Как его зовут? Двойное такое имя... Фрол и Лавр... Борис и... Глеб! Глеб! Кошмарное имя, – продолжала Ленусь. – Кролики. Все лето протрахались.

– Не понимаю, что ты имеешь в виду, – чуть ли не шевеля гневным взглядом салат, ответила Лиза.

Наконец Лиза, совершенно уязвленная такими разговорами, встала и пошла домой, даже побежала. До дома было недалеко, Москва прогрелась за время летнего тепла. Толпы молодежи гуляли по улицам, из окон пятиэтажек раздавалась пьяная ругань, смех, какие-то живые, смешные, мелкие звуки, все как всегда жило, мечтало, печалилось и радовалось.

Отец уже спал. На столе стояла тарелка с холодными макаронами и сосиской. Лиза надкусила сосиску и бросила ее. Завтра ехать... В комнате ее, куда никому не велено было заходить, был полный раздрай.

– Если захочешь снова переустановить «Винду»... зови... – прощаясь, сказал вчера Филька, уперев руку о стену прихожей. – Ты классная, мы потом созвонимся, да? Октябрь наступит... Вот тогда зажжем!

– Зажжем? Попозже? – переспросила Лиза, уже далеко пребывающая в своих мыслях.

– Да, я тебя научу, – завязывая «Мартинсы», сказал Филька.

– Чему?

– Всему крутому, что мне нравится, а, как следствие, тебе тоже это понравится. Ну, врубилась?

– Да... – чуть не плача, сказала Лиза, – поняла... иди...

Филька попытался ее приобнять, но она, как дикая белка, отскочила.

– А, ну да... а то останусь... Чмоки...

И побежал по лестнице, гулко удаляясь и напевая своего любимого Курта.

Лиза заправила постель, посидела на краю несколько минут, понимая, наконец, что же произошло, и, найдя полотенце в шкафу, пошла мыться. Скорее, для того, чтобы смыть память о вчерашнем.

«Как легко делаются глупости, с каким ясным умом совершаются самые страшные преступления, – думала она, ловя струи воды ртом. – Как мне теперь пережить и это...».

...Утром отъехали в деревню. Всю дорогу отец учил, распекал, требовал, грозился... Его голос уже был до того противен Лизе, что она не могла терпеть.

– Останови машину, ну чего ты от меня хочешь! Все случилось, как случилось, зачем об этом говорить, какой смысл! Высади меня, я пойду обратно, в Москву!

– Коза! – ревел Григорьич. – Вылупила зенки – и на частокол! Демоническая женщина! Мечта поэта! Как можно было... Да он теперь опозорит тебя!

– Пусть позорит! Солнце грязью не закидаешь, – сказала Лиза уже спокойнее. – Мы просто с ним ходили, дружили, с чего вы взяли еще что-то... Не собираюсь я обосновываться в вашем колхозе «Червоно дышло».

– Ну хорошо тогда, если просто дружили, тогда я спокоен.

– И нечего промывать мне мозги! Я сейчас об учебе думаю.

– Ты там себе заведешь кого-нибудь, я знаю, и опять, опять начнутся любовь, морковь, кровь... – снова разгорячился Григорьич. – Не смей там!

– Зачем ты тогда меня везешь назад? – спросила Лиза в упор.

Григорьич примолк.

– Надо.

– Зачем... за-чем?

– Ну, я боюсь оставлять тебя одну в Москве... пока Ленусь не переедет к нам.

– Когда они переедут?

– Они купили квартиру, делают ремонт. Пока мы с матерью поконсервируемся тут, на природе. А они поживут у нас, приглядят за тобой. Да чтоб ты ничего не наколбасила!

– Ясно, а как долго они будут у нас?

– Не знаю... может быть, долго. Но нам-то что! Живи и учись, они будут за тобой смотреть... Ну, и... мы будем звонить.

– Понятно! Значит, никакой личной жизни у меня не будет. Прикольно...

– Тебе и не положено, – отрезал Григорьич, и дальше они ехали молча.

Глава двадцать седьмая
Возвращение

Только въехав на улицу, первого, кого они увидали, был Глеб. Он ехал с Борькой Гапалом на велосипеде откуда-то со стороны леса. Ветер становил дыбком Борькину паклю на голове, кудрявую и бело-серую, как залежалая вата, а в общем оба света белого не видели.

Глеб кинулся к машине, облокотился на открытое Лизино стекло и просунул руку поздороваться с Григорьичем. Он был одет в свою старую олимпийку и вечные джинсы.

– Приехали... я уж думал... – начал Глеб так радостно, что Лиза вжалась в сиденье.

– Ладно, Глеб, нам некогда, мы тяжело ехали. Отдохнем, тогда.

Григорьич поехал дальше. Лиза чувствовала щекот в ногах. В голове пульсом била кровь.

Она знала, что Глеб поймает ее сразу же, раскусит сразу. Не страх, а другое чувство примешалось к вине. Что-то пошло не так. Глеб был другим.

***

Он пришел вечером, еще не стемнело. Принес букет белых крупных астр и положил его на перила крыльца. Лиза услышала натянутый разговор во дворе. Григорьич беседовал с Глебом про работу. Про огород. Про погоду. Пора было убирать лук.

– Иди, там твой этот... – сказала Нина Васильевна, входя к спрятавшейся в дальней комнате Лизе.

– У меня голова болит.

– Что, даже не выйдешь?

– Не знаю.

Нина Васильевна вышла, и Лиза закрыла лицо. Она так сидела минут пять, пока кто-то не тронул ее за ладони. Лиза вздрогнула и открыла глаза. Перед ней на одном колене стоял Глеб.

– Вот видишь, ты даже не вышла...

– У меня голова болит, – начала оправдываться Лиза и старалась не глядеть на Глеба.

– Как съездила? – в его голосе сквозило подозрение.

– Все хорошо.

– Я чуть не умер здесь без тебя. Идем.

– Куда?

– Раньше ты не спрашивала куда, шла, и все дела.

– Нет, я устала. Голова...

– Ах, голова... сейчас я полечу твою голову, – и Глеб, поддернув Лизину юбку, поцеловал ее в коленку. Но даже в полумраке комнаты он заметил, что у Лизы над коленкой какое-то красное пятнышко. И на второй коленке оно тоже было. Глеб ничего не сказал, только вскинул глаза на Лизу. И губы его чуть улыбнулись. А ноздри нервно вздрогнули.

– Мама с папой зайдут, – оттягивая юбку, испугалась Лиза.

– Не зайдут, они пошли к Отченашу в баню, их Фаина позвала...

– Как позвала, прямо сейчас?

– Да, суббота же... Иди ко мне...

Глеб взял Лизу за запястье и дернул к себе так, что она свалилась на него сверху.

– Ох ты... тяжеленькая стала... – усмехнулся Глеб и стянул пальцы на ее талии. – Глядишь... скоро пальцы мои не сойдутся... Ну а где мне другие взять?

Лизу эти слова вывели из себя, она попыталась вырваться, но Глеб заломил ей назад обе руки и посадил на себя верхом.

– Ты не ерзай, не спеши... – сказал он. – А то успеешь.

– Отпусти меня! – взмолилась Лиза, сдувая с лица волосы, упавшие ей на лоб. – Я прошу тебя, я умоляю тебя... не надо...

– Вот как... я от тебя таких слов слыхом не слыхивал, коханка... Нет, ты здесь, сейчас, очнись уже, очнись... тут я...

Лиза снова попыталась вырваться, но Глеб сильно ее держал, и ей не нравилось это.

– Ну что ты вырываешься, это бесполезно, знаешь ведь...

– Я хочу... я тебе должна что-то сказать. Я тебе хочу сказать, что...

– Молчи, – прошипел Глеб и закрыл ей рот поцелуем.

Лиза сникла, обвила его шею руками, и словно прорвалась плотина, вода пошла крушить бетон и камень. Она больше не думала о том, что, кроме него, может быть кто-то еще.

***

«Посмотри, как изменилась природа, пока тебя не было. Ласточки собираются улетать. Смотри, больше нет лилий, отцвела кубышка, превратилась в зеленые сосочки, шиповник стал алым, орехи созрели, цапли ушли в далекую пойму, и скоро совсем не будет ничего, ничего, только тишина, темнота, и одни звезды сменятся другими, морозными, покосилась чаша Медведицы. Мы выпьем холода...» – думал Глеб, но боялся произносить все это вслух.

– Я буду приезжать... – говорила Лиза.

– Я думаю о том, что увижу тебя еще очень нескоро, может быть лет через пять...

– Нет, этого не может быть...

Под лодкой журчала теплая вода мелководной Гончарки. Тростник пел от ветра, собирая в себя все томление наступающей осени, всю ломкость новой жизни, приходящие на смену доброму, тугому лету, когда крепли стебли и чесали мимо стада гусей и лебедей, стаи журавлей... Когда ястребы летали низко над рекой, подцепляя кривыми желтыми клювами зазевавшуюся рыбу.

Они гнали лодку на осеннюю стоянку к прикрепам. Катер украли за те два дня, что Григорьич и Лиза были в Москве. Григорьич был вне себя от ярости. Он рвал и метал. Правда, логично, катер увезли и сдали на цветмет, потому что к катеру все-таки умные люди строят гараж. Но Григорьич был еще не совсем обтерт новой обстановкой. Не ожидал он, что местная алкашня будет воровать его сети и раколовки, а добытых раков и рыбу продавать дачникам. А потом еще и чистит их плохо закрытые, но сплошь застрахованные дома, когда те уезжают.

Лиза сидела на корме, Глеб – на носу. Она куталась в шерстяной свитер Глеба, который он очень любил и почти что не носил. Бабкин подарок.

– Знаешь... – сказала она, когда они вырулили в чистую протоку, ведущую из озера к большой воде, – я думала, что буду любить тебя... никогда не думала, что это скажу... не думала, что настолько... – и слова ее утонули в подступивших слезах.

– Ничего, коханка, мы это как-нибудь рассудим... Главное, нужно чтобы ты была со мной.

– Я никогда не оставлю тебя...

– Если это правда, то это хорошо... – вздохнул Глеб. – Но, к сожалению и к счастью, для тебя это не может быть правдой.

Лиза, широко открыв глаза, смотрела на него. Он подруливал веслом, вода вихрилась, закручиваясь в маленькие колечки, и все, что лежало за пределами этого мира, уже мало ее волновало.

После они посидели на лодке.

– Я тут подумал, что мне нечего тебе подарить на память. Совсем ничего. Вот, только это.

Он снял с себя крест, совсем простой и порядком ношеный, и надел ей на шею. Лиза снова залилась слезами, которые Глеб все сцеловал. Но, когда она пришла домой и Нина Васильевна случайно увидела Глебов крест на ее груди, она подняла крик.

– Ты сошла с ума со своими любовями! Всё! У тебя совсем нет мозгов! Это его крест, а ты наперла его на себя! Ему нести свой крест, а тебе – свой! Немедленно отдай!

Чтобы избежать еще большего скандала, Лиза побежала отдавать крест. Глеб сидел у колонки и переплетал рукоять плети новой оплеткой.

– Понятно, – ничуть не удивился Глеб, – это же как... был бы золотой, да новый.

Лиза, вздыхая, протянула подарок. Глеб взял и нацепил его на шею с тяжелым вздохом.

– В принципе да, своего креста я врагу не пожелаю. А тебя, коханка, все равно какие-то силы охраняют. Иначе б ты не была ведьмой.

– Я не ведьма... я не умею колдовать...

– Да, и целоваться не умеешь. Но между тем и тем есть одно большое «но».

Глава двадцать восьмая

Птицы

Наконец, начались главные работы по уборке урожая, сортировке его и опускания в подвалы.

Ненасытные, выбеленные известью прямоугольные зевы погребов принимали в себя все, что земледельцы наработали за четыре месяца страдной поры. Глеб вертелся у Отченаша, Григорьич поймал его на меже.

– Поедем в Обуховку.

– А Лиза? – обрадовался Глеб.

– Да только перепашем и вернемся.

Глеб немного осел, но, подумав, что после работы, в которой он забудется, он непременно снова зайдет к ним в дом, сядет за стол как свой, и она будет ему подавать что-нибудь на тарелочке, склоняясь к нему каждой своей ложбинкой, даже обрадовался и жил этим чувством весь день и споро работал. Они приехали в Обуховку, где ему безмерно были рады все бабки по соседству. Они набежали глядеть его, обнимали его за шею, улыбались беззубыми своими ртами и радовались ему как какому-то светлому пятнышку среди серого вечера.

В Обуховке еще доживал уклад: там на престол пекли булки с маком, а на Сдвиженье – козульки с творогом, а на Коляду, да на Щедрый вечер, да на Василя приходили мальчишки «засевать», а если не было мальчишек, то одна из бабок, самая молодая, с получетью пшеницы обсыпала двор и людей – что и кого видела. Златозубый Архерей сидел перед двором и выбирал стамеской из цельной дубовой колоды новую макитру с видом священнодействия.

– На що тебя макытра, дид! – рассмеялся Глеб. – За мак сейчас садят, законы же такие...

– Що мени ихневы закони! – отвечал дед, скосясь на Глеба. – Закони перепышуть, а макытра дуже нужна!

Глеб присаживался на корточки возле старика, они заворачивали самосад в «Голос района» и затирали про прошлую жизнь на селе. Почему-то ни у кого из стариков не было чувства, что сейчас идет совсем новая и тревожная историческая эпоха. Они жили во вневременном пространстве, уже рождаясь деловыми и старыми. В это их пространство ложились древние умения и смекалка, ловкость и цельность, оборотливость и немногословность и много чего другого, что сейчас в русском человеке уже почти вымерло. Не было в их сознании ни вождей, ни моды, ни мнений, ни пропаганды. Они выносили бытность свою безропотно с тех времен, когда жили еще под панами. В укладе здешней жизни появилось из нового облегчения только электричество. И то с шестьдесят шестого года. До этого учились при керосиновой лампе, а для чего другого электричество не было нужно.

Как бы они тут ни жили при царе или при президенте, ни вид, ни спокойный образ мыслей их не поменялся, за исключением нанесенной извне шелухи, которая все равно не освободила бабок от платков и не заставила местных мужиков носить шорты. Под страхом смерти они бы не сделали этого. Но неминуемый слом уже висел над всеми сельскими жителями, и приходила страшная мысль о том, что они последние, последние, знающие земляную и полевую работу, последние, кто держал в руках конопляные холсты, последние, кто стирал золой и мыльнянкой, последние, кто мазал хаты лошадиным навозом, кто таскал с паев вязки сена, косил отаву, сидел голым задом на земле, проверяя срок посадки. Век согнул их, но не сломал. И спасти все это, удержать и преумножить могли только наследники, которые еще в семидесятые годы стали стаями рваться прочь из села, побросав своих родителей. Нет, не наследники они старой жизни, крестьянскому простому быту, не наследники они этому живому, но иссякающему ключу. Они все стали причастны к гибели того, что спустилось еще с неба вместе с молотом, серпом и мерой пшеницы в старородящем огне, когда люди не знали даже Бога.

Григорьич привел коня, и следом Романыч принес справу. Глеб не дал Григорьичу пахать, обматерив его почем свет и живо припомнив первые его борозды. Ржавый зуб плуга с серебристой окраиной взрезал уже затянувшийся портулаком огород. Григорьич смотрел свысока, но не без удовольствия, как совсем небольшой, с ловкостью кузнечика и силой хорошего волка, Глеб рядок за рядком проходит огород, идет к нему, улыбаясь своему труду, ясный, как начищенный золотой рублик. Ах, сколько бы он мог, если б у него была хорошая работящая жена, мудрая мать и добрый отец, которого у него никогда не было... Григорьич даже чуть было не уронил слезу, уже даже в глубине души принимая Глеба, как своего сынка, которого у него тоже никогда не было, а вот он явился ровно такой, какой сейчас ему был нужен. Но Григорьич вернулся из чистых мрий. В этом году, раз уж пришлось остаться в деревне зимовать, нужно было завести еще хозяйство. Взяли три гуски и гуся, пятерых курей и петуха, трех утей и утака. Закрыв хату и тепло распрощавшись с бабушками, Глеб и Григорьич, спрятав птицу в мешки и в багажник, поехали восвояси.

На полдороге птицы, словно очнувшись, стали грохотать в багажнике.

– Дядь Борь, надо посмотреть, что там... – сказал Глеб, – останови.

– Да ты гляди, как развезло дорогу... не встанешь... – вцепившись в руль, проговорил Григорьич. – Надо это место гнилое проехать. Глянь ты, как мы вперлись в это болото...

Хотели срезать путь между двумя селами и попали на пойму ручья Бляховец, и оттуда уже нельзя было так быстро выбраться, для заднего привода «Волги» на раскисшей грунтовке было сильно много опасностей «сесть».

– Это все вы со своим «шоб було» и «давай быстрее», а скорийше только кошки родятся, дядь Борь, – саркастически заметил Глеб, когда они сели на брюхо.

Тем временем птица в багажнике издавала еще более умопомрачительные возгласы.

– Не звезди, а бери лопату и шуруй, отрывай меня! – рявкнул Григорьич.

Глеб молча взял из-под заднего сиденья лопату и пошел кидать грязь. Долго они блуждали по заповедным дорогам этого небольшого бляховецкого треугольника. Глеб толкал машину, весь угваздался с ног до головы, и уже темнело, а он едва стоял на ногах. Наконец выехали на асфальт, изрядно поплутав по зарослям. Глеб сидел молча, передыхая, стащив грязную одежду.

– Высадить меня возле дома, я одяг переменю... – устало говорил Глеб. – Негоже мени в таком виде...

– Да, грязный ты по самые уши, – подтвердил Григорьич, как будто бы несколько минут назад не Глеб, а крестная сила вытащила машину из очередной лужи.

– Птица-то замолкла, успокоилась! – добавил Григорьич. – А ты все – «задохнется, задохнется»...

Глеб вылез у своего домика, забрал одежду и пошел на речку с мылом и мочалкой. Григорьич поспешил скорее передать Нине Васильевне драгоценное хозяйство. Едва Глеб дошел до реки и намылился, пытаясь привыкнуть к студеной уже воде и привычному сентябрьскому вечернему ознобу, приехала Лиза на велосипеде.

– Глеб! Скорее! Скорее, пожалуйста! Срочно бросай мыться и поезжай к отцу.

Глеб натянул штаны, майку и фуфайку, привлек Лизу к себе за шею и поцеловал ее в переносицу. Пока он оделся, прошло не больше пяти минут. Пока забрал у Лизы велик и ехал – еще минуты три. За воротами москвичей стояла абсолютно неожиданная гробовая тишина, только откуда-то из сарая слышалось квохтание. Сейчас гуси, утки и куры с петухом, по идее, должны орать на все голоса, привыкая к новому месту... Глеб толкнул калитку и зашел.

– Ну что ты телишься! – раздраженно крикнул на него убитым голосом Григорьич.

Зато Нина Васильевна, набирая скорость составления словосочетаний в отношении Григорьича, не дав ему договорить речь, бойко осадила супруга. Перед Глебом, прямо на земле, на дерюге, в которой они ехали и нашли свою смерть, лежали бездыханные гуси и гусак, утки, куры и петух с синим гребнем. Все они задохнулись во время вояжа по бляховецкой пойме.

– Место-то колдовское... сам много раз плутал, – пожевывая сигарету и стаскивая с себя фуфайку, сказал Глеб. – Несите скорей топор, ставьте кипяток... только пулей!

И Глеб взял первых двух еще теплых гусей за шеи и потащил их за дом, на стол, застеленный клеенкой.

– Лизу только в дом загоните! – крикнул он из-за дома после первого удара топора, предвкушая веселую ночь.

Глава двадцать девятая
Честь сестры и все остальное

В ту ночь с Маринкой случилась беда. Она убежала от матери, отчима и брата, которые гостили и ночевали в райцентре у сестры Белопольского. Выйдя в ночь, она сперва блудила вокруг центрального ДК, слушала звуки дискотеки, жалась к колоннам и искала взглядом знакомые лица. Страсть к уходу из дома уже крепко проникла в ее натуру.

Дома было всяко хуже, она стремилась к красивой жизни, насмотревшись «Первый канал».

Мать, проснувшись, не сразу нашла Маринку и сразу все поняла. Она немного погрустила, а потом успокоилась.

– Проститутка малолетняя, – сказал Адоль, – искать не будем, сама придет.

Так ее и не искали. Глеб был занят, но, увидав мать без Маринки, спросил, куда она подалась.

– Да вот... были такие люди во время старинных войн, – ответила мать и, так как была совершенно трезвой, принялась вспоминать учительскую дидактику. – Объявляют войну, и съезжаются государственные люди, а к ним примыкает ополчение и охочекомонные. Диалектика этого слова мне не очень понятна, надо разобраться. Вроде как... это люди с конями и с ратной срядой, желающие повоевать... Маринка у нас такая же. Ей постоянно охота приключений.

– Все ясно. Нагуляется – придет. Главное, чтоб не убили...

– Это понятно! Главное, чтоб не покалечили, а то ведь ее придется лечить, а денег нет!

Так оно и вышло. Маринка пришла через Комаровский луг со стороны правого берега. Ее увезли туда на машине трое парней. Правда, когда она садилась в «пятерку», не видела, что их там три. Маринка, пока шла, замерзла. Придя домой, легла спать и сутки спала неспокойным сном. Проснувшись, съела весь суп. Глеб сидел с чаем перед ней и грыз кусок хлеба с медом.

– Как ваше ничего? – спросил он, медленно вытягивая ремень, чтобы отстегать Маринку.

– Нормально, – отмахнулась та и вытерла грязной рукой грязное лицо.

– Еще будешь бегать?

– Буду!

Глеб вздохнул и заправил ремень обратно.

– Приехали... – сказал он. – Иди грей воду, мать польет.

– Не надо мать. Ты полей.

Маринка взяла полотенце из хаты, прошелестев мимо лежащей матери.

– А... явилась, – сказала та, обвиняя, скорее себя. – Помру, ты доведешь. И Глебка, и Яська. Нарожала спиногрызов...

– Все хорошо, – сказала Маринка ровно. – Погуляла да пришла.

Глеб наносил воды в летнюю кухню, где стояла старая ванна, согрел Маринке несколько чайников и взял ковшик. Из летней кухни от Маринки он вышел совсем не таким, каким туда заходил. Он пошел в сарай, взял цепь и сунул в карман самодельный кастет.

– Ты куда? – спросила Маринка, уже вся розовая, правда местами немного синяя, сидя в полотенце на ступеньках крыльца.

– Погулять... серых уток пострелять... – закурил Глеб неспокойными пальцами. – Или вытравить из леса... пятигорского черкеса...

И быстро ушел в темноту, махнув Маринке рукой.

***

История о том, как Глеб Горемыкин за что-то выловил трех комаровских парней и сломал всем троим носы, быстро облетела оба села и еще быстрее дошла до райцентра. Глеб еще не успел вернуться домой, как у двора уже стоял милицейский газик.

Его ждали, но он не пришел, заколебались слушать Маринку, которая легко могла посадить своих обидчиков на приличные сроки, что и собиралась сделать. Милиционеры из райцентра посадили бы, конечно, Глеба, а Маринку даже бы и не имели в виду как пострадавшую. И взяли бы с нее объяснительную, припугнув лжесвидетельством. Упала с крылечка! И убилась... Да что такое случилось, если эту шалопутную семью и всех наследников однозначно ждет или колония, или того хуже – пропасть. Но к Маринке пришла Лиза, весьма подкованная во всех этих делах. Милиционеры, услышав, что Лиза из Москвы, а ее отец прокурор, сразу смешались, потеряли матерную речь и непринужденность движений, сели в газик и уехали. К счастью, из Глебовых жертв никто не умер, но, как потом оказалось, бил он их не столько крепко, сколько больно, потому что знал, куда бить. Глеб же, зная, что могут и задержать, завернул к леснику на кордон, там напился и заснул. Лесник тоже напился. Он переживал очередной сердечный шторм от почтарьки Любки. Та не хотела уходить от мужа и лишать детей отца, поэтому лесник был в прогаре, тоске и горючих слезах. Вовчик бегал им за самогоном.

Два дня они с Глебом, запершись, пили горькую, пока Маринка и Лиза не пришли и не стали высаживать крепкие дубовые ворота. Услышав голос Лизы, Глеб будто проснулся.

– Твоя пришла... – осоловело сказал лесник и уронил лицо в закусон.

– Моя... – вяло произнес Глеб. – Не было печали, да черти накачали.

Он, в одних штанах, с голой грудью, вышел на бетонное крылечко, кувыркнулся с него в клумбу бархоток и, отряхнувшись, сначала на четырех костях, а потом с трудом встав, пошел отпирать.

Лиза и Маринка были дюже злые.

– Иди домой, конь педальный, – сказала Маринка бесстрашно прямо в несколько опухшее лицо Глеба.

Он повис на Маринке и поцеловал ее в щеку.

– Лиз, ты не подумай... я же никого не убил... Просто это честь сестры...

– Честь сестры! – заржала Маринка, волоча его за собой. – Где моя честь была, там собаки давно поженились.

Лиза шла за ними неверным шагом. В душе у нее металась буря. Она хотела прямо сейчас всунуть Глеба в машину и везти его в Москву. В свою комнату. Причесать его и одеть его в красивую одежду, вывести его в город и сказать, что...

– Я вас, суки, всех поубиваю! – крикнул Глеб Дронычу.

– Да я тебе сам сейчас башку оторву, песья морда! – донесся привет с огорода от старшего Дроныча.

Был выходной, бедные люди пили. Нина Васильевна и Григорьич уехали в Никольский монастырь за святой водой и заодно набрать мела, который там ломали на карьере.

– Маришка, заводи Глеба ко мне. Я его приведу в порядок, – сказала Лиза в спину Маринке.

Та завернула Глеба во двор к Лизе, он упал на порожек, покрытый половиком, и заснул.

Маринка пошла домой, исцеловав Лизу красивыми опухшими губами.

– Если б не ты, он бы уже сдох... – сказала Маринка, порывисто обнимая Лизу.

– Думаю, он этого и хочет, – грустно сказала Лиза.

Сентябрьский вечер догорал на западе. Солнце все ниже поднималось над землей, полукруг его пути все урезывался во времени. Лиза принесла из колодца холодной воды, стащила с Глеба одежду и бросила ее стираться в машинку. Вот так они будут жить. Не московский мажор на компьютерном кресле с сигареткой в белых пальцах или за рулем «бэхи», так это пьяное существо, которое лежит, раскинув руки, и сейчас совершенно ему все равно, что она думает.

А она думает, что ошиблась, и ревет ночами в подушку, зачем допустила, зачем привыкла к нему до дрожи, до полуобморока, до иголок в коленях, когда его видит сидящего у колонки с вечной какой-нибудь работой и папиросой в зубах... Бог видит, она сделала все, и даже больше... Теперь это колесо безостановочно катится с горы. Зима близко. Как он был прав...

Лиза укрыла Глеба покрывалом и, положив его голову на колени, замерла. Все те же золотые волосы, те же спокойно прикрытые глаза, те же губы, которые хочется целовать... Но уже отравлено это какой-то горечью. А может быть, не стоит сожалеть?

– Ведь ты мне будешь мстить, ты ж не успокоишься... И если не сможешь отомстить жизнью, то отомстишь смертью, сделав меня виноватой. Но я не виновата. Это жизнь такая. Нас невозможно соединить и разорвать невозможно. Теперь я твоя, и даже где-то в другом мире буду твоя, хоть мы и разные. Такие разные, что я не могу пойти тебе навстречу, а ты – ко мне. Ты же мужчина... ты не дашь мне быть главной. А я и не хочу, потому что перестану тогда быть твоей желанной... И я не хочу. И ты не хочешь... И сколько еще я выдержу, Кузнечик?

Так Лиза сидела и говорила с ним, спящим. Он, забросив руку назад, обнял ее за талию, улыбался... что-то шептал...

– Девочка моя родная... я тебя никому не отдам... – шептал он, и стало холодать, но он, привыкший спать на выпасе на голой траве, не слышал холода. Его одежда постиралась, Лиза положила голову Глеба на подушечку-думку и пошла вешать его нехитрые шмотки.

Солнце зашло за лес. Должны были вернуться родители. Лиза погладила Глеба по лицу.

– Кузнечик, вставай... вставай... – шепнула она.

Глеб открыл глаза и сел, озираясь.

– А где... где моя одежда? – спросил он.

– Я ее постирала, – сказала Лиза.

– Ясно, – сказал Глеб. – Опять тебе что-то не понравилось.

– Нет... она была грязная, кровь и грязь... опять... друзья твои.

Глеб потер лоб и вздохнул.

– Надо же было так нажраться с Клоуном... Это все вы, бабы... вы нас до цугундера довели.

Лиза улыбнулась. Даже ругается, как старый дед. Глеб откинул покрывало.

– Так! – сказал он. – Это, конечно... зашибись, но как же я пойду домой и где твои родаки, а, коханка?

– В Рыльск уехали. Сегодня же Сдвиженье...

– Змеи в лесу женятся, – сказал Глеб.

– Ага...

Глеб встал и, ногой откинув покрывало, пошел к калитке совершенно голый.

– Ты куда голый! – засмеялась Лиза, думая, что он повернет, но он не повернул. Лиза побежала следом.

На дороге показалась машина родителей. У Нины Васильевны открылись вечно сощуренные глаза, а Григорьич тормознул... Глеб махнул им рукой и пошел до двора.

– Приветствую! – сказал он весело, проходя мимо.

Лизе стало дурно, она приклонилась к верее и, чтобы не заплакать, засмеялась, закрыв лицо ладонями.

Григорьич и Нина Васильевна подъехали молча, посмотрели на Лизу как на сумасшедшую, оба вздохнули и вышли из машины.

Нина Васильевна почему-то перекрестилась. Григорьич откашлялся.

В окошко своего большого дома до половины тела вылезла Фаина Самуиловна, собаки, Нора и Рута, радостно побежали за Глебом, провожая его домой.

Глава тридцатая
Двоятки

Осенняя пора тоже была жаркой. Убирали в погреб картошку, а ее уродило просто очень много, не ухватишь. Сразу пахали. А так как пахать в этом конце села остался только Глеб, потому что мужики, кроме дедов, перемерли или пили, то пахал в основном он.

С неуморенной силой возносил он серебристый, надраенный маслянистыми ломтями земли плуг над людскими огородами, не чая, что это последние времена плуга, последние времена бороны, и теперь вместе с его умением уйдут они в гнильбу. Провалится эпоха в алчную землю, жрущую детей своих без разбора.

– А ну пошла, геть, геть, мертвый, не седай!

И идет, идет конь под его легкой рукой, берет ровно, словно не дыша, не портит борозды.

Лизе на это было все равно, она волновалась, что он не идет, и за те короткие дни она так и не объяснила самой себе своего предназначения в его жизни, как не поняла этого и за четыре месяца, которые пронеслись, как петух по двору.

«Может быть, он был мне дан для того, чтобы я больше так не делала?» – думала Лиза, вылузгивая фасоль в ведро и не удивляясь больше слову «был».

Маринка пришла к ней смурная, села на корточки у ног и завела свою старую песню.

– А я убегу, когда ты уедешь. Старый хер Отченаш вчера меня через забор позвал, Самуиловна на комиссию уехала в Курск, а он... в халате

такой стоит... и кричит мне: «Маринка, бери Любаньку, у меня сегодня баня!». Я напугалась до смерти, у меня ведь есть путячий парень из Коренева, он вроде как говорит, что влюбился, лимонад мне покупал...

– Посадят, ты ж мелкая...

– Моя мамка Глебку в семнадцать лет родила вон.

– А, так у вас это наследственное... Тогда смотри, предохраняйся хоть.

– Кому охота на резину деньги тратить! Да и не заставишь их... Если что, погуляю... аборт потом сделаю, и все, он бесплатный.

Лиза посмотрела на Маринку, бросив фасоль.

– Дура ты, что ли, совсем?

– А что!

– Нет, ну совсем дура!

– А вон Лелька не родит больше. И хорошо. Она тоже сделала аборт...

– Все... хватит.

– В мае.

– Маринка! – в голове Лизы потемнело.

– Маринка, Маринка... чего вы меня все затыкаете!

Лиза снова взялась за фасоль. Высушенные костяшки зерен, покидая свои иссушенные солнцем домики, стучали по алюминиевым бокам ведра.

– Он... знает? – спросила Лиза наконец с усилием.

Маринка смотрела куда-то мимо.

– Знает.

– Это он ее послал? Сам?

– Сам.

Лиза закрыла лицо руками и чуть не застонала. Маринка сделала брови домиком.

– Погоди ты! Чего ты!

– Почему я об этом узнаю только сейчас! – прошептала Лиза.

– Я... не знаю, я думала... он просил... он меня не просил не говорить, я думала, он рассказал тебе это все и...

– Что рассказал, Маринка!

– Ну, что Лелька ему с Гапалом изменила и забеременела, и что Гапал ее послал... Я помню тот день. Когда Лелька ему сказала. С хорьком на меже. Он так смотрел на меня...

Лиза воззрилась на Маринку, как на умалишенную.

– Иди скажи ему, что я залезу на дерево в лесу, и если он меня найдет, то я дам ему маленький поцелуйчик.

– Нее... – засмеялась Маринка, блистая своей необыкновенной улыбкой, – он не мальчик, он мужчина! Я же знаю, я сестра, сестры все знают! Дай ему большой поцелуй!

– Хорошо... – согласилась Лиза, потому что ей стало легко и смешно. – Дам ему большой поцелуй.

Маринка, нагруженная сладостями для Яськи и яблоками, ушла радостная. Лиза еще помогла очистить матери принесенные утром грибы и, прихватив корзинку, собралась в лес.

– Дронычи всё собрали уже, куда! Шныряют по лесу, голодающие...

– Нет, мои грибы меня ждут, – торжественно сказала Лиза, спрятала волосы под косынку и вышла в лес.

Матовые зеленые холмы украшали его по всему окоему, и белые полосы песка делили на квадраты, по которым нельзя было заблудиться. Лиза поискала глазами подходящее дерево и, найдя его на высоком холме, разве-

систую сосну с розовой слюдяной кожей, полезла вверх, выше, на самый верх. Она уселась на верхушке сосны, свесив ноги, достала яблоки из кармана и стала ждать Глеба.

Прогнали коров, защелкали плети его и подпаска. Сейчас он пойдет в лес искать ее. Она слушала хруст веток, сгоняла муравьев с рук, отмахивалась от комаров. Глеб почти сразу подошёл к тому дереву, где устроилась Лиза, думая, что он ни за что не сумеет ее найти именно тут, в глубине и на самой верхотуре. Глеб подошел, поднял голову и стукнул по стволу рукоятью пуги.

– Предлагаешь мне подняться или сама спустишься? – спросил Глеб, посмеиваясь.

– Ко мне! Я еще не видела, как ты по деревьям лазаешь...

– Что с того, я не видел, какая ты хозяйка, а собрался брать тебя в жены.

– Да, и с твоей невестой тоже у тебя не было, но ты же хотел взять и ее в жены.

– Ах ты, языкастая кукушка! – крикнул Глеб и стал карабкаться на дерево, ловко закидывая ноги в сапогах на сучки и ветки. Наконец, поравнявшись с Лизой, которая жевала яблоко, спросил:

– Когда мы молчали, правда, было лучше?

– Когда-то надо было начинать говорить, – сказала Лиза. – Наша ямка в песке еще существует? Ну та...

– Пошли посмотрим...

Глеб спустился и, понаблюдав, как спускается Лиза, взял ее за руку.

– Идем... Я тебе что-то покажу, что у меня на поле сегодня случилось.

– А наша ямка? – спросила Лиза и вдруг заметила, что одежда у Глеба снова вся в засохшей крови.

– Тебя что... ты что... – испугалась она, – ты цел? Ты что, снова с кем-то дрался?

– Да цел... погоди ты...

Глеб быстро схватил ее за руку и потащил за собой. Через кусты акации они вышли по тропинке к его двору, пробежали через колонку, и Глеб толкнул Лизу во двор и закрыл калитку.

– Идем, идем... – ласково говорил он, – ты такого точно не видела.

Лиза, улыбаясь, шла за ним в темноту и тесноту сарая, откуда доносился нежный фырк и мерные выдохи, как будто смертельно уставшее существо все равно нашло в себе силы встретить их.

Глеб открыл низенькую дверцу и взял Лизу за плечи. За деревянными перекрытиями лежала лошадь Рёва, а рядом с ней – вислоухий, пепельно-серый жеребенок тыкался в ее бок, стоя на шатких ножках.

– И это не все... – сказал Глеб с гордостью, – гляди за солому.

За соломенной кучей виднелись ушки белого цвета. И раздавался писклявый голос, почти детский. Рёва отдувалась, гладила носом тельце серого и тихо ржала белому.

– Двоятки. Парень и девка. Парень Пепел, шел сам с поля. А девка... Муха...

Лиза, наверное, сделала такое дурацкое выражение лица, что Глеб обнял ее и тряхнул за плечи.

– Ну чего ты... радость... смотри, какая радость...

Лиза смахнула слезу.

– Еле опросталась моя Рева... тянул плеткой их за ноги... тяжело шли.

Лиза глянула на Глеба. Он едва стоял на ногах, так и не отмывшись от лошадиной крови.

– Дай мне свою одежду, я постираю...

– Еще чего! – перебил ее Глеб. – Я сам стираю свою одежду. Сейчас пойду...

– Ты очень грязный, – сказала Лиза. – Машинка все отстирает.

Глеб неожиданно помрачнел. Он взглянул на Лизу снова, как тогда, когда обнаружил тот след на коленке.

– И что? – спросил он с вызовом. – Это что-то меняет?

Лиза сообразила, что он понимает ее по-своему, и лучше бы ей было промолчать, но Глеб рукой с запекшейся на ней кровью провел по лицу Лизы.

– Ты слишком красивая для меня. Я сегодня... очень много работал. Иди, прогуляйся по лесу... Поищи нашу нору, залезть туда и поплачь о своей... отданной за так невинности.

С этими словами он оттолкнул Лизу и вышел из сарая. Лиза вышла следом. Ей казалось, что Глеб специально говорит ей это все, чтобы она оставила его. Дверь в дом была открыта. Маринка с Яськой, Ватрушкой и мелкими Мешковыми играли на соседнем заброшенном срубе в карты. Мать Глеба с утра уехала в райцентр сдавать анализы и осталась у Адолевой сестры, чтобы завтра вернуться на поезде, который ходил один раз в сутки. Если б дома был Адоль, был бы крик, и Лиза зашла за Глебом.

Глеб лежал на своей кровати на веранде, забросив руку за голову. Другая рука его висела вниз. Он спал. Лиза тихонько села рядом, как-то неудачно скрипнув кроватью так, что Глеб поднялся, схватил ее, положил рядом и, засыпая обратно, прошептал:

– Какие хорошие дети... какие молчаливые, немогутные... как мы с тобой... ничего не можем, ни жить вместе... ни умереть по отдельности, да, коханка? Да...

– Да... чтоб теперь умереть... нужно много сил... больше, чем жить... – сказала Лиза, лежа головой на его руке и не двигаясь, чтобы он поскорее уснул, боясь потревожить его снова...

Она еще долго так лежала, слушая его дыхание, крадущееся по ее волосам. Сон его сразил. Видно, действительно устал. Тащил лошаденка... а от Песков километров пять идти...

Когда Глеб уснул, Лиза тихонько, как безкостная рыбка, выскользнула из его рук, собрала его брошенную на пол окровавленную одежду, прикрыла его одеялом, выбежала на улицу, дошла до сруба и крикнула мелким, которые развели там дичайшую антимонию.

– Эй! А ну заткнитесь! Глеб спит.

Мелкие почтительно замолчали. Для них Глеб был авторитетом. Ведь он умел плести плети и точить ножи, а уж коней укрощал – ни Боже мой.

– Затухли все, паппингуты! – рявкнул на разбушевавшихся товарищей Максим Мешков. – Пусть спит, у него сегодня кобыла двойку родила!

Лиза, услышав шептанье и относительно убавленный звук детской стайки, довольно улыбнулась и пошла домой совершенно счастливая, что ее почитают теперь за авторитет и за старшую.

Глава тридцать первая
Ты проспорил

К концу сентября пошли дожди и лес промок. Он промок до последних костей, до всех шишек, до корней, до подпушка. Лиза сидела дома, а ве-

черами приходила ребятня, и они играли в карты и бесились на веранде, устраивали пеструю возню или шли на сруб, где под крышей заводили салки. Девок среди них никого не было, кроме Лизы, которая, скорее, наблюдала за их бесчинством, чем была его частью. Однако при ней, еще кровно помня старые обычаи, ребята не матерились и стеснялись даже курить. Иногда Лиза ходила с ними, провожая ребят до клуба, таща на закорках самого младшего своего любимца Степку. Часто они, уходя из клуба раньше всех, падали в пшеницу в ближнем поле или в мокрый ячмень, и Лиза рассказывала Степке про звезды, кометы и метеориты.

– Вот когда ты вырастешь, ты будешь знать географию и откроешь для себя совсем новый мир. Звездный мир, – говорила Лиза лежащему на ее предплечье Степке в братних сапогах, дедовой кепке и вдрызг изношенной одежде.

У братьев Макса и Степки тоже была своя неверная судьба, непростая судьба, связанная с мелкоумием и алкогольной историей родителей. Макс на другой год бросил школу и пошел работать на арендатора, а Степка также не проучился и семи классов. Но тогда, когда Лиза и Степка лежали в колосьях, никто еще не знал своего будущего. Ни он, ни она.

Степка давно уже стал поверенным и посредником между Лизой и Глебом. Он был хоть и маленький, но на него можно было понадеяться. Он во время самого сильного ливня мог слетать до Глеба на пастбище на гнедом коне Прянике. И отвезти ему от Лизы передачку или записку. Да, родители Степки и Макса еще держали коня. Но днями этого серого предосенья Степка не приезжал, и Лиза ничего не передавала. Дождь накрывал Глеба нежным полотном вместе с его плащом и капюшоном. Под дождем он чувствовал себя тенью среди теней. Он мог пропасть хоть сейчас же, но в то же время родиться где-то снова, и никто ничего бы не заметил. Не заметила бы даже сама природа, что его вдруг нет на обычном месте.

Раньше Лиза посылала ему на выпас перекусить чего-нибудь и чаю в термосе. Это было приятно, но он ни к чему не прикасался. Хлеб скармливал Рёве, а чай выливал. Не хотел привыкать ко всему тому, что прежде ему было недоступно, и уже скоро он будет жить без этого снова. А пробовать даже не пытался. Это было так своеобычно для местных, вести себя так, с неким презрением ко всему новому, что он, наряду с другими, не мог пойти другой дорогой.

***

Дождь в сентябре уже пахнет осенью и становится длиннее и горче. Он тугой, как басовые струны, и от него можно уже ждать простуд и озноба. Глеб часто промокал. Недалеко паслась Рёва с жеребятами, которые уже хорошо ходили и быстро бегали, но не спешили убегать: ранее детство. Глеб для жеребят взял собаку Куклу, чтобы она их иногда прижучивала, если б им пришло на ум бегать. Ведь были два жеребенка. С собакой ему было лучше пасти, тем более что теперь с ней он мог поговорить. Да, она не отвечала, но могла посмотреть такими безоблачными глазами, будто соображает и просит его тереть все к носу.

– Да, Кукла, тебе и дела нет до человеческих дел... Тебе хорошо, что ты собака. Плачешь без слез, сдыхаешь без стона. Все эти минусы ты знаешь, подбери их бес... я, наверное, неправ, но перед девкой на колени не встану, кем бы я ни был... и пусть лучше съест меня...

Но на самом деле, выговаривая собаке Кукле о своей пацанской гордости, Глеб признавал себя слабым. Да разве он не боится потерять свою Елизавету? Боится. Она как кошелек с монетками, ее сразу возьмут. Ее нельзя оставить без глаза... Просто нельзя.

***

Промокнув под длинным холодным дождем, Глеб заболел. Его уносило, кружилась голова. В доме пахло самогоном, тошной вареной картошкой, мать шаркала плохо гнущимися ногами, Адоль стучал заскорузлыми пятками, в бешенстве бегая по комнатам. Визжал Яська, вечно прося есть, орала матюгами Маринка.

Глеб лежал, отвернувшись к стене и закрыв глаза. Пришел момент осознания. Да, он был таким. Через грязные окна он слышал с улицы голоса. Гуинплена провожали в армию. Лиза наверняка там, в лесу, с ребятами. Наверняка она там хохотала, и глаза ее лучились в свете костра. Может быть, надо отпустить ее именно сейчас, когда он слаб и болен?

– Сдохнешь, я тебя закапывать не буду, как пса... – шипел Адоль, проходя мимо.

– Если я сдохну, утащу тебя с собой. По ночам буду приходить, – чуть слышно поскрипывал Глеб.

Мать сидела за столом в старой серой кофте, с несвежим хвостиком на голове, пахнущим ранней старостью. Глаза ее давно погасли, а теперь еще и за Яськой приходилось смотреть, пока Маринка загуляла.

– Хоть бы ее кто взял замуж, дуру такую. А ты? Чего ты-то с этой Лизкой связался? Разве не понимал, что будет? Нет, скажешь, не понимал? Ты же мужик здоровый, мог это предусмотреть. Денег у нас нет совсем. А тебе надо ей покупать шоколадки. Маринка сказала, что ты ей две плитки уже купил, потратился.

Глеб приподнялся на локте, скинув одеяло.

– Сейчас я пойду и принесу... Хочешь? – чуть слышно произнес он. – Будут деньги, можете пить дальше, и закуску принесу. Может, правда, сходить за барашком или теленком?

Мать опустила заблестевшие глаза.

– Пить дальше... а что я еще могу?

– Бросить этого упырка и свалить от него домой. К бабушке. По крайней мере после незначительного твоего стыда... мы хотя бы получим паспорта.

Мать снова вздохнула, подперев голову рукой.

– Нет, Глебушка... это уже будет другая жизнь. Там меня никто не возьмет, а тут я при муже. Ты женишься, Маринка выйдет замуж, вы уже выросли, а я останусь одна, с мужем. Яська нам еще поднимать.

– Да ты не доживешь, пока он вырастет.

– Что ж... значит, так тому быть.

Глебу стало нестерпимо жалко мать. Она на его глазах превратилась в тень. В жалкую, невесомую и тоскливую тень, от которой не осталось ничего. Даже цвета. Глеб сел на кровати, опустив голову, долго смотрел в растресканный глиняный пол, который не было кому убрать. Он встал и пошел на улицу, набросив куртку. В соснах Ватрушка, Маринка, Солдат, Андрюха, Пухов и Лиза отмечали призыв Гуинплена. Гуинплен был такой веселый парень, со смешной рожей, вечно лыбился. За то и получил странную кликуху, как раз тогда, когда показывали по телеку фильм

«Человек, который смеется». Теперь его уже предварительно забрили, и он ходил важным гусем. За ним поспевали в очередь Пухов и Горемыкин, хоть они и были старше.

Глеб зашел в сырые заросли промоченной дождем акации. Пахло мокрой хвоей, и мелко сыпал дождь. Негустой, а тоскливо-холодный. Через искры и языки пламени костра дождь сам искрился, как фата матери, Аделины Ивановны, которую Глеб только однажды видел в детстве, но запомнил на всю жизнь. Крошки с Божьего стола был этот дождь, он просыпался на Лизу, потому и светился... Глеб был уверен в этом.

Глеба заметили сразу, первой – Лелька. Она уже была пьяна. Подошла и обняла его за шею, привлекая к костру.

– Любчик мой, – с гордостью сказала Лелька, как будто проверяя Лизу на прочность.

Та стояла в темноте, в отдалении от костра и курила, прикрытая дымовой завесой. Глеб впервые увидел, как она курит, и его это настолько потрясло, что он, скинув руки Лельки со своей шеи, пошел к Лизе, переступив через костер и вырвав сигарету из ее маленького рта, прошипел с ненавистью:

– Елизавета! Что ты робишь!

Все застыли. Даже Гуинплен, игравший на гитаре, застыл. Глеб схватил Лизу за руку и потащил в лес, по мокрой пропаханной полосе, в темноту.

– Куда, Горемыкин! – крикнул ему вслед Пухов. – Отдай нашу чику!

Услышав это, Глеб отпустил Лизину руку, похолодевшую у него в замке ладони, вернулся к костру и одним ударом в нос повалил Пухова, который был выше его на полголовы.

– Жопе слова не давали, – сказал Глеб, пихнув встающего с окровавленным носом Сергея ногой в грудь, и тот снова растянулся.

– Ну, сука, я тебя сейчас... – отплевываясь, прохрипел Пухов, с неожиданным лицом вставая на четвереньки.

Из темноты подошла Лиза.

– Ну все, хватит! Сергей! Нечего кулаками махать. Ты проспорил!

Глеб оглянулся на Лизу, и в глазах его читался страх.

– Типа никто не знает! – тихо сказала Лелька.

Глеб посмотрел на замерших ребят. Дрова потрескивали от влаги. Убегать смысла не было. Сергей выплюнул осколок зуба.

Когда Глеб повернул голову, Лизы уже не было. Лелька повисла у него на шее.

– Пошли домой. Тебе надо полежать, мать твоя сказала, что ты приболел.

Глеб, хромая, держась за Лельку, дошел до дома. На улице только собаки пробегали в темноте. Лелька, дыша перегаром, прильнула к Глебу, и руки ее потянулись к его ширинке.

– Глебка... Глебка... Я же ведь тебя сильно люблю, ну бей меня... убей меня.

Глеб схватил ее за полные руки, через которые невозможно было прощупать косточки на запястьях. Чужие руки.

– Отвали, Борона. Отвали от меня и не лезь больше. Чертова шалашовка.

Лелька отпрянула и, открыв дверь, со смехом завалила в полутемный двор Белопольских. Глеб сел у колонки. Его мутило. Он склонился попить воды и упал, ударившись о кран колонки, и так лежал, пока не пришел в себя поздно ночью, когда веселая компания уже разошлась из акаций.

Глава тридцать вторая
Мстящий всем

Утром Сергей Пухов на мотоцикле подъехал к дому Лизы и просигналил. Родители были в райцентре, она не хотела терять ни минуты времени и одевалась, чтобы пойти к Глебу. У нее сидела Маринка, избитая Адолем за то, что не подала вчера им с Бороной закусь к самогону. Лиза, набросив плащик, вышла к Пухову, тонкая и озабоченная. Волосы ее были убраны в две косички. Тот, опершись о мотоцикл, ждал ее.

– Чего тебе? – спросила Лиза.

– Ничего. Ты вчера в лесу ведь... смотрела на меня. Пока этот не пришел.

– Я на всех смотрела...

– Лизка, я видел, как ты смотрела на меня. Короче так... если этот чамарный бросит тебя или обидит, то ты тогда будь моей девушкой... Ладно?

Лиза засмеялась и даже притопнула.

– Да, хорошо, Сергей! Обязательно. Исполню все ваши желания, как золотая рыбка. Хотите – буду вашей, не хотите – буду вашей.

– Ты знаешь... что мы в армию весной вместе идем? – хитро намекнул Пухов.

Лиза смолкла.

– Так вот... и служить, по ходу, вместе. Два года вместе, зай.

С Лизы слетело веселье.

– И... что? Что такого? Я с ним не встречаюсь, только гуляю. Он просто друг мне. Да, он болтает что попало про меня... ты его знаешь, он много болтает.

– Ну ладно, хорошо, если так! – хлопнув по рулю ладонью, сказал Сергей и улыбнулся, сияя зубами, среди которых некрасиво выделялся отколотый вчера резец.

– Тогда ты не его жди, а меня, поняла?

– Я в Москву уеду. И ждать никого не буду, – отрезала Лиза и ушла, притворив калитку...

Сергей еще прорычал мотоциклом и, довольный услышанным, уехал на село. Маринка металась по окнам.

– Чего сказал? Он клевый... вообще так. Прикольный.

– Лезет не в свое дело. И ты лезешь! И все лезут! Надоело!

Лиза налила Маринке газировки и подвинула ей тарелку с «хворостом».

– Как он?

– Лежал.

– А Лелька когда ушла? Что она делала?

– Она с нашим с Адолем бухнула, и они пошли к Карамету на хату. Ну, там еще мой пацан, который из райцентра... И лесник с Рыбнадзором зависает.

– И Лелька одна?

– Одна. И меня звали... и Ватрушку тоже... А я не знаю, идти или нет. И хочется и колется, и мамка не велит.

– Понятно. Если что... я посижу с Яськой... Глеб же спит? А мамка ваша где?

– Мамка у арендатора на мельнице. Адоль тоже там мешки таскает на крупорушку.

– Ну вот, я посижу.

Лиза и Маринка тихо зашли в дом Белопольского. Маринка накрасила глаза, надела Лизину кофточку и убежала до Ватрушки. Яська играл с чугунами. Потом катал по полу банки, громко стуча одну об другую. Лиза поставила на замызганную дочерна плитку кастрюлю и, найдя под столом картошки, начистила ее и принялась варить суп. Когда Яська, наконец доигравшись, разбил банку, суп уже кипел, а Лиза тряпкой вытирала пол, проснулся Глеб и вышел на веранду.

– А! Лизаветка... снова варит суп-кондей из кошачьих мудей?

Лиза бросила тряпку и разогнулась, шикнув на Яську. Тот исчез в хате.

– Да, просто суп. Но если ты не хочешь – то не ешь!

Глеб сел на табуретку и облокотился на стол.

– Я так тебя люблю, что не вижу белого света, – сказал он. – Никому не отдам тебя.

Лиза поцеловала его в макушку и села к нему на колени. Он обхватил ее.

– Вчера была изморозь... видела?.. Холода близко совсем. Я больше не гоняю коров в стадо...

– Близко.

– Давай договоримся говорить правду друг другу.

– Давай, – ответила Лиза.

– И что ты хочешь мне сказать? – целуя ее в лоб, спросил Глеб.

– Приезжал Сергей. Сказал, что замочит тебя в армии.

Глеб вскочил, Лиза свалилась на пол.

– Где он сейчас? – резко спросил он, отодвинув полочку в столе, но, словно одумавшись, захлопнул ее обратно.

– Ну... на село поехал... – оторопела Лиза.

Глеб побежал в сарай за Рёвой. Оба жеребенка метнулись следом за матерью. Глеб прыгнул на Рёву, как и был, в одних штанах, и прежде, чем Лиза успела что-то сказать, умчался. Пепел и Муха бежали следом.

На плите зашипел убегающий суп. Лиза, схватившись за голову, бегала по веранде. Наконец она остановилась и приоткрыла полочку. В ней лежал штык-нож в кожаных ножнах. Лиза похолодела.

Яська расшибал о стены яблоки и хохотал из хаты, ему нравилось это занятие.

***

Глеб издалека увидел Пухова. Тот стоял у мотоцикла и клеил Катьку Колхиду. Белобрысую девчонку из Курска. У Колхидиного дома Сергей появлялся ровно столько же раз, сколько и у Лизиного. Вид летящего на Рёве Глеба поверг Сергея в ужас, он схватил Колхиду и закрылся ей, а она выставила руки вперед и завизжала. Глеб, занеся плеть, оттянул Сергея по спине, тот, вскрикнув, откинул Колхиду и бросился бежать. Глеб снова наскочил и снова ударил. Но, понимая, что это игра в одни ворота, он, спрыгнув с Рёвы, сделал Пухову подножку и сел на него верхом. Пухова трясло. Через все лицо у него шла багровая полоса.

– Так ты что... мочить меня собрался? – шипел Глеб, держа его железной хваткой тонких, но сильных рук. – А не зассышь?

– Пошел ты со своей... су... Лизкой...

– А ну повтори, самка балаболки...

– Погоди вот... я тебя...

Глеб ударил Сергея со всей дури головой в лоб, и тот обмяк. Глеб встал и свистнул Рёву.

Через несколько минут он уже был на веранде, припевая, мыл лицо у рукомоя, а на лбу его хорошо виднелся удар о неразумную, деревянную башку Пухова. Лиза, стояла, закрыв пол-лица руками.

– Что вылупилась, коханка? Наливай свой суп, будем исть.

– Ты пил.

– Нет, на хлеб мазал, – и Глеб упал на табуретку.

***

До полвторого ночи Лиза читала на веранде и прислушивалась к звукам, перелаю собак на том конце... Спала деревня, молодежь только шумела. Клуб в последнее время открывали нечасто, ребята стали ходить через луг на Комаровку. Охота пуще неволи, но там был опасный переход через болотистую речку, и часто пропадали люди в той речке по пьяни.

Конечно, Лиза бы не пошла туда ни за какие коврижки. Но со стороны Комаровки слышалась далекая визготня девок, хохот, свист... Словом, все, кто хотел приключений, их находили. Лиза думала, что и Глеб вполне мог бы туда пойти... Почему бы и нет? А ведь будет ходить. Она поежилась от одной мысли, что увидит его с кем-то еще...

Утром Глеб не пришел работать во двор. Она не знала почему. Может быть, объявились другие дела.

– Да я знал, что он поболтать любитель! – ярился Григорьич. – Обещал быть, а теперь мне самому лазай под потолком!

Но Глеб, получив от Отченаша немного денег, полдня прыгал на стогу напротив его усадьбы, а потом куда-то ушел. Лиза ждала вечера, но снова заснула с тревогой.

***

Правда, явился Глеб только к обеду, хмельной и лучистый, хоть под глазами его виднелись тени короткого сна.

– Ты что, пил? – с вызовом спросила Лиза, идя к колодцу мимо него, согнув шею, как лебедь.

– Я... тут мне работа наметилась, в Москве, – радостно сообщил Глеб. – Так что я поеду прямо следом за тобой.

Лиза поставила ведро на вьюнок.

– Прямо так поедешь, как ты есть? А паспорт?

– Меня на машине привезут.

– А дальше что? – спросила Лиза, откидывая волосы с шеи. – Что ты будешь делать? Где жить?

Глеб сунул руки в карманы и зажмурился.

– Я... думал... ладно... поговорим потом, когда ты будешь в духе. И когда от меня не будет разить, как из чертовой табакерки.

Лиза сжала губы.

– От тебя всегда будет разить. Ты без этого уже не можешь.

Она взяла ведро и, мелко шагая, стала удаляться в сторону дома. Глеб вперился в ее выступающие из-под низкого выреза майки лопатки и, проводив взглядом, полез во внутренний карман. Он достал из клетчатого платка серебряное кольцо с зеленоватым круглым камушком, похожим цветом на глаза Лизы, и, покрутив его в руке, спрятал назад. На золотое бы выручки за вчерашнюю работу не хватило бы все равно. Да и как можно дарить серебро вместо золота... И какая радость теперь, шел с радостью, остался как всегда...

Глава тридцать третья
Всего неделя

Лизе оставалось быть в деревне всего неделю. Она ходила хмурая. Почти не ела.

– А-а-а же ты будешь без нас там с Ленусью... – охала Нина Васильевна. – Кто тебя будет кормить?

– Ну мам, не помру с голода, ну что ты говоришь...

– Ты там осторожнее. Не лазай...

– Я не лазаю, ты же знаешь.

– Знаю, потому и говорю!

Про Фильку Лиза думать не хотела, ей казалось, что больше она не сможет видеть его. Филька был настоящий «нормальный вариант» для всей ее семьи, но не для нее. А ждало ее вот что... тотальный контроль, полная потеря самостоятельности, отчеты о проделанной учебе, постоянные подковырки и уколы. Много-много слов и споров. Того, чего она не любила всей душой, но вынуждена была отбиваться, чтобы что-то мучительно и напрасно доказать снова и снова.

«Я буду беречь это все только в себе», – так решила Лиза.

Степка покричал ее за окном. Лиза вышла взъерошенная и сонная.

– Глебка спрашивает, пойдешь ли ты сегодня гулять.

– Пойду, – кивнула Лиза. – А он сказал куда?

– Он сказал, что к нему надо итить.

Лиза вздохнула.

– А Маринка с Яськой? И мамка его?

– Они за грибами всем кагалой почапали.

– Хорошо, скажи, что я приду, – сказала Лиза и дала Степке яблоко и три рубля монетками.

Тот взвизгнул от радости и убежал, шлепая по студеным лужам.

***

У Белопольских горел свет на веранде. Лиза стукнула и зашла в полуприкрытую калитку, разулась на половичке и зашла к Глебу. Он сидел за буфетом на табуретке и зашивал сеть. На конфорке плитки что-то шкворчало и приятно пахло.

– Ты что готовишь? – радостно спросила Лиза и, взглянув в сковородку, тут же, закрыв рот, отпрыгнула.

– Лягушку жарю. На сома заброшу.

– Какие сомы в такое время... холодно... Господи, ты меня... ты меня что... звал?

– Садись, поговорить надо.

Лиза села напротив него на другую табуретку. Глеб шил медленно и тщательно. Он, видно, устал уже шить, потому что иногда встряхивал головой.

– Выруби лягушку, – сказал он, не отрываясь от работы.

Лиза протянула руку и прикрутила горелку.

– Хорошо... ты молодец... умеешь обращаться с плитой... – съязвил Глеб.

Лиза опустила глаза.

– Ты хотел мне что-то сказать. Придумал что-то?

– Нет... я вообще этим не занимался...

– А зачем...

– Зачем... посмотреть в твои бесстыжие глаза.
Лиза положила локти на буфет и на них голову.
– Ну, вот я... предъявляй мне.
– Я про ту отметину.
– Ясно. И что?
– Просто интересно. Я же не мальчик, различаю... что есть что...
Глеб взглядывал на Лизу исподлобья.
– Тебе мало, что я люблю тебя? – спросила Лиза, глядя на его руки, мелькающие перед ней с иголкой.
– Да! – засмеялся Глеб. – Да! И зовешь к себе утешителя.
– Ты неправ.
– Прав.
– Неправ в корне.
Глеб замолк.
– Знаешь, зачем я тебя позвал?
– Нет. Даже не догадываюсь.
– Видела эту прекрасно прожаренную лягушку?
Глеб вдруг отложил работу, звенькнул чем-то, и перед носом Лизы в деревянную плоть буфета воткнулось тяжеловесное полотно штык-ножа.
– Тёма. Ты, правда, его знаешь? – сказал Глеб.
Лиза отпрянула. Холод подступил к кончикам ее пальцев.
– Почему... Тёма... – пролепетала она.
– Потому что он делает, как я попрошу.
– Что делает?
– Тьму.
Лиза привстала.
– Седай обратно и слушай, – Глеб вытер лоб и откинул волосы. – Если ты только подумаешь наставить мне рога, пока ты моя, пока мы вместе... если только... то и ты, и тот, который...
Лиза от волнения совершенно потеряла лицо. Глеб тоже приоткрыл рот и, повернув голову, как удивленная собака, добавил:
– Вам всем будет «Тёма».
Лиза снова попыталась подняться.
– Глеб... я... совсем не хотела...
– Седай обратно.
– Глеб... я...
– Там в полке чай, сделай... Чайник поспел, я сейчас приду.
Глеб осторожно поднял сеть, распялив ее двумя руками, и вынес, как девушку из веранды, чтобы нигде не зацепить.
Лиза пошарила на обмякших ногах по полке, нашла баночку с чаем и взяла чайник с плиты. Две не очень чистые чашки стояли на буфете, и она, оглянувшись, вытерла обе полой рубашки.
Когда Глеб пришел, Лиза уже заварила чай и молча сидела, кутаясь в курточку. Осень давала о себе знать. Глеб сел перед ней.
– Смерть – это одна из моих профессий. Ты знаешь, – сказал он.
– Знаю, – кивнула Лиза. – Ты просто деревенский...
– Не забудь добавить «лох», как говорит твоя сестра. Да, мы все тут такие. Но это ничего, скоро мы вымрем как вид, и нам на смену придут дачники. Они приличней выглядят, и некоторые даже понравятся тебе. У них есть деньги, много денег... Это тебе тоже понравится, ведь тебя мама с папой и твоя сестрица с ее муженьком к этому приучили?

Лизу передернуло.

– Что? Я стал груб. Неотесан. Извини.

– Ты перестал говорить на мове.

– Я и не могу говорить на мове. Мы не размовляем, мы балакаем!

– Да, у учителей всегда отчаянные дети.

Глеб взял замерзшие Лизины руки и приставил их ладонями к своей груди. Лиза хотела забрать их, но он держал крепко и целовал ее запястья.

– Вот здесь ты будешь жить, пока я жив.

Лиза склонила лоб, и Глеб склонил голову к ней.

– А вот я не знаю... у тебя так точно нет рогов, зачем ты меня бодаешь?..

Лиза засмеялась. Он поцеловал ее в макушку, сгреб в охапку и понес в дом.

***

Казалось, что это лето никогда не пройдет, но нет, оно почти избыло тепло. Долгие одинокие хождения за грибами не добавляли Лизе радости. Наоборот, в отдалении от матери, глядя на мох, на глянцевые шапочки грибов, она искала те места, где они с Глебом прятались от чужих глаз. А глаз всегда было много. Но самое неприятное, что не было доброжелателей. Даже Маринка помогала из-за интереса. Мать Глеба никак не комментировала их отношения. Только Отченаш, как-то поймавший их в лесу целующимися под соснами, покашляв ради приличия, спросил не без издевки:

– Ну! И когда свадьба?

Лиза понимала, что между их желаниями и возможностями – пропасть. Эта пропасть росла с приближением осени. Она росла, преумножалась трещинами, острыми углами, камнепадами и ледяной смертельной рекой далеко внизу. Глеб выводил ее из задумчивости вопросами.

– Ты любишь меня? – спрашивал он в замешательстве.

– Не знаю... – все чаще качала головой Лиза. – Я не могу разобраться в себе!

– Нет такого слова «не знаю». Есть да или нет...

И Глеб уходил. Он отправлялся на дальние делянки возить сено, боронил огороды на набережной, ходил с Григорьичем на веслах до плотины и обратно, а Григорьич изводил его своими безумными речами и наставлениями. Теперь было ясно, что Лиза уедет надолго.

Глава тридцать четвертая
Последняя ревность

Огород в Обуховке был убран, пора было ехать его скородить. У Лизы болела голова, она как могла брыкалась, но Нина Васильевна, думая, что Глеб и Лиза смогут, наконец, выяснить что-то важное между собой, настояла на поездке. Лиза сидела на заднем сиденье и не сводила глаз с Глеба. Вчера Григорьич остриг его овечьими ножницами и выровнял под бритву. Глеб смеялся, Нина Васильевна приложилась к парикмахерскому искусству так, что Глебу пришлось в результате побриться налысо. Лизе не понравился новый Глеб. Она долго привыкала к мысли, что в его золотую копну уже нельзя сунуть пальцы. Что теперь голова его похожа на ошкуренный каштан. Он даже извинился перед Лизой, что теперь стал «каким-то не таким».

– Но и ты какая-то не такая, когда делаешь прическу! – нашелся Глеб, и они нашли, наконец, общую тему и примирились.

Теперь Лизе хотелось погладить его голову, да и шла ему прическа, все равно шла! Поэтому Лиза принялась ревновать его молча к тому, что он лучше ее. Это девчоночье занятие недолго занимало Лизу. Они приехали, открыли дом, затопили печь. Григорьич пошел за бороной, Глеб закрыл дверь и вот уже собрался раздеваться, как в окошко постучали.

– Я понимаю, что нам в Антоново мешают все на свете, но тут-то что! – сказал он, запахивая обратно рубашку. – Тут твои хахали особенно суровы.

Глеб вышел на огород. Лиза открыла. По улице бежало стадо гусей с гоготанием и раскрыв крылья, которых Васька гнал в загончик.

– Здорово, как ты? – спросил он отрывисто. – Собираешься в Москву?

– Собираюсь, – помрачнела Лиза. – На днях уже поеду.

– А, вот же! И что, оставишь своего кавалера одного? – противная улыбка всплыла на Васькином лице.

– Оставлю... Только я не пойму, что тебе до этого.

– А мне просто хорошо! – признался Васька. – Что я не один буду жалеть про тебя.

– Ты мне раньше ничего не говорил такого.

– Так то было раньше.

Васька порылся в кармане и извлек оттуда маленький холщовый мешочек.

– Это вот тебе... чертов палец. Я нашел на берегу. Помнишь, где мы тогда купались? Ну тогда?

Лиза кивнула. Тогда... Это пару лет назад. Когда они поехали на великах на плотину и потерялись в лугах. Тогда, когда они наловили карасей загнутой иголкой от шприца из Васькиной аптечки, потому что потеряли и оборвали крючки от удочек. Тогда, когда он осмелился чмокнуть ее в ухо и поехал вперед через цветущую гречку около пасеки, и ее покусали пчелы. Это было в другой жизни, абсолютно в другой.

– Спасибо... Ты уж сильно не радуйся. Нельзя смеяться...

– Над убогими, – добавил Васька, ударил сам себя прутиком по ноге и, скосив плечо, потопал за гусями.

Лизе показалось, что он смахивает слезы. Он мог...

***

На час она вернулась в дом варить суп на плитке. С супом у Лизы получалось совсем плохо. Она не знала, что нужно поджаривать лук и морковь, а потом кидать их в суп, кидала просто так, что называется от балды. Постругав овощи слишком толстыми кусками.

Лук, развариваясь, становился противным и лопухами плавал в супе, а морковка была еще сырой.

– Тьфу ты! Абрам-повидло, что ты делаешь-то! – приговаривал Григорьич над супом.

Глеб ухмылялся.

Поскородив огород, Глеб перебежал к Васькиной бабке помочь раскидывать ей навоз по пашне. Мясушко с объятиями снова лез к Лизе. Лиза побежала за ним на луг смотреть коней и покататься на них. Но когда Мясушку сбросил конь, они вернулись. Решили палить сухую траву на меже, но не смогли зажечь.

Пришел Глеб с косой, зажег костер и снова ушел к Васькиной бабке. Сам Васька в этот момент починял мотоцикл в ветлах, откуда разносились громкие крики других ребят, внуков бабы Грай, приезжающих на лето из Киева. Они были старше Лизы на год и два, словом уже взрослые ребята, и Лиза боялась с ними играть в карты на поцелуи. Могли не только поцеловать, но и завалить в траву и облапать. Кому это понравится?

Григорьич нарубил немного веток на разжижку печки.

– А кто вам зажег костер на меже? – спросил он Лизу и Мясушко.

– Мы сами не смогли. Нам помог ангел с косой.

– А... хорошо... но вообще надо самим учиться, а не на ангелов уповать.

Глеб, раздосадованный чем-то, не обращал внимания на Лизу, притихшую в доме. Григорьич спилил дубок на столбик, Глеб помог ему загрузить дубок в прицеп. Лиза заперла дом с сожалением, что еще нескоро вернется туда.

Заперев дом и двор, они тронулись уже по сумеркам. Поехали снова через луг, во второй раз надеясь, что не засядут. Но они сели. Глеб выгрузил дубок из прицепа, отцепил прицеп, вытолкал машину. Лиза помогала.

Пошел дождь. Еще немного, и история бы повторилась, но Григорьич решил вернуться назад.

– Возвратимся. А утром поедем. Сейчас мы сядем!

Григорьичу просто очень хотелось сходить к другу Женьке, день рождения которого гуляли через дом. Там был и тот смешной мужик, дядя Ванька Аникеенко, который говорил животом. Иными словами – чревовещатель. Якобы в животе у него сидела какая-то Манюшка и постоянно говорила: «Ваня, не пей, не пей, ирод!». И так хорошо он говорил животом, что о нем шла слава на три села. Приезжали лично с ним и с его Манюшкой поговорить, чтобы она чего-нибудь сказала. Это было страшно занятно Григорьичу, который плохо ладил в Антоново с мужиками, слишком задаваясь, а тут вполне чувствовал себя своим. В Антоново он тосковал о брошенных приятелях, несмотря на то, что имел прекрасную рыбалку и личного помощника. Они прикатили обратно.

Васька шел им навстречу в плаще с широким капюшоном и разулыбался.

– Чего ты скалишься? – спросил его Григорьич, весело предвкушая убийственный самогон Женьки.

– А вы что, думали, так просто уедете? – скривился Васька.

– Козлина, – процедил Глеб сквозь зубы. – Шоб его гриц взял.

Дом потребовалось опять топить. Глеб потащился колоть дрова, которых насобирал по двору. Григорьич же, прихватив сало, привезенное из дому, убежал к Женьке.

– А вам... а вы чаю попейте, – сказал он. – Вам вообще есть не надо, вы и так сытые.

Глеб поднял бровь.

– Ну да... разогреем ужин... Жаль, батареи нет.

Как только Григорьич ушел, Глеб, сев у печки и стащив мокрые носки, протянул ноги к теплу.

– Знаешь что... – сказал он Лизе. – Ты знаешь, как я тебя кохаю, Елизавета? Как... я даже не знаю что... И вот, представь себе, приезжаем мы снова сюда, и приходит этот... дрыщ. Скажи мне, пожалуйста, кохал ли кто тебя, как я?

Лиза, упав на расстеленное на полу одеяло, разнежилась от тепла.

– Неа. А ты? Разве не тем же занимаешься? Я же тебя сняла с твоей Лельки.

– Да не было у нас ничего, – ответил Глеб равнодушно. – А если б и было... я тебе не сказал бы.

– Вот и я тебе ничего не скажу.

Лиза встала и потащила одеяло в другую комнату. Завернувшись в него куколкой, она пыталась заснуть. Но тишина не давала ей покоя. Дожидаясь, когда придет Глеб, она пролежала около двух часов. Наконец терпение ее лопнуло. Лиза на цыпочках прошла по комнате и, открыв дверь, высунула голову.

В печи чуть потрескивали дрова. Глеб спал, сидя за столом, положив голову на руки. Лиза в волнении несколько минут стояла и смотрела, как он спит. Спокойно и печально. Пока на улице не послышались шаги и приговорки. Это возвращался отец. Лиза убежала в комнату, закрыла дверь и снова завернулась в одеяло.

***

На обратном пути Глеб был немногословен, а у Григорьича болела голова. Они ехали через Снагость. Утро сияло солнцем. Было очень тепло, несмотря на конец сентября. На повороте, недалеко от реки, Лиза заметила высокую девушку, довольно фактурную, с хорошей, недевичьей уже грудью, в юбочке и майке, открывающей немного полные плечи. Она рисовала на пленэре.

– А! Вот моя знакомка! – оживился Глеб, открыл окно и махнул ей: – Натаха! Привет!

Девушка прищурилась и, не сообразив видно, кто ей и откуда кричит, продолжила рисовать.

– Знакомка? – недовольно произнес Григорьич.

– Учились вместе. Ах-ха... учились, – ответил Глеб. – И не только. Дружили. Ну так... она из Питера. Она там с мамой жила, а потом ее прытыренная мать так же, как меня, ее привезла сюда. Тоже по объявлению мужа накопала. В газете. Вот так, скажем, нашли мы с ней общий язык.

– Ну понятно, – сказал Григорьич.

Глеб хотел продолжить рассказывать что-то интересное, но случайно бросил взгляд в зеркало заднего вида. На лице у Лизы было написано отчаяние. Еще немного, и она бы разодрала на куски и Глеба, и эту Натаху.

Глеб вышел у своего дома. Лиза рванула за ним.

– Куда! А матери помогать! – остановил ее Григорьич.

Лиза ударила дверью машины.

– Сейчас, – крикнула она. – Приду.

Сложив руки на груди, она испепеляла взглядом Глеба. Чуть наклонив голову и сжав губы, она была похожа на взрослую.

– Что ты смотришь на меня, как паровоз на Анну Каренину? – спросил Глеб, улыбаясь.

– Не рано ли ты начал мне мстить?

– Рано? За что мне тебе мстить?

– За что... всегда найдется, – сказала Лиза и быстрым шагом направилась домой.

– Постой! – крикнул Глеб, но она не остановилась. – Постой, Лиза!

Лиза продолжила идти и скрылась во дворе.

– Ох... да что ж такое... – сказал Глеб, протирая глаза пальцами. – Коза! Лизка! Ты коза!

Глава тридцать пятая
Белые мухи

Перед дорогой в основном больше суетилась Нина Васильевна. Она пекла пирожки. Лиза и Глеб сидели на веранде друг напротив друга и молчали. Лиза думала, что вряд ли доживет до выходных, слез у нее уже не осталось. А Глеб просто не знал, что делать уже прямо завтра. Идти вешаться или лучше утопиться. Своим молчанием они растили свою вину и уже жили там, в грядущем. В «завтра», где пришлось бы оказаться, если бы они проснулись живыми, было страшно. Но оказаться там вместе они не могли. А врозь не получалось дышать.

Конечно, жить они будут и как-то выберутся. Все пройдет и порастет быльем. И тройной перекресток противопожарных полос, и стонущее дерево, и хвоя, и охапки желтых цветов, и мотыльки в банке, и даже зеленая лужа в лесу, как свидетели, останутся. И когда-нибудь потом эти свидетели тоже исчезнут. Как исчезнут Глеб и Лиза.

– Родненькая моя, я никуда тебя не отпущу, – сказал Глеб, беря Лизу за безвольную руку, как тряпичную куклу.

Теперь и она понимала, что можно, конечно, быть счастливой и беззаботной. Да, шутить и веселиться, не думать о завтрашнем дне, но неминуемый конец близок. И вот он слишком близок. Слезы снова полились из глаз Лизы.

– Ну не плачь, не рви мне сердце. Я же не могу плакать, – сказал Глеб. – Я же мужчина.

Лиза упала к нему на плечо. Он обнял ее за шею. Родители шоркались туда-сюда мимо веранды. Занавески колыхались. На улице из окон машины журчала музыка, и Лизе хотелось скорее прекратить это прощание.

– Ты только ничего не делай, если вдруг что... – сказала она Глебу.

– А что? Ты о чем? – спросил он, отодвигаясь.

– Я о том, что... может быть, нескоро приеду.

Глеб опустил голову.

– Нескоро приедешь? Или... что? Вообще не приедешь, да? Бросишь меня?

Лиза закрыла глаза рукой.

– Не говори, пожалуйста, мне такие слова. Я люблю тебя. Ты знаешь.

– Я тоже тебя люблю. И даже больше, чем люблю. Я не знаю, как это называется, когда... как будто мы плаваем с тобой на глубине, где темно и страшно. Море меня вырастило, я знаю, о чем говорю. А надо всплыть, чтобы взять воздуху. А там на дне я вижу большую ракушку. И в ней большую жемчужину. Просто огромную. Но у меня нет воздуха, хоть и вот она, прямо дотянуться и ухватить. Ракушка открыта, жемчужина мне видна. Я или схвачу ее, или сдохну. И вот я решаю, что если всплыву, поднимусь и вдохну, то, ясен пень, вернусь за ней. И я поднимаюсь. Я быстро поднимаюсь. И у меня кровь из ушей к чертям собачьим, ломает мою голову, я вдыхаю воздух, но он такой уже мне ненужный, потому что я увидел то, чего хотел, но его у меня нет. И я... самое главное, что я, со своими разорванными перепонками, задыхаясь от кислорода, со сжатыми легкими, я не спущусь уже туда. Я не могу спуститься. Я не могу! И она остается там. Я знаю, что она там. Что придет какой-нибудь человек... в экипировке... и, даже не зная вообще, что я из-за нее...

– Прекрати! – сказала Лиза и тряхнула Глеба за плечи. Он покачал головой и поднял на нее глаза, полные пустоты и тоски.

– Так ведь и будет, да? Зачем долго мучиться, убей меня сейчас.

Лиза снова тихо заплакала, понимая, что ее тихий плач скоро перерастет в истерику, а истерика – в полное отупение, в отсутствие здесь и сейчас. А ей надо быть такой, как обычно.

– Ужинать будем? – проворчал Григорьич, проходя мимо веранды. – Идите, молодежь, в лес... Смотрите, тепло какое... Тепло, можно гулять.

Лиза молча встала, спрятав лицо, прошла мимо отца. Мать была в доме, жарила рыбу на печке.

Глеб вышел следом.

– Ну, мы не прощаемся. Я через пару дней приеду, Глеб, ты начинай обшивать гараж, – сказал Григорьич и протянул руку Глебу.

Тот пожал ее и только кивнул, не в силах произнести ни слова. Он обулся и вышел следом за Лизой, сорвал с гвоздя свой брезентовый плащ, в котором ходил пасти, и подобрал плеть, которую бросил на крыльце.

Лиза уже ждала его у черешни, в огороде. Она не хотела выходить за ворота, чтобы лишний раз не прощаться ни с кем.

– Отченаш так и спрашивал меня... какое-то время назад... что мы делали на меже... Помнишь? Смородину ломали, помнишь? Я тогда еще натрёс в шапку летучих мышей, и мы смотрели, как по ним бегает какая-то насекомая дрянь...

Лиза невесело улыбнулась.

– Иди через огороды. И хватит.

– Пойдем на наше место, туда, где мы были...

– Нет. Ты хочешь себе добавить, чтоб совсем не всплыть? Там и остаться?

– Меня бы хоть рыбы съели. И ладно.

Глеб закурил. Он смотрел на Лизу теперь как в первый раз. С насмешкой и интересом, с кривой улыбкой красивого рта. Он все понимал. Даже понимал, зачем тогда впервые поцеловал ее на обочине в озябшую от майского ветра щеку.

– Ладно, кохана, хорошо грустить так, да нужно ли? Завтра мне працювать, а тебе танцевать.

Лиза приблизилась и поцеловала его в лоб.

– Правильно, как покойника... – сказал Глеб, печально выпуская дым в сторону. – Я же уже и есть покойник.

Он хотел схватить Лизу, обнять ее, прижать к себе, как раньше, завалить ее на ледяную траву, но, только бросив папиросу щелчком, повернулся и побрел по меже к своему огороду.

Лиза, замерзнув, тоже пошла. Минуя отца и мать, она ушла в дальнюю комнату на диван и легла, укрывшись с головой одеялом.

– Лизавета, будешь ужинать? – крикнула Нина Васильевна из-за печки.

– Я сплю, не трогайте меня, – ответила Лиза.

До шести утра она не сомкнула глаз. Мать и отец сбивчиво храпели. Григорьич вставал курить, хлопал дверьми. Нина Васильевна постоянно ругала его за пренебрежение к ее покою. Лиза лежала под одеялом, не двигаясь. Подушка намокла от слез, которые лились бесконечно и безостановочно.

К утру, когда Григорьич выгнал машину, пришел Глеб. Лиза оделась потеплее, а он как был, так и, видимо, спал. Одетый, и в плаще. Или лежал где-то на сеновале. Неважно где.

Лицо его тоже хранило следы слез. Наверное, он не мог сдержаться. Он поцеловал Лизу в щеку, она тоже поцеловала его куда-то мимо губ. Ско-

рее всего, он что-то хотел сказать, Нина Васильевна толкнула его легонько в спину, он махнул рукой и, как только машина отъехала, молча ушел на кордон. И не возвращался от лесника до того дня, пока не приехал Григорьич. Он привез полную машину вещей со старой квартиры Ленуси и сразу отправил Степку на розыски Глеба, чтобы тот помог ему разгрузиться. Глеб явился мгновенно. Но это уже был другой человек. Может быть, человек уже только наполовину...

***

Первый день приезда в Москву, когда Ленусь и Мишуня стали сразу же следить и приглядывать, Лиза лежала целый день в своей комнате. Она не думала вставать и куда-то идти. Дорога и нудные разговоры отца измучили ее. Добавились и страшные мысли о том, как теперь жить и понимать. Но нужно было делать вид, что ничего не произошло. Что она прежняя. Что ничто не трогает ее. Только тогда была возможность не допустить вопросов: «Что случилось?». И: «Не надо ли тебе к психологу?». Учеба спасла новыми друзьями. Пары до вечера не отпускали домой, и после института можно было еще ходить, бесконечно ходить по кафе или просто улицам и переулкам. В этом смысле Москва была уникальным городом, она сама являлась психотерапевтом и лекарем, водя и запутывая страждущих по всем кругам, которые они сами выбирали. Лизе звонила мать, но дома ее застать было невозможно. Она приходила поздно вечером, валилась спать и уходила в рань.

В выходные Лиза спала, чтобы провести ночь в каком-нибудь клубе с Ленусью и ее подружками. Сестра взялась за ее воспитание от скуки и оттого, что часто сама не могла выйти за выпивкой. Лизе предстояло развлекать ее за доброту. За то, что вся семья учила ее.

Лиза покупала газеты с объявлениями о работе, но предательские вакансии не давали возможность учиться на дневном. А вечернее образование никто бы оплачивать не стал.

Как только Лиза впервые заикнулась о работе, Ленусь прошипела:

– Учись, пока я добрая! Или вали на все четыре и сама себя обеспечивай.

«Валить на все четыре» для домашней, приученной к семье Лизе было вообще не вариант. Она не имела никаких наклонностей, чтобы пойти и найти себе «спонсора», как это было тогда модно. Опускаться на дно она не согласилась, предпочитая терпеть от родных их не совсем этичное обращение. Это могло бы продолжаться очень долго. Как минимум пять лет учебы... или пока она сама бы не нашла в себе силы что-то изменить. Но сейчас у нее не было сил ни менять что-то, ни меняться самой.

Глава тридцать шестая
Миллениум

Москва утопала в дождях, дожди превращались в стекло, и там, далеко, в другой жизни. Глеб постепенно переставал ходить к москвичам. Его как отрезало от них. Все больше времени он проводил на ферме, куда устроился на коровник. Лелька тоже внезапно потеряла его. Не за горами была армия. Она вовсю маячила ему совсем не издалека.

Но нужно было как-то пережить зиму и окончательно поставить все

точки. Мать по-прежнему звонила Ленусе раз в неделю, но ничего не говорила о Глебе. Перестала звонить и Маринка.

Конец октября был страшен. Прошло три недели, как уехала Лиза. Белые мухи налетали и, уносимые ветром, ложились, медленно тая на еще не остывшей земле. Лес стал красен и желт от опавшей хвои. Денежками рассыпались по холмам осенние грибы. Фиолетовые рядовки, пляшки поганок, широкие шляпы свинухов, зонтики с крапинами. Со слов Нины Васильевны, часто звонящей в Москву, Лиза училась в академии, и учение ей нравилось. Глеб тоже звонил. Сначала они вместе с Ниной Васильевной ходили звонить к почтарьке, но та сушила уши, а потом разносила по селу новости.

Глеб стал ездить в райцентр на Рёве, чтобы заказать переговоры с почты. Но не мог застать Лизу дома, пока почта работала. Он написал Лизе письмо, вспомнив письменную науку.

Лиза обревелась, и два дня ходила как убитая. В академии было больше мальчиков, и все мальчики были симпатичные. Она снова была на волне, хотя и среди таких же, как она, юных и прекрасных в основном. Глеб не получил ответа на письмо. Несколько раз он подкатывал к Маринке, чтобы она набрала Лизе. Маринка шла и набирала с телефона своего нового хахаля Семена, у них дом был телефонизирован, к счастью, связь теперь была в любое время. Но к телефону постоянно подходила «какая-то баба» или «какой-то мужик».

Ленусь и Мишуня днем были постоянно дома у телевизора, только поздно вечером Мишуня со своей братвой ехал куда-то за деньгами и иногда сутками пропадал. Но звонить в Москву часто было дорого, и никто не давал этого делать. Однажды Маринка все-таки дозвонилась, и Лиза была дома. Лиза неохотно говорила с ней. Ленусь спала после гулянки.

– Напиши ему, напиши, Лизунчик! Я умоляю тебя! Напиши, что случилось, ведь он ждет! Напиши ему хотя бы три слова, не можешь ведь ты вечно молчать! Милая, любимая моя! Напиши!

Лиза, трясясь от слез, начала писать. Но не понимала, что писать. Что ей писать ему теперь? Что она жива, что отрезала волосы и теперь ходит с короткой стрижкой, что Ленусь водит ее в дорогие рестораны и купила билеты в Прагу встречать миллениум. А он, Глеб, знает, что такое миллениум? И что она передружилась со всеми парнями на потоке, что вчера гуляла по Арбату и курила кальян с какой-то ерундой, от которой ее унесло. Что ему писать? Что ей нравится несколько мальчиков, что она ходила к бывшему однокурснику на день рождения и он предложил ей остаться на ночь... И только надвинувшийся на нее внезапно ужас заставил ее ловить такси и ехать домой...

Лиза писала и рвала письма дома, ночью, писала и рвала их на парах, но ей все равно казалось, что эти жалкие строчки и куски бумаги кто-то прочитает, узнает о ее падении. О ее позоре. Она приняла решение называть это позором, чтобы в крайнем случае остаться невиновной.

Наконец, бросив на бумагу несколько строк, она запечатала конверт и отправила Глебу.

Он позвонил в три часа ночи. К телефону подошел Мишуня.

– Да...

– А Лизу можно?

– Лиза в такое время спит. А вот что тебе не спится, мудозвон? Иди напейся и спи.

Лиза на эти слова выскочила из комнаты, но злой Мишуня уже со всей дури ударил трубкой по базе.

– Пес! – выругался он и пошел в спальню.

Лиза, онемев, стояла посреди гостиной. Машины проезжали по Ленинскому, гудя, и в переулках было слышно, как они растаскивают на шинах еще неубранную дворниками грязь.

«Я тоже грязь, – подумала Лиза. – Пусть я получу за это».

Наутро она встала с головокружением, которое не проходило около двух недель. Через пять дней пробилась со звонком Маринка. Лиза, болея, пропускала пары. Ленусь и Мишуня поехали на день рождения друга в казино «Черри» на Новом Арбате. Там они могли пробыть долго, но Лиза все равно боялась звонить даже подругам, чтобы они не приехали не вовремя. Мишуня и Ленусь приходили под коксом.

– Лизка! Что у тебя с голосом? – спросила Маринка.

– Болею. Как мама? Как все?

– Ну, ты написала письмо? После того написала?

– Написала... а что такое...

– Что ты ему написала, Лизанька?

– Тебе-то что... – Лиза сделала паузу. – Что... все.

– Ты его бросила?

– Нет, но... я написала, что все должно закончиться. Мы люди... с... разных... планет.

Лиза зашмыгала носом.

– Ой, миленькая! Что ты наделала! Что ты натворила! Он же повесится!

Лизу подбросило на кровати.

– Что случилось? Он что-то рассказал про меня? Кому? Маме? Кому? И что?

– Он рехнулся просто! – заревела в трубку Маринка.

– Так, слушай, вылови это письмо. Оно в голубом конверте с желтой маркой. Я не знаю... забери его у почтарьки, отдай его моей матери. Нет, сожги его. Нет, брось его в ваш этот... гольюн, или как ты его называешь. Слышишь? Забери... может быть... я приеду... может, на Новый год! После него. Не смей показывать его Глебу.

– У-и-и-и... – запищала Маринка. – Если он его возьмет... он не доживет до твоего Нового года.

– Он что, болен?

– Нет! Он убит!

– Я сама ему скажу.

– Ты не сможешь, мать! Лизанька, цветочек, я прошу, ты не пиши ему такого больше.

Лиза бросила трубку и откинулась на подушку. За эти несколько недель в Москве она исхудала и побледнела. Деревенская свежесть лица и мягкость тела сменилась снова на углы и просвечивающиеся косточки. Теперь она была одной из тех, кто беспричинно изводит себя голодом и тоской, днями валяясь дома в постели, а ночами угорая по клубам. У Лизы стучали зубы. Она пошла на кухню налить себе воды, но рука так дрыгалась под краном, что ей стало страшно.

Ослепительный московский октябрь сменился ноябрем. Лиза все еще болела и чахла, но через ее худобу и бледность стал прорисовываться новый образ. В нем не было никакой тайны и томности. Наоборот, набравшись от Ленуси и Мишуни их словечек и скопировав

их единственно возможное, как ей казалось, поведение, Лиза словно спрятала лицо.

Со временем она вполне могла бы стать достойной сменой Ленуси. Полное безразличие к себе говорило о ее скрытом отчаянии. И действительно, в наушниках, с вечным «Сплином» в ушах, Лиза училась и вообще жила, как будто машинально делала дела и порой не замечала простых вещей. Но чуть ей только приходилось оставаться дома одной, как неминуемое чувство возвращения тоски снова сваливали ее в состояние сомнамбулы.

Новый год нового века, который многие, обсчитавшись, провозгласили миллениумом, сестрой решено было отмечать в Праге. Лизу решительно нельзя было оставлять одну, и ее взяли с собой. Скорее для того, чтобы Ленусе было не скучно, да и отношения с мужем у нее трещали по швам.

Ленусь купила Лизе новогодний наряд. Серебряную юбку-колокол в пол, прозрачную черную фатиновую блузку и серебряные туфельки. Лиза выглядела сногсшибательно. Но к сожалению, не было уже больше ни рыжей гривы, ни озорного блеска в глазах.

***

Глеб понимал, что отъезд Лизы и ее перемена неизбежны. Да, вот она была, а теперь ее нет. Двор, дом, яблони, лес, долбанутая луна, которая не дает спать, стоят на месте. А ее нет. Даже ее родители здесь, отчего еще страшнее. Он приходит к ним во двор поработать, они пьют чай, а с фотографии смеется Лиза. Она смеется над ним. Он пьет, а она все равно смеется. И мир его стал мутным и отвратительным, как ячменный кисель. Она вышибла землю из-под его ног. Были девушки и расставания. Но такого не было. Кто обнимает ее? Кто ее ласкает? Что ей мреется на заре в чужих руках? Кто дышит на нее, как на драгоценную зирку? Цветок, золотой подсолнух. Бархат и шелк. И больше ничего, больше ничего! Как ее обозвать, как вернуть ее, хоть доброй, хоть злой? Предательницей, клятой шалавой?

Маринка сообщила, чтобы он ждал ее поговорить о важном. Что она приедет на Святки, а может, и на сам Новый год.

– О чем поговорить? – кричал Глеб, хватая Маринку за плечи.

Та ревела и прятала глаза.

– Понятно! У нее... кто-то есть? Сказала она тебе?

Маринка молчала и убегала. Глеб всех извел. Он не работал больше нигде. Только у москвичей. И все, что приносил, пропивал. Скоро должен был истечь ноябрь. Письмо было успешно перехвачено Маринкой у почтарьки и немедленно порвано и утоплено. Но вперед прочитано ею со слезами и проклятиями. Лелька часто приходила к матери Глеба. Они сначала болтали, потом доставалась херша и начиналась пьянка. Однажды, засидевшись у Белопольских и дождавшись, когда все отрубятся, напоив в усмерть Глеба, уползшего на холодную веранду спать, Лелька решилась. Она работала на ферме, помогала там новому контингенту. Арендатор нанял девок-детдомовок в доярки и редко кто сторонний мог там теперь выжить. Смотрели они искоса. Побили аппаратами для машинного доения проверяющего, прибежавшего поскандалить о жирности молока. Там была одна, самая бойкая, Фиса. С конопушками на маленьком любопытном носу, с наглыми хвостиками, но матерщинница и оторва. Она там всем руководила, как старшая, хоть ей было всего двадцать пять. Девки жили при ферме, в вагончиках. Глеб иногда шарился там по своим делам, и Фиса пару раз пыталась что-то ему сказать. Лелька это замечала. Пони-

мала, что если спустит, то Фиса уведет Глеба. Лелька решила, что никогда больше его не прошляпит.

Она села возле спящего Глеба, расплывшись, расстегнула ватник и легла к нему, рядом. Глеб что-то сказал и, открыв глаза, поднялся. Лелька отодвинулась к стенке. Глеб смотрел на Лельку мутно и безглазо, как будто она не могла тут появиться. Она, грязное животное, не пропускавшая ни одного мужика. Она, а не его золотой факел, жадный и чистый огонь, смирный, как всякое пламя, обжатое камнями очага. Что-то такое гуляло в его голове. Прекрасное и ужасное.

– Иди сюда, иди ко мне, я же пришла... – нежно сказала Лелька, похлопывая ладошкой по постели.

И Глеб не вынес и взял ее, эту Лельку. Взял, как она любила, сильно и страстно, зажмурившись, хоть и было темно и вовсе необязательно было жмуриться. Не заботясь, хорошо ей или нет, ударив ее несколько раз о железный поручень, а после, лежа рядом, с отсутствующим лицом и телом, дышал неслышно, как полумертвый.

– Скажи мне теперь... скажи... что вы там девки обычно поете... Кузнечик мой любимый... люблю... скажи... только чтоб я не разобрал. Как будто это не ты...

Лелька зарыдала, прикрывая свою пошлую наготу, затряслась, зацарапала улыбающегося Глеба по гладкому лицу, кинулась бить его кулачками. Но он уже остыл и очнулся. Встал, чиркнул спичку и снова сел, закурив.

– Отвали теперь... – сказал он, задумавшись. – Теперь тебе уже больше ничего не надо?

– Да зачем ты... ты! Обижаешь меня? – захлебывалась Лелька. – Ведь она тобой поиграла и бросила. Она тебя использовала!

– Да, конечно... – не веря, ей сказал Глеб. – И отдала мне... самое дорогое...

– Да дурак ты! Дебил! Для девки девственность – это проблема! Разве ты не знаешь! Да это вы берете на душу грех! И проклятие! Ты распечатываешь, а потом тебя эта ее девственность губит! Ты не знаешь? Знаешь, бабка Никанорша говорила, если парень сойдется с невинной, то потом погибнет, если не женится! Герой! Ты всем рассказал, все знают! Ты же весь такой крутой! Да еще и городской, как она! Надеялся в Москву попасть? Все это знают!

– Иди к черту, дура, – произнес Глеб, затянувшись, и полез в стол за штык-ножом.

Лелька, испугавшись, притулилась к стенке.

– Ты... ты что...

Глеб достал нож, пожевывая папироску.

– Ты уверена, что это все так, а не по-другому... – голос его заплетался, как и мысли.

– Все так! – вылупив глаза, пропищала Лелька.

– Ну а что же ты не идешь? – спросил Глеб, гладя лезвие, подсвеченное до живого металла огоньком папиросы. – Иди, говорю, к черту. Там тебе место.

И Глеб, протянув свободную руку, сильно ударил Лельку о стенку головой. Та взвизгнула, упала в подушку и заревела. Глеб оделся и с видом приговоренного вышел с веранды.

Лелька услышала во дворе шум, возню, какой-то странный звук, которого раньше не слышала. Она вскочила, быстро натягивая сапожки,

поправляя халат, и побежала по кривым ступеням в сарай, откуда эти звуки доносились. Но ей навстречу уже выходил Глеб, белый, как снег, как будто призрак, с темными полосами на голой груди. Он прошел мимо нее, откинув штык-нож, и вышел за ворота. Лелька в ужасе обернулась в открытые двери сарая и, увидав подергивающиеся белые ножки и копытца Мухи, завизжала на все село.

Глава тридцать седьмая
Жестяной Вифлеем

Лиза немного успокоилась, и вскоре они полетели в Прагу. Отношения в Праге Ленусь с мужем выясняла до драки. Они оказались запертыми в пространстве одного номера. Играть в казино было идти не с чем, и у Мишуни сносило крышу от скуки и наркотической трезвости. Так свободно, как в Москве, себя нельзя было вести в предрождественской Праге. Тут могли бы быть серьезные проблемы с полицией. Ленуся и Мишуня жили в отдельном номере, а Лиза снова ночевала в одиночестве. Жалюзи на окнах отеля «Вилла Ассен» были плотно закрыты. Ни один луч естественного света не проникал в номер. Лиза как-то попыталась с ними разобраться. Дергая, она сломала их и увидела в утреннем тумане черные кресты надгробий и каменных ангелов, парящих над его густотой.

Лиза откинулась от окна, ничком упала на постель и лежала, пока не постучала в дверь вечно раздраженная Ленусь.

Через день они были уже в Карлштейне, маленьком городке с замком. Там одиночество Лизы разбавило присутствие друзей из Германии и их детей. После многих дней Лиза снова забылась и отогрелась, пуская салюты, бегая по мощеной улочке и рисуя немецким девочкам русских красавиц в кокошниках... «Груба жизнь», – повторяла Лиза из чеховской «Чайки» выученные навсегда еще в театральном институте реплики. «Почему вы всегда ходите в черном?» – «Это траур по моей жизни, я несчастна»; «Константин Гаврилович застрелился». Небо Карлштейна озарялось русскими фейерверками. Наступила новогодняя ночь, и снова Лиза впала в ступор. Зачем, думала она, эта любовь, если потом из нее невозможно выбраться?

Но тем не менее выбиралась она гораздо быстрее Глеба, которому сама окружающая атмосфера не позволяла не только забыть, она каждым кустиком чертополоха била его по оголенным нервам. Если бы не случилось беды, Лиза бы так и не вернулась в Антоново в ближайшее время. Без нее там шла извечная, своя жизнь. Кропотливая, суетливая, уже надорванная новой исторической эпохой, которую все не заметили за постоянным выживанием или пьянкой. Заболела Нина Васильевна, наевшись свинушек. Всю осень она, дорвавшись до леса, носилась по бору и собирала и консервировала, собирала и консервировала. А потом с картошкой и Григорьич, и она пробовали и каждый день ели грибы. Может быть, что-то повлияло на их с Григорьичем уже немолодые организмы, но внезапно они оба страшно занемогли.

Фаина Самуиловна прибегала к ним колоть лекарства. Она работала теперь в фельдшерском пункте и понимала, что дело серьезное, надо москвичей в больницу. Но Нина Васильевна, зная, что Ленусь, Мишуня и Лиза в Праге, не хотела ничего говорить, чтобы не портить им праздники.

– Поболеем, ну помрем, так помрем... – говорила она.

Бим постоянно выл на цепи. До того выл, что однажды Глеб, качаясь от выпитого, пришел к Григорьичу разбираться, почему собака воет. Увидав Григорьича в плачевном состоянии, он поднял на уши всех, кто мог бы чем-нибудь помочь. Схватив Маринку, которая, примирившись с реальностью, загуляла с Солдатом, за грудки, он заставил ее бежать и звонить Лизе.

– Звони Елизавете! – кричал Глеб не своим голосом. – Скажи, что мать с отцом помирают.

Маринка в ужасе побежала к бывшему. За какие-то обещанные коврижки осталась у него на полдня и звонила, звонила... Лиза только вернулась домой из аэропорта. Понимая, что ей могут звонить в любое время и, не имея обратной связи с родителями, она держали телефон при себе. Звонок поднял ее в два часа дня.

– Лизка! Приезжай срочно, Лизка! – завопила в трубку Маринка. – Твои батьки помирают, они уже вторую неделю лежат, даже печку забывают!

Лиза вскочила с диванчика.

– Что, что случилось, почему они сами не звонят?

– Приезжайте срочно, а то не застанете!

Через два дня должно было наступить Рождество. Лиза растолкала сестру и Мишуню. Ее подтрясывало.

Захватив с собою документы, Лиза рванула в Трансагентство за билетами. Взяла купе на вечер. Ленусь, недовольная порушенными планами и испорченными праздниками, потащилась на вокзал с Лизой и Мишуней. На другое утро они уже были в райцентре и, поймав такси, поехали в Антоново.

Ленусь материлась. Мишуня молчал, и желваки ходили на его скулах от гнева. Проезжая мимо дома Белопольских, у Лизы чуть не остановилось сердце... Снега почти не было. Улица свежо сияла вчерашним проливным дождем, приклеившимся к веткам слюдяными корочками. А у колонки в серой куфайке на голое тело, и в своих извечных штанах и сапогах сидел Глеб и что-то шил.

– Это видение, – подумала Лиза и зажмурилась на заднем сиденье.

Но как только такси остановилось у дома москвичей и из него стали выходить Ленусь, Мишуня и какая-то девка со стрижкой на лохматой рыжей голове, Глеб привстал и уронил свое шитье. Он замер, как кот перед прыжком, и стоял так, пока Лиза не повернула голову в его сторону и издалека, с расстояния ста метров, не встретилась с ним глазами.

Ленусь, схватив ее за рукав пуховика, затащила в калитку.

– Мать при смерти, а ты все пялишься на своего латыша.

– Ага, у меня, говорит, как у латыша, х... да душа... – засмеялся Мишуня.

Мать и отец действительно выглядели очень неважно, но не умирали. Они потихоньку топили печь, благо дело Глеб наколол им полный дровяник дров, и Нина Васильевна, разом потеряв нежную полноту, стала совсем нехороша собой. Григорьич держался и не унывал.

Ленусь верещала и ругалась на всю улицу. Она поливала мать и отца умопомрачительными и совсем не дочерними ругательствами, а родители, молча ссутулившись, виновато выслушивали ее. Она приказывала вырубить кур и отдать собаку и немедленно ехать домой.

– Мне на фиг не нужны эти проблемы, срываться к вам хрен знает куда! – орала она и сыпала руганью. – Вместо того, чтобы тусоваться, сидеть тут в этой долбанутой деревне и ждать, когда вы соберётесь назад!

Лиза не знала, куда спрятаться в доме. На веранде было холодно, гараж тоже был еще без дверей, оставалось только убежать в лес. Но в лесу она могла встретить Глеба... И Лиза терпела эти летающие топоры над головой, хоть сама не знала, как это пережить и не сойти с ума.

***

Два дня они разруливали и утрясали ситуацию с возвращением в Москву. Лиза ждала, но никто, кроме мелких, не пришел поздороваться. Зимой тут была особая сонная жизнь, когда коровы не ходили в стадо, не было суеты с заготовкой кормов и с огородами. Красные калиновые кусты оживляли общую белизну, прорываемую черными штрихами веток. Лес спал, чуть покачивая стволами, и где-то слышались случайные перепархивания соек. Но праздники никто не отменял, тем более что Святки отмечали все... Бабки, где они остались, пекли пироги и булки, молодежь перебегала из хаты в хату выпить и закусить.

Лиза знала, что сегодня Щедрый вечер и придут колядующие. Жиденькая сосенка стояла у родителей в углу. Они украсили ее конфетами, но выглядела она как-то трогательно и жалко. Им оказалась не под силу жизнь в деревне. Выглядели родители сами не ахти, как сосна в доме, под иконками, напечатанными на принтере. Мишуня съездил на машине Григорьича на рождественский базар в райцентр и раздобыл мяса. Ленусь плохо справлялась с ролью деревенской хозяйки, поэтому Нина Васильевна, превозмогая слабость, встала и начала готовить для гостей. И растопалась, расходилась... Лиза носила дрова, воду из колодца для самовара, играла с Бимом во дворе и слушала воздух и соседей.

Рядых управлялись по хозяйству, Дроныч и тетька Шкурка бранились и кололи дрова... Отченаш и Самуиловна тихо зимовали в своем большом доме. Мелкие носились по улице, бегали по лесу и скакали в желтые осыпи карьера. Но одеты все были в ватники, фуфайки, тулупчики и валенки, непривычно и серо. Лелька не выходила из хаты, изредка поглядывая в окна. Она услышала, что к соседям приехала Ленусь, и не подходила даже близко к воротам. А накануне Рождества ее и Маринку увез на баню, в лес, сын арендатора. Наладить коммуникацию с Глебом Лиза не могла. Степка не приходил, занятый хворостом и дровами. Только однажды, случайно прогуливаясь с Ленусей мимо дома, Лиза увидела, как Глеб правит телегой, стоя. И лошадь резко остановилась, а Глеб упал прямо ей под хвост, не удержавшись. Ленусь засмеялась. Лиза улыбнулась. Но слезы сдавили ей горло.

– Нашла по кому скучать, – надменно сказала Ленусь. – Настоящее чмо... теперь-то ты видишь?

Лиза ушла в глубину дома, но там еще слишком живы были ее воспоминания, хоть мать и сделала перестановку.

***

Вечером Гапал, Корявый, Глеб и мелкие нарядились в вывернутые тулупы и дедовские драные кожушки, добытые с высот сенников и чердаков, намазали морды сажей и украденной у сестер помадой, нахлобучили на головы рваные шапки и, насунув на шест жестяную банку с хвостами из разноцветной ветоши, пошли по селу с мешком. Лиза услышала движение издалека. Степка, Макс и Чубайс долбили в печные заслоны кочергами и играли на кастрюлях. Они прошли мимо страшно веселой

компанией и повалили к кордону, где, видимо, им всем налил лесник, и колядующие зависли там дотемна.

Обратным путем зашли в хату Дроныча, захватив Михана, которому вообще не надо было гримироваться, к Рядых, и третьим адресом по улице значился дом москвичей.

– У них там злая телка в гостях, – сказал Степка, поминая Ленусь.

– Насрать! – крикнул Гапал, и ребята подвалили к хате.

Снегу было, как говорил Глеб, «тильки-тильки», осенняя земля и зеленая трава. Со стороны москвичей летел дымок шашлыков. Это затеяли Мишуня и Ленусь. Лиза встрепенулась, услышав грохот на улице. Григорьич погреб открывать.

– Кого там принесло... – бухтел он, стесняясь Ленусь, которая ненавидела все эти пьяные обряды и традиции.

Открыв калитку, он отпрянул. Щедровщики-колядовщики ватагой вваливались во двор. Степка сразу побежал к порожку и сел на нем в виде курицы, напевая пискливым голоском:

Щедрик-ведрик, дайте вареник,
С полосочку – жита мисочку!
Со снопочку – цилу бочку,
Дай-ка мене ковбасу, я батьку понесу,
Дай-ка мене кишечку, я зьимо в затишечку!
А не дашь пирога, уведу быка за рога!

В это время толпа с жестяным Вифлеемом плясала на дворе вокруг невеселого Григорьича. Лиза выскочила в длинной шерстяной юбке, в шубке и валенках и, споткнувшись о Степку, упала на него и засмеялась.

Гапал, увидав ее, подскочил и задрал ей юбку, Лиза отпрыгнула и бросила в толпу колядующих монетками и конфетами.

– Пийшлы с нами! – крикнул Корявый. – Иди наряжайся!

В темноте было не видно, кто есть кто. Глеб себя не обнаруживал, держась за шест, словно тот не давал ему упасть. Лиза ворвалась в дом с визгом.

– Мама, я пойду поколядую!

Нина Васильевна хотела что-то сказать, но дверь распахнулась, и Степка петухом вбежал в хату.

– Щедрый вечер! Добрый вечер! – заверещал он и стал кувыркаться в своем разодранном кожушке через голову. Ленусь и Мишуня замерли на пороге своей комнаты. Они думали, что их пришли убивать. Лиза тем временем, под топот, грохот заслонов и кастрюлек, визга и криков Гапала и Корявого, вывернула бабкину шубу, навязала на голову платок и, дождавшись, когда прекратится представление Степки и Макса и они уйдут из хаты с мандаринами и конфетами, снова обратилась к матери:

– Ну что, никто меня не узнает?

– Никто! – грустно вздохнула Нина Васильевна. – Только аккуратно, и никуда! В сторону. Ясно?

– Ясно!

Не успев спросить разрешения у Ленуси, Лиза выбежала следом за колядующими и поволоклась в валенках по мягкой земле.

Глеб шел впереди и нес свой жестяной Вифлеем. Остальные растянулись по улице. Дойдя до хаты Отченаша, они получили от Максимыча бутылку самогона, а от Самуиловны кружку домашнего вина, которое сразу же отдали Лизе, как единственной девчонке. У Мешковых им отсыпали

крышеников и семечек, Белопольские дали моченых яблок, и все время Лиза была на улице. Колядовать и заходить на порог можно было только мальчикам, таким мелким, как Степка, а так как Степка был один, то остальные бесились во дворах, если пускали. Лиза тащилась за ними по хатам, играла с мелкими, отнимая у них мешок, пела за Степкой щедровки и убегала от собак. Все это время Глеб, намазанный сажей и Маринкиными красками, наблюдал за ней. Его как будто не было здесь. В толпе он не мог заговорить с ней, но глаза не спускал, а все ждал момента. У него все дрожало внутри, когда наряженная и чумазая, растрепанная Лиза кругами бегала за мелкими мимо.

– Що, щедривцы? А ну, пошли отсюда!

И дядька Пёс спустил на них собаку. Пока бежали по липкой пахоте, Лиза потеряла галоши от валенок. У деда Тесленко, который не дал ничего, оторвали кусок палисадника и переставили его деду Савельичу, перегородив калитку. В колодец у Кочетка бросили ведро, а возле Пухова дома натянули веревку под воротами и понарисовали на них угольками нецензурных выражений. Когда ломились к Никанорше, та вышла с яблоками.

– О, и девка с вами! – разглядев в темноте Лизу, сказала бабка. – Ты чья же?!

– Это из Москвы, ты ее не знаешь! – крикнул Гапал.

– Виткиля? – опешила бабка.

– Из Москвы! Из Кремля! – гаркнул Гапал.

– А идите вы у сраку! Из Москвы! Иде мы, иде ваша Москва! – и обиженно ушла.

Ребята еще покружились по селу, на БАМе, у льдистых от падающей воды камней, поделили с руганью и ревом гостинцы и потащились домой, выпивая на обочине дороги. Лизе было так хорошо, словно не было этих месяцев между сентябрем и январем. Она отхлебнула самогона и, осмелев еще больше, принялась подкалывать ребят. Махала юбкой, кружилась, пела какие-то матерные песни про доху и жучка, из того, что помнила еще с детства, и все валялись с нее пьяной... все, кроме Глеба, прижимающего шест к бедру. Помимо шеста, там еще висел и Тёма. И Тёма жег ему бочину.

«Сейчас, сейчас, – думал Глеб, – они все разойдутся, и мы поговорим».

Колядующие пошли по домам среди ночи. Подняв всех собак и переполошив хозяев, но счастливые и довольные, мелкие волокли мешок с «дарами», Лиза шла, пританцовывая от самогона. Гапал повернул на Мантуловку к сестре, Корявый с Чубайсом пошли домой. Мелкие свалили в клуб, чтобы в кинобудке незаметно курнуть и наесться гостинцев. И по мере того как толпа теряла своих участников, Лиза мрачнела и вместе с тем какое-то торжество поднималось в ее душе. Глеб с мешком и с шестом шел домой один. За ним, отставая шагов на десять, шла Лиза. Она шла, бросив руки, загребая промокшими валенками, и слезы отчего-то текли по ее улыбающемуся лицу. Не доходя до Белопольских, у пустошки Глеб тормознул и рывком воткнул шест в мягкую, раскисшую от оттепели землю. Лиза остановилась перед ним. Он стащил с плеча мешок и рукавом тулупа вытер вымазанное лицо. Наконец он осмелился взглянуть на Лизу. Темнота все равно не скрывала ее волнения. Слезы блистали и через темноту. Глеб сделал ей навстречу шаг. Она отступила. Он невольно положил руку на рукоять штык-ножа.

– Ну... и что мы будем делать? – спросил он глухо, не отводя немигающего взгляда, и этот взгляд был страшен.

Лиза, замерев и содрогаясь, стояла на дороге.

– Скажи... скажи мне... честно... – повторил Глеб. – Чтоб я не мучился больше.

Лиза не могла ничего сказать, она, судорожно трясясь, едва стояла на ногах. Глеб повернулся и побрел к кордону. Лиза пошагала за ним, еле таща валенки. Дома свет горел только в городней комнате. Оттуда доносились слишком протяжные речи выпившей Ленуси, вычитывающей родителей.

Пройдя, как тени, мимо окон домов, мимо раскрашенных в разные цвета заборов, мимо Лельки и Дроныча, «дома свиданий» и дома лесника Клоуна, они остановились в потрескивающем от вчерашнего дождя лесу. Как давно было то время, когда они бегали тут, еще другие. Близкие и родные, и им казалось, что ничто не сможет разделить их. Глеб от какого-то изнеможения души подошел, опустился на колени и обхватил Лизины ноги, прижимаясь к ее животу. На ней была шубейка, юбка и материна кофта, но сквозь это все она слышала, как Глеба колотит озноб и что он сейчас на какой-то грани.

– Кузнечик... не надо, не надо, отпусти, все закончилось. У нас все закончилось.

– Вот я встал на колени. Если в этом была твоя цель, что я, мужчина, стою на коленях перед тобой... А могу ведь в один миг тебя сейчас убить. У меня и Тёма с собой. Одним ударом. И тебя, и меня. Тебе не страшно? Или ты меня сюда привела, чтобы я тут умер сам? Зачем мне такая жизнь?

– Ты не умрешь, Кузнечик. Ты переживешь и это, – прошептала Лиза, трогая его мокрое от слез лицо. – Ты сам этого хотел. Когда поцеловал меня возле Карамета, помнишь? Ты был пьян, а я помню это. Ты сам решил это начать. И начал, и продолжил. И теперь продолжаешь, как агонию. Ты же сам убиваешь быстро. Ты говорил. Тогда зачем это долгое и бесполезное дыхание... Общее. Оно сбилось у нас. Оно ушло.

– Куда делись твои волосы, зачем ты их отрезала? – спросил Глеб горестно, поднимая на Лизу блестящие глаза. – Как тебя теперь узнает и лес, и река... и песок, и ты стала чужой. Ты чужая. И голос твой другой.

Глеб опустил руки, и Лиза тоже опустилась к нему, пытаясь в кромешной темноте понять, что сейчас с ним...

Он зажег спичку. Их перепачканные лица осветились маленьким огнем и ожили.

– Отец сказал, что ты вешался, и тебя... вынули из петли. Кто вынул? – спросила Лиза странным голосом. – Я знаю это.

– Нет, не знаешь... – ответил Глеб. – Я оборвался, а Маринка... оказалась рядом.

Спичка погасла, Глеб зажег другую. Лиза, еще раз сдвинув брови и дрожа, посмотрела на него с болью.

– Я не хотел без тебя жить, но раз меня вытащили... – чуть слышно сказал Глеб.

Они снова оказались в темноте.

– Живи без меня, Глеб, – сказала Лиза и обняла его.

Он понимал, что уже больше никогда не сможет ее обнять. Это была единственная и последняя возможность. Он хотел так окаменеть... от своей слабости и стыда, что ровно ничем не может изменить течение ее

жизни. Он только камень, брошенный в ручей. Он останется в этом ручье навсегда, и его заест песок, но он не сможет изменить русло и повернуть воду вспять.

От этой слабости Глеб не мог говорить и только принимал тепло Лизы. Возможно, последнее тепло, данное ему судьбой и сжалившимся над ним Богом, так странно обронившим эту милость...

Сколько они так простояли на коленях, может быть полчаса, может быть меньше, они не поняли. Отходя от хмеля, Лиза и Глеб, не касаясь друг друга, вышли на дорогу и возвращались на расстоянии. Он махнул ей рукой, обернувшись и пытаясь улыбнуться, и исчез в темноте.

Вечером следующего дня она, Ленусь и Мишуня уехали. Мать и отец, разобравшись с хозяйством, уехали к февралю. Они вернулись в Антоново только в конце апреля сажать огород, но Лизы с ними не было. Она училась и до июля ждала сессию. В мае Глеб ушел в армию. Нина Васильевна и Григорьич провожали его от вокзала, и он обнял их на прощание, как родных.

– Пиши, – сказала Нина Васильевна, плача. – Мы будем ждать. И прости нашу дуру. Она такая, ничего не сделаешь...

Как только Глеб уехал, Нина Васильевна набрала Лизе. Теперь не было проблем со связью. Появились сотовые.

– Лизка, он ушел в армию. Да, слава Богу, дожил.

***

Через двое суток Глеб сидел в павильоне метро «Октябрьская», на полу, вместе с другими призывниками. Его должны были отправить в Нижегородскую часть. В стройбат. Вместе с Пуховым, которому так не шла новая прическа... Он ждал, сидя на вещмешке и глядя в голубую арку павильона станции. Ему казалось, что здесь, под землей, есть свой кусочек неба, но это была всего лишь синяя краска за стеклом. Лиза в это время ехала с учебы, занятая новым мобильным телефоном, подаренным ей Ленусью. Пока в телефоне были только три номера. Ленуси, Мишуни и Фильки. Солдатики все были одинаково зеленые. Их было много, около сотни. И все сидели, усталые, прямо на гранитном полу, занимая место до центра зала.

Лизе показалось, что она увидела Глеба. Но, быстро отвернувшись от этой сплошной зелени и бритых разноцветных голов, она побежала к эскалатору. Странное шевеление души, будто чего-то живого, почувствовала Лиза. Она вышла из метро и, в ужасе от того, что вернется нечто мучительное, купила у бабки букет незабудок. Незабудки успокоили ее. Они не пахли, они были как будто из ненастоящего материала, но живые. Они были как она. Только где-то далеко, в Антоново, гремела о шест жестяная банка Вифлеемской звезды, с хвостами из ситцевых застиранных тряпок, кусков чьих-то платьев и халатиков, сдернутых со старых чердаков. Она так и простояла до весны, воткнутая Глебом в обочину, пока кто-то из местных не снес ее на мотоцикле.

«День литературы»

№ 1(13), 2021 г.

Журнал русских писателей

Технический редактор А.С. Дементей

Подписано в печать 05.05.2021 г. Формат 84x108 1/16
Бумага офсет №1. Гарнитура Newton C.
Печать офсетная. Печ. л.: 22,5
Тираж 500 экз. Заказ №

АНО Газета писателей
«День литературы»
119146, Москва, Комсомольский пр-т, 13
Тел. 8-916-015-80-69
denlitera@yandex.ru
denliteraturi.ru

Отпечатано в типографии ООО «Паблит»
127282, Москва, ул. Полярная, д. 31В, стр. 1
Тел.: (495) 230-20-52